

БОРОДИН



Анна
Булычева



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

На Александра Порфирьевича Бородина (1833–1887) одни биографы смотрят как на композитора, другие — как на химика, третьи подчеркивают его роль в развитии женского медицинского образования. Его жизнь таит немало загадок, даже настоящий год рождения удалось установить лишь в 1920-е годы. Был ли его отец потомком грузинских князей или ногайских татар? Действительно ли занятия химией и музыкой мешали друг другу? В чем заключались «столкновения» Бородина с немецкими учеными? Почему он увлекся мифологией западных славян? Кем стали его воспитанницы? Множество материалов, прежде не попадавших в поле зрения исследователей (хотя часто они буквально «лежат на поверхности»), позволяют по-новому увидеть личность гениального композитора и выдающегося ученого.

[Адаптировано для AlReader]



-
- [Анна Булычева](#)
 -
 -
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [Часть I](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)

- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Часть II](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
- [Часть III](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
- [Часть IV](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Глава 22](#)
 - [Глава 23](#)
 - [Глава 24](#)
- [Часть V](#)
 - [Глава 25](#)
 - [Глава 26](#)
 - [Глава 27](#)
 - [Глава 28](#)
 - [Глава 29](#)
 - [Глава 30](#)
- [Эпилог](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 -

.....

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
-

ЖИЗНЬ[®] ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1823

(1623)

Анна Булычева

БОРОДИН



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

*

© Булычева А. В., 2017

© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2017



Adrian

ПРЕДИСЛОВИЕ

Александр Порфирьевич Бородин не вел дневника и не оставил воспоминаний, но кажется, будто о его жизни известно всё. Уверенность в этом внушают две биографии, написанные вскоре после его смерти Владимиром Васильевичем Стасовым, воспоминания друзей, а главное, четыре тома писем композитора, изданные Сергеем Александровичем Дианиным. Мало кто так обильно фиксировал подробности домашнего быта, как это делал Бородин в частых письмах жене. Если скользить по их поверхности, картина кажется ясной. Если же сопоставлять их с другими источниками, проступают белые пятна, возникают вопросы, на которые нелегко найти ответы.

Бородину повезло меньше, чем Мусоргскому. Авторские редакции «Бориса Годунова» и «Хованщины» давно восстановлены и прочно вошли в репертуар театров, но сочинения Бородина до сих пор исполняются в версиях Римского-Корсакова и Глазунова. Из предпринятых в 1930-е и 1940-е годы текстологических исследований Павла Александровича Ламма и Анатолия Никодимовича Дмитриева опубликованы лишь крохи. Из 908 страниц машинописных «Материалов к биографии Бородина» Ольги Павловны Ламм никто, кажется, не читал больше тридцати.

Занимаясь восстановлением авторского текста оперы «Князь Игорь» и Второй симфонии, я не переставала удивляться, как не похож подлинный Бородин на того композитора, которого мы знаем. Никакой «сказочной» декоративности, никакой «эпической» рыхлости — всё строго, энергично, обжигающе реально. В музыке, в нотных рукописях Бородин был самим собой: не притворялся и не

наговаривал на себя, как в письмах, в которых всегда отражаются две личности — автора и адресата. Увы, не все музыкальные рукописи сохранились, некоторые пропали уже после смерти Бородина. Хранившиеся в семье Дианиных его личные вещи, библиотека и часть архива не раз подвергались разорению. В 1921 году председатель дворового комитета бедноты Гросберг с женой и неким близким к ней матросом Балтфлота «экспроприировали» ценное, с их точки зрения, имущество. В недрах Выборгского рай-жилотдела сгинули портреты Бородина-юноши и его отца, посмертная маска Александра Порфирьевича и костюм, в котором он умер, наибольшая часть нот и книг, мебель, ковры, альбомы фотографий. В 1938 году, изверившись на тот момент в возможности издать биографию композитора, Сергей Дианин отдал свою рукопись на временное хранение в Государственный институт театра и музыки. Вернули ему ее... без уникальных фотографий. Следы виолончели Александра Порфирьевича затерялись еще раньше. А летом 1939 года Дианин оставил квартиру на попечение некоей Альстер. Ее родственники случайно сожгли письменный стол, а с ним часть бородинских документов. В начале войны Дианин перевез остававшиеся у него богатства в Нижний Новгород, но в 1942-м был вынужден срочно уехать в село Давыдово Владимирской области. Семейные иконы Бородина, остатки его библиотеки, фотографии родных так и пропали в Нижнем. Позднее удалось вызвать переписку, афиши и некоторое количество нот. Сундук с уцелевшей частью архива на попутном грузовике доехал до Инвалидного дома в Новой Быковке, откуда его повез в Давыдово слепой возница. По дороге запряженную быком повозку задел грузовик, сундук упал и раскрылся. Его подняли, бумаги кое-как собрали. В который раз костяк бородинского архива — потрепанный, с обгоревшими страницами —

был спасен. Потерь так много, что часть белых пятен в биографии Бородина навсегда такими и останутся. Но и среди сохранившихся документов до сих пор остаются сотни неизданных, которые проливают свет на многие обстоятельства его жизни.

Бородин был богато одарен. Его влекло двойное призвание — ученого и музыканта. В историю он вошел в большей степени как композитор, поскольку от химии после сорока лет стал отдаляться, в музыке же продолжался подъем. При жизни на него градом сыпались упреки, звучащие и поныне. Химики полагали, что Бородин не оправдал возлагавшихся на него надежд, увлекшись музыкой. Композитора обвиняли в дилетантизме, но достаточно познакомиться с несколькими страницами музыки его современников — настоящих дилетантов вроде Григория Андреевича Яншина или Виктора Массё, — чтобы понять всю несправедливость обвинения.

Первое, что обычно сообщается при разговоре о «Князе Игоре»: автор 18 лет работал над оперой и так и не сумел ее закончить. Однако в голове Рихарда Вагнера оперные концепции могли созреть и дольше, а ведь он не писал симфоний и квартетов. Профессиональный во всех отношениях композитор Сергей Иванович Танеев более десяти лет работал над своей единственной оперой «Орестея». В целом творческое наследие Танеева не намного превышает наследие Бородина. Наследие Анатолия Константиновича Лядова количественно еще скромнее, что отнюдь не делает его фигуру незначительной. «Скажут: мало русских творений, — резал правду Александр Сергеевич Даргомыжский. — Тем лучше. Бутылка спирта бывает полезнее бочки разведенного водою вина». Как ни мало написал Бородин, до сих пор не вся его музыка издана, а в списках сочинений остаются неточности.

Ни одна деталь в этой книге не выдумана, самые невероятные подробности и реплики взяты из документов — фантазия не в силах тягаться с реальностью. Письма, цитируемые без указания адресата, написаны Александром Порфирьевичем до 1863 года — матери, после — жене.

Появление новой биографии Бородина было бы невозможно без неоценимой помощи тех, кто работает с историческими материалами. Огромная благодарность хранителю Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. М. И. Глинки Нине Эдуардовне Грязновой и заведующей читальным залом музея Елене Владимировне Фетисовой; заведующей Кабинетом рукописей Российского института истории искусств Галине Викторовне Копытовой; заведующему читальным залом рукописей Российского государственного архива литературы и искусства Дмитрию Викторовичу Неустроеву, доктору искусствоведения Марине Павловне Рахмановой, директору Камеш-ковского историко-краеведческого музея Светлане Борисовне Кудряшовой и экскурсоводу Музея Бородина в селе Давыдове Татьяне Константиновне Ерлыкиной; директору Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга Ирине Борисовне Шелухиной и заведующей читальным залом Марии Михайловне Перекалиной; научным сотрудникам Отдела рукописей Российской национальной библиотеки Наталии Васильевне Рамазановой и Марии Геннадьевне Ивановой; ведущему научному сотруднику Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Полине Ефимовне Вайдман и научному сотруднику музея Татьяне Дмитриевне Потаповой; заведующей научно-исследовательским отделом рукописей Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской

консерватории Тамаре Закировне Сквирской; заведующей читальным залом Научной музыкальной библиотеки Московской консерватории Наталье Николаевне Оленевой; заведующей рукописным отделом Института русской литературы РАН Татьяне Сергеевне Царьковой; заведующему архивом нотной библиотеки Большого театра России Борису Владимировичу Мукосею и всем, кто делом и советом помогал в этой работе.

Часть I

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО БРАКА



Глава 1

КРЕПОСТНОЙ МАЛЬЧИК

Будущий химик и композитор появился на свет 31 октября (12 ноября нового стиля) 1833 года в Санкт-Петербурге, на Гагаринской улице. Родителями его были князь Лука Степанович Гедианов и мещанка Авдотья (Евдокия) Константиновна Антонова. 15 ноября ребенка записали сыном Порфирия Ионовича Бородина, дворового человека князя Гедианова, и его законной жены Татьяны Григорьевны. Мальчика крестили в Пантелеймоновской церкви, крестными родителями стали брат и сестра Авдотьи Константиновны.

Лука Степанович считал себя потомком князей Имеретинских и не раз говорил об этом сыну. Согласно более поздним разысканиям композитора Дмитрия Игнатьевича Аракишвили, Гедиановы были потомками не имеретинских, а картлинских князей Гедевановых либо мегрельских князей Дадияни. Официальная родословная, однако, объявляет предком всех Гедиановых татарина Гедею, который при Иване Грозном выехал из Орды и принял крещение, получив имя Николай. В 1825–1827 годах Лука Степанович хлопотал о внесении своего герба в Общий гербовник дворянских родов Российской империи. На четырех частях щита, увенчанного княжеской короной и покрытого княжеской мантией, изображены полумесяц, выходящая из облака рука, держащая равноконечный крест, всадник в плаще с поднятым изогнутым мечом и крепостная стена с башней и воротами. Это герб мусульманского рода, на Руси перешедшего в православие. Княжеский род Гедиановых вписали в родословные книги Тверской губернии, но герб остался

среди неутвержденных, ибо на Луке Степановиче род пресекался.

Согласно родословной девять поколений отделяло от Гедееи его потомка, родившегося 7 октября 1773 года в Бахмуте Екатеринославской губернии — имении своего отца, отставного поручика Бахмутского гарнизонного полка Степана Антоновича Гедианова. Поручику в то время было около 60 лет. Осиротев в младенчестве, трехлетний Лука был привезен в Москву. Это не идет вразрез с «имеретинской» версией его происхождения: на Украине было немало грузинских помещиков, а в Москве до пожара 1812 года существовала Грузинская слобода. В 16 лет Лука поступил в Великолуцкий мушкетерский полк унтер-офицером и семь лет спустя вышел в отставку, как и его отец, поручиком. Поселился он в Тверской губернии, затем перебрался в Москву. В браке с ровесницей Марией Ильиничной Исаковой 26 мая 1804 года родилась его единственная дочь Александра. Сашенька по каким-то причинам воспитывалась не при родителях, а в доме княгини Софии Сергеевны Мещерской (урожденной Всеволожской). В 14 лет ее выдали замуж за 23-летнего внебрачного сына княгини — подполковника, штаб-офицера Гвардейского корпуса Николая Евгеньевича Лукаша, будущего военного губернатора Тифлисской губернии (молва упорно называла его сыном Александра I). Дав жизнь шестерым детям, Александра Лукинична умерла в Москве 23 февраля 1834 года — 29-летней.

Князь Гедианов был богат. Пожалованные пращуру Ивану Степановичу за воинские заслуги в 1631 году земли под Вологдой еще в начале XVIII века были пожертвованы монастырю, но существовали и другие имения. Отставной поручик владел селами в Старицком и Бежецком уездах Тверской губернии и подмосковной деревней Старки (близ Черноголовки). Со временем он эти поместья продал, взамен купив у Разумовских

подмосковное Перово с деревеньками Тетерки и Пикуново. В Саратовской губернии Гедианову принадлежали село Крутец, часть села Изнаир (Богородского) и другие земли, под Петербургом имелась дача в Лесном.

По смерти Бородина стараниями критика Владимира Васильевича Стасова сведениями о его детстве поделились ближайшие родственники и знакомые. В их воспоминаниях Лука Степанович ни словом не упомянут. Однако рассказы о нем передавались в семье из уст в уста и в XX веке были записаны Сергеем Александровичем Дианиным. Тут и повесть о совместных с графом Петром Алексеевичем Разумовским кутежах в Перове, и смутные предания об участии князя в существовавшем при Александре I Российском библейском обществе (ответвлении аналогичного Британского), с которым он был связан через своих друзей Мещерских, Всеволожских и Голицыных^[1]. Существует собственноручно написанное Лукой Степановичем 30 декабря 1829 года послание к эксцентричной княгине Анне Сергеевне Голицыной (сестре Софии Мещерской), основавшей в Кореизе колонию пиетистов и ходившей там в мужском платье. Из него можно заключить, что князь по просьбе хорошо знакомой ему княгини взыскивал с некоего петербуржца долг по заемному письму. Дело касалось ее торговли винами — надо полагать, крымскими. Гедианов тогда сообщил княгине, что хочет уехать из Петербурга в Москву, к семье. Как видно, этого намерения он не осуществил...

Авдотья Константиновна родилась в 1809 году в Нарве в семье солдата. Ее сестра Устинья в Петербурге вышла замуж за чиновника Казенной палаты Владимира Петровича Готовцева. Их дочери будут сопровождать Бородина по жизни. Мария в детстве часто гостила у тети. На уроках танцев дети составляли пару, а когда

девочка танцевала одна, мальчик играл на фортепиано. Взявшись за руки, Саша и Мари подходили к Авдотье Константиновне задать очень важный вопрос:

— Можно ли нам жениться?

— Можно, можно. Вот вы теперь ступайте, поиграйте, а уж потом и женитесь.

Другая дочь Готовцевых, Александра (Саничка), много позже станет вести хозяйство Александра Порфирьевича.

Брат Авдотьи и Устиньи Сергей служил в Петербурге помощником смотрителя Зимнего дворца по Строительной части и к 1831 году получил первый офицерский чин. Жил он в доме служителей придворного ведомства на Гагаринской, напротив дома, где квартировал Лука Степанович. Красавицу Авдотью Константиновну экс-мушкетер высмотрел на танцевальном вечере придворных служителей в 1831 или 1832 году. Вскоре она переехала в его квартиру на втором этаже дома Булиной, где и родился Саша.

Мать до конца жизни боялась за старшего сына и оберегала его как могла. 14-летнего подростка она за руку переводила через улицу. 28-летний Бородин, возвращаясь из Германии, написал ей с дороги: «Послезавтра еду! В четверг вечером буду Дома!!! Р. S. Если в четверг еще не буду, то не заключайте из этого, что *я умер или что* меня повесили, а просто знайте, что я замешкался или меня что-либо задержало».

Что было тому причиной? Болезненность ребенка? Призрак Воспитательного дома, маячивший, пока Саша не был записан хоть крепостным, да законнорожденным? Необычно долгий срок, прошедший между рождением и крещением ребенка, заставляет подозревать несогласие родителей относительно судьбы сына. Порфирий Ионов Бородин числился «дворовым человеком Саратовской губернии

Балашевского уезда сельца Новоселок», но вряд ли за ним специально посылали в Поволжье, не найдя никого подходящего по семейному положению поближе. Скорее всего, крепостной слуга неотлучно состоял при барине.

Пока ребенок был совсем мал, князь высказывал намерение отдать его в ученики к сапожнику. Если бы Лука Степанович умер, не дав сыну вольную, крепостной Саша стал бы собственностью его законной вдовы, благополучно здравствовавшей княгини Гедиановой. Что ждало бы его тогда? Сколько выстрадала Авдотья Константиновна перед рождением Саши и в первые годы его жизни — один Бог ведает.

Но постепенно ситуация стала меняться. Вот Лука Степанович становится крестным отцом племянников Авдотьи Константиновны. Вот крепостной Саша играет со своими племянниками Лукашами, бывшими его старше. Рано осиротевшие внуки Гедианова на всю жизнь сохранили добрые отношения с Авдотьей Константиновной. В 1860 году в Гейдельберге Бородин много общался с племянницей Елизаветой и племянником Сергеем, выпускником Школы гвардейских подпрапорщиков. Лиза расспрашивала его о матери, передавала ей «сердечные поклоны».

Весной или в начале лета 1839 года Авдотья Константиновна из девицы Антоновой, мещанки, превращается в госпожу Клейнеке, супругу отставного военного врача, коллежского советника Христиана Ивановича Клейнеке. В семейном архиве сохранилось поздравление по случаю «радостных дней супружества» от некоего Петра Берга, отправленное 27 июля 1839 года из Брест-Литовска, — самодельный акростих на имя Авдотья. Старик Клейнеке умер не позднее лета 1841 года. Похоже, брак был фиктивным, с целью «изъять» Авдотью Константиновну из податного сословия и освободить ее на будущее от многих расходов и повинностей. Однако племянницы старика Клейнеке,

знавшие Авдотью Константиновну с малых лет, звали ее «бабушкой»: ее доброта и заботливость распространялись на всех детей без исключения.

Приблизительно в то же время госпожа Клейнке становится домовладелицей: князь покупает ей четырехэтажный дом в Измайловском полку. В 1840 году он заказывает некоему художнику парные портреты маслом — свой и гражданской жены. Именно Авдотье Константиновне и ее сыну князь передал образок Николая Мирликийского, хранившийся в семье Гедиановых с XVI века: образок этот висел на голубой ленточке на серебряной ризе иконы Владимирской Богоматери. Какую роль в сих чудесных событиях сыграла сама Авдотья Константиновна, какую — подраставший в доме необыкновенный ребенок, судить трудно. В одном можно не сомневаться: мать как женщина энергичная и решительная сделала для обожаемого сына всё, что было в человеческих силах.

Бородин прекрасно помнил отца. Взрослым иногда даже гримировался и изображал старого князя — видно, отец был большой шутник, иначе от кого бы сын унаследовал такую бездну остроумия? Помнил Бородин и дом, в котором жил ребенком, — на углу Гагаринской, Сергиевской (ныне Чайковского) и Косого переулка (ныне улица Оружейника Федорова). В двух шагах — набережная Невы, в двух кварталах — Летний сад, по пути к которому помещалось знаменитое Училище правоведения. От отца Саша унаследовал не только восточную внешность, но и характерную мимику — от старания оттопыривать нижнюю губу.

Какой была его мать в молодости? Когда Авдотье Константиновне шел 62-й год, она, постаревшая и сильно хворавшая, после долгих хлопот продала свой требовавший ремонта дом портных дел мастеру Ивану Ивановичу Гольцбергу, и вот что написал Бородин жене:

«Тетушку узнать нельзя. Она развеселилась, целые дни поет, играет на гитаре и приплясывает...»

Лука Степанович умер 21 декабря 1843 года и был погребен в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни, что в Стрельне. Княгиня Мария Ильинична начертала на памятнике: «Супругу моему и благодетелю». Шесть лет спустя там же похоронили одну из их внучек — Марию Николаевну Хитрово, урожденную Лукаш.

Незадолго до смерти князь успел дать Саше вольную. Был у дворян такой обычай: готовясь к смерти, мириться с Богом и совестью, отпуская из рабского состояния дворовых людей. Крепостной человек, наделивший мальчика фамилией и отчеством, навсегда канул в неизвестность. После смерти Александра Порфирьевича вызывали его наследников — потомки Порфирия Ионовича не объявились. А Бородин так и прожил жизнь Порфирьевичем (знакомые попроще именовали его «Порфировичем»), притягивая к себе людей с редкими отчествами. Одно время вместе с ним в Медико-хирургической академии преподавал ботаник Иван Парфентьевич Бородин. В XX веке нотные рукописи Бородина тщательно изучали Анатолий Никодимович Дмитриев и Александр Парамонович Нефедов.

Бородин никогда не досадовал на свое происхождение, не жил в конфликте со всем миром, как Полежаев, и не пытался этот мир перевернуть, как Герцен. Несмотря на «дуализм» натуры, равно тянувшейся к музыке и к науке, его личность неизменно пребывала в гармонии — с первых дней он рос в любви.

Глава 2

В ДОМЕ «ТЕТУШКИ»

Вскоре после смерти князя Авдотья Константиновна продала дом в Измайловском полку и купила другой, на Глазовской улице (ныне Константина Заслонова), вблизи Семеновского плаца. 35-летний Бородин в письме жене окрестил этот дом «семейным археологическим музеем» и терпеливо перечислил экспонаты: почерневшую от времени мебель красного дерева, ширмы с полинявшими вышитыми картинами, тряпочки, лоскуточки, веревочки, бумажки, заклеенную замазкой посуду и — экономку Катерину Егоровну, «возраста которой никогда нельзя было определить с точностью». Мебель, а именно два трюмо красного дерева, происходила из усадьбы Разумовских в Перове. Оттуда же на Глазовскую попали настольные часы (одни — с золоченой фигурой Амура-плотника, другие — с бронзовой фигурой нагой египтянки), настольная лампа с подставкой в виде коринфской колонны черного дерева, с барельефами на базе и старинные подсвечники.

Слово «мама» вслух не произносилось. Авдотья Константиновна хотела, чтобы Саша звал ее «тетушкой». «Мамой», «матушкой» он впоследствии величал тещу, «маменьками» да «крестными» — женщин, к которым испытывал нежные чувства.

Саша и «тетушка» отнюдь не жили, затворившись от мира. Дом был поставлен на барскую ногу — с управляющим, прислугой, жильцами и приживалками. Здесь знакомились, влюблялись и женились, не выходя на улицу. Даже взрослым Бородин не мог ночевать в пустой квартире. Оставался дома один — уходил к знакомым.

На Глазовской он перестал быть единственным ребенком «тетушки». В 1844 году на свет появился брат Дмитрий Сергеевич Александров. Отцом его был то ли кто-то из князей Волконских, то ли один из учителей Саши. Кем бы этот человек ни был, не похоже, чтобы он принимал участие в жизни семьи. Саша и Митя всю жизнь были очень близки и не имели друг от друга секретов. Младший брат проявлял интерес к химии, помогал старшему обустроить лабораторию в Военно-медицинской академии, одно время даже пытался наладить собственное производство краски и чернил. А еще он отличался восприимчивостью к современной музыке.

Лишь отец третьего из братьев — Евгения (Ени), родившегося около 1847 года, — дал ребенку свою фамилию. Коллежский секретарь Федор Алексеевич Федоров окончил Сиротский институт в Гатчине, затем Санкт-Петербургский университет, став преподавателем немецкого языка (поступление сироты в университет говорит о незаурядных способностях!). Ему выпало сыграть более чем значительную роль в судьбе Саши.

Материальных трудностей семья не испытывала. Авдотья Константиновна в качестве вдовы коллежского советника получала от казны небольшую пенсию, но главным источником дохода была сдача квартир в доме. В дополнение к этому «тетушка» давала деньги в рост по заемным письмам, иногда немалые суммы. Всё, что касалось образования обожаемого Саши, ее «сторублевого котика», шло безукоризненно. Увидев, какое впечатление на сына производит духовой оркестр на Семеновском плацу, она немедленно договорилась с флейтистом — унтер-офицером Семеновского полка — об уроках (по полтиннику в час), так что игру на флейте Бородин освоил рано и накрепко.

Отпускать ребенка в казенное учебное заведение «тетушка» не хотела ни при каких обстоятельствах, да и

не слишком ждали в гимназиях вольноотпущенных крепостных. О домашнем обучении Бородин рассказывал, что мог, его брат Дмитрий: «Твердо знаю, что брат оставался слабым, болезненным, худеньким ребенком лет до тринадцати. Родственники даже советовали матери не очень-то учить его, полагая, что у него чахотка и что ему и без того недолго жить. Как потом довольна была мать, что не послушала увещаний родных и продолжала образование и воспитание брата, который был чрезвычайно понятлив, способен, прилежен и отличался при занятиях замечательным терпением... Математику преподавал бывший впоследствии моим товарищем по службе Александр Андреевич Скорюхов, человек пьющий, но замечательно умный и знавший свое дело. Английскому языку обучал Ропер, человек очень добродушный, но недалекий англичанин, служивший гувернером в Коммерческом училище. Придя на урок, он каждый раз заявлял матери весьма наивно, что он вспотел, почему у него «рыже под мышками». Это изречение, кажется, только и составляло всю достопримечательность этого педагога. Чистописанию, рисованию и черчению обучал Филадельфии, бывший, кажется, учителем Первой гимназии. Это был семинарист, очень неряшливо одевавшийся, с длинными черными волосами и весьма угрюмый. Немец Порман преподавал фортепианную игру. Это был методический и терпеливый человек, не носивший ни усов, ни бороды. Преподавателем он был немудрым. По-французски и по-немецки брат говорил совершенно свободно благодаря тому обстоятельству, что в доме у нас проживала девица-немка Луизхен в качестве домоуправительницы и компаньонки матери...» Были и другие преподаватели, некто неизвестный обучал Сашу латыни.

В 1846 году Федоров отправился в Царское Село навестить своего учителя физики в Сиротском институте и взял с собой Сашу. Учителя звали Роман Петрович

Щиглёв, он также вел математику в Царскосельском лицее в звании адъюнкт-профессора. С одним из его сыновей, Михаилом, годом младше, Саша для первого знакомства подрался, а потом на всю жизнь подружился. Отец готовил Мишу к поступлению в лицей, но Федоров каким-то образом уговорил его поселить мальчика в доме вдовы Клейнеке и готовить в Первую гимназию (благо она находилась в пешей доступности).

Больше всего мальчиков сблизил музыка — Саша сразу же поразил нового друга необыкновенными способностями. Миша уже некоторое время брал уроки фортепиано у вышеупомянутого Пормана, теперь у немца появился новый ученик. Самостоятельно мальчики переиграли в четыре руки все симфонии Бетховена и Мендельсона — до того, что выучили их наизусть. Сочинял Саша в это время тоже ансамбли: струнное трио на тему из «Роберта-дьявола» Мейербера, концерт для флейты и фортепиано, ноты которого якобы выпросил его учитель-флейтист и не вернул. В ноябре 1848 года Саша переложил для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано увертюру к «Дон Жуану» Моцарта.

Если прежде Бородин слышал, по-видимому, только военный оркестр, то Щиглёв, живя в Царском, посещал с родителями концерты оркестра Йозефа Германа в Павловском вокзале. Благодаря другу Саша стал завсегдатаем концертов Иоганна Гунгля (сменившего в Павловске Германа) — часто с вполне серьезной программой. Воскресные утренники любительского оркестра профессоров и студентов Петербургского университета под управлением Карла Шуберта друзья тоже никогда не пропускали. Самое пылкое поклонение меломанов вызывала тогда Итальянская опера: юный Цезарь Антонович Кюи тратил на нее все свои свободные средства, юный Менделеев с таким увлечением аплодировал и вызывал примадонну, что у него пошла

горлом кровь. Неизвестно, когда Бородин впервые вкусил прелесть *bel canto*, но музыка эта его влекла: Саша пытался сочинять дуэты и трио на итальянские стихи. Сохранилась фортепианная партия рондо для некоего инструмента и фортепиано на темы из «Лукреции Борджа» Доницетти, то ли составленного, то ли переписанного юным Бородиным. Да и во взрослом возрасте он продолжал интересоваться транскрипциями и фантазиями на темы итальянских опер.

По иронии судьбы из двух друзей именно Щиглёв стал профессиональным музыкантом: преподавал пение в Военно-фельдшерской школе при Военно-медицинской академии, немного сочинял, дирижировал любительскими хорами. С поиском места ему почти всякий раз помогал Бородин, а в 1887 году уже его вдова просила Стасова устроить куда-нибудь «бедного Щиглёва», и тот напоследок стал преподавателем Регентских классов Певческой капеллы. В 1897 году композитор Николай Черепнин встречал единственного человека, которому удалось подражаться с Бородиным, на «беляевских пятницах»: «Неизменно сживал с нами добрейший, необыкновенно приятный и милый старичок, Михаил Романович Щиглёв, ученик Даргомыжского...»

Часто пишут, будто Бородин рос «в малокультурной среде». Однако его отчим окончил университет, в доме постоянно бывал отец Миши Щиглёва — преподаватель Царскосельского лицея, и можно не сомневаться, кто именно выбирал для мальчиков домашних учителей. Еженедельные посещения симфонических концертов, только-только ставших в Петербурге регулярными, также не есть свидетельство «малокультурности».

Помимо музыки Бородин увлекался лепкой из мокрой бумаги, гальванопластикой, оборудовал дома небольшую химическую лабораторию: изготавливал фейерверки и акварельные краски, которыми сам же и рисовал. Любил ли он читать — об этом мемуаристы

молчат. В его личной библиотеке была научная литература, были ноты, но беллетристики вплоть до конца 1870-х почти не имелось. Однако письма выдают его начитанность: в частности, «Мертвые души» он уже в молодости хорошо знал, а литературным русским языком владел в совершенстве.

Живя в семье, Саша в то же время словно бы существовал несколько на особом положении: по желанию «тетушки» он называл своих братьев «двоюродными». Обучали детей тоже по-разному. В 1882 году Дмитрий попросил старшего брата помочь с изданием своих стихов и рассказов («Лесник Прокофий», «Акцизная служба», «Субъекты») и не удержался, чтобы не посетовать: «Как жаль, что меня мало учили! Задатки у меня кое-какие были и заглохли, так что я и не знаю хорошенько, что во мне и есть-то (т. е. что было). Всему, что я знаю, я все-таки сам выучился; а у матери мы только балбесничали; а она не обращала на нас особенного внимания...» Все это — без тени зависти. Но Бородин-то вырос с сознанием, что в него вложено больше, чем в других, и за это с него больше спросится. С годами его жизнь постепенно превращалась в сплошное возвращение долга ближним. В 1880-е годы никто из родственников и знакомых не сомневался, что «многоуважаемый и добрейший Александр Порфиорович» есть всеобщий благодетель.

Что знал маленький Саша о радостях и горестях матери, видел ли ее слезы, когда она осталась одна с новорожденным Митей? Наверняка Авдотья Константиновна оберегала его от излишних познаний, но что скроешь в доме, кишящем женской прислугой? Брат Еня в свое время был осведомлен о многом. Трудно сказать, какую роль сыграли впоследствии детские впечатления Саши. Можно лишь заметить, что при огромной популярности Александра Порфирьевича у прекрасного пола ничего не известно о его внебрачных

детях, а сорокалетняя привычка именовать маму «тетушкой» и «вдовой Клейнеке» отнюдь не способствовала прямоте характера и стремлению называть вещи своими именами.

С 1849 года Бородин больше не значился «вольноотпущенным дворовым человеком Саратовской губернии Балашевского уезда сельца Новоселок». Заботясь о его дальнейшем образовании и боясь, как бы сын не угодил в рекруты (срок службы тогда составлял 19 лет!), Авдотья Константиновна записала Сашу в 3-й гильдии купечество Новоторжского уезда Тверской губернии. Для такой операции ей потребовалось объявить о капитале не менее восьми тысяч рублей.

В доме на Глазовской семья прожила до осени 1850 года. Шестнадцатилетний Бородин на отлично, за исключением Священной истории Нового Завета, сдал в Первой гимназии экзамены на аттестат зрелости. В музыке ему тоже было чем гордиться. Еще в 1849 году, когда Саше только шел шестнадцатый год, у петербургского издателя Роберта Гедрима с посвящением «тетушке» вышла его пьеса для фортепиано *Adagio con moto e patetico* (объявление об этом поместили «Ведомости С.-Петербургской городской полиции»). Пьеса действительно полна пафоса, каждый такт выдает серьезность намерений и хорошее знакомство с музыкой Бетховена и Вебера. С технической точки зрения в ней, если не считать проскочивших параллельных квинт, ошибок нет. По фактуре нетрудно догадаться, что юный автор сочинял за фортепиано и что у него были большие руки, с легкостью бравшие широкие аккорды.

О двух других пьесах, тогда же изданных Гедримом, пророчески сказал на страницах «Северной пчелы» некто Ф-ов (если это всё тот же Федоров, у Бородина был просто исключительный отчим): «Особенного внимания, по нашему мнению, заслуживают сочинения

даровитого шестнадцатилетнего композитора Александра Бородина: *Fantasia per il piano sopra il motive da J. N. Hummel*^[2] и этюд *Le Courant*^[3]. Оба произведения проникнуты музыкальностью идей, изяществом отделки и прекрасным чувством юношеского сердца. Судя по этим первым опытам, можно надеяться, что имя нового композитора станет наряду с теми немногими именами, которые составляют украшение нашего музыкального репертуара. Мы тем охотнее приветствуем это юное национальное дарование, что поприще композитора начинается не польками и мазурками, а трудом положительным, обличающим в сочинении тонкий эстетический вкус и поэтическую душу. Дай бог успеха, а поприще великое, благородное... есть где разгуляться юному, свежему дарованию!»

Глава 3

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Новоиспеченный 3-й гильдии купец при выборе учебного заведения, по-видимому, не имел права голоса. Митя Александров вспоминал: «Матери советовали отдать его в университет, но как раз случились там к этому времени какие-то беспорядки, и она отдумала. Знакомый один упомянул при ней, что знает инспектора Медико-хирургической академии Ильинского (давно уже скончавшегося). Мать привезла к нему брата, и Ильинский проэкзаменовал его на французском и немецком языках, по математике, истории, географии и пр.».

«Ильинским» Митя поименовал прозектора кафедры нормальной анатомии и одновременно письмоводителя Конференции (Совета профессоров академии) Тимофея Степановича Иллинского. Горбатый, очень болезненный, тот всегда много и упорно работал; в 1853–1858 годах был профессором Харьковского университета, затем вернулся в академию. Умер он в 1867 году в Париже. Знакомым Иллинского-Ильинского был Федоров, но и отдать Сашу в университет, скорее всего, советовал либо Щиглёв-старший, либо все тот же Федор Алексеевич. Выпускников гимназий в академию часто принимали и без вступительных испытаний, однако Саша лишь сдал экзамены на аттестат зрелости. К тому же на медицинский факультет брали тех, кому уже исполнилось 17 лет, а он родился в октябре. Так что испытать его знания обязательно требовалось.

«Проекзаменовал на французском и немецком» — не ошибка Мити. Хотя официально лекции в академии читались на русском и на латыни, без знания немецкого учиться было затруднительно (часть профессоров не

говорила по-русски). Луизхен могла гордиться своим воспитанником! А «тетушка» позаботилась представить свидетельства о крещении, происхождении, поведении и внести плату за посещение лекций.

От Глазовской улицы до академии по современным меркам недалеко, но тогда расстояния оценивали иначе, а переправа через Неву по наплавному мосту всякий раз прерывалась при ледоставах, ледоходах и наводнениях. Поэтому на пять лет Сашиной учебы семья перебралась на квартиру в доме хирурга Чарного, по Бочарной улице (ныне улица Комсомола) — как раз напротив академии. При серьезной учебной нагрузке это было очень кстати. Дом «тетушка» временно оставила на попечение экономки Катерины Егоровны Бельцман и ее брата Александра Егоровича Тимофеева (крестного отца Мити). Как выяснилось позднее, делать этого не следовало.

Переезд на Выборгскую сторону сопровождался происшествием, колоритно описанным в воспоминаниях Мити: «Мать... распорядилась перевезти прежде всего образ Спасителя на новую квартиру. Эту комиссию она поручила тому самому Федорову, который посоветовал отдать брата в академию. Тот, в свою очередь, сильно любя выпить, пригласил с собой за компанию Ропера (учителя английского языка). Оба они — Федоров и Ропер — сели на извозчика, взяли образ и графин водки, которою мать намеревалась угостить ломовых извозчиков на новой квартире. Дорогой Федоров и Ропер выпили эту водку, заезжали еще в погребки и порядочно нагрузились. По приезде на новую квартиру Ропер, поднимая рюмку, провозгласил тост за «великобританский народ». Федорова это возмутило, и с возгласом: «И мы не посраим земли русской!» — он ударил англичанина кулаком по носу и разбил в кровь». Сын Еня унаследовал от отца широкую, горячую натуру...

Бородин впервые в жизни надел форму и был приведен к присяге. Форма старшего брата произвела на Митю сильное впечатление. Сперва вольнослушателям полагались «семинарская серо-синего сукна шинель, черные брюки, сюртучок и фуражка с черными кантами и тремя маленькими буквами: *М. Х А.*». Затем стало еще прекраснее: «Эта форма была заменена вскоре другой, общей для всех студентов академии: однобортным мундиром со стоячим воротником, обшитым серебряными петлицами и красными кантами и имевшим фасон фрака. Его дополняли черные брюки с красными кантами, треуголка и шпага без темляка. Поверх надевалась офицерская шинель».

Академия находилась на подъеме. Президентом ее с незапамятных времен был Иван Богданович Шлегель, немец и русский патриот, неукоснительно преданный делу. Академия, подчинявшаяся Военному министерству, пользовалась некоторой автономией, имела собственную цензуру, беспошлинно выписывала из-за границы книги и учебные пособия. Конференция профессоров имела право разрешать множество вопросов, за исключением тяжб о недвижимом имуществе. Корпус зданий активно расширялся, были присоединены Второй сухопутный и Морской госпитали, имелись ботанический сад и различные клиники, в 1846 году Николай Иванович Пирогов основал Анатомический институт. Увы, со смертью в 1851 году Шлегеля началось пятилетнее президентство Венцеслава Венцеславовича Пеликана, запомнившееся проверками, в форменных ли сюртуках сегодня профессора и чисто ли они выбриты, и резким ухудшением питания казеннокоштных воспитанников.

Извечной «ложкой дегтя» была борьба в Конференции русской и немецкой партий. Сказывалось не только неизбежно большое число иностранцев среди профессоров, но и воспоминания о некогда существовавшем в академии Немецком отделении,

специально открытом для выходцев из Курляндии, не знавших русского языка и не желавших его учить. С течением времени все смешалось: Пирогов входил в немецкую партию, в русской состояли Шлегель и легендарный анатом Венцеслав Леопольдович Грубер, который все 40 лет своей работы в Петербурге общался со студентами исключительно на смеси немецкого с латынью. В конце концов замученная им молодежь составила «груберистику» — список обычно задаваемых на экзаменах вопросов и желаемых ответов, изложенных на неподражаемом жаргоне преподавателя.

Учебный год длился с 1 сентября по 1 июля. Бородин влился в огромную толпу первокурсников: только казеннокоштных поступило 250 при высоком конкурсе (сказалось закрытие Медико-хирургических академий в Москве и Вильно). Большинство традиционно составляли семинаристы, отчего нравы в общежитии царили скорее бурсацкие. Инспектор с помощниками успевали надзирать и за поведением вольнослушателей, навещая их на квартирах.

Жизнь Бородина в академии началась с праздника: 16 сентября 1850 года отмечалось ее пятидесятилетие. В летнем конференц-зале происходила торжественная церемония: с подобающими случаю речами, пением хора, игрой оркестра, с целым десантом великих князей, по такому случаю избранными Конференцией в почетные члены, с представлением очерка истории академии за 50 лет, составленного профессором Прозоровым, с завтраком для почетных гостей и вечеринкой для учащихся... Затем начались трудовые будни. Бородин всерьез готовился к поприщу врача. Митя вспоминал: «Занятиям по академии брат предавался всей душой; провонял совсем трупным запахом...» Второй курс почти целиком уходил у студентов на анатомию: Грубер, за суровость и непреклонность прозванный «выборгским

императором», свирепствовал. Благодаря беглому немецкому Саша хорошо успевал у «императора» и в дальнейшем остался с ним дружен. От чрезмерного усердия он однажды поранил палец и заработал трупное заражение, от которого его вылечил профессор Виктор Виллибальдович Бессер, читавший диагностику. Учеба шла отлично, по результатам экзаменов Бородин в огромном потоке переходил с курса на курс первым.

На третьем году обучения произошло решающее в его жизни событие: начало занятий химией под руководством Николая Николаевича Зинина. Изначально химия преподавалась в академии строго в объеме, необходимом врачам и фармацевтам. Все изменилось, когда в 1848 году кафедру занял перешедший из Казанского университета Зинин. Молодой профессор вел кипучую научную деятельность. Синтезировав анилин, он год за годом получал всё новые органические вещества, постепенно находившие применение в промышленности. Выходя из лаборатории в аудиторию, красавец Зинин превращался в блестящего лектора, читавшего высоким тенором все химические курсы (вплоть до минералогии) и собиравшего в стенах академии сотни слушателей. Однако практических занятий для студентов еще не существовало. Пришедший к профессору с просьбой работать в лаборатории Бородин был встречен насмешками. Серьезность намерений пришлось доказывать, зато он был щедро вознагражден за свой энтузиазм — а начиналось всё на голом энтузиазме. Как писал сам Бородин в воспоминаниях о профессоре, «обстановка кафедры химии была в то время самая печальная. На химию ассигновалось в год рублей 30 с правом требовать еще столько же в течение года. Прибавим, что это были времена, когда в Петербурге нельзя было иногда найти в продаже пробирного цилиндра, когда приходилось самому делать каучуковые смывки и т. д.

Лаборатория академии представляла собою две грязные, мрачные комнаты со сводами, каменным полом, несколькими столами и пустыми шкафами. За неимением тяговых шкафов перегонки, выпаривания и пр. зачастую приходилось делать во дворе, даже зимою... Но и при этих условиях у Н. Н. находились всегда охотники работать. Человек пять-шесть всегда работало, частью на собственные средства, частью на личные средства Н. Н. Так продолжалось до начала 60-х годов. Я еще студентом застал в этой лаборатории у покойного Н. Н. другого Николая Николаевича, живого, — Бекетова, который тогда занимался еще в качестве начинавшего ученого, магистранта и, за неимением посуды, работал в битых черепочках и самодельных приборах». Недаром свои знаменитые синтезы профессор в начале 1850-х годов осуществил в домашней лаборатории на Шпалерной улице. И это несмотря на то, что за годы учебы Бородин у Зинина во втором браке родилось четверо детей: старшая дочь Елизавета впоследствии вышла замуж за отцовского ученика Александра Александровича Загумени (Загуменного), младший сын Николай стал математиком, первым ректором Донского политехнического института в Новочеркасске.

Бородин-студент почитал Зинина за отца. Будущий «дедушка русской химии» сформировал его научное мировоззрение. Как в свое время Николай Иванович Лобачевский в Казани привил Зинину мысль об универсальности математических методов в естественных науках, так теперь Бородин унаследовал от учителя убежденность в том, что «медицина как наука представляет только приложение естествознания к сохранению и восстановлению здоровья человека; что поэтому естественные науки, при медицинском образовании, должны играть роль первостепенных, основных предметов... что медик должен усвоить себе

не столько отрывочные факты прикладного естествознания, сколько общий строй науки, способ мышления, прием и метод исследования натуралиста... что для сознательного понятия о том, как сложилась наука, необходимо — хоть несколько — поработать самому на поприще науки и внести свою, хотя бы и небольшую, лепту в общую сокровищницу знания». Так говорил Бородин на похоронах учителя, чей широкий и вместе с тем системный подход он старался перенять. Да и сама личность профессора наложила глубокий отпечаток на личность студента. Его сердечное отношение к ученикам, постоянное внимание к работам педагогических «детей» и «внуков», даже в ущерб собственным исследованиям, заботливое пестование преемников, радение «родным человечкам» — все это Бородин «дословно» повторил в дальнейшем.

С началом Крымской войны в академии, как не раз бывало в ее истории, не только пятикурсники были выпущены досрочно, но и некоторые студенты третьего и четвертого курсов отправились на фронт. Среди них был Михаил Францевич Ледерле, который уговаривал Сашу ехать с ним лекарем во флот. Авдотья Константиновна произнесла решительное «нет», Саша остался заканчивать академию.

Кажется, будто жизнь Бородина в этот период сосредоточивается на маленьком пяточке на Выборгской стороне. С утра до вечера — лекции и занятия в лабораториях и клиниках, а на пятом курсе — в госпиталях. Стоит перейти через улицу — и Саша дома, в семье «тетушки». Круг друзей — студенты академии, часто заглядывающие в гости. Вольнослушатели в большинстве своем были немецкого происхождения, поэтому неформальное общение с друзьями сперва шло по-немецки, «русский элемент» в окружении Бородина стал преобладать лишь на старших курсах. Из музыки Митя упоминает танцы. Это немного странно.

Петербургские немцы имели свои собственные музыкальные кружки и общества, где в сугубо мужских компаниях предавались хоровому и ансамблевому пению. В этой среде вырастали местные немецкие композиторы, о которых в Германии и слыхом не слыхивали. Бородин в молодости сполна вкусил этих развлечений. Осенью 1859 года по дороге в Германию он вместе с ботаником Ильей Григорьевичем Борщовым и двумя попутчиками-немцами девять часов ждал в Тильзите кареты до Кёнигсберга. Коротали время «очень весело: отобедали, прогулялись по городу и в заключение пели квартеты немецкие». Известно также, что студент Бородин в 1854 году «запоем» сочинял фуги для фортепиано, уходя в это занятие с головой. Может быть, к фугам его прирастили Кнох, Вертер, Цвернер, Ландцерт, Дистфельд или кто-то другой из их студенческой компании?

«Тетушка» страшно боялась, как бы Саша не связался с «дурными женщинами». Для предотвращения этой напасти и в лучших традициях барских домов явилась красивая горничная, которую Бородин звал «маменькой». Так что причин покидать Бочарную улицу не было никаких.

Кроме одной, прозывавшейся Михей Щиглёв. Дружья по-прежнему всерьез увлекались камерной музыкой. Маленький Щиглёв выбрал скрипку, высокий Бородин — виолончель. Учились сначала самостоятельно. «Гораздо позднее я взял не больше десяти уроков на скрипке у скрипача Ершова, а А. П. также немного уроков на виолончели у виолончелиста Шлейко. Не упускали никакого случая поиграть трио или квартет, где бы то ни было и с кем бы то ни было. Ни непогода, ни дождь, ни слякоть — ничто нас не удерживало, и я под мышкой со скрипкой, а А. П. с виолончелью на спине часто делали концы пешком, так как денег у нас не было ни гроша, с Выборгской в Коломну и т. п.», — вспоминал Щиглёв.

Вместо виолончели Бородин мог брать в путь старую подругу — флейту.

Неизвестно, что за музыкальный кружок собирался в 1850-е годы в Коломне. Гораздо ближе было идти до дома Лисицына у Преображенского собора. Здесь квартировал чиновник Второго отделения col1_0 канцелярии Иван Иванович Гаврушкевич, виолончелист-любитель и один из свидетелей юности Бородина, который позднее поделился бесценными сведениями. У Гаврушкевича подавались необыкновенные пельмени, запиваемые «епископом», и собирались выдающиеся музыканты. Из профессионалов — артисты оркестра петербургской Итальянской оперы скрипач Николай Яковлевич Афанасьев (автор первого русского струнного квартета и первого русского концерта для виолончели с оркестром), скрипач Иван Христианович Пиккель — выпускник Лейпцигской консерватории, виолончелист Александр Федорович Дробиш. Из любителей — инженер, вице-директор строительного департамента Морского министерства, виолончелист и музыковед Модест Дмитриевич Резвой. Однажды музыкальный вечер затянулся на целые сутки: «тетушка» во все это время, скорее всего, глаз не сомкнула, но поделаться ничем не могла, старший сын вырос и заслуживал некоторой свободы. Кажется, вылазки ради музицирования были для него единственным поводом этой свободой пользоваться.

Струнников обычно собиралось так много, что предпочтение отдавали большим ансамблям — от квинтета до октета. Бородину временами перепадала партия второй виолончели. Он, «скверный *Violoncello II-do*», играл, по словам Гаврушкевича, «стесняясь слабым умением владеть виолончелью, но был тверд в темпе и понимал красоты и гармонические, и мелодические». Исполнялись квинтеты Боккерини, ансамбли Шпора, Нильса Гаде, Фейта, Онсло-ва, московского немца

Гебеля. Композиторы не первого ряда, но тогда они почитались как авторы *серьезной* музыки. «Я очень часто и весьма тепло вспоминаю о Вас, уважаемый Иван Иванович, о Ваших вечерах, которые я так любил и которые были для меня серьезной и хорошей школой, как всегда бывает *серьезная камерная музыка!*»^[4] — писал Бородин Гаврушкевичу в 1886 году. А тот, склонный воспринимать себя наставником юношества, позднее доверительно сообщал Стасову: «Я познакомился с Бородиным, когда он был еще студентом М-х академии, и уговаривал его бросить шатание с флейтою, игру песенок, а пристать ко мне в звании виолончелиста для исполнения квинтетов, которые писать потруднее, чем квартеты и увертюры для большого оркестра. Уверен, что слушание квинтетов, двойных квартетов Шпора и октетов сделало на Бородина хорошее впечатление. Без моего педагогического наставления компаньон его, скрипач Васильев^[5], стал бы пьяницей разгульным, а Бородин — флейтистом для пустейшей музыки». Вот так-то!

Для себя, Щиглёва и Васильева-скрипача Бородин в студенческие годы сочинил четыре трио и не менее двух сонат. Сонаты исчезли бесследно, а вот посвященные Васильеву вариации для двух скрипок и виолончели на тему городской песни «Чем тебя я огорчила» впоследствии получили известность. Кроме того, Бородин переложил для флейты, гобоя, альты и виолончели фортепианную сонату Гайдна и почти довел до завершения струнный квинтет с двумя виолончелями, однако Гаврушкевичу его не показал. Не показывал и романсов, говоря, что это «пустяки». Из «пустяков» время пощадило песню «Что ты рано, зоренька» на слова С. Соловьева, до сих пор не изданный романс «Боже милостивый, правый» и три романса для голоса, виолончели и фортепиано (в подражание шедевр Глинки «Сомнение»): «Красавица рыбачка» на слова

Гейне в переводе Д. Кропоткина, «Разлюбила красна девица» на слова Виноградова и «Слушайте, подруженьки, песенку мою» на слова Е. фон Крузе. Последние три появились, когда Саша учился на четвертом курсе. Музыка «Красавицы рыбачки» выросла из на ходу сочиненного вальса: Бородин легко импровизировал танцы, но, увы, «пустячков» этих не записывал. Романс посвящен Аглаиде (по сцене — Аделаиде) Сергеевне Шашиной. Вряд ли речь идет о сердечном увлечении: Аглаиде Сергеевне к тому времени минуло 47 лет. Высокая, суровая, очень замкнутая, она была певицей контральто, ученицей Франчески Феста-Маффей и часто выступала в дуэте с сестрой Елизаветой Сергеевной, пианисткой и композитором, чьи романсы на слова Лермонтова, особенно «Выхожу один я на дорогу», до сих пор поются. Романс двадцатилетнего студента Шашина проигнорировала.

Цепкая память Гаврушкевича сохранила слова, сказанные Зининым Бородину в аудитории, то есть при свидетелях: «Г. Бородин, поменьше занимайтесь романсами; на вас я возлагаю все свои надежды, чтоб приготовить заместителя своего, а вы думаете о музыке и двух зайцах». Решение о дальнейшей судьбе ученика было принято профессором заблаговременно.

Глава 4

МОЛОДОЙ ВРАЧ И МОЛОДОЙ ХИМИК

Ни химия, ни романсы не помешали Бородину сдать на отлично анатомию, физиологию, общую патологию, фармакологию, фармацию, общую и специальную терапию, хирургию, окулистику, акушерство, судебную медицину, медицинскую полицию (гигиену), экзооптические болезни (то есть ветеринарную эпидемиологию) и окончить академию «с особенным отличием». 17 марта 1856 года новоиспеченный лекарь получил похвальный лист, которым его удостоила Конференция академии в знак «нынешнего и залог будущего особенного своего к Вам внимания, твердо надеясь, что Вы ревностью к службе, прилежанием к усовершенствованию и распространению Ваших познаний и благоразумным употреблением оных на пользу общую неуклонно стараться будете оправдать доброе ее о Вас мнение». Характер молодого человека уже вполне сложился — Бородин был ярко выраженным перфекционистом.

Одного-двух лучших выпускников направляли на три года в петербургские госпитали, а затем — за границу, чтобы по возвращении они преподавали в академии. Именно такая дорога открывалась перед Бородиным, но он-то хотел стать химиком. Выбор между химией и музыкой не обсуждался, выбирать предстояло между химией и медициной. Места на кафедре Зинина пока не предвиделось, и Бородин старался попасть в ординаторы. При распределении предпочтение отдавалось казеннокоштным студентам, он же был своекоштным.

В романе Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?» (1862–1863), который сразу же был запрещен, а тираж изъят, тем не менее читали его все, под именем Дмитрия Лопухова выведен физиолог Иван Михайлович Сеченов. По крайней мере студенты Сеченова были в этом совершенно уверены. Но если вынести за скобки истребление Сеченовым лягушек — чем Лопухов не Бородин?

«...Лопухов точно был такой студент, у которого голова набита книгами... и анатомическими препаратами: не набивши голову препаратами, нельзя быть профессором, а Лопухов рассчитывал на это... По денежным своим делам Лопухов принадлежал к тому очень малому меньшинству медицинских вольнослушающих, то есть не живущих на казенном содержании, студентов, которое не голодает и не холодает. Как и чем живет огромное большинство их — это богу, конечно, известно, а людям непостижимо. Но наш рассказ не хочет заниматься людьми, нуждающимися в съестном продовольствии... Лопухов положительно знал, что будет ординатором (врачом) в одном из петербургских военных госпиталей — это считается большим счастьем — и скоро получит кафедру в Академии. Практикой он не хотел заниматься. Это черта любопытная; в последние лет десять стала являться между некоторыми лучшими из медицинских студентов решимость не заниматься по окончании курса практикою, которая одна дает медику средства для достаточной жизни, и при первой возможности бросить медицину для какой-нибудь из ее вспомогательных наук — для физиологии, химии, чего-нибудь подобного... Видите ли, медицина находится теперь в таком младенческом состоянии, что нужно еще не лечить, а только готовить будущим врачам материалы для умения лечить. И вот они, для пользы любимой науки, — они ужасные охотники бранить

медицину, только посвящают все свои силы ее пользе, — они отказываются от богатства, даже от довольства, и сидят в гошпиталях, делая, видите ли, интересные для науки наблюдения, режут лягушек, вскрывают сотни трупов ежегодно и при первой возможности обзаводятся химическими лабораториями... Вот к этим-то людям принадлежали Лопухов и Кирсанов. Они должны были в том году кончить курс и объявили, что будут держать (или, как говорится в Академии: сдавать) экзамен прямо на степень доктора медицины; теперь они оба работали для докторских диссертаций и уничтожали громадное количество лягушек...»

Действительно, 25 марта 1856 года по рекомендации Зинина Бородин стал сверхштатным ординатором Второго военно-сухопутного (Николаевского) госпиталя, а 3 апреля того же года — ассистентом при кафедре общей патологии и общей терапии академии, возглавляемой Николаем Федоровичем Здекауером, где «заведовал техническими упражнениями студентов». Вскоре после этого семья переехала в дом Климовых на Большом Сампсониевском проспекте, по другую сторону от академии. В том же году кузина Бородина Мари Готовцева вышла замуж за его друга Ивана Максимовича Сорокина, в будущем профессора судебной медицины и ученого секретаря академии. Осенью она умерла в родах, и внезапно овдовевший «Макея» поселился вместе с Бородиным и его семьей.

В госпитале молодому врачу доверили холерное отделение. Через десять дней службы он дополнительно принял две палаты Первого отделения с обязательством каждое утро присутствовать при перевязках в еще трех, которыми ведал Иван Михайлович Балинский, с утра до ночи занятый в психиатрическом отделении. Служба приносила неоднозначные впечатления. Раз пришлось вытаскивать кость из горла кучера чрезвычайно высокопоставленного лица. Во время операции щипцы

сломались. Когда всё благополучно завершилось, кучер бухнулся молодому врачу в ноги. «Я же с трудом удержался от того, чтобы не ответить ему тем же самым, — вспоминал Бородин. — Подумайте только, что бы было, если бы я завязил обломок щипцов в горле такого пациента!»

В детской памяти Мити запечатлелся другой случай: «В первый год службы брата ординатором госпиталя пришлось однажды ему, как дежурному, вытаскивать занозы из спин прогнанных сквозь строй шести крепостных человек полковника В., которого эти люди за жестокое обращение с ними, заманив в конюшню, высекли там кнутами. С братом три раза делался обморок при виде болтающихся клочьями лоскутов кожи. У двух из наказанных виднелись даже кости». Троекратные обмороки у врача, повидавшего виды в академических клиниках!

Третий случай — знакомство осенью 1856 года с семнадцатилетним подпрапорщиком лейб-гвардейского Преображенского полка Модестом Петровичем Мусоргским. Композиторы, в будущем составившие гордость русской музыки, встречались то на дежурствах в госпитале, то на вечерах у его главного врача Корнилия Адриановича Попова. Бородин «фотографически» запомнил Мусоргского, «только что вылупившегося из яйца», то есть выпущенного в полк: «М. был в то время совсем мальчонком, очень изящным, точно нарисованным офицериком: мундирчик с иголочки, в обтяжку; ножки вывороченные, волосы приглажены, припомажены, ногти точно выточенные, руки выхоленные, совсем барские... Он сидел за фортепьянами и, вскидывая кокетливо ручками, играл весьма сладко, грациозно и пр. отрывки из *Trovatore*, *Traviata* и т. д.». Осенью 1856 года Мусоргский уже играл наизусть из «Трубадура» и «Травиаты» Верди, впервые поставленных в Италии в 1853-м! Значит, не только в

одежде поспевал за последним писком моды. Он уже мог гордиться некоторой известностью: была напечатана его полька «Подпрапорщик». Вот только «мальчонок» еще лет шесть не подозревал, что доктор медицины Бородин тоже пишет (и печатает!) музыку...

Окончательно превратившись в химика, Александр Порфирьевич так и не перестал быть врачом. Сергей Петрович Боткин свидетельствовал о его глубоком знании медицины. К Бородину постоянно обращались за врачебной помощью, он никогда не отказывал, но в сложных случаях обязательно направлял к специалистам. В последние дни жизни Авдотьи Константиновны сын дежурил у ее постели и сам вел историю болезни — по всем правилам, лишь почерк выдавал его переживания. 1 февраля 1868 года Александр Порфирьевич вступил в Общество русских врачей и в 1886-м был избран в почетные члены. В 1874 году на музыкальном вечере у Стасова пришлось оказать помощь Ивану Сергеевичу Тургеневу: писатель успел выслушать игру Антона Рубинштейна, а когда пришел черед играть Кюи и Мусоргскому, с ним как нарочно случился жестокий приступ подагры. Когда же Бородин оказывался летом в деревне, крестьяне шли к нему лечиться, и, несмотря на все возражения, женщины в благодарность несли продукты.

Через полгода после окончания академии 23-летний Бородин выдержал экзамен на степень доктора медицины, которая давала право занимать должности VII класса (то есть надворного советника, в армии — подполковника) и претендовать на потомственное дворянство. Зинин по-прежнему во всем присматривал за учеником, включая его гардероб. Профессор был легок на подъем: родился в Нагорном Карабахе, учился в Саратове и Казани, научные интересы часто заставляли его путешествовать по России и за границей, добираясь до Лондона. Возможно, безвыездное жительство Саши в

Петербурге, под крылом «тетушки» его беспокоило. Саша действительно был тогда исключительным домоседом, как и вся его семья, не имевшая поместий, дач или близкой родни в других городах. Поездки с Федоровым в Царское Село да к Зинину на дачу, где тот наставлял студентов в ботанике и минералогии, — вот и все вылазки за город. Неудивительно, что Бородин по-прежнему оставался болезненным юношей.

Николай Николаевич предпринимал всё от него зависящее для расширения кругозора ученика. Минули год и три месяца службы того сверхкомплектным ординатором — и вот Бородин командирован на четыре месяца за границу. Цель поездки — осмотр химических лабораторий и приобретение химических приборов для *alma mater*, но главным образом — исполнение обязанностей секретаря и переводчика придворного окулиста Ивана Ивановича Кабата, старшего врача глазного отделения Второго сухопутного госпиталя. Тот направлялся в Брюссель на Первый международный офтальмологический конгресс, а из языков знал только латынь. Таким образом, длинный список зарубежных поездок Александра Порфирьевича начинается и завершается Бельгией. Именно там через четверть века его музыка будет безоговорочно принята и безгранично любима.

Кабат и Бородин проездом осмотрели Берлин, от Франкфурта спустились на пароходе по Рейну до Кёльна. Двадцатилетней разницы в возрасте совершенно не ощущалось. В Берлине вместе отделались от назойливой попутчицы, предполагаемой родственницы Бородина княгини Имеретинской, «ибо возиться с бабьем очень скучно». В Кёльне вместе «потерялись перед колоссальным мистическим зданием» собора, потом на мосту «шибко приволокнулись за двумя девчоночками, особенно Иван Иванович» (неужели Бородин и в этом случае служил

переводчиком?). Из Кёльна путь лежал в Париж. Остановились в «Отель дю Лувр». И город, и отель, и кухня, и непривычное для петербуржца изобилие фруктов — всё привело Бородина в совершенный восторг. 15 августа он отправил «тетушке» подробнейшее письмо с эпиграфом из репертуара раешников: «Вот город Париж, как въедешь, угоришь». Настроение у него было превосходное. Правда, не удалось застать никого из химиков, пришлось ограничиться визитами к медицинским светилам и осмотром лаборатории Марселена Бертло, но это путешественника не слишком огорчило.

Из Парижа двинулись к главной цели. Программа была составлена с размахом — конгресс в Брюсселе закончился не ранее середины сентября. 15-го числа члены оргкомитета (редколлегия журнала «Анналы офтальмологии» в полном составе) и их дамы устроили для гостей вечер у ресторатора Дюбо на улице Пютри. Молодой врач-переводчик тоже получил приглашение. На обратном пути путешественники посетили Лондон, Вену, Прагу и Лейпциг.

Поездка словно окрылила Бородина, следующий год стал в научном отношении очень плодотворным. 5 марта 1858 года на заседании физико-математического разряда Санкт-Петербургской академии наук Александр Порфирьевич сделал сообщение «Исследование химического строения гидробензамида и амарина», тогда же напечатанное в издававшемся на французском языке бюллетене академии (мудрость Авдотьи Константиновны, учившей Сашу языкам, вовсю приносила плоды). 3 мая Бородин защитил диссертацию, разработав тему на стыке медицины и химии: «Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорною в химическом и токсикологическом отношениях». К этому времени только-только стали требовать от диссертантов оригинальных исследований взамен более или менее

упорядоченного изложения существующих взглядов на предмет. Бородин и физик Петр Алексеевич Хлебников впервые в истории академии защищались на русском, а не на устроившей бы слух древнего римлянина латыни, ради передачи современных понятий немилосердно дополненной русизмами, германизмами и галлицизмами. Активное участие в диспуте на защите принял Дмитрий Иванович Менделеев. 26 ноября Бородин снова выступил в Академии наук, на сей раз с сообщением «О действии йодистого этила на бензоиланилид», также напечатанным в бюллетене.

В Медико-хирургической академии тем временем происходили перемены. Как говорили, «пеликаны улетели»: ушел в отставку президент Пеликан, следом уволился его сын Евгений, профессор судебной медицины и токсиколог, кстати, занимавшийся в лаборатории Зинина. 24 января 1857 года президентом МХА стал 42-летний Петр Алексеевич Дубовицкий. Он добился подчинения академии непосредственно военному министру, минуя всяческие департаменты, и развил кипучую деятельность. Значительно увеличилось число изучаемых дисциплин, появилось восемь новых кафедр, в том числе кафедра психиатрии Балинского и кафедра гигиены. Кабат, прежде проводивший лишь практические занятия в госпитале, наконец-то получил кафедру и клинику глазных болезней. Для студентов резко уменьшили число переводных и триместровых экзаменов, что было гуманно, но пошло во вред дисциплине. Появился Институт врачей, снабжавший педагогическими кадрами и саму академию, и университеты. Возобновились строительство новых зданий, ремонт госпиталей и клиник, славившихся своими «ужасами».

Ближайшими помощниками Дубовицкого были вице-президент академии Иван Тимофеевич Глебов и — Зинин. Благодаря им решительный перевес в

Конференции «русской партии» на некоторое время свел на нет партийную борьбу и разрешил ситуацию, когда для студентов «вражеских» кафедр систематически не находилось то трупов, то препаратов. Глебов перешел в Петербург из Московского университета, поэтому вскоре была приглашена преподавать целая плеяда тамошних выпускников — Боткин, Сеченов, Юнге. Дубовицкий наибольшее внимание уделял клиникам, Глебов и Зинин — изучению теоретических дисциплин. Зинин с 1852 по 1864 год был ученым секретарем академии и входил чуть ли не во все комиссии, бесконечно учреждаемые по любому поводу. Идею, что «нужно еще не лечить, а только готовить будущим врачам материалы для умения лечить», Чернышевский, можно сказать, позаимствовал у Зинина — тот всячески отстаивал первенство естественных наук в медицинском образовании. Кафедра химии расширялась. Вернувшись из поездки с Кабатом, Бородин смог перейти к Зинину ассистентом и стал руководить практическими занятиями второкурсников. Через два года он уже руководил аналогичными занятиями в Институте врачей, читал там курс химии в приложении к физиологии и патологии и курс истории развития химических теорий. Яростно громил он дуалистическую электрохимическую теорию Йёенса Якоба Берцелиуса, устаревавшую на глазах, и страстно пропагандировал новую тогда идею Шарля Жерара о реакциях двойного разложения.

Летом 1858 года Бородин отправился во второе в своей жизни путешествие, на сей раз — на север Костромской губернии, в древний Солигалич. Там издавна существовал соляной промысел, в 1821 году отданный в вечное и потомственное владение купцам-старообрядцам Кокоревым. В 1823 году взамен старых истощенных колодцев владельцы начали сверлить новый артезианский и через девять лет достигли глубины в 101 сажень. Целебную силу минеральной

воды быстро оценили местные жители. В 1839 году ее испробовал на себе 22-летний Василий Александрович Кокорев, будущий нефтепромышленник и миллионер. Будучи человеком предприимчивым, он уже через два года открыл в Солигаличе небольшую водолечебницу, а в 1858-м возвел новое здание, гораздо больше прежнего, и пожелал сделать подробное химическое исследование воды. По рекомендации Зинина был выбран Бородин.

Александр Порфирьевич выехал в Солигалич в мае. По железной дороге добрался до Москвы, оттуда двинулся на лошадях через Ярославль, Кострому, Галич и все лето провел на водах. Петербуржец впервые окунулся в мир старинных русских городов (хотя некоторые здания Солигалича, которые сегодня кажутся весьма старинными — например, деревянные торговые ряды с колоннадой на греческий манер, — тогда были вполне новыми).

Больше внимания, нежели достопримечательностям, *Бородину пришлось уделить местному обществу.* Соученику Павлу Матвеевичу Ольхину он сообщил: «Я здесь живу очень хорошо, полным хозяином; окружен хорошенькими дамами, которые не оставляют меня даже в лаборатории». Но в центре внимания, конечно, был качественный и количественный анализ солигаличской воды^[6]. Если погода позволяла, сезон в Солигаличе начинался 1 июня. 3 июня 1859 года, то есть в самом начале нового сезона, в литературном отделе «Московских ведомостей» вышла большая статья «Солигаличские солено-минеральные воды». Вступительную часть написал Кокорев, рассказав о здоровом климате местности, о достоинствах мяса скота, пьющего местную воду, о том, как добраться до курорта и где лучше менять лошадей. За двухмесячный курс лечения купец просил шесть рублей, но добавлял:

«Для всех, обременяющихся платою, приготовление ванн производится бесплатно».

Основная часть огромной статьи, вскоре отпечатанной в виде отдельной брошюры, принадлежит перу Бородина. «Солигалич лежит к северо-востоку от города Костромы, при реке Костроме. Река начинается верстах в тридцати от города и здесь еще не широка. Город расположен на ровном месте и окружен со всех сторон незначительными плоскими возвышенностями, покрытыми большею частью хвойным лесом: елью, сосною, можжевельником. К северу, по направлению дороги в Тотьму, местность делается еще более возвышенною и лесистою. Здесь местами находятся ключи пресной воды, которые, стекаясь, образуют несколько ручьев. Один из таких ручьев проходит через самый город Солигалич и впадает в р. Кострому», — неспешно начинает Бородин повествование и так же неспешно говорит о геологическом строении местности, об истории соляных промыслов и основании курорта. Далее он подробно описывает предпринятый химический анализ, не упуская ни одной реакции, и резюмирует: «Из этих анализов видно, что соли галичские воды принадлежат к соляным минеральным водам, содержащим незначительное количество сероводорода и железа, и походят по составу на старорусские, деденгские и многие другие соляные воды».

Занимаясь в лаборатории, Бородин замечал, что происходит в общем зале, в буфете, в помещении для музыкантов и, конечно, в двадцати ваннах. В своей статье он не забыл рассказать обо всех лечебных процедурах, о диетах для пациентов, разобрал десять характерных примеров лечения на Солигаличском курорте, привел исчерпывающие списки показаний и противопоказаний и заключил: «Впрочем, невозможно исчислить всех частных случаев, при которых лечение

водами уместно или неуместно, и при этом необходимо руководствоваться индивидуальностью каждого больного. Здесь, как и при всяком лечении, прежде всего должно иметь в виду общее состояние здоровья пациента, ибо в строгом смысле мы никогда не лечим *болезни*, но лечим *больного*». Так мыслил тогда Бородин, химик и врач, человек разносторонних интересов.

Кокорев получил отличную рекламу, а Бородин — гонорар три тысячи рублей и уже четвертую научную публикацию. Курьезным образом под статьей Кокорева и Бородина редакция «Московских ведомостей» поместила объявление: «В среду, 3-го июня, по болезни г. Садовского, вместо объявленной комедии: «Недоросль», русскими придворными актерами представлено будет: «Минеральные воды», водевиль в 1-м действии...» Этот старый-престарый водевиль Эжена Скриба в 1850 году был переведен на русский язык Дмитрием Тимофеевичем Ленским (Воробьевым), что свидетельствует об актуальности курортной темы.

Испробовал ли молодой доктор медицины на себе целебность вод? Неизвестно. Брал ли в Солигалич брата Митю, страдавшего золотухой? Вряд ли. Водолечебница ныне носит название «Бальнеологический санаторий имени А. П. Бородина», а уроженец Солигалича химик Николай Александрович Фигуровский стал одним из биографов нашего героя.

Ранней осенью 1859 года на вечере у профессора академии Степана Алексеевича Ивановского жизнь снова свела Бородина с Мусоргским. Возмужавший «мальчонок» огорошил молодого химика заявлением, что «специально занимается музыкой, а соединить военную службу с искусством — дело мудрёное». Его выход в отставку после обязательных двух лет службы, конечно, объяснял, отчего Мусоргский, разом лишившийся и строевой подготовки, и верховой езды,

начал полнеть. Само же решение Бородина озадачило, что неудивительно. У Мусоргского была служба, состоящая из одних дежурств и караулов, жалованье, далеко не покрывавшее неизбежных расходов петербургского гвардейского офицера, и дававшее некоторый доход имение. У Бородина была любимая профессия, сулившая и положение в обществе, и материальное благополучие, шедшая к разорению «тетушка», «двоюродные» братья-подростки и крепнущее чувство ответственности.

Хозяева усадили их играть в четыре руки Шотландскую симфонию Мендельсона, затем Мусоргский снова огорошил знакомого, наиграв отрывки из Рейнской симфонии Роберта Шумана — совершенно нового для Бородина композитора. Скерцо самого Мусоргского, вскоре затем исполненное под управлением Антона Рубинштейна в концерте Русского музыкального общества, Александра Порфирьевича просто изумило. О своих композициях он вновь промолчал. Он вообще во многих ситуациях предпочитал хранить молчание, даже к Зинину на младших курсах долго не решался подойти.

От этого периода не осталось никаких музыкальных сочинений. Продолжалось хождение с виолончелью к Гаврушкевичу и, вероятно, общение на предмет музыкальной теории с чехом Иосифом Карловичем Гунке, скрипачом, органистом, автором учебника гармонии (1852), а в недалеком будущем — и учебника композиции (1859). Гунке предпочитал говорить с учениками по-немецки, но Бородина это смутить не могло. Продолжалось посещение иных кружков и вечеров, танцы, вероятно, импровизация на фортепиано новых вальсов, полек и мазурок. Продолжалось и то, что позднее в письме жене Бородин назвал «давно прошедшим периодом моего музикииствования, когда я посещал еще певческие упражнения, где, бывало,

пелись: всякие *Mia letizia, fra poco*, романсы Гурилева, Варламова и Вильбоа. Вообрази, что и теперь в подобном кружке поется совершенно то же самое: те же *fra poco*, те же «Пловцы» Варламова, те же «Моряки» Вильбоа... Те же песни, те же нравы, та же маленькая зависть, крошечные интрижки между поющими, громадные самолюбия, торжествующие или оскорбленные! Кажется, как будто все это окаменело...». Бородин упомянул каватину Оронто из «Ломбардцев» Верди и сцену Эдгара из «Лючии ди Ламмермур» Доницетти — музыку 1830—1840-х годов. Мусоргский, игравший отрывки из «Трубадура» и «Травиаты», был на этом фоне просто авангардистом! Итак, музицирование Бородина продолжалось на старый лад, работа на нотной бумаге не велась — серьезные помыслы были всецело отданы химии.

Каков был Александр Порфирьевич в то время? Веселый, обаятельный, отменный танцор — весь в «тетушку». Исключительно хорош собой, скромн, воспитан, недурной пианист, не прочь и в пении поучаствовать, обладая тенором, — одним словом, всеобщий любимец и желанный гость в любом доме. Он очень нравился женщинам, но мемуаристы в один голос утверждают, будто Александр Порфирьевич мало обращал на них внимания. Митя приводит комический случай, произошедший в Солигаличе: «Барыни преследовали его своими ухаживаниями, и однажды некоторая Б., вызвавшись довести его до квартиры, которую он занимал, привезла его в свое имение, находившееся в нескольких верстах от Солигалича. Барыня красивая и роскошная признавалась ему по приезде, что она похитила его и что он теперь в ее руках. Затем она отправилась переодеваться и вернулась облаченной в богатый пеньюар. Появилась закуска и вино, и брат, по непривычке к нему, несколько захмелел. Когда же он улегся на постланной ему в зале

постели и хозяйка явилась проведать его ночью, то нашла — увы! — спящим крепчайшим сном праведника. Наутро брат, сконфуженный, поспешил уехать из-под чересчур гостеприимного крова». Очень типичная для Бородина ситуация: он скорее холоден, чем пылок, но не протестует, не спасается бегством, а как бы нечаянно исчезает в объятиях Морфея... Если, конечно, при рассказе «тетушке» крепость сна праведника не была преувеличена.

Глава 5

«ОН ИЗ ГЕРМАНИИ ТУМАННОЙ ПРИВЕЗ УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ...»

Вечером 27 октября 1859 года из Петербурга по Петергофской дороге выехала почтовая карета. На одном из двух наружных мест помещался Бородин. «Земную жизнь пройдя до половины» (о чем никто тогда не подозревал), он был послан с высочайшего разрешения за границу на два года для усовершенствования в науках и подготовки к должности адъюнкт-профессора. В обеспечение поездки за ним сохранялось жалование в госпитале, к которому академия добавляла еще тысячу рублей серебром. Выданный военным генерал-губернатором Петербурга паспорт предписывал местным властям «доктора Медицины Бородина... не токмо свободно и без задержания везде пропускать, но и всякое благоволение и вспоможение оказывать».

Молодой человек рассчитывал за три-четыре дня достичь Кёнигсберга, откуда начиналась тогда железная дорога. Какое там! Миновав Нарву, пришлось в Эстляндии и Лифляндии прочувствовать все прелести скверного тракта, плохо подкованных лошадей и в довершение повстречать «потомка ливонских рыцарей» в лице нахального почтового чиновника, морившего проезжих голодом. Лишь в Курляндской губернии наконец покатили резво. 1 ноября Бородин был в Таурогене, на другой день — в Тильзите и через шесть дней пути прибыл в Кёнигсберг. Уже начались морозы, пошел снег. Путешественник спал, сидя снаружи кареты и укрываясь кожаной «занавеской», но не жаловался.

Авдотья Константиновна позаботилась о теплой экипировке, «маменька» напекла в дорогу крендельков, ром он предусмотрительно захватил сам.

Согласно полученному от Зинина напутствию за границей следовало за два года изучить методы теоретической и прикладной химии в парижских лабораториях Вюрца, Бертло и Сент-Клер Девиля и в лондонской лаборатории Аугуста Гофмана. С целью знакомства с современным приложением химии к физиологии и медицине требовалось поработать у Шерера в Вюрцбурге и у Либиха в Мюнхене. Надлежало также посещать фабрики, заводы и месторождения полезных ископаемых в Англии, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Силезии, Франции и Чехии. Но прежде всего — отправиться в Гейдельберг, дабы в лаборатории Ро-борта Вильгельма Бунзена постичь газометрию. Дважды в год от Бородина ожидали отчетов.

Первый же день в Гейдельберге внес в этот план сумятицу. Около полудня Бородин и его случайный попутчик ботаник Боргцов, два года проводивший с научными целями в Киргизской степи и даже побывавший у киргизов в плену, а ныне чинно следовавший из Дерпта в Вюрцбург, прибыли в город. Пошли пообедать и встретили Сеченова с Менделеевым. Менделеев приехал еще весной и тоже планировал работать у Бунзена, но ни обстановка, ни оборудование ему не подошли. Он предпочел обустроить дома собственную лабораторию, куда и потащил Бородина сразу после обеда. Осмысливая новую информацию, Бородин вместе с Борщовым отправился впервые по выезду из Петербурга помыться. Что делают химик и ботаник, пока им готовят ванны? В четыре руки играют увертюру к «Жизни за царя»! Гак совпало, что хозяйка ванн заодно сдает напрокат фортепиано и фисгармонии, а Борщов — хороший музыкант и приверженец «нашего»

направления, то есть фанатичный поклонник Михаила Ивановича Глинки. Логично спросить: что это за «наше» направление, какой таинственный музыкальный кружок за ним стоит, Бородин ведь еще не вошел в «Могучую кучку»?..

Искупавшись и приценившись к фортепиано, Александр Порфирьевич возвращается в гостиницу «Баденский двор». После Петербурга всё кажется неприлично дешевым, предстоящие два года командировки рисуются вечностью — начинается новая прекрасная жизнь.

О пребывании Бородина за границей известно едва ли не всё. Он официально отчитывался перед академией, полуофициально — перед ее главой Дубовицким, принимавшим участие в судьбе своего будущего профессора, и совсем неофициально — перед Зининым. Обстоятельные послания отправлялись Авдотье Константиновне и по-прежнему жившему в семье Максе Сорокину, а через него, тайно, — «маменьке». Оплаченные авансом письма почта с легким сердцем теряла, посланные наложенным платежом доставляла аккуратнее.

Не в пример эстляндским лошадям, события понеслись галопом. Снял комнату. Закупил на всю зиму буковых дров. Взял напрокат фисгармонию, абонировался в библиотеке на книги и ноты. Восхитился чистеньким городом («по субботам неуклюжие немки моют не только тротуары, но и улицы») и романтическими окрестностями: «С одной стороны горы (на одной из них чудные развалины замка, обросшие плющом), с другой стороны прекрасная река». Посетил концерт местного симфонического общества. От жены офтальмолога Эдуарда Юнге (урожденной Толстой) получил сборник арабских песен Сальвадор-Даниэля, который много лет спустя чуть-чуть пригодится для половецких сцен «Князя Игоря». Ужаснулся любви

немцев сплетничать и нелепости местных студенческих обычаев. Побывал в суде присяжных и осмотрел тюрьму из одних одиночных камер. В немецком театре вкусил всю бессмысленность пьесы «Расточитель». В Висбадене впервые увидел рулетку, которая произвела тяжелое впечатление: показалось, будто попал в дом умалишенных. Это не метафора, это мнение выпускника Медико-хирургической академии, где имелась собственная психиатрическая клиника.

Бунзен, то занимавшийся с начинающими, то погружавшийся в чистую физику и к тому же заметно терявший слух, Бородин как руководитель не привлек, однако он заглядывал в его лабораторию: изобретение спектрального анализа и открытие с его помощью цезия и рубидия не прошли мимо внимания Александра Порфирьевича. Заниматься органической химией оказалось продуктивнее в лаборатории приват-доцента Эмиля Эрленмейера, здесь Бородин принялся за способы получения новых кислот.

Не прошло и месяца, как начались стремительные перемещения — столько хотелось успеть! Пришлось метнуться за материалами для работы в Дармштадт, за приборами — в Париж, в обществе Менделеева и Сеченова. В Париже Бородин наконец-то застал Бертло, который провел с ним настоящий «мастер-класс». Сеченову же это короткое (чуть больше недели) пребывание в Париже запомнилось непрерывными танцевальными вечерами, посещениями театров, бурными ужинами и маскарадом в Опере, где гений физиологии угощал балерин конфетами.

Весной Бородин ездил осматривать цинковые рудники в Вислохе, неподалеку от Гейдельберга. В июле отправился проводить в Бонн жену Модеста Яковлевича Киттары — казанского студента Зинина, в котором Николай Николаевич разглядел прирожденного технолога. Позднее Киттары был специально приглашен

в Москву Обществом купцов и фабрикантов, чтобы занять кафедру технологии Московского университета. Он руководил Московской практической академией промышленных наук, выпускал «Журнал Московского общества сельского хозяйства» и газету «Промышленный листок». Этого великого практика, специалиста по кожевенному делу, винокурению, товароведению, консервированию продуктов, мыловарению московские промышленники только что на руках не носили... В Бонне Бородин не сошел на берег, а поплыл дальше до самого Роттердама.

Вернувшись в августе в Гейдельберг, Бородин обнаружил там Зинина, который готовился к обустройству в МХА новой лаборатории и с этой целью объезжал научные уголки немецких и французских коллег. Втроем с Менделеевым двинулись в Швейцарию (болезненность Бородина явно осталась в прошлом). Пылкий неугомонный Менделеев, любивший много ходить пешком, видел больше всех, запомнил больше всех и записал больше всех. В том числе общие для всех троих впечатления от грандиозного органа в швейцарском Фрайбурге: «Сумерки. В церкви освещен был только орган и горела одна лампада на алтаре. Среди этой романтической обстановки рождались звуки, в которых слышалось все, что никакой оркестр не может выполнить. Особенно поразительны звуки, подражающие человеческому пению».

Из Швейцарии прибыли в Карлсруэ, где уроженец Петербурга, но при этом природный немец Карл Вельцин принимал у себя первый в истории Международный химический конгресс, собравший весь цвет науки — 150 химиков. Это было эпохальное событие: решались фундаментальные вопросы разграничения понятий молекулы и атома, определения атомного веса, выбор единообразной системы обозначений. Решающую роль сыграл доклад Станислао Канниццаро (Бородин тут,

кажется, впервые обратил внимание на итальянскую науку). Молодой, но представительный и хорошо говоривший на всех языках русский химик оказался в своей стихии. С тех пор он с энтузиазмом относился к конгрессам, съездам, обществам, будь то научные или музыкальные. В комитет из тридцати ученых, занимавшийся формулировкой проблем, он не вошел и на сессиях, по-видимому, не выступал, но принимал участие в голосованиях.

Зинин отправился домой, Бородин с Менделеевым — обратно в Гейдельберг, где пробыли всего около полутора месяцев (по-видимому, деля в целях экономии одну комнату). Затем оба направили стопы в Рим. Шел 1860 год, Италия отвоевывала независимость. Прошло всего несколько месяцев после сицилийского похода Гарибальди, давшего возможность патриоту Канниццаро наконец-то вернуться в родной Палермо после двенадцатилетнего запрета под страхом смертной казни. Естественно, австрийцы на итальянской границе тщательно проверяли всех путешественников. Менделеева и Бородина задержали и отвели в отдельную комнату, Бородину велели раздеться, что тот и сделал с несерьезным видом, да еще ногами «антраша выкинул». После обыска друзей отпустили, поезд тронулся — итальянцы вдруг кинулись за что-то благодарить русских. Выяснилось, что в том же вагоне ехал революционер, которого австрийцы проглядели, приняв за него Бородина. Из Генуи двинулись в Чивитавеккья, оттуда в Рим. В соборе Святого Петра Бородин видел папу в окружении кардиналов. В обществе Менделеева скучать не приходилось, с утра до вечера оба без отдыха осматривали церкви, музеи и усиленно посещали представления в «народных» театриках. Значит, итальянский язык уже тогда был им несколько понятен (позднее Александр Порфирьевич говорил на нем совершенно свободно).

Из Рима путь Бородина вновь лежал в Париж. Там он поселился вместе с химиком Валерианом Савичем, прежде тоже работавшим у Эрленмейера. Оба вступили в Парижское химическое общество, основанное в 1858 году Шарлем Адольфом Вюрцем. 13 (25) ноября Бородин уже хвастался Менделееву, что читал в обществе «одну из моих х... на заячьем меху», то бишь делал научный доклад. Вот только денег на вступительный взнос долго не было, перевод из Петербурга запаздывал.

Русские, привыкшие дома к хорошему отоплению, в Париже зимой мерзли. Бородин отделался недельным недомоганием. К большому удивлению соседа, дипломированный врач ни к каким медицинским средствам не прибегал — просто лежал на диване и ничего не ел, пока хворь не прошла. Он действительно не любил лечиться и до последних дней жизни не переменил своих привычек. Неудачник Савич упорно занимался синтезом ацетилена, который наконец осуществил чуть ли не день в день с казанцем Мясниковым, и переводил на французский свежие статьи Менделеева. В ту зиму у него началась болезнь, через два года сведшая его в могилу.

Кажется, весь Петербург в ту зиму переехал в Париж. Бородин собрался было встречать Новый год у Тургенева. Историк Степан Васильевич Ешевский, собиравший во Франции материалы для диссертации о королеве франков Брунгильде, сообщал жене в Москву: «Я иду встречать... к Тургеневу вместе с М. Ал.^[7], Бородиным, Пассеком и только. Назвались было другие, и это едва ли не расстроилось, но Тург. придумал сказать, что он может быть дома только в 11 часов вечера и, таким образом, дело уладилось». В итоге именно Бородин решил, что у Тургенева обязательно засидятся до утра, и не пошел к нему, а тихо-мирно направился в гости к одному из соучеников по академии, но... «Тут оказались барыни, имеющие ложу на *Bal de*

l'Oréga, но имеющие одного только кавалера. Они пристали ко мне, чтобы я ехал. Делать нечего — я как был в сюртуке и без перчаток и поехал. Пробыл там до 5 утра». О русские барыни, они всегда умели рушить его планы!

На Масленице снова пошли балы, а там пришлось наблюдать местные пережитки язычества — конкурс на самого толстого быка: «Быка, украшенного венками, гирляндами etc., etc., везут на колеснице, при нем состоят мясники, одетые жрецами; сзади колесница, наполненная огромным числом «древних богов» на французский лад; между богинями попадаются очень недурные. При появлении быка в народе подымается шум, гвалт, точно при появлении императора. Вот разница между немцами и французами: у первых *«Marktezug»* шумит и восторгается, а зрители, уткнув рыло в землю, глубокомысленно молчат, у французов наоборот».

Тем временем Бородин оборудовал на квартире лабораторию и занялся молекулярной поляризацией. Кроме того, ходил учиться выдувать стеклянную посуду. Если в Гейдельберге он систематически посещал только курсы ботаники и минералогии, то в Париже у него глаза разбежались: слушал курсы Анри Виктора Реньо о пресловутом «теплороде», Анри Гюро де Сенармона — о физических свойствах кристаллов, день за днем метался между добрым десятком учебных заведений, анализируя манеру подачи материала профессорами. Впоследствии Бородин сделался блестящим лектором, очень ясно излагавшим предмет. Идеалом для него остался Клод Бернар, читавший в начале 1861 года курс «о крови и других жидкостях организма» так, что «каждая лекция врезывается в памяти слушателя, без всякого усилия со стороны последнего».

Срок командировки Менделеева заканчивался, выхлопотать дополнительный (третий) год не удалось.

Дмитрий Иванович собирался домой в раздумьях, соглашаться ли на место в Горы-горецком земледельческом институте, тогда еще не переведенном из Могилевской губернии в Петербург, или ехать наудачу прямо в столицу. Вот и Бородин прикинул оставшееся до возвращения в Россию время, вздохнул мечтательно об Испании и пустился в «прощальный тур». Весной 1861 года из Парижа — снова в Италию. Во Флоренции восхитился галереей Уффици и бесподобным мороженым, через Сиену с трудом добрался на фабрику в Лагони, где видел целое море борной кислоты. Не позднее 26 апреля (нового стиля) прибыл в Неаполь и оставался там как минимум до 14 мая. Хотя 12 дней он проболел желтухой, но все же успел, по-видимому, совершить восхождение на Везувий, поскольку собрал для музея академии коллекцию лав вулкана и его второй вершины — Монте-Сомма. Везувий был спокоен, следующее его извержение случилось только в 1867 году. Возможно, Бородин нанес визит в недавно открытую Обсерваторию Везувия, где уже развернулось изучение вулкана. Затем через Швейцарию он двинулся в Вюрцбург, чтобы изучать физиологическую химию у Иоганна Иосифа Шерера, но что-то пошло не так, и через две недели он уже постигал практическую кристаллографию у Германа Коппа в Гиссене. 17 марта Конференция Медико-хирургической академии по просьбе Бородина, которую тот мотивировал большим числом изучаемых дисциплин, встретившимися препятствиями и неготовностью лаборатории в Петербурге, продлила командировку на год, до августа 1862 года.

Вернувшись наконец в Гейдельберг, Бородин снова обосновался у Эрленмейера и занялся действием хлоройодоформа на цинк-этил, в январе того же года полученный Менделеевым. В том же году он разработал способ получения бромзамещенных жирных кислот и

открыл реакцию, сегодня известную как реакция Бородина — Хунсдиккера. 19 сентября на берегах Рейна в Шпайере (в 15 километрах от Гейдельберга) Бородин на 36-м съезде Общества немецких естествоиспытателей и врачей слушал исторический доклад Александра Михайловича Бутлерова «О химическом строении веществ», довольно прохладно встреченный немецким большинством. Тем временем в Гейдельберге учредилось «домашнее» Русское химическое общество — прообраз будущего «настоящего».

В этот период своей жизни Бородину довелось в первый и единственный раз выступить в суде в роли адвоката. Однажды он с другим химиком, Петром Петровичем Алек-соевым, переправлялся через Неккар. Алексеев повздорил с лодочником и обозвал его свиньей, но, плохо зная язык, перепутал артикль. Получилась грамматически невозможная фраза: *Du bist der Schwein*. Лодочник рассердился и потащил обидчика к судье. Там Бородин на чистейшем немецком произнес речь, суть которой заключалась в следующем: раз у Алексеева не получилось выругаться по-немецки, то и оскорбления не было. Все это «адвокат» изложил так комично, что к концу выступления и судья, и лодочник умирали со смеху. В этом весь Бородин с его умением мирно разрешать конфликты — спокойно и с юмором!

А всё же в Гейдельберге обходиться без знания немецкого языка временами было легче, чем в Медико-хирургической академии. Русская колония была многочисленной, неожиданно для себя Бородин даже обзавелся некоторой медицинской практикой. Недаром Тургенев в «Отцах и детях» (1862) именно в Гейдельберг отправил незабвенную Гвдоксию Кукшину, хваставшуюся Базарову:

«— А вы занимаетесь химией? Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику.

— Мастику? Вы?

— Да, я. И знаете ли, с какой целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все это еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в «Московских ведомостях»? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос?»

Именно перед гейдельбергской русской колонией писателю пришлось затем оправдываться за свой роман, так велико было негодование. Достоевский иронизировал: Даже отхлестали мы его и за Кукшину, за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам на показ, да еще прибавили, что он идет против эмансипации женщины».

«Женский вопрос» в Гейдельберге интересовал буквально всех. Жизнь была ключом, радости сплетались с трагедиями. Многие дамы жили врозь с мужьями, некоторые даже официально. «Вольнолюбивые мечты», традиционно вывозимые юношеством из Германии, олицетворяла собой кузина Герцена Татьяна Петровна Пассек, любившая приглашать к себе молодых ученых. У нее те обычно встречали писательницу Марию Вилинскую (она же Марко Вовчок). Сеченову она сразу не понравилась, Бородин при первом знакомстве нашел ее «премилою барынею», но ни тот ни другой не знал, какие события вскоре развернутся вокруг нее. В декабре в Гейдельберге давали обед в честь Герцена. Тон задавали, естественно, поляки, и вот они почему-то объявили, что не будут сидеть за одним столом с Владиславом Олевинским — перспективным химиком-органиком (ему только что удалось синтезировать ацетон). Олевинский был человек впечатлительный и, что еще хуже, переживал несчастную любовь к Марко Вовчок. Той, однако, было не до химика: только что из-за очередного романа она рассталась с мужем. Олевинский сжег свои бумаги и отравился цианистым калием,

написав в предсмертной записке, что боится правительства (якобы всех, кто был на декабрьском обеде и кто хотя бы собирался туда пойти, ожидает ссылка), так все в его голове смешалось. Основные события происходили, когда Бородина в Гейдельберге не было, но он тяжело переживал этот случай.

Многие приезжали из России в злой чахотке — Бородин одного за другим потерял нескольких знакомых. Среди них была богатая, добрая и симпатичная Анна Павловна Бруггер, кормившая молодых химиков щами и кулебяками и особенно баловавшая Бородину: чинила его перчатки, завязывала галстук, даже причесывала его...

От общения с «глупыми аристократами» Бородин в письмах всячески отрекся. Но вот повстречались ему племянники Лукаши, откуда-то возник то ли новый знакомый, то ли дальний родственник по линии Гедиановых — князь Николай Иванович Кудашев, большой оригинал, химик-любитель, позднее сыгравший свою маленькую роль в появлении «Князя Игоря». И еще один компрометирующий факт: Бородин стал учиться верховой езде!

Чернышевский полагал, что те, у кого головы набиты книгами и препаратами, — «без эстетической жилки». В своем писательском высокомерии он плохо знал людей, преданных русской науке и создавших ее славу. Менделеева Бородин прозвал «Леонорой», потому что тот постоянно напевал тему из увертюры Бетховена. Ольхин приехал с молодой женой Софьей Карловной, певшей то алябьевского «Соловья», то *Caro mio ben* Томмазо Джордани. Приехал и Makeя Сорокин. Музицирование обычно происходило по вечерам в пансионе приват-доцента Карла Ивановича Гофмана. Некоторое время тот преподавал в Московском университете греческую словесность, женился в Москве на русской девушке, а в Гейдельберге сумел извлечь из

своего прошлого максимальную выгоду: его дом стал центром русской колонии. Александр Порфирьевич однажды спас маленького сына Гофмана, когда тому в гортань попал стеклянный шарик.

Бородин с первых дней набросился на все музыкальные удовольствия города: играл на флейте, еженедельно усердствовал в квартетах и квинтетах, участвовал в живых картинах у отменно певшей «фрау доктор Кунц», играл на виолончели и на фортепиано с некой Штуцман, играл даже в оркестре — доподлинно известно, что принял участие в исполнении оратории Мендельсона «Павел». Со встреченными на танцах английскими дамами молодой ученый музицировал на двух фортепиано в восемь рук. Тут выяснилось, что учитель Ропер поделом получил от Федорова по носу — в английском Бородин оказался позорно слаб.

Он снова стал сочинять музыку. Появились пьесы для фортепиано, виолончельная соната на тему Баха, еще одно трио, струнный секстет, написанный, по выражению автора, «чтобы угодить немцам». «Чтобы угодить» — ключевые слова. Попадая в новый кружок, Бородин благодаря широте музыкальной эрудиции везде умел быть в своей тарелке, не навязывая собственных пристрастий. Сеченов со времен учебы в Петербурге в Инженерном училище был заядлым италоманом — Бородин играл для него чуть не целиком «Севильского цирюльника» и вообще играл, что ни попросят, причем наизусть. Это любивший немецкую музыку Боткин пытался хождениями на симфонические концерты лечить Сеченова от пагубных пристрастий, Бородин же перед будущим великим физиологом скрывал, что в душе он серьезный музыкант.

Знакомая, кажется, со всеми петербургскими и московскими химиками Авдотья Константиновна оставалась дома, держала руку на пульсе, ведала получением и отправкой сыну казенных денег. Еще не

миновала первая для Александра Порфирьевича зима за границей, как коварный Сорокин взбудоражил «тетушку» заявлением: Бородин-де собирается жениться на «мадемуазель Окладных». Сорокину было сделано строгое внушение в письме с эпиграфом в виде неточной цитаты из только что вышедших «Забракованных» Некрасова («трагедии с эпилогом, с национальными песнями и плясками и великолепным бенгальским огнем»), очень в духе бородинского «клозетного» юмора:

...весна:
Пора свезения навоза
С господского двора.

Авдотья Константиновна в трех письмах кряду получала от сына заверения, что Макся-де враль: «Утешьтесь, душенька, я, лопни глаза мои, не думаю сочетаться браком. А если уж очень приспичит — сиречь если майский воздух и хорошая природа напомнит... — так у нас под боком Франкфурт — 4 гульдена... — не верите — спросите Николая Николаевича. Он это хорошо знает». Зная, чего «тетушка» боится пуще всего на свете, Бородин дразнил ее да еще кивал на профессора. А Менделееву в первом же письме из Парижа сообщил: «Девки постоянной решился не заводить — много возни; да и времени много отнимет». В следующем письме он присовокупил к рассказу о домашнем обеде у профессора Высшей фармацевтической школы Альфреда Риша такое вот замечание: «Ну, брат, какая у него жинка, просто пальчики оближешь; тип французских миленьких женщин. Дай бог и нам такую же, если уже чорт попутает нас жениться когда-нибудь». Кто знает, может, и проезжала через Гейдельберг загадочная девица Окладнюк...

Глава 6

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ

Осенью 1861 года Бородин снова уехал в Италию и последний год заграничной командировки провел в Пизе. Существуют три версии такого поворота событий. Первая изложена в официальном отчете Бородина: «В октябре в вакационное время я поехал снова в Италию и в этот раз исключительно для Канниццаро, идеи работы которого произвели громадную реформу в химии развитием молекулярной теории и установлением точного понятия о весе химической частицы. Обстоятельство совершенно непредвиденное — а именно: задержание прусскою почтою высланных мне казенных денег, — заставило меня пробыть в Пизе гораздо более, нежели я рассчитывал. Чтобы не терять времени, я начал заниматься в университетской лаборатории...» Пизанская лаборатория в отличие от немецких оказалась некоммерческой, бесплатной. Благодаря большому количеству платиновой посуды (видимо, оставшейся там от химика-органика Рафаэля Пириа) Бородин не только продолжил работу с бензилом и хлоройодоформом, но и плотно занялся фтористыми соединениями. Здесь ему удалось впервые в истории химии получить фторорганическое соединение — фтористый бензол — и найти метод получения фторангидридов карбоновых кислот. Так и остался в Италии.

Вторая версия содержится в письме Менделееву от 7(19) января 1862 года: «Поехал я в Италию через Милан и Болонью, проводил в Пизу одну барыню, ехавшую туда для здоровья и заболевшую у меня на руках. Как было бросить се — я остался, истратил все деньги, что были у меня. От скуки и безденежья пошел шляться, зашел к *De*

Лука, тот предложил к моим услугам лабораторию со всеми средствами и даром; что — думаю себе — работать можно везде, а по крайней мере времени не теряешь. Ну, и остался».

Третья версия выясняется из рассказа «одной барыни»:

«Тронулись на юг вдвоем: А. П. оставил на несколько дней гейдельбергскую химическую лабораторию, чтобы меня проводить и устроить в Пизе. Там встретил нас итальянский октябрь, не чета германскому: жара, комары — лето совершенное. Мне сразу стало легче дышать; на меня снова повеяло жизнью. А жизни мне тогда хотелось более чем когда-нибудь!..

Но дни бежали; быстро приближался час разлуки, первой моей разлуки с А. надолго. Нравственная пытка настала для нас обоих. На меня просто какой-то панический страх напал: остаться одной, совсем одной, без любимого существа, в чужом городе, среди чужих людей, не понимающих ни слова из моей французской речи, которою я вместе с немецким диалектом, собираясь за границу, наивно думала заменить все другие мне незнакомые европейские языки...

Вот, однако, и последний день: долее уже А. нельзя было со мной оставаться. С утра справился он о часе отхода поезда, собрал все свои дорожные вещи и, чтобы уже самые последние часы не разлучаться со мной, поспешил с официальным визитом к двум известным пизанским химикам Лукка и Тассинари; избежать этого визита было невозможно; А. и то отложил его до самого крайнего срока.

Я осталась одна. Жутко мне стало и больно, больно; сказать нельзя, как больно и грустно... Я бросилась на постель и не могла сдержать слез...

Вдруг, ушам не верю, слышу голос возвращающегося Александра: «Катя, вообрази, что случилось! Я не еду в Гейдельберг, я буду здесь с тобой все время. Лукка и

Тассинари любезнейшим образом меня приняли; лаборатория у них превосходная, светлая, удобная; они мне ее предложили в мое распоряжение; и как ведь хорошо это вышло: фтористые соединения, к которым я теперь приступаю, требуют опытов на воздухе; в Гейдельберге холодно слишком для этого; здесь же могу этим заниматься без помехи всю зиму...» Это было блаженство!..»

В трех версиях совпадает только один пункт: Бородин не собирался задерживаться в Италии. С Канниццаро он, конечно, и не думал встречаться, тот угодил в отчет исключительно ради научной весомости. Де Лука и Тассинари — люди по-своему замечательные, но далекие от уровня Канниццаро и Бунзена.

Профессор Себастьяно де Лука учился в Париже у Бертло. За пять лет работы в Пизанском университете он поднял уровень преподавания химии, занимался исследованиями морской и минеральной воды. Университетской лабораторией на улице Санта-Мария заведовал Паоло Тассинари, который учился фармации в Болонье и недолгое время работал в пьемонтской лаборатории Канниццаро. Теперь он готовился стать преемником де Лука, что и осуществил уже через несколько месяцев. Тассинари знаменит как пионер итальянской фотографии и еще тем, что в ноябре 1862 года делал анализы крови привезенного в Пизу Джузеппе Гарибальди, раненного и взятого австрийцами в плен у Аспромонте. Жаль, что Бородин уехал из Пизы в августе, ведь когда на празднике независимости итальянцы кричали: «Да здравствует Гарибальди!» — у него из глаз катились слезы. Да одного знакомства в Карлсруэ с пылким Канниццаро было довольно, чтобы стать в душе гарибальдийцем! На родину Бородин привез отпечатанный 29 мая 1862 года в Пизе список профессоров и студентов, погибших за возрождение (*rinnovamento*) Италии.

Пизанский университет до сих пор гордится, что русский химик и композитор провел в городе и его окрестностях десять месяцев, занимаясь в лаборатории и сочиняя фортепианный квинтет до минор. Но по большому счету в ту осень химия впервые была принесена в жертву, и отнюдь не музыке (хотя музыка в этой истории тоже отчасти виновата). Бородин надолго выпал из круга блестящих ученых.

А все потому, что 15 мая 1861 года в Гейдельберг прибыла из Москвы для климатического лечения Екатерина Сергеевна Протопопова. Ее попутчицей была миниатюрная Поликсения Киттары — та самая, которую в ее прошлый приезд в Германию Бородин провожал в Бонн. Как впоследствии узнала Екатерина Сергеевна, пока они плыли по Рейну, между ними разыгралась «одна из тех историй, которых в жизни А. П. было много и где он по обыкновению изображал из себя прекрасного Иосифа». Жену Потифара изображала, соответственно, жена Киттары (будучи старше своего мужа-технолога, она уже отметила свой сороковой день рождения). Поскольку дело происходило не в Древнем Египте, новоявленная «жена Потифара» отнюдь не заточила прекрасного юношу в темницу, а всего лишь обменялась с ним фотографиями и осталась его горячей поклонницей. По пути из Москвы она так надоела Екатерине Сергеевне рассказами, какой пресимпатичный и преинтересный человек Бородин, что та уже слышать о нем не могла.

Компаньонки остановились в пансионе Гофмана. «Жене Потифара» не терпелось похвалиться талантом своей знакомой перед всей «гофмановской компанией» русских. Не ведая, что творит, она отправила небольшую группу молодежи уговаривать больную и усталую Екатерину Сергеевну спуститься в зал и что-нибудь сыграть. В разношерстной группе мемуаристами были замечены этнограф Владимир Николаевич Майнов,

братья Бакст (один — физиолог, другой — профессиональный революционер), химики Лисенко и Бородин. «Что-нибудь» оказалось пьесами Шопена и Шумана. Александр Порфирьевич стоял у фортепиано, обескураженный и почти совершенно новой для него музыкой, и пианисткой. Высокая, полная, она вряд ли напомнила ему миленькую француженку мадам Риш. Дело было в другом: он, с юности избалованный вниманием, встретил женщину, которая при первом взгляде на него не только не превратилась в очередную «жену Потифара», но даже не обрадовалась его обществу.

Уже речи не было о «Севильском цирюльнике». Бородин теперь старался произвести впечатление пресерьезного музыканта и гордо отрекомендовался «ярим мендельсонистом». И что же? В ответ он услышал, что Феликс Мендельсон — вчерашний день. Современная музыка — это Шопен и Шуман, мимолетно знакомый Бородину благодаря Мусоргскому. Екатерина Сергеевна занялась ежедневной «пропагандой», собрала добровольцев-струнников, и они вместе сыграли шумановский квинтет. Бородин просто «очумел» от восторга: «Знаете, матушка Катерина Сергеевна? Ведь вы мне с вашим Шуманом спать не даете; и у вас-то он какой хороший выходит». «Матушка» в его устах могло звучать почти интимно.

Жизнь вновь переменилась. Как вспоминала Екатерина Сергеевна, «день его устраивался так: с пяти утра до пяти вечера — химическая лаборатория; с пяти до восьми — наши с ним прогулки по горам; с 8 или с 9 вечера и до 12 ночи — музыка в зале гофмановского пансиона». Они стали часто ездить в Баден-Баден слушать оркестр. Бородин был потрясен, обнаружив у Екатерины Сергеевны абсолютный слух, которого сам не имел. Там же, в Бадене, выдающийся скрипач Фердинанд Лауб твердил ей, что Бородин будет великим

музыкантом. Большинство путешественников, однако, влекла в Баден не музыка, а рулетка. Екатерина Сергеевна бросилась играть со всей страстью. Бородин про себя ужаснулся, но не стал читать нравоучений, а сделал вид, будто ему срочно нужны деньги, и занял у дамы всю еще не проигранную наличность.

В августе он сочинил скерцо для фортепиано в четыре руки — можно не сомневаться, чьи руки сыграли его первыми. «Гофмановская компания» стала посещать театр в Мангейме, где шли оперы Вагнера. Исполнялись «Летучий голландец», «Тангейзер» и «Лоэнгрин». «Массивность, яркость и блеск вагнеровской оркестровки просто ослепляли нас в чудесном исполнении Мангеймского оркестра», — вспоминала Екатерина Сергеевна. В Гейдельберге барышня Протопопова ходила на концерты и репетиции оркестра, где Александр Порфирьевич играл на виолончели. Летом 1861 года Бородин пропустил заседание химического общества — с ним творилось что-то для него нехарактерное. К) (22) августа молодые люди, гуляя в ближайших окрестностях Гейдельберга, вышли к «Волчьему источнику». Вода фонтана лилась из четырех волчьих мордочек, в бассейне плавали форели, за столиками летнего ресторана сидели немцы и пили пиво. Молодые люди признались друг другу в своих чувствах... В то же лето они в обществе четы Бутлеровых побывали в Париже.

Осенью, когда Бородин вернулся с конгресса в Шпайере, Екатерине Сергеевне снова стало плохо, чахотка обострилась. Местное светило профессор Николаус Фридрайх велел срочно ехать в Пизу.

Нет, Бородин не собирался оставаться в Италии. Что бы ни происходило между ними в Гейдельберге, он просто поехал проводить «барыню», как годом раньше провожал в Бонн «жену Потифара». Может быть, ему припомнилось, что прошлой весной он не поехал в

близлежащий Висбаден проводить другую «барыню» в чахотке — Анну Павловну Бруггер и ее там до смерти залечили ртутью и кровопусканиями... Так что в Пизу он отправился ненадолго, «ну, и остался», мучаясь мыслью, как будет объяснять президенту Дубовицкому вопиющее отклонение от научных маршрутов. Пугливая беззащитная барыня «похитила» его — до конца дней. Диктуя незадолго до смерти воспоминания, она спокойно поведала о шокирующе неприличном путешествии девицы вдвоем с молодым человеком. До этого момента знакомые Бородиных знали иную версию событий, которую Стасов в 1887 году предложил читателям «Исторического вестника». Согласно ей Бородин на исполнении оратории в одной из немецких церквей «случайно познакомился с Катериной Сергеевной Протопоповой, русской, путешествовавшей в то время за границей... Впоследствии, когда оба воротились, скоро один за другим в Россию, и снова возобновили знакомство — они близко сошлись и вступили в брак». Через год ученик Римского-Корсакова Порфирий Алексеевич Трифонов, знавший Бородина с конца 1860-х, на страницах «Вестника Европы» добавил еще одну естественную и приличную деталь: «В одном из городов Германии Бородин случайно познакомился в концерте с Екатериной Сергеевной Протопоповой, путешествовавшей со своей матерью...»

О Екатерине Сергеевне говорят то как о добром, то как о злом гении Бородина. Она была главной любовью его жизни, и она же сумела превратить эту жизнь в нечто ни с чем не сообразное. Ей адресована добрая половина из дошедших до нас его писем, но лишь потому, что половину из двадцати с лишним лет их совместной жизни Александр Порфирьевич прожил соломенным вдовцом. Бородин бывал с Екатериной Сергеевной очень счастлив — а на семнадцатом году брака написал ей: «Кто же не знает, что вечного ничего

нет, всякая любовь выдыхается, из страсти переходит в привычку, дружбу, если не хуже — в охлаждение и даже ненависть. Но если начать любовь с такими мыслями, так угодишь или в Неву, или в сумасшедший дом... Брак и семья так скверно устроены, что шипов в них всегда найдется более, нежели роз, и когда я вижу вступающих в брак, мне всегда за них немного жутко. Семья и брак основаны всегда на жертвованиях, потере свободы, бремени забот и радостного ничего особенно не представляют... Кто-нибудь из двух, муж или жена, а чаще оба, являются здесь жертвами нелепости общественного строя, вследствие того что половые наслаждения и родительские обязанности с социальной и экономической стороны обставлены самым дурацким образом». Что только не сваливают на общественный строй!

Милий Алексеевич Балакирев, сообщая Стасову сведения о молодом Бородине, прибавил: «...жена Бородина Екатерина Сергеевна принимала участие в наших беседах, будучи прекрасной музыкантшей и весьма порядочной пианисткой. Ее симпатичная личность вносила особенную сердечность в наши беседы, воспоминание о которых для меня всегда будет драгоценным». Кажется, что в Екатерине Сергеевне уживались две личности. Одной молодой и восторженный Римский-Корсаков в 1870 году посвятил романс «В царство розы и вина приди». Другой не жаловавший женщин Мусоргский в 1868-м преподнес песню «Сиротка» («Барин мой миленький, барин мой добренький, сжался над бедненьким, горьким, бездомным сироточкой!») — в качестве «маленького утешения больной женщине». Супругу «сиротки» Модест Петрович посвятил пьесу *Intermezzo in modo classico*, которую он определил как «дань немцам», но которая имеет явное сходство с бородинской «Песней темного леса». Вторым подарком Александру Порфирьевичу

стала песня «Светская сказочка» («Козел»). Ни одно из трех посвящений дружбы композиторов не нарушило.

Глава 7

ДО ВСТРЕЧИ С ГЕНИЕМ

Екатерина Сергеевна Протопопова родилась 3 января 1832 года на окраине Москвы, в Голицынской больнице, в семье штаб-лекаря Сергея Степановича Протопопова и дочери смотрителя больницы Екатерины Алексеевны, урожденной Константиновой. Сестра близкой подруги Екатерины Сергеевны Евгения Яковлевна Визард сообщает в своих воспоминаниях, будто бы Сергей Степанович был не врачом, а священником князя Сергея Михайловича Голицына, но это неверно.

Поженились Протопоповы в 1831 году, а уже в 1836-м семья лишилась отца. Сергей Михайлович — директор основанной его дядей Голицынской больницы и почетный опекун Воспитательного дома — считал вдовью пенсию недостаточной. Он предоставил Екатерине Алексеевне небольшую квартиру в одном из больничных флигелей и велел выдавать продукты. Квартира сохранялась за вдовой ровно полвека, до самой ее смерти. В 1836-м семья Екатерины Алексеевны состояла из дочери, сыновей Алексея и Сергея и незамужней сестры Марьи. Попечением князя оба мальчика были приняты на казенный кошт в Александринский сиротский институт. В 1850 году институт преобразовали в кадетский корпус, младшего из братьев перевели в кадеты. Семья была очень сплоченной, мать, сестра и братья всю жизнь были нежны, заботливы и участливы друг к другу, но в общении преобладали пессимистичные тона. Они обожали называть друг друга «бедными» (в значении «несчастливыми»), «горькими», «горемычными». Среди любимых слов Екатерины Сергеевны были «сирота» и «сиротство». Вспоминая о

своих слезах в Пизе, Екатерина Сергеевна не преувеличивала — позднее любая грубость горничной заставляла ее проплакать часа четыре кряду и так и не наплакаться. Лейтмотивом семейной переписки осталась фраза, от которой поневоле руки опускались: «а что дальше будет, не знаю». В Протопоповых Бородин обрел бедных (во всех отношениях) родственников, в кузинах и подругах Екатерины Сергеевны — множество нуждающихся в протекции писательниц, чьи опусы он честно, но всегда безуспешно пытался пристраивать в петербургские издания.

Екатерина Сергеевна в детстве обучалась французскому и всем полагавшимся девушке наукам у матери, музыке — у тетки Марьи Алексеевны. К началу 1850-х годов ее музыкальные способности были уже хорошо известны в городе. Почти все ее педагоги — некто Константинов (родственник по матери?), Александр Иванович Дюбюк, Иоганн Рейнхарт — были учениками Джона Фильда. Талантливой девушке из бедной семьи пианисты охотно давали уроки бесплатно. Особенно гордилась она занятиями с гастролировавшим в 1853 году в Москве Юлиусом Шульгофом.

Неподалеку от Донского монастыря и Голицынской больницы, в доме Жемочкиных на Большой Ордынке (ныне Институт Латинской Америки РАН) держала небольшой пансион Евгения Визард, жена коллежского асессора Якова Ивановича Визарда, прибывшего в Россию из Лозанны, дабы обучать молодежь математике, но переключившегося на преподавание французского и латыни. В 1850 году Яков Иванович служил надзирателем мужского отделения Московского Воспитательного дома и преподавал в тесно с ним связанном Сиротском институте. Среди его учеников был Алексей Протопопов. Приблизительно в то же время Катя Протопопова стала обучать музыке старшую дочь Визардов Леониду. Ее прекрасное владение

французским языком, вероятно, следует объяснить посещением швейцарского пансиона.

В том же 1850 году Иван Михайлович Сеченов поступает в Московский университет, становится близким другом старших сыновей Визарда Владимира и Дмитрия и начинает много времени проводить в семье, о которой он вспоминал: «Музыка была представлена в этом доме учительницей старшей сестры, госпожей Протопоповой, очень хорошей музыкантшей, вышедшей впоследствии замуж за А. П. Бородина...» В том же самом году среди учителей Воспитательного дома появляется человек, первый год своего младенчества проведший там в качестве воспитанника, — Аполлон Александрович Григорьев, страстный меломан, ученик Фильда. И тогда же Михаил Петрович Погодин передает научно-литературный журнал «Москвитянин» «молодой редакции», куда наряду с Григорьевым входят Александр Николаевич Островский и Третий Иванович Филиппов.

Так Екатерина Сергеевна разом оказывается в окружении медицины, литературы и музыки. Аполлон Григорьев читает вслух Некрасова и устраивает на Ордынке любительские спектакли. В «Горе от ума» Скалозуба играет Сеченов, в неосуществленной постановке «Маскарада» роль баронессы Штраль назначена Катеньке Протопоповой. В ней самоуверенный Аполлон Александрович не сомневается: «Вы — один из таких редких субъектов женского пола, которые никогда не ломаются. Тетка моя устраивает спектакль... я почти дал за Вас слово, что Вы будете участвовать. От Вас зависит — обмануть мою твердую веру или же утвердить ее». Главные роли неизменно достаются самому Григорьеву и прекрасной Леониде, в которую поэт влюблен без малейшей взаимности. «Вся молодежь, ходившая в этот дом, чувствовала, конечно,

некоторую слабость к этой молодой девушке», — сознается Сеченов.

Как ощущала себя в эти пять или шесть лет Екатерина Сергеевна, будучи «на вторых ролях» рядом с подругой-ученицей? Возможно, в этой, несколько нервной, обстановке она выработала самоощущение артистки — стремление всегда быть в центре внимания. Летом 1878 года она писала домашним из владимирского села Давыдова: «У меня, как всегда и везде бывало, нашелся и здесь сердечный интерес. Что делать! Не могу жить без того. Интерес этот мои милые мальчики. Я собираю их по вечерам у себя за столом. Приносится большая скамейка из бани, и они вместе с нашей Стешей и ее братьями садятся против меня. Я им читаю Некрасова, рассказываю, толкую, рисую. Глазенки детей блестят, рты раскрыты, и все они точно замерли...» Это же стремление заставило ее, больную и смертельно усталую после долгого пути, дать небольшой импровизированный концерт в гейдельбергском пансионе Гофмана. В такие моменты она бывала по-настоящему счастлива.

Аполлон Григорьев иногда дарил ей эту радость — находить новых благодарных слушателей. Одним из них стал Афанасий Афанасьевич Фет, так нежно вспоминавший: «Еще до моей поездки в Париж Ап. Григорьев познакомил меня с весьма милой девушкой, музыкантшей в душе — Екатериной Сергеевной П-ой, вышедшей впоследствии замуж тоже за пианиста и композитора Бородина. В то время все увлекались Шопеном, и Екатерина Сергеевна передавала его мазурки с большим мастерством и воодушевлением. Когда я женился, Екатерина Сергеевна, полюбивши жену мою, стала часто навещать нас». Женой Фета — и подругой нашей героини — была Мария Петровна Боткина, хорошая пианистка, почитательница Бетховена.

Примерно тогда был снят единственный сохранившийся дагеротип будущей жены Бородина. Более поздние снимки отсутствуют: Александр Порфирьевич почему-то предпочитал фотографироваться без супруги, сольно либо в кругу коллег.

В 1856 году с замужеством Леониды Визард и отъездом молодоженов в Пензенскую губернию кружок в доме Жемочкиных распался. Сеченов вскоре окончил университет и отправился за границу. Закрылся «Москвитянин». Григорьев не в первый (и не в последний) раз оказался в ситуации под названием «возлюбленная вышла за другого». Он попрощался с Леонидой светлыми и чистыми стихами «Благословение да будет над тобою», «Будь счастлива... Забудь о том, что было» и сонетами к Титании, злую тоску излил в «Цыганской венгерке» («Две гитары, зазвенев, жалобно заныли...») — и тоже уехал за границу.

Чем занималась в это время Екатерина Сергеевна? Вероятно, преподавала игру на фортепиано и французский язык, ибо педагогические навыки сохранились у нее до конца жизни. В 1854 году главными для семьи стали события, происходившие в Крыму: среди участников обороны Севастополя был Сергей Протопопов. Набожная Екатерина Алексеевна денно и нощно молилась. Дочь ее при крайне ограниченных средствах пыталась помочь солдатам. 19 мая 1856 года московской литографией Ивана Григорьевича Чуксина, отпечатавшей немало листов со сценами Крымской войны и солдатскими песнями, была выпущена ее мазурка «Венок». На обложке указано: «Издание и музыку посвящает в пользу раненых воинов под Севастополем К. С. Протопопова». Все педагоги-пианисты Екатерины Сергеевны в той или иной степени были композиторами — она научилась у них не только играть, но и чуточку сочинять.

В 1857 году в Москве появился человек, легко заменивший нашей героине общество семьи Визард. Пианист Тимофей Шпаковский родился в 1829 году в селе Березовка Полтавской губернии. В одиннадцатилетнем возрасте он отправился с отцом и младшим братом-скрипачом в турне по Южной России, объехав 60 городов. Затем семья Шпаковских добралась до Лейпцига, где Тимофей полгода брал уроки у Мендельсона. Около семи лет он прожил в Вене, активно концертируя, а в 1852 году вернулся в Россию, развив не менее активную гастрольную деятельность. Екатерина Сергеевна могла познакомиться с Шпаковским в 1853 году во время его визита в Москву. Когда пианист в 1857–1858 годах давал в Первопрестольной серию концертов, молодые люди сблизились. Екатерина Сергеевна вспоминала о нем как об ученике Ференца Листа. Так это или нет, но в ее жизни Шпаковский был первым музыкантом, который целиком посвятил себя не салонной, а настоящей серьезной музыке, притом самого современного направления. Конечно, в его концертных программах находилось место для блестящих виртуозных вещей, но он играл не три сонаты Бетховена, а все до единой, включая поздние. Он же познакомил Екатерину Сергеевну с Бахом, Шопеном, Шуманом и Листом. Его исполнение было простым, изящным и трогательным, отличалось певучим и нежным тоном. А умение петь на инструменте — именно то качество, за которое больше всего хвалили Екатерину Сергеевну все ее слышавшие.

Тем временем Аполлон Григорьев вновь подарил Екатерине Сергеевне возможность оказаться в центре внимания. Между 1 сентября 1857-го и 5 февраля 1859 года она получила от него 12 писем. Григорьев писал будто одержимый — из Флоренции, с виллы Сан-Панкрацио, из Сиены, из Рима, по дороге домой из Бреслау, наконец, из Петербурга. В ответ он получил...

одно письмо. Екатерина Сергеевна явно не испытывала к поэту горячих чувств, да и его обманчиво личные письма более чем наполовину — литература, полная художественных преувеличений. Точнее, это его дневники — то ли эскизы, то ли послесловия к стихам. Аполлон Григорьев вдруг вернулся к давно оставленной поэзии, и в ней звучат те же чувства, те же слова, что и в письмах Екатерине Сергеевне.

После смерти Григорьева она передала письма Николаю Николаевичу Страхову, и три из них сделались достоянием читающей публики. Остальные девять мало чем отличаются от этих трех — тот же бесконечный «поток сознания», изливавшийся ночами во время бессонницы, те же метания между несколькими навязчивыми идеями, те же романтические многоточия. Недаром соратник Григорьева по «Москвитянину» Борис Николаевич Алмазов перефразировал пушкинскую эпиграмму:

Мрачен лик, взор дико блещет,
Ум от чтенья извращен,
Речь парадоксами хлещет...
Се Григорьев Аполлон!

Все же, если разделить этот поток на несколько рукавов и помнить о поэтических преувеличениях, можно уловить в текстах Григорьева легкие отблески личности Екатерины Сергеевны и некоторые обстоятельства ее жизни до замужества. Попробуем прочесть дюжину писем под этим углом зрения, хотя за полтора столетия чернила так поблекли, что разбирать летевшие в Москву строки нелегко, а иногда уже и невозможно.

Тема первая: искусство — опера и живопись. К опере Аполлон Григорьев издавна был восприимчив, перевел

на русский язык с десятков либретто, в последний год жизни горячо пропагандировал «Юдифь» Серова. В самых первых письмах из Флоренции он признается в страсти к «Сицилийской вечерне» Джузеппе Верди и любви-ненависти к «Гугенотам» Джакомо Мейербера, но уже к ноябрю 1857 года оперная тема сходит на нет. Зато живопись, к которой он прежде был вполне равнодушен, потрясает его до глубины души. Почему? Ответ звучит в стихотворении «Мадонне Мурильо в Париже», но еще раньше возникает в письмах Екатерине Сергеевне:

«Неужели же мне в самом деле нет нигде и ни в чем успокоения?.. А возможность его была... Вот ведь почему, мой коварный и все же нежный друг, — я не могу расстаться с неотвязным образом, хоть Вы меня за это и браните. Это был мой искомый алгебраический «икс» — моя Мадонна, Мадонна мурильевской манеры. Мне все в ней было мило, от ее глубины и простоты понимания до ее апатичности и холодности».

«Успел утром побывать в Питти. Муриллова Мадонна — здорова и приказала Вам кланяться, но смотрела как-то испуганно-болезненно... Экий мир — господи Боже мой. Тут чудеса твои, о Создатель, на каждом шагу. Тут всякий тип души получает свой идеальный образ. Знаете ли, что тип Ваш и Вашей матери — в Мадонне Алессандро Боттичелли... Да ведь совсем, понимаете ли — совсем как есть. Экий мир! Спросите Афанасия — он тотчас же припомнит, а не то — его сестру.

Да — всякое стремление души воплотилось или воплотится на земле — ибо Он сам сказал «Аз же с вами есмь до скончания века». Верьте Ему!

Христос с Вами, мой благородный друг!»

Речь не идет о внешнем сходстве женских образов, речь идет о «типах души», то есть о материях крайне субъективных. Может быть, в Леониде Визард и не было ничего от Мадонны Мурильо, а в матери и дочери

Протопоповых — от Мадонны Боттичелли... Одно по крайней мере несомненно: Екатерина Сергеевна бранила Григорьева за его одержимость безнадежной любовью.

Тема вторая: хандра. В стихах тех лет почти нет разъедающего уныния, которым полны «ночные» письма поэта. Стихи выбрали все лучшее и чистое, что было в его натуре, письма же рисуют человека, ко всему на свете испытывающего отвращение. И как после этого принимать всерьез его «особую позицию» в споре славянофилов и западников? Реже всего замечал Григорьев светлые мгновения в жизни семьи Трубецких, с которыми он путешествовал, — лишь когда княжна играла вальс Шопена.

Тема третья: Леонида. Жалобы на швейцарскую «пуританку и кальвинистку», не пожелавшую броситься в пучину разврата с неверным отцом семейства, переходят из письма в письмо. Насколько стихи Аполлона Григорьева о Леониде благородны и возвышенны, настолько письма эгоистичны и самонадеянны. Он полагает, что та одно время ревновала его (!) к Екатерине Сергеевне, и уверен, что на Леониду ее окружение влияет «злотворно». В январе 1859 года, приехав в Петербург после парижских «безобразий», чтобы «работать и окунуться всей душой в ядовитые вопросы общественные и в тину грязи, называемой русской журналистикой», он вдруг восклицает: «Я не могу истребить в себе тоски пса по женщине, которая, вероятно, отупела уже в покое Пензенской губернии, и между тем с какой-то бессовестностью отдаюсь всякому впечатлению, похожему на любовь. Ради Бога, друг мой, — не слыхали Вы хоть вести, ну хоть сплетни какой издалека?»

Екатерина Сергеевна, как и прежде, хранила молчание. Проживи Аполлон Александрович дольше, он смог бы узнать, как не прав был в своей злобе, в обиде

на Леониду Яковлевну. После первых десяти лет брака она отправилась в Швейцарию изучать медицину, по возвращении была среди основательниц Московской лечебницы женщин-врачей и открыла в пензенском имении мужа родильный приют для крестьянских женщин. Достоянная подруга будущей жены Бородина!

До этих событий Аполлон Григорьев не дожил, а Екатерину Сергеевну под конец переписки удостоил звания «креста на могиле моего заветнейшего прошлого».

Тема четвертая: Екатерина Сергеевна. Говоря о других, Григорьев на самом деле говорит только о себе, но и крупницы сведений о ней изредка встречаются. Выясняется, что Екатерина Сергеевна была хорошо знакома с отцом Аполлона Александровича. Он, в свою очередь, часто виделся с ее матерью, ценил ее брата Алексея — гражданского чиновника, разделявшего с сестрой страсть к фортепианной игре. Со своей адресаткой Григорьев раньше свободно говорил по целым часам и свободно же переписывался. Предоставим слово поэту:

«Здравствуйте, добрый друг мой, Катерина Сергеевна... Во-первых, зачем жестокие небеса не дали мне красноречивого, скрыто-пламенного и блестяще-остроумного пера старца, который бы давно по поводу заграничных впечатлений наскзал Вам письменно множество любопытных откровений насчет нежных его к Вам чувствий, столь достойных лучшей участи, хотя и мало приличных его возрасту... Во-вторых, я Вас очень люблю — это для Вас не новость, хоть это и не доказывается еще тем, что я пишу к Вам, не доказывается даже и тем, что пишу к Вам прежде, чем к кому-либо из друзей моих, не исключая даже рыжей половины души моей, Евгения. Пишу я к Вам потому, что опять хандрю, значит — нуждаюсь в душевных излияниях, сколь это ни подло и ни глупо».

«Рыжая половина души» — это Евгений Николаевич Эдельсон, член редакции «Москвитянина». Продолжим чтение:

«Знаете, за что я Вас так люблю, мой добрый, благородный друг женского пола? Вы — единственная женщина, с которой можно играть в эту сладкую и опасную игру, называемую женской дружбой... Причина этого, с одной стороны, в том глубоком и нежном уважении, которое Вы внушаете всему, что способно Вас понять, а с другой стороны — в Вашей артистической, т. е. немножко эгоистической, немножко слишком самообладающей, немножко даже ветреной природе. Знаю я, что и Вы меня любите, но знаете ли Вы, за что? — Именно за тот анализ, который то пугал, то волновал Вас»;

«Вы спросите меня: хочется ли мне поскорее в Россию? И да и нет. Что ждет меня? Все то же: тоска, добывание насущного хлеба, пьянство людей, к которым я горячо привязан, безнадежная, хоть и честная борьба с хамством в литературе и жизни, хамская полемика и Ваша дружба, т. е. право терзать Вас анализом, пугать донкихотством и удивлять цинизмом и безобразием»:

«До свидания! спешу кончить, пока опять не подошел прилив тоски, во время которого я обыкновенно эгоистически безжалостно пользуюсь Вашей симпатией, — первой и единственной женской симпатией, которой отдаешься без страха и ослепления... Да напишите же хоть строчку. Поймите, что я Бог знает как люблю Вас — люблю не за то только, что Вы для меня связаны с такою жизнью и с таким прошедшим, за которое отдал бы всю остальную жизнь, а собственно Вас люблю как друга, как сестру по душе... не так, как любит Вас старец».

В декабре 1857 года григорьевский «поток сознания» один-единственный раз был прерван ответным письмом Екатерины Сергеевны. Адресат

усмотрел в нем некие недомолвки (*reticences*) и долго потом забрасывал девушку вопросами:

«Влюблены Вы, что ли, или полувлюблены — все же надобно было сказать! Кому же Вам это сказать, как не мне? Кто же лучше в Вас это поймет и оценит — и, извините за дерзость, кто же лучше укажет всему этому место по достоинству в Вашей душе?..»;

«Письмо выходит нечто вроде дневника или скорее часовика. Говорите же наконец — влюблены Вы или нет? В кого? В Шпаковского, что ли? Очень рад — авось он не отымет у меня моего дыхания в Вас. А сказать Вам, отчего я никогда не хотел влюбиться в Вас? Оттого, что по деспотическим наклонностям я не мог бы сносить в Вас привязанности к чему-либо на свете (к матери, брату, к музыке)».

Какая самонадеянность! Григорьев явно преувеличивал и впечатление, которое он производил на женщин, и свое интеллектуальное влияние на них. Упорное молчание Екатерины Сергеевны заставляло его лишь сильнее нагнетать эмоции и еще больше рисоваться:

«Вы для меня последняя светлая улыбка жизни (ибо улыбка и грамматически непременно женского рода), что в последнее время наших отношений я говорил с Вами так, как ни с одним из друзей не говорил, давал Вам заглядывать в такие *abymes*^[8] моего бытия, от которых Вы отворачивались с лихорадочным ужасом... Что ж мудреного, что измученный, истерзанный и работою собственной мысли, и пошлостью меня окружающего, и воспоминаниями — я зову Вас как сестру, как Ангела, как друга...»

Привычно обнажив «бездны своего бытия», Аполлон Григорьев в борьбе с молчанием собеседницы прибег к самому сильному аргументу:

«Так вот что я скажу Вам — моего теперешнего чувства к Вам я бы не отдал никому, даже ей — ибо,

если она не поняла его, значит и меня бы не поняла. Любя меня, надобно любить Островского, Вас, Эдельсона, Фета, Садовского (это — pour le moins^[9]), так как я всё это люблю, т. е. так, что не знаю, кого иногда поставить на первом месте в душе, особенно из первых трех».

И вновь о музыке:

«На то, что писал вчера ночью в Сиенне — не хочу и глядеть — даже совестно этого безумного и больного бреда лихорадки. Если б я меньше в Вас верил, я бы его изорвал... Радуюсь Вашим успехам, друг мой, — но не удивляюсь им. Вы у меня умная, добрая, даровитая — Вы умеете любить звук для самого звука — а это немногие и немногие даже умеют. В этом Ваша эгида, Ваше спасение, Ваше духовное asyle!^[10]»...

И вот еще о тех совсем недавних временах, «когда говорились стихи Кольцова или ожесточенно звенела Венгерка, эта метеорская, кабацкая поэма звуков для безысходного страдания... Эх!

*На горе ли ольха,
Под горою вишня...
Любил барин цыганочку,
Она замуж вышла!..*

Когда Вы прочтете это — подойдите же к фортепиано и возьмите заветные аккорды. Я их услышу из моего холодного, морозного далека. NB. Мороз здесь очень сильный, и дураки — не топят!»

Подошла ли Екатерина Сергеевна, прочтя эти строки, к фортепиано, история умалчивает... В феврале Аполлон Александрович влюбился в некую девушку, воспетую в стихотворении «Твои движенья гибкие...», и на некоторое время оставил одностороннюю переписку. Но как только новый «предмет» покинул Флоренцию, он

тотчас выслал в Москву тайный «отчет о сделанных безобразиях», а заодно и вырвавшийся «аккорд»:

Больная птичка запертая,
В теплице сохнувший цветок,
Печально вянешь ты, не зная,
Как ярок день и мир широк,
Какие тайны открывает
Жизнь повседневная порой,
Как грудь высоко поднимает
Единство братское с толпой.

В опубликованном виде это стихотворение гораздо длиннее и датируется 8 января 1858 года, но 19 марта Аполлон Григорьев послал «своему доброму другу» очень своеобразный вариант. При желании в этих стихах можно разглядеть будущую судьбу Екатерины Сергеевны.

Тема пятая: московские безобразия. Некто неизвестный снабжал Аполлона Александровича сведениями о его молчаливой корреспондентке:

«Ваньку Шестакова (дитя моего сердца) и рыжую половину души моей пригласили к себе. Благодарю. Да, будьте с ними построже, Вы, которую они так любят, т. е. читайте им мораль на счет вреда пьянства»; «Что Вы у меня (т. е. Вы с Катериной Николаевной Бакст) сделали с моим Максимом? Куда Вы его услали, оторвавши от нежной матери — «винной конторы», готовившей его обширной душе, по всем вероятностям, судьбу Кокорева, если б эта обширная душа не была столько же, как моя, преисполнена *безобразия* и *безалаберщины?*»

Ванька Шестаков так и сгинул в безвестности, не оставив по себе иной памяти. Максим Афанасьев вскоре внезапно уехал из Москвы и настиг Григорьева в

Париже, чтобы вместе погрузиться в пучину кутежей. Кокорев — тот самый купец из Солигалича, пригласивший Бородина для исследования минеральных вод, уже знаменитый на всю страну. Кто такая Бакст, от которой Максим в итоге сбежал в Париж, остается загадкой.

К «безобразиям» московских знакомых Григорьев раз за разом возвращается, смакует их на свой лад. Иногда он занимает позицию наблюдающего свысока (как будто не бывал участником событий):

«*Мерзавцы* (Островский и Евгений) не пишут ни строки по свойственному им беспутству и грубому, пьяному эгоизму. Воображаю, какую жизнь ведут они».

Иногда с помощью неточной цитаты из пушкинского «Гусара» принимает романтически-демоническую позу:

«Все это я видел, всем этим наслаждался — всем, даже адскою, но комическою ирониею Вашего присутствия человеческой личности на этом шабаше ведьм, где

Шумят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают...

Недоставало только Мефистофеля, за моим отсутствием!..

Я рад, что Вы сошлись с Фетом. Он пишет: «да ее (т. е. Вас) и нельзя не любить».

Чем больше времени проходило со дня отъезда из Москвы, тем больше одолевали воспоминания. Карнавал во Флоренции показался «мизерным и каким-то непоэтичным». То ли дело гулянки в Новинском или в трактире «Волчья долина», что у старого Каменного моста. И вот Аполлон Григорьев разразился строками, которые в письме девушке из хорошей семьи выглядят шокирующе:

«От Ваньки между прочим получил я недавно письмо, где он совершенно логически доказывает необходимость спиваться!!! Письмо писано в погребке, милом погребке друга нашего Михайла Ефремовича (который тоже дошел до бесов) — под звуки венгерки в две гитары. Оно дышит этим местом беспутства и поэзии монологов из Маскарада в пьяном образе, — заветными песнями: «Улетел мой соколик», «Вспомни», «Дороженька» — «Пряха» — вдохновенными и могучими речами Островского, остроумием Евгения — голосом Филиппова и Михайлы Ефремова, серьезностью и остервенением Садовского, тонким умом Дмитрия Визарда, метеорством покойника — Дьякова... всем, всем, что называется молодость, беспутство, любовь, безумие, безобразие, поэзия. И увы — один, последний титан Ванька Шестаков доживает там свою жизнь, медленно отравляя себя напитками, от которых, как говаривал милый, добрый, остроумный, незабвенный Аркаша Эдельман — человек «умереть не умрет; но глаз у него с течением времени может лопнуть», — напитков, которыми он же советовал Михайлу Ефремовичу отравлять турецкие войска (это было во время войны) и от которых сам пошел в могилу — бедное, благородное, неосторожное дитя!., бедная жертва нашего кружка и кружения!..

До свидания, друг мой — единственная женщина, с которой можно без раскаянья отдаваться всякому безобразию, которая все поймет и все оценит!»

Вновь Григорьев помещает Екатерину Сергеевну в сугубо мужской круг своих друзей, ибо: «Вы умны, как Евгений — но Вы нежны, как женщина». Неужели «Ее Высокоблагородие» Е. С. Протопопова участвовала в кутежах «Москвитянина»? Неужели появлялась она в «Волчьей долине» или в погребке Зайцева на Тверской, где торговал и пел хватавшие за душу ярославские песни приказчик Михаил Ефремович Соболев, пел Третий

Иванович Филиппов, пели, запивая водку квасом, рыжий гитарист Николка и торбанист Алексей, пели собиратели фольклора Якушкин и Стахович, пел и Островский, а прочие только пили?

Нет, не видели ее ни у Зайцева, ни в «Волчьей долине», где семимильными шагами шел навстречу алкоголизму Лев Александрович Мей, уже поставивший на сцене «Царскую невесту» и заканчивавший перевод «Слова о полку Игореве». Биографы Бородина, опираясь на письма Григорьева, с легкостью утверждают, что в молодости его будущая супруга общалась с Островским, Садовским и чуть ли не всей литературно-театрально-богемной компанией «москвитян», вращавшейся вокруг «молодой редакции». Проверить это трудно, ибо через десяток лет после того, как Аполлон Григорьев так неосторожно отчитывался о «безобразиях», мало кто из действующих лиц продолжал еще свой земной путь. Бывавший в доме Протопоповых Евгений Эдельман последовал за своим братом Аркадием; та же судьба, вероятно, постигла Максима Афанасьева. Долго и благополучно здравствовали немногие: Островский, Филиппов, писатель и актер Иван Федорович Горбунов (приятель Мусоргского в период сидения того на Большой Морской в ресторане «Малый Ярославец»), Нет никаких сведений о том, что Екатерина Сергеевна в более поздние годы, когда благодаря мужу оказалась «на виду», поддерживала с кем-либо из них знакомство. Вполне возможно, никакого знакомства и не было. Достоверно известно лишь о ее общении с Тertiем Филипповым. Да и то, когда он добился чинов на службе в Синоде, а затем в Госконтроле, она хлопотала у него о своих родственниках через Балакирева и Бородина. Тertiий Иванович дружил с обоими, а также с Мусоргским и Римским-Корсаковым, которые записали с его голоса немало песен.

Аполлону Григорьеву, в свою очередь, принадлежат две большие статьи о русском фольклоре. Записанная им от цыгана Антона Сергеева песня о взятии Казани, пройдя через несколько рук, очень кстати попала к Мусоргскому, занятому «Борисом Годуновым». Что же до его знакомства с Екатериной Сергеевной, виделись они то у его родителей, то у ее матери и тетки, а еще у Визардов, куда Григорьев являлся сугубо трезвым. Она терпеливо, безотказно выслушивала его хвастливые повествования — и по доброте своей не осуждала.

Встречались ли они после? Неизвестно. Екатерина Сергеевна до конца жизни хранила портрет молодого Аполлона Александровича. А в 1863 году он, кажется, даже не успел посокрушаться по поводу ее замужества, как сокрушался после свадеб Антонины Корш и Леониды Визард. Когда она выходила за Бородина, Григорьев был поглощен собственными злоключениями и писанием ядовитых рецензий о творениях супруга Леониды, драматурга Михаила Николаевича Владыкина. В 1857-м — другое дело: тогда он ревновал Катеньку Протопопову к «старцу». Благодаря ревности Григорьева круг ее связей в литературной и журналистской среде обретает чуть большую четкость — таинственным «старцем» был Николай Михайлович Пановский.

Пановский вошел в «молодую редакцию» «Москвитянина» все в том же 1850 году и здесь дебютировал как музыкальный критик. Родившийся, по разным сведениям, то ли в 1802-м, то ли в 1797 году, он — отец пятерых взрослых детей — среди молодежи смотрелся белой вороной, но предпочитал именно такое общество. В юные лета Пановскому довелось некоторое время посещать лекции в Московском университете. В 1818 году началась его служба в гренадерском и гусарском полках. В 1832 году он уехал в Варшаву служить по ведомству внутренних дел и на этой новой службе стал редактором «Официальной газеты Царства

Польского». В 1849-м Пановский вышел в отставку, поселился в Москве и, не имея средств, принужден был снова заняться литературным трудом.

Столпы российской словесности Пановского не жаловали. Лев Николаевич Толстой 14 ноября 1866 года написал жене из Москвы: «Поехал с Петей к Зайковским... У них был гость, Пановский, тот самый, что я ругаю за фельетоны...» (скорее всего, дело происходило в доме Дмитрия Дмитриевича Зайковского, доцента Московского университета, прежде — ординатора Голицынской больницы).

Николай Алексеевич Некрасов припомнил Николая Михайловича в «Фельетонной букашке» (1865):

Из жизни здешней и московской
Черты охотно я беру.
Знаком вам господин Пановский?
Мы с ним похожи по перу.

Еще раньше во вступительном слове «Свистка» к читателям (1863) Некрасов превратил «того самого» в собирательный образ всего скверного в отечественной журналистике:

Когда при помощи Пановских
Догадливый антрепренер
И вождь «Ведомостей московских»,
Почуяв время и простор,
Катков, прославленный вития,
Один с Москвою речь ведет,
Что предпринять должна Россия,
И гимн безмолвию поет...

Верно, Пановский печатался у Михаила Никифоровича Каткова в «Ведомостях» и в «Русском

вестнике» — там, где впервые явились свету «Война и мир», «Анна Каренина», «Идиот». У него были легкий характер, легкое перо и легкая рука, недаром он славился стихотворными экспромтами в гусарском духе и дружил со Львом Сергеевичем Пушкиным. Писал Пановский буквально обо всем. О музыкантах как человек, любивший музыку и стоявший вне всяких музыкальных партий, — очень доброжелательно. Он приятельствовал с князем Одоевским. Ему выпала честь стать вторым в истории критиком, отметившим композиторские опыты молодого Петра Ильича Чайковского, и первым, кто их похвалил.

В 1858 году в «Русском вестнике» была напечатана повесть Пановского «Могила братьев». Мастерски написанная, она начинается в духе тогдашних романтических опусов, но в финале вдруг модулирует в реализм, и это сделано очень естественно, с какой-то обескураживающей мудростью. Вернувшись из путешествия по России, Александр Дюма в приложении ко второму тому «Консьянса блаженного» (1861) поместил французский перевод «Могила братьев» под названием «Марианна». Филологи утверждают, что перевод принадлежит Дюма, а современные французские издатели, не ведающие ни о каком Пановском, даже приписывают повесть Пушкину!

Дюма прибавил к тексту автора лаконичные пролог и эпилог. В прологе передан разговор о гибели Пушкина и Лермонтова на дуэли, имевший место в Петровском парке, у Дмитрия Павловича Нарышкина. Один из собеседников заявляет, что в России дерутся всегда всерьез и только по веским причинам. Дюма отвечает риторическим вопросом:

«— Вы полагаете, что все дуэли в России, даже самые злосчастные, имели серьезные причины?.. — и я повернулся к господину Пановскому (весьма выдающемуся литератору, чью предупредительность я

не раз имел случай оцепить), как бы вызывая его на откровенность.

— Как же вы правы! — ответил он мне. — Я могу привести с десятков случаев в подтверждение сказанного вами!

— Хоть один, дорогой мой господин, хоть один? — попросил я. — Мое путешествие имеет свою философическую сторону, которую я, сколь могу, скрываю под живописным покровом. Итак, я хотел бы иметь рассказ о дуэли, в котором серьезность результата контрастировала бы с ничтожностью причины.

— Хорошо! — сказал он мне. — В моих руках как раз находится дневник, которым я волен распоряжаться: он заключает в себе письма старого гусарского капитана. Я сейчас печатаю отрывок оттуда; завтра я пришлю вам гранки, вы сделаете перевод и поступите с ним, как вам угодно.

Заговорили о других вещах; на завтра, верный своему обещанию, господин Пановский, которому я приношу здесь благодарность, прислал мне фрагмент, который вы сейчас прочтете».

В эпилоге писатели вновь беседуют:

«— Ну, хорошо, — спросил я у господина Пановского, тем же вечером возвращая ему его манускрипт и делая комплименты его отрывку. — Меня так заинтересовала ваша история, но чем же она заканчивается?

— Чего вам не хватает?

— Черт побери! Я хотел бы знать, что случилось с Зодомирским».

И Пановский досказывает вполне банальное, ожидаемо-романтическое окончание истории, скорее всего, самым Дюма и сочиненное.

Что же проездом через Москву получил французский романист? Сначала речь идет о гранках издания записок некоего гусарского капитана, причем текст еще нужно

было бы перевести на французский. Но в тот же вечер (!) Дюма возвращает не корректурные листы, а рукопись и практически называет Пановского ее автором. Скорее всего, старый штаб-ротмистр Ахтырского гусарского полка сам перевел свою повесть на французский язык и подарил гостю манускрипт.

Несколько строк из «Марианны» трудно назвать портретом Николая Михайловича, но благодаря Дюма этот человек хоть на несколько мгновений оживает перед нами.

В последние месяцы своей жизни Пановский писал фельетоны для ежедневного «Вестника Московской политехнической выставки», изобретая целую россыпь псевдонимов: Философ с Самотеки, Достоверный источник, Вдвоем, Обмокни, Случайный фельетонист, Давнишний. 9 сентября 1872 года он умер, работая над очередным опусом. После этого фельетонов на страницах «Вестника» больше не появлялось.

Таков был «старец». До своей смерти он и не думал исчезать с горизонта Екатерины Сергеевны. В феврале 1870 года она сообщила мужу из Москвы, что «предается воспоминаниям со Старцами». Александр Порфирьевич тоже успел свести с ним тесное знакомство, через десяток лет «старческий и аристократический говорок» Ференца Листа напомнил ему речь Пановского.

Как видно, Екатерина Сергеевна привыкла быть среди талантливых, добившихся известности людей. Более того, она привыкла находиться в центре их внимания. Бородин и его будущая жена принадлежали, в сущности, к одному кругу, только он знал его с естественно-научной стороны, она — с музыкальной и литературной. Окажись Бородин в Москве раньше, чем в Германии, они наверняка бы встретились. С первых дней знакомства Екатерина Сергеевна стала для Александра Порфирьевича арбитром во всем, что касалось поэзии и

музыки. Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов свидетельствует: «Будучи великолепной пианисткой и чудной музыкантшей, она очень часто, и всегда верно, отмечала недочеты в сочинениях А. П., и не было случая, чтобы он с ней не согласился. Кажется, она была его единственным критиком и цензором, с которым он считался, так как к замечаниям своих музыкальных друзей — Стасова, Кюи или Римского-Корсакова — он относился если не равнодушно, то по крайней мере не торопился следовать их советам». И еще один штрих: Екатерина Сергеевна очень любила танцевать.

...В начале 1859 года умер благодетель семьи Протопоповых старый князь Голицын. В 1861 году в Харькове скончался 32-летний Тимофей Шпаковский. В том же году доктора определили у Екатерины Сергеевны чахотку и посоветовали ехать за границу. Друзья помогли ей устроить в Москве «концертик», сбор от которого дал средства на поездку. «Концертик» состоялся 27 апреля, а уже 15 мая пианистка прибыла в Гейдельберг.

Итак, осенью 1861 года Бородин против своей воли задержался в Италии. Была снята квартира в доме семейства Чентони. Тогда, до американских бомбардировок, старинный город был бесподобно красив. В академическом отчете Александр Порфирьевич специально подчеркнул «отсутствие всяких развлечений в Пизе». Однако они с Екатериной Сергеевной много бывали в театрах, подружился с местными музыкантами и услаждались ансамблями от сонат до квинтетов, причем в репертуаре русско-итальянского кружка значились исключительно сочинения немецких авторов — такова была тогдашняя ситуация в серьезной камерной музыке. Бородин играл на виолончели в оркестре местного театра, участвуя в исполнении опер Беллини и Доницетти. Как водилось в

небольших итальянских антрепризах, постоянно работали в оркестре только концертмейстеры групп, прочие места довольно хаотично заполнялись любителями. Управлял оркестром... кларнетист. Он же на кларнете давал певцам тон в речитативах, которые оркестр вовсе пропускал. И все же это был прекрасный практический опыт для будущего оперного композитора! На большом органе Пизанского собора, в 1835 году установленном мастерской Серасси и имевшем около шестидесяти регистров, Александр Порфирьевич и Екатерина Сергеевна играли Баха, Бетховена и — «Ныне силы небесные» Бортнянского. Протекцию органистам составил профессор Меноччи, которого Бородин поверг в изумление, всего за час сочинив на его глазах фугу.

Разумеется, в академическом отчете молодой ученый не упомянул о юной Джанине, дочери хозяев дома. Девушка влюбилась в него без памяти. Среди ее самых счастливых воспоминаний был детский бал-маскарад на Жирный четверг, когда все переоделись стариками, «добрая Катичья» играла на фортепиано, а они танцевали. Прошло более пятнадцати лет, прежде чем она перестала исписывать мелким почерком листы посланий к своим *Amici Russi*, обмениваться фотографиями, передавать приветы и поцелуи от половины города и звать хоть разочек снова приехать в Италию (увы, из семи десятков ее писем уцелели лишь два, остальные сгорели в 1939 году). Любовь-дружба с Джаниной Чентони, протекавшая на глазах добрейшей Екатерины Сергеевны, тогда еще невесты, раз и навсегда установила порядок, в каком протекали все последующие увлечения Александра Порфирьевича: без всякого поощрения с его стороны в него влюбляется юная девушка — он «переводит ее себе в дочери». Во всяком случае, его супруга всегда представляла события

именно так. В остальном жизнь в Пизе, конечно же, характеризовалась «отсутствием всяких развлечений».

На Пасху отправились в уже знакомую Бородину Флоренцию — вспоминала ли Екатерина Сергеевна описания этого города в письмах Григорьева? 2 июня Бородин покончил с научными занятиями, и оба до августа уехали «на дачу» — к морю, в Виареджо. Там *Caticchia*, вполне перенявшая от «москвитян» интерес к фольклору, просила местных жителей рассказывать ей сказки и петь песни, а потом пела их с Александром Порфирьевичем. Вовсе не Балакирев, а Екатерина Сергеевна первой заставила его приглядеться к народному искусству! Возможно, тема, которой открывается его Второй квартет, — это наигрыш итальянских уличных музыкантов, вспомнившийся композитору 20 лет спустя.

Бородин в то время работал над фортепианным квинтетом до минор. Благодаря дневнику Екатерины Сергеевны, изученному Сергеем Дианиным до того, как он бесследно пропал, точно известно: квинтет был сочинен между 22 мая и 17 июля 1862 года. По примеру Шумана Александр Порфирьевич взялся писать для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели, и нельзя сказать, чтобы всегда ловко и уверенно себя чувствовал. Большие певучие соло фортепиано (в ущерб струнным!) выдают постоянную мысль о Екатерине Сергеевне. Будущая супруга говорила, что этот квинтет — *a la* Глинка. И правда, его музыка соткана из глинкинских оборотов, из опеваний и отыгрышей, почерпнутых в «Жизни за царя», и пребывает в кругу глинкинских гармоний. В скерцо доносятся отзвуки «Камаринской», начало финала напоминает сразу и «Славься» Глинки, и... начало Первой симфонии еще не родившегося тогда Василия Сергеевича Калинникова. Изначально заявленный до минор весьма условный, скорее квинтет написан в до мажоре, колеблющемся между

ближайшими к нему, но очень далекими друг от друга до минором и ля минором. В этом солнечном до мажоре иногда каким-то чудом поблескивают зернышки будущих «Князя Игоря» и Второй симфонии. Автор немного схитрил: составил композицию всего из трех частей (анданте, скерцо, финал), пропустив положенную первую часть в сонатной форме. Сама по себе эта изначально немецкая форма трудностей для него не представляла, но сложно было облечь в нее русский, глинкавский материал — в то время это еще никому не удавалось. В результате квинтет вышел оригинален во всех отношениях.

В августе Бородин собрал плоды немецкой учености в виде приборов, книг и собственных публикаций, трофеи в виде изображений Гейдельберга, Неаполя и стереоскопа с видами Рима, и отправился домой. Три года за границей пролетели несколько сумбурно, впрочем, плодотворно. В Германии, Франции и Италии молодой химик напечатал в общей сложности 12 научных работ. 20 сентября миновали пограничное Вержболово. Паспорт Бородина был просрочен на год, а в кармане не осталось даже десяти рублей на штраф, который пришлось уплатить по приезду в Петербург.

Первые месяцы на родине прошли в хлопотах. Бородин представил научный отчет о затянувшейся командировке. 8 декабря он стал адъюнкт-профессором Медико-хирургической академии и начал читать курс неорганической химии (его элегантный «заграничный» вид произвел огромное впечатление на студентов). Лаборатория в академии еще не была полностью оборудована. Бородин засучил рукава и занялся заказом в Германии всего необходимого, вплоть до последних мелочей, чтобы, как хотел Зинин, *каждый* студент мог пройти курс практических занятий (что в полной мере осуществилось только через 12 лет). Жалованье новоиспеченного адъюнкта составляло 700 рублей 55

копеек в год — при петербургской дороговизне более чем скромно. «Сверх того меня отчислили от госпиталя, где я считался прежде ординатором (ничего не делая там) и получал 900 р. жалованья», — пожаловался адъюнкт Бутлерову. Пришлось взяться за переводы научной литературы для издательства Маврикия Осиповича Вольфа и направить стопы в находившуюся поблизости Лесную академию. Там Бородин стал читать полный курс химии, получая в год аж 1800 рублей. Александр Порфирьевич жил у «тетушки», несколько тяготясь непривычным состоянием: возвращение на родину ознаменовалось первой разлукой с Екатериной Сергеевной, отбывшей в Москву к матери.

За работой скучать, конечно, не приходилось. Осенью Бородин познакомился с Сергеем Петровичем Боткиным и стал посещать его «субботы». Боткин хорошо играл на виолончели. Милий Алексеевич Балакирев специально переложил для него «виолончельный» этюд Шопена (op. 25 № 7), а знаменитый виолончелист и один из самых исполняемых тогда композиторов Карл Юльевич Давыдов посвятил Сергею Петровичу две пьесы. Однако о музыке Бородин в доме Боткиных не заикался, пока случайно не столкнулся там с Балакиревым. Боткин в тот вечер понял, что его друг-химик в музыке — не дилетант. А вот Александр Порфирьевич этого, по-видимому, не сознавал, пока новый знакомый, уже признанный дирижер и композитор, не объявил со свойственной ему безапелляционностью: ваше настоящее дело — музыка. Через несколько дней Балакирев и Мусоргский в четыре руки играли свежее испеченному адъюнкт-профессору отрывки из Первой симфонии Римского-Корсакова, плывшего тогда к берегам Южной Америки. Мусоргский наконец-то уяснил, что и Бородин «имеет кое-какие поползновения писать музыку», и стал упрашивать поиграть. «Мне было ужасно совестно, и я наотрез

отказался» — так запомнил свое состояние Бородин. Сумбур достиг апогея. Весной хоть в чем-то наступила определенность: наконец-то вернулась из Москвы Екатерина Сергеевна. 17 апреля 1863 года Бородины венчались в домовый церкви Удельного земледельческого училища.

Часть II

ГАРМОНИЯ СФЕР



Глава 8

ОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБУСТРОЙСТВО

Летом 1863 года из Германии стало прибывать заказанное в огромном количестве оборудование для лаборатории, так что Бородин сидел в Петербурге почти безвыездно. Авдотья Константиновна с «ребятишками» уехала на лето в Псковскую губернию, в село Харитоново Великолуцкого уезда. Новобрачные остались дома полными хозяевами и были совершенно счастливы. Екатерина Сергеевна с энтузиазмом хлопотала, выдумывала новые блюда, отдавала распоряжения кухарке, бегала закупать провизию и, привыкшая к московским ценам, «скорбела» о страшной дороговизне Северной столицы. Друг и сосед Макея Сорокин снова женился. Заглядывал в гости Сеченов. Отвлечшись от изучения алкогольной интоксикации, он предлагал Бородину исследовать ядовитые вещества, обнаруженные им в съедобных грибах, но не встретил сочувствия — химик, защитив диссертацию по токсикологии, навсегда оставил эту область. Совместная работа двух надежд русской науки не состоялась. В отсутствие «тетушки» Александру Порфирьевичу пришлось соприкоснуться с управляющим ее домом. Ход дел его не порадовал, но не похоже, чтобы тогда или позднее он вмешивался в ситуацию.

За неимением других развлечений супруги гуляли в госпитальном саду, самой дальней точкой их редких путешествий был Петергоф. Вновь возник на горизонте князь Кудашев — веселый, неутомимый, ожидающий появления на свет долгожданного наследника. Уговорились погостить у него в Павловске, да так крепко уговорились, что на адрес князя стала приходить корреспонденция для Екатерины Сергеевны.

13 октября было торжественно открыто новое здание академии — Естественно-исторический институт. Аудитории по тогдашнему обычаю соседствовали с квартирами профессоров. Полагалась квартира и директору химической лаборатории — Зинину. Однако Николай Николаевич постепенно переносил свою деятельность в Академию наук, да и семейные обстоятельства не благоприятствовали жительству на службе, на виду у коллег. Посему квартира загодя предназначалась ученику и преемнику.

Чарлз Буковски (1920–1994) начинает стихотворение «Жизнь Бородина» (из книги «Сгорая в воде, утопая в пламени») строками:

в следующий раз, слушая Бородина,
вспомните, что он был всего лишь химик,
писавший музыку, чтобы расслабиться;
в его доме толпились народы:
студенты, художники, пьяницы, надоеды,
и он не умел сказать: нет.

В письме Бутлерову Бородин жаловался на проделки инженеров и подрядчиков. И правда, планировка квартиры оказалась весьма своеобразной: комнаты располагались на первом этаже по обе стороны коридора, куда выходили двери химической лаборатории, кабинетов зоологии и сравнительной анатомии. До 1871 года там же помещался, «ароматизируя» воздух, музей естественной истории, главными украшениями которого были скелет и чучело слона (ради транспортировки этого слона в другое помещение пришлось потом делать в стене пролом). Для трудоголика, желающего жить «без отрыва от производства», местоположение квартиры было идеальным. Но чтобы выгородить себе в таких условиях

«личное пространство», требуется редкостная твердость характера, которой ни Бородин, ни его супруга не обладали. Студенты передавали из уст в уста анекдот о профессорской рассеянности: «Однажды гости и молодежь довольно долго засиделись у него. И вот, забыв, что он хозяин, а не гость, Бородин встает со словами: — Ну, господа, пословица говорит: «Порядочные люди посидят да уйдут». Пора и по домам. — Он простился со всеми, вышел в переднюю, надел шубу, калоши и ушел. Через несколько минут он возвратился, встреченный общим дружным хохотом и смеясь сам над своей рассеянностью: — Представьте себе, — говорил он, — ведь мне вообразилось, что я в гостях». Закрадывается подозрение, что дело было не в рассеянности. Просто Александр Порфирьевич не умел выставить за порог не слишком деликатную молодежь и предпочел разыграть комедию.

В 1863 году о столпотворении в квартире еще и речи не было. Четыре комнаты и помещавшаяся отдельно в подвале кухня стояли пусты и просторны. Быстро появился самый необходимый предмет домашней обстановки — рояль петербургской фабрики Беккера. Сложность переправы на Выборгскую сторону до постройки в 1879 году постоянного Литейного моста слегка ограничивала число посетителей (например, в апреле 1865 года ледоход начисто снес наплавную переправу). Зато понемногу стали прибиваться к дому обожаемые Екатериной Сергеевной коты, а из окна квартиры Бородин однажды лицезрел плывущего по Неве тюленя.

В следующем году квартира до отказа заполнилась мебелью. Кудашев решил разделаться со своим петербургским имуществом и уехать за границу. Поначалу Бородин не хотел ничего у него покупать, только где ему было устоять перед напором князя! В итоге была куплена целиком обстановка — всего около

сорока предметов, не считая еще одного рояля, тридцати трех стульев и разных мелочей, перевозкой которых озаботился слуга Бородина Николай. При этом Кудашев остался должен покупателю немалую сумму, ибо сделка сопровождалась кредитованием. Таким образом, Бородин стал обладателем резной мебели орехового дерева, двух роялей и превратился в благодетеля человечества — безотказного кредитора, не слишком настойчивого в получении обратно одолженного. Эту роль он в дальнейшем исполнял неукоснительно. Репутация его была такова, что даже зловредный переводчик Владимир Сергеевич Лихачев, в 1909 году печатавший в журнале «Театр и искусство» под видом собственных воспоминаний гнусные рассказы об известных людях, о Бородине смог собрать лишь безобидные истории.

По мере наполнения квартиры жильцами и вещами пришлось задуматься о расширении. Позднее Бородин пытался присоединить к своим владениям соседнюю большую аудиторию, но кафедра фармакологии в лице Петра Петровича Сущинского заняла непреклонную позицию и все осталось по-прежнему.

Чарлз Буковски продолжает:

в следующий раз, слушая Бородина,
помните, что его жена...
кормила его яйцами всмятку,
и когда он хотел накрыть уши одеялом,
чтобы не слышать звуков со всего дома,
разрешала накрыться только простыней;
...она велела ему стричь ногти,
не свистеть и не петь по коридорам,
не класть много лимона в чай
и не давить его ложкой...
он мог заснуть,

лишь накрыв глаза черной тканью.

Вареные яйца действительно могли фигурировать в меню до трех раз в сутки, но такое чаще случалось летом, в деревне. Верно, что, будучи опытной сестрой двух младших братьев, Екатерина Сергеевна тщательно занялась воспитанием молодого мужа. Буковски упустил несколько важных пунктов: чтобы головы не чесал, за обедом резал все маленькими кусочками, в рот много не посылал, не давился, личным полотенцем рук не вытирал; когда ложился спать, оставлял маленькую щелку в драпировке. Из исполняемого во все горло в коридоре, по дороге из «дома» в лабораторию, репертуара особенно ужасали супругу французские песни не вполне приличного содержания, сочиненные Александром Порфирьевичем о неких Шиши и Пиго, под коими разумелась чета Бородиных. Боявшаяся темноты Екатерина Сергеевна упорно игнорировала болезненную чувствительность своего мужа к свету да и к громким звукам. Нелюбовь же к нестриженным ногтям была у нее, пианистки, главным пунктиком. Вооружившись ножницами, пылкая «выстригательница мужских и женских принадлежностей, называемых ногтями», боролась с упущениями по этой части, невзирая на личности.

Лето 1864 года Бородины провели в Москве. Голицын-ская больница по своему окраинному местоположению и по близости к Нескучному саду вполне могла сойти за загородную резиденцию. Ее высокоблагородие Екатерина Алексеевна Протопопова зятя боготворила, именовала его «виновником нашей радости и надежды» (разумея всю свою «бедную» семью), брак дочери почитала «завидным счастьем» и наказывала той всячески беречь мужа-благодетеля. Зять, в свою очередь, отзывался о ней как о

«великолепнейшей, эпической старушке, доброты неописанной», которую он любил, как родную мать.

В ноябре Александр Порфирьевич вступил на еще одну важную для себя стезю — крестил сына Ольхина. С тех пор таинство крещения стало для него важнейшим: подсчитать число младенцев обоего пола, коих он явился восприемником, не представляется возможным. А вот от частого посещения чужих свадеб он, кажется, уклонялся. Словом, на новом месте постепенно устанавливался порядок жизни на все последующие годы.

Существенную часть заведенного порядка составляли отлучки Екатерины Сергеевны в Москву, поначалу редкие. Первая случилась весной 1864 года, затмив своей важностью разразившуюся тогда австро-пруссско-датскую войну. Супруг тосковал, не теряя чувства юмора: «Напиши пожалуйста и своему любовнику-мужу и Сясе, он ужасно соскучился, все говорит: где Мама? — и указывает пальчиком на разные неодушевленные предметы, которые торчат перед ним...» Во время отлучек госпожи Бородиной Авдотья Константиновна не оставляла сына заботами, навещала, насовсем отрядила в академию свою кухарку Михайловну, присылала в помощь экономку Катерину Егоровну. «Маменьку» только к концу года наконец перестала держать при себе и выдала замуж. Впрочем, здесь музу истории терзают сомнения: не был ли женихом бывший лаборант Менделеева, а сватом — сам Александр Порфирьевич?

Поначалу Бородин вряд ли тяготился житьем в стенах академии. Он вел себя как классический трудоголик. Все еще пребывавшему в Гейдельберге Алексееву сообщалось: «Я, слава Аллаху, здоров, толст, красен и весел; читаю в день по две лекции и работаю теперь шибко». Горячей порой было время экзаменов и переэкзаменовок. Строгий Зинин экзаменовать не

любил, поручая это своему добродушному ученику. А когда все-таки заглядывал на экзамен, можно было ожидать казусов. Минералог Сергей Федорович Глинка передает следующий анекдот. Зинин, используя кальку с французского, называл химические соединения «телами», что иногда сбивало юношество с толку. Однажды на экзамене студент, заикаясь от волнения, стал говорить:

— Алкалоиды — это тела, названия которых оканчиваются на «ин».

— Значит, Зинин и Бородин — это алкалоиды, — заключил профессор.

Блестящее окружение поддерживало адъюнкта и вело к новым свершениям. Самым близким человеком по-прежнему был Зинин, в 1865 году ставший академиком. По воспоминаниям Алексея Петровича Доброславина, «ни к кому так горячо не относился он, как к Александру Порфирьевичу. Как Зинин считал Бородина своим духовным сыном, так и Бородин постоянно, говоря о Зинине, считал его своим вторым отцом. Эти отношения были столь живые, что при каждой встрече, хотя бы она совершалась в лаборатории, в аудитории, наполненной студентами, Зинин встречал своего ученика несколькими радостными и теплыми приветствиями и непременно поцелуями. Эти публичные выражения задушевности отношений не казались нам, студентам, странными. Наоборот, производили на нас впечатление глубочайшего уважения к этой нежно-родственной связи душ, столь сильной, столь пренебрегающей обычными формами внешних отношений и столь чуждой опасений насмешек или укоров в оригинальности... Не было научной мысли, не было приема в работе, о которых не переговаривали бы и не посоветовались бы взаимно учитель с учеником». Еще в конце марта 1864 года Зинин по случаю тридцатилетия своей педагогической

деятельности сделался «директором химических работ», предложив занять кафедру химии любимому ученику. Других кандидатов на вакансию не явилось, Конференция академии проголосовала 11 апреля с результатом: 17 — за, 1 — против. Бородин из адъюнкта превратился в ординарного профессора.

Менделеев еще в 1861 году выпустил в свет учебник «Органическая химия», удостоенный Демидовской премии, а в 1865 году защитил диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водой». Вместе с Менделеевым Бородин переводил с французского «Аналитическую химию Жерара и Шанслея: качественный анализ», выходявшую частями в 1864–1866 годах. Предполагалось, что для книги Менделеева «Аналитическая химия: количественный анализ» он напишет специальный раздел о применении аналитической химии в медицине, — недаром темой его пробной лекции по возвращении из-за границы была «О значении анализа мерою при медицинском исследовании». Увы, этот замысел не осуществился. Сеченов в 1863 году напечатал сенсационную работу «Рефлексы головного мозга» (его тут же обвинили, что новая концепция служит оправданием преступникам), в 1866-м — «Физиологию нервной системы». Боткин, заваленный преподаванием и врачебной практикой, готовил к изданию «Курс клиники внутренних болезней» (1867).

Бородин тоже работал с увлечением. Да, новое здание академии строители сдали с задержками и проволочками. Да, вместо оборудованной лаборатории он по приезде из Италии увидел голые стены: «Нас волочили обещаниями, что лаборатория будет готова чрез месяц, чрез два месяца, чрез два с половиною и т. д.». Да, не хватало служителей (говоря современным языком, лаборантов). Но в итоге химическая лаборатория благодаря административному весу Зинина

была устроена лучше многих других. В новом здании имелись вентиляция, центральное отопление, газовое освещение... Здесь вновь возникает «но» огромных размеров, типичное для большинства петербургских «казенных» квартир. Отопление включали и отключали не вовремя, и работало оно далеко не идеально. Что касается «газового завода», то вот свидетельство историка академии, врача Григория Григорьевича Скориченко: «Газ проведен во все академические здания, но освещение им прекращалось с 15 мая по 15 августа. В течение учебного года оно то ухудшалось, то улучшалось и вообще вызывало много нареканий. Контракт с газовым обществом составлен так, что интересы Академии не приняты в расчет, зато кое-кто из хозяйственного правления получил благодарность, вероятно весьма ощутительную...»

Все же в сравнении со студенческими временами условия работы улучшились радикально. В ожидании окончательного переезда из старой лаборатории в новую Бородин делал «пустячки с альдегидами». Они-то на ближайшие десять лет и оказались в центре его внимания. Первым плодом увлечения стала работа «О действии натрия на валериановый альдегид». «Брошенный» Екатериной Сергеевной супруг в мае 1864 года в ожидании весточки из Москвы отчитывался о своем времяпрепровождении: «...только что переписал последний экземпляр моей работы. Ты не поверишь, как она мне опротивела: глядеть не хочется. Представь себе только, что она содержит 25000 букв, и я написал ее сначала вчерне, потом переписал три экземпляра и каждый проверил; это ужас что такое. Хотел послать ее в Парижскую Академию, но как вспомню, что должен перевести ее на французский язык и переписать два раза: один экземпляр для Академии; другой для *Société chimique*^[11] — просто руки не поднимаются. Плюнул!» Краткое изложение этой работы появилось во второй

части бюллетеня Парижского химического общества за 1865 год. Все же 25 тысяч знаков еще раньше уместились на страницах Бюллетеня Академии наук в Санкт-Петербурге. А для «Военно-медицинского журнала» Александр Порфирьевич неукоснительно готовил рефераты об успехах фармации.

Менделеев печатался в издательстве «Общественная польза». Идея общественной пользы и Бородин был не чужд: что, как не она, увлекло его в Порховский уезд Псковской губернии, где помещик Петр Петрович Балавенский открыл в русле реки Черной у деревни Хилово три источника минеральных вод. То было время бурного развития российских курортов (увы, закончившееся, едва железные дороги соединили Россию с Германией беспересадочным сообщением). Петр Петрович, чьим девизом было «Польза выше победы», действовал споро: в 1865 году обнаружил источники — в следующем году уже заключил с военным ведомством контракт на лечение солдат и офицеров.

Для анализа вод направили Бородина как уже имеющего опыт подобных исследований. О кокоревских трех тысячах речи не было — еле-еле удалось выторговать тысячу рублей. Екатерина Сергеевна немедленно загорелась мыслью ехать на воды, но желание профессора отправиться «с женою и прислугою» поставило в затруднительное положение аж самого военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина. Заботливый муж тем самым тоже очутился в затруднении и принялся уговаривать жену: «Ты будешь одна, ибо мне некогда будет сидеть с тобою; ты же будешь скучать одна, бояться кривых потолков, воров, собак, лошадей, коров, кур, цыплят, воробьев, мух, тараканов, пьяных мужиков, трезвых мужиков, баб, ребятишек, грозы, холеры, тифа, простуды, разбойников, болот, темных ночей, часовых, которые караулят усадьбу... Вследствие прихотливости твоих легких,

которым даже Итальянский климат не заменяет Московского, тебе климат Псковской губернии вряд ли придется по нутру. Ты будешь стонать, скорбеть по Москве, бояться простуды, может быть и в самом деле будешь простужаться, и результатом всего этого будет убеждение, что у тебя (а следовательно, и у меня) лето заедено». Екатерина Сергеевна действительно была пуглива, замужество ни на йоту не уменьшило ее боязни всего на свете.

Вследствие долгих переговоров Бородин летом 1866 года так и не добрался до Хилова. Только 19 августа явилось предписание министра ехать, а 1 сентября Александр Порфирьевич получил командировочное свидетельство (благо летние каникулы в Медико-хирургической академии обычно затягивались едва не до конца сентября). Вместе с Бородиным отправился Николай Васильевич Соколов, в будущем тоже профессор химии. Воды оказались холодными сернистыми, подробные результаты опубликовал «Военно-медицинский журнал». Данные Бородина вскоре перепечатали Бертенсон и Воронихин в основательном путеводителе «Минеральные воды, морские купанья и грязи в России и за границей», и пошли они кочевать из брошюры в брошюру, к утешению страждущих. У Бородина была легкая рука! Водолечебница Балавенского быстро пошла в гору, в мае 1915 года санаторий «Хилово» отметил 150-летний юбилей. Летом 1870-го Бородин планировал еще отправиться в Гродненскую губернию исследовать Друскеникские минеральные воды, но сперва передумал ехать на все лето с женой («жиды, поляки... эка невидаль!»), а потом поездка и вовсе отменилась. На том и завершился его вклад в водолечение.

По возвращении из Хилова Александр Порфирьевич оказался пред лицом студенческих орд: Зинин два года назад поручил ему чтение курса органической химии,

теперь же передал ученику практически всю лекционную нагрузку. В лаборатории с утра до вечера занимались группы по 30 студентов. Профессия врача в силу своей явной общественной пользы вышла на пик популярности — наконец-то академия не испытывала проблем с набором юношества! Ежегодно заявления подавали 500 человек, поступали около трехсот, оканчивали... всего около сотни. Неприятности с успеваемостью и дисциплиной отошли на второй план, но политическим мотивам в 1860-е из МХА почти не отчисляли. Главной проблемой была та, что лишь одна седьмая часть студентов не испытывала материальных трудностей. Из остальных примерно половина кое-как сводила концы с концами, другая же половина — около 120 человек на каждом курсе — откровенно бедствовала и голодала. Как следствие, многие теряли здоровье и бросали учебу.

Тем временем новые веяния проникали на Выборгскую: в условиях строжайше раздельного обучения мужчин и женщин в 1863 году к МХА в виде исключения была прикомандирована для усовершенствования врач Варвара Александровна Нафанова (по первому мужу Кашеварова), вскоре вышедшая замуж за профессора патологической анатомии Михаила Матвеевича Руднева.

В музыкальных сферах новые веяния заявляли о себе не менее ярко. Балакирев объединился с Гавриилом Якимовичем Ломакиным и организовал Бесплатную музыкальную школу (БМШ). Изумительно одаренный Ломакин происходил из крепостных музыкантов графов Шереметевых. Фортепиано, скрипка, композиция — все было ему доступно. Его мастерство работы с хором было широко известно в Петербурге: с 18 лет он преподавал едва ли не во всех учебных заведениях города, обучая большую часть княжеских и генеральских детей империи. В стенах Училища правоведения юные

Чайковский, Серов и братья Стасовы с удовольствием и огромной пользой пели под его руководством (Владимира Стасова он на всю жизнь увлек музыкой эпохи Возрождения и барокко). Пиком карьеры Ломакина стало приглашение в Придворную певческую капеллу.

Ломакин снабдил Бесплатную музыкальную школу первоначальным капиталом, давая благотворительные концерты с пестуемым им великолепным хором графа Шереметева. И вот 18 марта 1862 года школа открылась... в помещении Медико-хирургической академии, при поддержке президента Дубовицкого. С любительским коллективом Ломакин взялся заниматься со всей профессиональной серьезностью и быстро поднял его на высокий уровень. 25 февраля следующего года хор в 300 человек, пусть и «укрепленный» шереметевскими певчими, уже с успехом исполнял в зале Дворянского собрания музыку старых мастеров. Тем временем школа обосновалась в стенах городской думы, где сейчас действует ее идейная преемница — Музыкальная школа имени Римского-Корсакова, принимающая учеников без ограничения возраста. Вскоре БМШ получила статус императорской, государственную субсидию и августейшего покровителя — Николая Александровича, наследника престола. После его смерти новым покровителем БМШ стал новый наследник — будущий Александр III. Следовало бы ожидать, что покровитель проникнется «балакиревским» направлением в музыке и впредь будет его поддерживать. Как известно, со временем произошло ровно противоположное.

Редкие, увы, концерты и репетиции БМШ стали обязательной частью музыкального рациона Бородина, ибо старательно им посещались. Какое впечатление произвело на него главное музыкальное событие 1863 года — премьера «Юдифи» Александра Николаевича

Серова, — известно лишь гипотетически. Мусоргского «Юдифь» заставила засесть за оперу «Саламбо», да и в сцене галлюцинаций Бориса Годунова слышатся отзвуки сцены опьянения Олоферна. Для Бородина Серов вроде бы остался лишь критиком из враждебной партии и музыкальным лектором с превосходной дикцией. Однако хор половецких девушек «На безводье днем на солнце» и каватина Кончаковны состоят в некотором родстве с песнями одалисок из «Юдифи»: «На реке на Евфрате горячо солнце греет!.. Милый мой! Приходи! Ночь темна, я одна!» (Римский-Корсаков в своей обработке «Князя Игоря» еще усугубил сходство).

Балакирев бывал в академии и после переезда оттуда БМШ. Бородин зазывал его в гости, прося о новой музыкальной пище — партитурах поздних квартетов Бетховена, «Арагонской хоты» Глинки и собственных балакиревских увертюр. Рацион оказался питательным: бетховенская тема позднее зазвучала в Первом квартете Бородина, сумел он и перенять изящество глинкинской оркестровки. Знакомство с обеими увертюрами Балакирева на русские темы, кажется, прошло без последствий (цитирование народных мелодий «в сыром виде» Бородина не привлекало ни тогда, ни потом). А вот «Чешская увертюра» (1867) с ее одноголосным запевом, неуловимо переменчивой ритмикой, дикой, стихийной кульминацией и в довершение всего появлением аккорда из всех семи звуков гаммы произвела большее впечатление (если судить по будущим бородинским сочинениям).

По-настоящему тесное общение почти не оставляет по себе эпистолярных следов. Те, кого позднее объединили под названием «Могучая кучка», виделись то еженедельно, то ежедневно, разговаривали и музицировали за полночь, а что попадало на бумагу? Одно и то же: заболел, сегодня не смогу быть. Можно

подумать, молодые русские композиторы только и делали, что хворали.

Но даже в таких записочках талант Бородина искрится и блещет. Все дороги для него ведут к искусству. Можно зайти со стороны кулинарии: «В болезни моей виноват косвенным образом Кюи: я вчера вечером съел у него «гуся с капустой» (что совсем не по-французски); этот подлец гусь мне и расстроил брюхо. Музыка спит; жертвенник Аполлона погас; зола на нем остыла; музы плачут, около них урны наполнились слезами, слезы текут через край, сливаются в ручей, ручей журчит и с грустью повествует об охлаждении моем к искусству на сегодня». Спасибо еще, что за тушеную капусту в меню полуфранцуз Кюи не угодил у Бородина во вражескую «немецкую партию».

Гигиена также навевает мысли о музыке: «Сегодня я буду брать ванну и разыгрывать первый акт из Вашей оперы [следуют ноты], второго акта не будет, ибо подсматривать некому: жена может на меня смотреть во всяком виде, и потому подсматривать ей незачем; больше же никого нет. Разве Вы заедете. Право, садитесь на извозчика, и Вас довезут прелестно...» Загадочное письмо. В наследии Балакирева нет ни одной оперы. В 1859 году он подумывал о «Жар-птице» на либретто Виктора Крылова, позднее — о «Царской невесте» Льва Мея, но мотив купания и подглядывания приводит на память сюжеты более древние, вроде бы Милия Алексеевича не занимавшие: Диана и Актеон, Сусанна и старцы, Давид и Вирсавия. Что до Екатерины Сергеевны, она действительно в подглядывающие не годилась. Ей вообще не нравилось, когда супруг принимал ванну нагишом, сие почиталось радикальным, недопустимым новаторством.

То ли дело новаторство музыкальное. В 1880-е годы недружественные критики, осознав, что от музыки кружка больше нельзя отмахиваться как от временного

недоразумения, наконец-то нашли формулировку: «радикальное направление». В целом она верна. Не будучи теоретиком, Балакирев не мог обучать композиции в строгом смысле этого слова, но он четко различал, что хорошо, а что плохо, что современно, а что обветшало и чего следует избегать. Вкус его не знал компромиссов, а враги были повсюду... Трудно сказать, чем объясняется постоянное балакиревское состояние жизни в осажденной крепости, среди недругов и ренегатов. Милий Алексеевич приехал в Петербург из Казани в 1855 году и сразу же заявил о себе как о перспективном пианисте, приобрел некоторую известность у публики и некоторый вес при дворе. Он успел познакомиться с великим Глинкой и символически принять из его рук эстафету русской музыки. Цели его были высоки, критерии жестки. Признавались только сочинения самой высокой пробы. Если Бетховен — то известные лишь знатокам поздние квартеты. Если опера — то нигде тогда не звучавший Глюк. Если новая музыка — то самая достойная. Удивительно, что из гигантского музыкального потока Балакирев безошибочно выбрал то, что со временем не потеряло ценности. В момент знакомства с Бородиным он редактировал для издателя Федора Тимофеевича Стелловского первое в мире Собрание сочинений Шопена. Едва появились симфонические поэмы Ференца Листа, Балакирев стал их почитателем и пропагандистом. Своим музыкальным друзьям он много играл Гектора Берлиоза, и здесь тоже попал в десятку: увертюра «Бегство в Египет» из оратории «Детство Христа» стала тем желудем, из которого выросли первые страницы «Бориса Годунова» — русской истории о царе Ироде.

Балакирев не знал полумер. Как только в поле зрения появлялся перспективный музыкант, Милий Алексеевич немедленно усаживал его за симфонию — русскую симфонию, так и не созданную Глинкой. В

передаче Василия Андреевича Золотарева, в 1890 году занимавшегося у Балакирева в Придворной певческой капелле, происходило это так:

— Васенька, у тебя талант. Пиши-ка ты симфонию... — он остановился, обдумывая. — В фа миноре.

С этой самой целью Мусоргский изучал «Рейнскую» симфонию Шумана (в ми-бемоль мажоре). Химик и почвовед Аполлон Селиверстович Гуссаковский, впоследствии профессор Земледельческого института, засел за симфонию под названием «Да будет свет!», тоже в ми-бемоль мажоре. Кюи, написавший некрологи едва ли не всех русских музыкантов за много десятилетий, вспоминал о вскоре канувшем в неизвестность Гуссаковском: «Еще мальчиком-гимназистом его привели к Балакиреву, который тотчас же заметил в нем значительные музыкальные дарования и занялся их развитием горячо, страстно, настойчиво, почти деспотически — до порабощения личности ученика, как всегда Балакирев относился ко всем молодым талантам, с которыми сталкивался». Первая часть симфонии Гуссаковского — наивная, откровенно шумановская, но все же не лишенная интереса, в 1862 году прозвучала в концерте Русского музыкального общества под управлением Антона Григорьевича Рубинштейна. Продолжения не последовало.

Сам Кюи в 1862 году тоже трудился над симфонией в ми-бемоль мажоре, но не достиг даже конца первой части. Своенравный Мусоргский набрасывал нечто в ре мажоре, вскоре брошенное. Все в том же 1862-м начал работать над своей Первой симфонией ми-бемоль минор совсем молодой Римский-Корсаков и, о чудо, довел ее до конца! Долгое плавание на клипере «Алмаз» к берегам Южной Америки не помешало. В 1865 году он вернулся в Петербург, и Балакирев исполнил его опус в концерте БМШ. «И когда на эстраде явился автор, офицер морской

службы, юноша лет двадцати двух, все, сочувствующие молодости, таланту, искусству, все, верующие в его великую у нас будущность, все те, наконец, кто не нуждается в авторитетном имени, подчас посредственности, для того чтобы восхищаться прекрасным произведением, — все встали, как один человек, и громкое единодушное приветствие начинающему композитору наполнило залу Городской думы» — эти слова Кюи прочли 24 декабря подписчики «Санкт-Петербургских ведомостей», главной газеты империи. Критик положительно оценил влияние Глинки и Шумана и особенно использование в медленной части сочинения народной песни «Про татарский полон». Опыт Римского-Корсакова он назвал «первой русской симфонией». Все преклонение перед Глинкой не заставило Кюи принять во внимание оставшуюся в набросках так называемую одночастную «Симфонию на две русские темы». Что до опусов Антона Рубинштейна, критик определил их как «чисто немецкие произведения, вроде мендельсоновских симфоний». И был прав: солидная часть сочинений Антона Григорьевича написана для Германии и скорее является фактом немецкой, нежели русской, музыкальной жизни.

Для Римского-Корсакова первый симфонический опыт позднее превратился в худшее доказательство его на тот момент профессиональной незрелости — скорее даже несостоятельности (часть упреков заслуженно переадресовывалась Балакиреву). Жестоко переделывая партитуру, Николай Андреевич написал поперек некоторых страниц слова «идиот» и «болван». И правда, оркестровая фактура почти всюду, говоря деликатно, условно-схематичная. Непонятно, каким образом Балакирев, сурово вмешивавшийся в сочинения подопечных, допустил симфонию к исполнению в таком виде.

Бородин стал главным претендентом на создание русской симфонии ми-бемоль мажор^[12] в конце того же богатого событиями 1862 года. В балакиревском кружке он единственный был по-настоящему готов к этому, будучи летами старше всех (включая самого Милия Алексеевича) и ощущая за плечами солидную музыкально-теоретическую подготовку, дополненную опытом игры в оркестре. Работа парадоксальным образом началась с финала, который в итоге оказался наименее «бородинской» — и наиболее «шумановской» частью симфонии. Знаток творчества Бородина Сергей Александрович Дианин считал, что это неспроста: Бородин сознательно напоминал слушателям о Роберте Шумане и его «Давидовом братстве» — полуреальном-полувымышленном союзе музыкантов, боровшихся с мещанством, как Давид-псалмопевец боролся с филистимлянами. Таким братством ощущали себя балакиревцы.

В следующем году настал черед изумительного фантастического скерцо со средним разделом (трио) в русском духе. А в самом начале 1865-го Кюи уже пребывал в восхищении от первой части: сонатное *Allegro* покорило Бородину, отныне он превратился в мастера этой формы (по большому счету в «Могучей кучке» единственного). Дело было за *Andante*.

Летом супруги отправились за границу. 18 мая Ординарный Профессор Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии надворный советник Александр Пор-фирьевич Бородин, командированный «с ученою целью за границу по первое Сентября сего 1865 года», получил паспорт (Екатерину Сергеевну по тогдашнему обыкновению вписали в документ мужа, даже не указав ее фамилии). В паспорте стояли две визы — австрийская и германская. На этот раз не пришлось трястись в карете. 26 мая супруги отправились по недавно построенной Петербурго-Варшавской железной дороге,

28 мая прибыли в Варшаву, переночевали и двинулись дальше — на юг Австрии, точно рассчитав, чтобы вернуться домой к 1 сентября. Во второй раз они оказались за границей вдвоем — и только вдвоем, ни на единый день не расставаясь, свободные от всяких дел и забот, словно вернулось самое счастливое время в их жизни. Екатерина Сергеевна запомнила, как в Граце рождалась медленная часть Первой симфонии:

«Александр вернулся с прогулки по Карпатским горам, близ какой-то беседки одного старого замка. Там ему пришла в голову Des-dur'ная середина Andante, именно эти так удачно в ней вышедшие вздохи качающегося аккомпанемента. Как теперь вижу его за фортепиано, когда он что-нибудь сочинял. И всегда-то рассеянный, он в такие минуты совсем улетал от земли. По десяти часов подряд, бывало, сидит он, и все уже тогда забывал; мог совсем не обедать, не спать... А когда он отрывался от такой работы, то долго еще не мог прийти в нормальное состояние. Его тогда ни о чем нельзя было спрашивать: непременно бы ответил невпопад. Как он не любил, чтобы на него тогда смотрели, и если даже мой взгляд на себе чувствовал, то говорил с потешной интонацией слегка капризного ребенка: «Не смотри; что за охота глядеть на поглупевшее лицо!» А совсем оно у него тогда было не «поглупевшее». Я так любила, напротив, этот растерянный, куда-то улетевший, вдохновенный взгляд».

Тема, явившаяся Бородину в отрогах Карпат — точнее, в парке дворца Эггенберг на окраине Граца, — действительно чудо. «Вздохи» аккомпанемента прекрасны, но орнаментальная мелодия виолончелей, которую они сопровождают, еще лучше. Первая симфония, завершенная Бородиным в конце 1865 года, составила славу Новой русской школы за границей, когда там еще совсем не знали Мусоргского. И где — в

Германии, стране величайших симфонистов! В 1880 году она имела триумфальный успех в Баден-Бадене, в 1883 году ее исполнил в Лейпциге Артур Никиш — восходящая звезда. К этому времени петербургский издатель Василий Васильевич Бессель уже выпустил в свет партитуру, и Первая симфония стала по-настоящему репертуарной. Еще при жизни Бородина ее слышали в Амстердаме, Антверпене, Будапеште, Дрездене, Монако, Кёльне, Киеве, Ростове... А тем временем Балакирев предпринимал всё новые усилия по «улучшению» сочинения «ученика», годами держал рукопись у себя и всю ее исписал пожеланиями: «дать кларнетам», «виолончелям», «удвоить». Лишь ангельское терпение и бесконечная мягкость Бородина, помноженные на его чувство юмора, избавляли «птенца» от конфликтов с «наседкой». Как выглядели со стороны их взаимоотношения, запомнил критик Николай Дмитриевич Кашкин, в декабре 1869 года наблюдавший в Москве обоих и Римского-Корсакова в придачу: «Между прочим, бросалось в глаза властное отношение Балакирева к своим петербургским друзьям, относительно которых он держался чем-то вроде строгого гувернера, а те имели вид как бы привыкших повиноваться ему учеников; у Бородина, впрочем, это подчинение сглаживалось шутливой формой, которую он придавал ему. Балакирев, например, как пришел, так тотчас же заявил о том, что «мы пьем много чаю, а вина не пьем»; последнего нельзя было понимать в буквальном смысле, так как позже вина понемногу все выпили, но Бородин, вздумав выпить вторую рюмку водки перед ужином, попросил меня «заговорить» Балакирева, чтобы он не заметил сего проступка... Бородин, видимо, снисходил к опекунству Балакирева, но в общей беседе непринужденно брал верх над ним, ибо говорил гораздо лучше и, кроме того, его умственный кругозор был гораздо шире. Бородин

отнюдь не старался занимать преобладающее значение в беседе, но это делалось само собой; он отлично говорил чрезвычайно простым языком, почти без иностранных слов и книжных оборотов, но очень складно и убедительно». Разве не так и должен говорить прекрасный лектор, каким был Александр Порфирьевич?

В добродушно-юмористическом, чуточку снисходительном тоне выдержаны многие записки к мэтру от Динь-диньчика (он же Пульпультик), например такая: «При всем моем желании спасти Вас от съедения мышами, мышьяка не посылаю и не советую употреблять, ибо Вы можете перетравиться, и таким образом квартира № 39 в доме Бенардаки останется без жильца, а музыка — без деятеля. На всякий случай я заблаговременно начну писать реквием, ибо в покойниках недостатка не будет: или Вы уморите мышей, или они Вас уморят. Чтобы Вас не доводить до отчаяния, дам Вам практический совет купить мышеловку; это и полезно, и безопасно, и занимательно». И ведь правда сочинил подходящий к случаю реквием! Но об этом в свое время.

При всем при том Александр Порфирьевич был бесконечно благодарен Балакиреву — виновнику появления на свет Первой симфонии. Разделавшись с перепиской партитуры, Бородин отправил мэтру записку, лаконичностью достойную спартанцев: «Кончил. А. Бородин». Не будучи по натуре спартанцем, но будучи опытным крестным отцом, Пульпультик тут же расчувствовался и сочинил *post scriptum* с приглашением в «восприемники новорожденного дитяти». Впоследствии симфония вышла в свет с посвящением Милию Алексеевичу.

Глава 9

«РОМАН В ПИСЬМАХ»: НАЧАЛО

Какова была повседневная жизнь человека, из рук которого только что вышел шедевр? О первых месяцах 1866 года известно лишь, что писатель Василий Петрович Боткин поведал 26 февраля своему зятю Фету: «Ведь и музыкальные впечатления принадлежат к одному роду с поэтическими, с тою разницей, что музыкальные гораздо сильнее, глубже, хотя и неопределимое. Да, именно, оттого и сильнее. Особенно испытал я это в прошлую субботу от трех квартетов Бетховена. Это было не просто удовольствие, это было какое-то сладострастное ощущение и, как сладострастие, оно действует изнурительно. Дело в том, что всё, что играется на публичных вечерах и концертах, — меня не удовлетворяет, — вот я и решился устроить два квартетных вечера у Сережи, с тем чтобы он никого не приглашал. И действительно, слушателями были только их двое, я да Балакирев и Бородин — отличные музыканты. Для последнего квартета *menu* сделал я. А мне из моих знакомых даже некого было бы и пригласить. Балакирев — музыкант *ex-professo*, а Бородин — профессор химии и вместе отличный музыкус». Василий Петрович повсюду устраивал музыкальные утра да вечера и сделал то же самое, навещая в Петербурге брата. Поздние квартеты Бетховена были предметом его обожания.

О происходившем с Бородиным день за днем между 9 мая и 15 июля, напротив, известно почти все, ибо супруги прожили это время в разлуке. Так появилась первая глава их «романа в письмах».

«Согласно нашему с тобою договору пишу тебе в субботу, не дождавшись еще твоего письма. Жду его завтра. В этом послании к тебе я опишу подробно житейское мое без тебя...» Итак, в среду 9 мая, усадив супругу в поезд, Александр Порфирьевич вместе с Линой — Александрой Андреевной Столяревской, жившей при Екатерине Сергеевне приживалкой и готовившейся в акушерки, — переждал грозу, добрался домой на извозчике и разобрал все книги и бумаги. Лег в полночь. «Ложась спать, я все думал о тебе и так с этой мыслью и заснул». В четверг заказал себе за 40 рублей пальто, затем писал работу для Менделеева (видимо, канувшее в вечность сочинение о применении аналитической химии к медицине), пообедал зеленым супом и телячьими котлетками с горошком. После обеда навестил «тетушку», угостился чаем и апельсинами, вечером пришли в гости Кюи с женой. В квартире истребляли клопов, отчего у Лины и у горничной Дуняши разболелись головы. В пятницу упорно занимался «менделеевской» работой, пообедал перловым супом и телячьими котлетами и отправился заказывать книги для академии. В субботу с утра оппонировал на защите двух диссертаций, причем одну, совсем слабую, «вытащил чуть не за волосы», пообедал дома в обществе Макси Сорокина лапшой и бифштексом с хреном и до ночи работал в лаборатории с валериановым альдегидом.

Хотелось к 1 июня покончить с делами и укатить в Москву до планировавшегося в июле вояжа в Хилово: «Без тебя здесь ужасно пусто и тихо, как-то не кричится мне, не поется, не гамится; вероятно потому, что унимать некому. Лина шьет себе шляпку и сидит тихо так, что ее тоже не слышать. Дуняша отпросилась со двора. Вообще я себя чувствую теперь как-то гостем, а не хозяином, да и гостем-то проезжим каким-то. Вместе с этим я чувствую, что где-то теперь лето, что этим

летом можно пользоваться и наслаждаться... Пойми же теперь, как я должен радоваться, зная, что ты уж начала этот летний режим, что для тебя лето в разгаре, что ты дышишь свободно полной грудью, что ты можешь бегать по саду без шляпы». Однако майские дела — переделка газа и водопровода в лаборатории, ремонт (уже!) квартиры — застряли в подвешенном состоянии. Поездка в Хилово пребывала «облеченной шинелью неизвестности».

До конца мая продолжались экзамены, отчего требовалось являться, как положено, в мундире. Бородин был уже статский советник, его высокородие: «А какой я смешной в енаральской-то форме, «старичок» совсем. Ужасно старообразит этот костюм, частью сам по себе, частью потому, что мы не привыкли видеть его на молодых. Зато как я возложил на себя амуницию, от меня распускалось такое сияние во все стороны, что можно с меня писать картину преображенья, в роде Рафаелевской; сияет воротник, сияют обшлага, сияют 16 пуговиц, как звезды, сияют эполеты (убийственно!), как два солнца, сияет темляк, сияет околыш кэпи, одним словом «ваше сиятельство» — да и только». Не в чинах счастье, 32-летнему профессору-генералу уже хотелось выглядеть... чуточку помоложе.

Тем временем в Москве у брата Екатерины Сергеевны Алексея родилась дочь Елена. По такому торжественному случаю переводчица с английского Мария Ивановна Ловцова презентовала новоиспеченной тете только что вышедшую книгу Чарлза Веста «Уход за больными детьми». Мнительный, склонный к хандре Алексей Сергеевич был в семье «горемычнейшим». На тот момент он имел 800 рублей долга и опасное заболевание глаза, следовательно, был отправлен к зятю в Петербург. Бородин обегал с ним офтальмологов-«глазодеев», договорился об операции. У него самого разболелись зубы, вздулся флюс. Только к 3

июня медицинские хлопоты завершились. Родственники и Лина, в присутствии Алексея превращавшаяся в «кокетиштшу несообразную», пообедали пирогом с сигом и вязигой, и Бородин начал хлопотать об отпуске. Он явно вздохнул свободнее, ибо к посланию «трем Катеринам» — теще, жене и жене шурина, для удобства именуемой в семье «Кисой», — приложил стихотворный портрет всех троих. О любимой супруге сказано с особенным вдохновением:

...целый день сидит,
Пьет чай, табачный дым пускает,
А ночью чашками гремит —
И все о брате вспоминает,
И вплоть до раннего утра
В постели курит; — ей не спится.
Когда уж всем вставать пора,
Тогда она лишь спать ложится.

Далее идут натуралистические подробности, достойные завсегдатая клиник МХА. Ночами Екатерину Сергеевну, случалось, мучили приступы кашля, отпускавшие лишь к шести-семи часам утра. От этого у нее развилась привычка менять день и ночь местами. Вопреки недомоганиям присутствие в доме Екатерины Сергеевны автоматически означало прокуренные комнаты и множество окурков на полу — привычку эту она явно приобрела еще до начала совместной жизни с некурящим мужем.

Наконец отпуск был получен, Бородин отбыл в Москву, а уже в пятницу 24 июня посадил в поезд Алексея, ехавшего в Петербург оперировать глаз, и Екатерину Сергеевну, у которой тоже что-то случилось с глазами. Вечером до ужина прогуливал по Тверскому бульвару оставшихся в Москве двух Катерин. Жара

стояла тяжелая и душная. В субботу в шесть утра Александр Порфирьевич спасся от домашней духоты на Тверской бульвар, а в 10 часов укатил в Петровско-Разумовское — в Земледельческую и лесную академию, к профессору органической и агрономической химии Павлу Антоновичу Ильенкову. Пообедал, нагулялся и, говоря бородинским языком, «полупил» пить чай к «кузену-бабену» (Дмитрию Семеновичу Ступишину, двоюродному брату Екатерины Сергеевны). От него — к другому бабену-бабнику, Пановскому, с которым еще в прошлые приезды задушевно подружился. Вечером прогуливал по Тверскому бульвару Кису, совсем захлопотавшуюся с ребенком. Как видно, в Москве Александр Порфирьевич стал своим человеком, очаровав и «присвоив» родственников и знакомых жены.

В воскресенье Протопоповы лакомились клубникой. В понедельник... «Вы не можете себе представить, маленькая Точечка, до какой степени меня обрадовало Ваше милое письмо. Знаете ли, Зозо, что я почти всю ночь плохо спал и встал утрецом раным-рано; все думал об маленькой Точечке». Однажды Бородин записал на листке дату объяснения с Екатериной Сергеевной в Гейдельберге и окружил ее венком из нежных прозвищ, беспрестанно им изобретаемых. Читать их и трогательно, и грустно: словно в постоянных разлуках Бородин поддерживал в себе столь дорогое ему чувство, заполнял неизбежно росшую между ним и женой трещину, когда прибежищами их любви оставались лишь почтовая бумага да собственное воображение.

Неделя прошла в хождении с книгами то в парк Голицынской больницы — в компании обожавших Александра Порфирьевича окрестных собак, то в Нескучный сад. В умилении крошечной племянницей жены, в успокоении тещи — вековой «страдалицы за всех отсутствующих». В пятницу пришла радостная

весть: Алексея оперировали успешно, Екатерине Сергеевне операция не требуется. Помимо любвеобильных собак Бородина осаждали любезностями некая «глупая барыня» Наталья Сергеевна и — Пановский. Пред последним Бородин явился во всеоружии искусства десмургии (то бишь бинтования), ибо тот, невзирая на почтенные лета, изощрялся «прыгать на гнилом мосту в имении Шиловских, причем мост провалился и поглотил собою Николая Михайловича, или точнее его правую ногу. Делая медицинский осмотр, я пришел к крайнему удивлению, увидав у Старца такие здоровенные, мускулистые ноги, каким позавидовал бы каждый из нас. О Калиостро! Мне кажется, что Старец в самом деле черно-книжничает».

Сие было в воскресенье. Ко вторнику Бородин перебил в квартире тысячи мух и более-менее обуздал «протопоповизм», то есть безграничную мнительность тещи. Всю следующую неделю он то удирает от родственников и знакомых в Нескучный заниматься, то мчался в центр города вывести на прогулку умаявшуюся Кису. Во вторник 12 июля повез тещу в Останкино на дачу к Ступишиным. Собрав всех юных девиц, каких нашел в доме, статский советник повлек их в Петровско-Разумовское кататься на лодке в обществе лаборантов Ильенкова. Увидев столько незнакомых мужчин, девицы словно воды в рот набрали, зато потом по дороге домой щебетали без умолку. В среду отправились в великолепную запущенную усадьбу Свиблово с романтическими развалинами барского дома и одичалым парком. В четверг под вечер вернулись в Голицынскую больницу. В пятницу теща, то есть «Мама», варила варенье из дынных корок. Все шло отлично, если не считать разлуки с женой. «Мама», впрочем, ежеминутно окружала бледного и худого, на ее взгляд, зятя заботами: «Она иногда поднесет мне не вовремя в виде сюрприза: то дыньку, то ягодок, то простоквашки, то

сливочек и пр. — а я вдруг откажусь: что де на ночь, или натошак, или перед обедом не след есть этого. Вообще, если бы я слушался Мамы — давно бы объелся и умер».

Химия и медицина то и дело мелькают в этих каникулярных письмах. О музыке за два месяца — ни слова. В июне разок заходил Кюи, но друзья не «мусикийствовали». Музы молчали, даже слезы у них иссякли.

Глава 10

КОМПОЗИТОР, ИЩУЩИЙ НЕИЗВЕСТНОСТИ: «БОГАТЫРИ»

Весь 1867 год прошел под знаком общественно значимых событий. 28 декабря в Петербурге открылся Первый съезд русских естествоиспытателей, а в полдень 3 января следующего года Бородин открыл третье и последнее заседание химической секции сообщением о производных валерианового альдегида. Вечером того же дня химическая секция единодушно «определила просить об учреждении Русского химического общества» — уже не «домашнего», как в Гейдельберге, а всероссийского. Видимо, с тех времен повелась традиция «химических обедов» вскладчину, на которые петербургские химики ежегодно собирались в последних числах декабря. Первым президентом Общества стал Зинин, устав написал Менделеев. В число отцов-основателей вошел и Бородин.

Занимаясь фундаментальными работами, он уже тогда стал обращать внимание на темы практические — вероятно, по инициативе врачей академии. Среди медиков шли жаркие дискуссии о пользе и вреде опийных препаратов — Бородин напечатал в «Протоколах общества русских врачей за 1867 год» работу «Исследования бухарского опия».

Вокруг Балакирева тоже происходили события отнюдь не «домашнего» значения. В январе и феврале 1867 года в Праге под его управлением прошли обе оперы Глинки — и «Жизнь за царя», и «Руслан и Людмила» (трижды!). В художественном отношении это была серьезная заявка на будущую роль русской музыки

в мире. В политическом отношении балакиревская деятельность служила идее единства славянских народов трех империй — Российской, Австро-Венгерской и Османской. Идею эту Балакирев поддерживал обеими руками. Но сердцу не прикажешь, а путь к сердцу Милия Алексеевича лежал через желудок: «Я многогрешный поживаю даже премерзко, даже хуже того, только не нахожу слов для достаточного выражения... Узенько-немецкая жизнь чехов меня просто приводит в отчаяние. Я просто страдалец ежедневно и не дождусь когда можно будет удрать отсюда. Что они едят! мой бог, мой бог! Я кажется Цезарю писал, что меня кормят рыбьими ляшками с сорочьим молоком, а сегодня подали мне с торжеством кусок гуся, в коем кроме костей ничего не оказалось, так что я предположил, что сей злощасный гусь был выписан здешнею дирекциею ставить какие-нибудь гусиньи оперы, и от горести скончался естественною смертью, если таковую смерть можно назвать естественною» — вот что получил из Праги Бородин, а прежде него, стало быть, Кюи.

Сперва прусско-австрийско-итальянская война задержала работу Балакирева над спектаклями. Затем костлявые гуси, польские графы, местные полонофобы и (о ужас!) сам глава чешского национального направления в музыке Бедржих Сметана — все объединились против Глинки. Милий Алексеевич фанатично вел репетиции, а у себя на квартире «на кислейшем фортоплясе» отводил душу за восточными гармониями, принимаемыми хозяйкой за «монгольские». Он тогда находился в самом начале марафонской дистанции — взялся за сочинение симфонической поэмы «Тамара», оконченной в 1882 году. Захватывающий, завораживающий ориентализм (тот же «бухарский опий», только музыкальный) служил противоядием против немецкой узости.

Все коллизии разрешились благополучно. В Праге подписали мирный договор, поставивший точку в войне: растущие национальные государства — итальянское и немецкое — расширились за счет дряхлевшей империи. Балакирев приехал, одолел все препятствия, вернулся домой триумфатором и оказался выше мелких обид — принялся за увертюру на темы трех чешских песен (Мусоргский под его влиянием начал набрасывать темы для симфонической поэмы «Подибрад Чешский»), Может быть, на Балакирева повлияли миролюбивые увещания Бородина: «Что же касается до разочарования Вашего относительно чехов, то я это предвидел и, если припомните, предсказывал Вам. Таковы все австрийские славяне. Чехи из них еще самые лучшие... У чехов германизация подействовала более на внешнюю сторону быта; в них остался чешский дух, чешские стремления. А у нас? — каждый норовит корчить француза или англичанина, раболепствовать перед судом Европы; ни малейшего проявления национальной самостоятельности, полная безразличность. Может быть, впрочем, я и пересаливаю немного: я сегодня сердит. Ну, полно!» Бородин сердит?..

Весной Балакирев пополам с Константином Николаевичем Лядовым дирижировал в Михайловском манеже концертом-монстром с участием огромнейшего хора и оркестра. 8 мая 1867 года в Петербурге торжественно открылся Первый славянский съезд. В культурной программе значились спектакль «Жизнь за царя», парадный обед в зале Дворянского собрания, на котором хор Русской оперы пел песни славянских народов, и 12 мая — Славянский концерт в городской думе под управлением Балакирева. Знамена, фестоны, гербы, а над всем этим великолепием — портрет Александра II. Звучали «Камаринская» Глинки, увертюра к опере Львова «Ундина», «Казачок» Даргомыжского,

Чешская увертюра Балакирева, Сербская фантазия Римского-Корсакова, романсы Глинки, Даргомыжского, Балакирева и Римского-Корсакова, арии из «Гальки» Монюшко, а также сочинения Листа и Берлиоза на венгерские темы, тактично объявленные «словацкими». Чешская депутация поднесла Балакиреву дирижерский жезл из слоновой кости.

На другой день Владимир Васильевич Стасов в «Санкт-Петербургских ведомостях» завершил восторженное описание концерта словами: «Кончим наши заметки желанием: дай бог, чтоб наши славянские гости никогда не забыли сегодняшнего концерта, дай бог, чтоб они навсегда сохранили воспоминание о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Из здравствовавших тогда русских композиторов в программе концерта были представлены Даргомыжский, Балакирев, Римский-Корсаков и Алексей Федорович Львов, что совершенно не соответствует нашим представлениям о «Могучей кучке»; да и о корявости этого определения, долгое время употреблявшегося лишь в шутку — кошмаре переводчиков, — много было сказано. Но какие могут быть претензии к переполненному впечатлениями Стасову, ночью второпях писавшему рецензию? Все претензии — к Истории, из тысяч и тысяч слов плодовитого критика выхватившей эти два, чтобы дать имя Новой русской школе.

Для полноты сведений о музыкальных пиршествах 1867 года нужно добавить, что в ноябре в Россию после двадцатилетнего перерыва вновь приехал Гектор Берлиоз. Композитор, почитавшийся балакиревцами наравне с Листом, имевший давние связи с Россией (его «Фантастическая симфония» посвящена Николаю I), дал шесть концертов в Петербурге и два в Москве.

Бородин-химик в тот год был на высоте. Чем был занят Бородин-музыкант? Сочинял первую в истории русскую оперетту под названием «Богатыри». Инициатором этого подвига выступил Виктор Александрович Крылов — комедиограф, переводчик, любимец столичной публики. Это он первым научил изъясняться по-русски героев Жака Оффенбаха. В 1865 году Крылов перевел «Прекрасную Елену», и весь Петербург запел строфы спартанской царицы, прекрасной дочери Леды и Зевса:

Вот, например, с моей мамашей.
Как стал к ней лебедь подплывать,
Который был моим папашей...

Строго говоря, «Богатыри» — ремейк «Прекрасной Елены», переложенной Крыловым «на русские нравы». Действие происходит в «нашем историческом прошлом» — «до поры, до времени, в земле Куруханской, при Калдык-реке». Не троянский царевич Парис похищает Елену у Менелая, но чужестранный богатырь Соловей Будимирович похищает княжну Забаву у ее родителей Густомысла и Милитрисы. Зевса сменяет Перун, жреца Калхаса — жрец Кострюк. Вместо греческих царей на сцену выходят сказочные богатыри и побеждают одетых в звериные шкуры богатырш во главе с Амелфой Змеевной. На этом материале Крылов воздвиг богатырскую эпопею в пяти картинах, затронув в ней буквально все насущные вопросы русской действительности и все проблемы современного искусства.

Обычно задаются вопросом: каким образом Бородин познакомился с Крыловым? Поскольку одна сестра драматурга, Анастасия, была замужем за Боткиным, а другая, Мария, в июне 1867 года вышла замуж за его

ассистента Алексея Герасимовича Полотебнова, вопрос этот вполне праздный. Вопрос в другом: почему Крылов не обратился к Кюи?

Крылов и Кюи подружились еще в Николаевском инженерном училище. Вместе они усердно посещали Мариинский театр, вместе принялись за оперу «Кавказский пленник». Очарованные «Бронзовым конем» Жака Обера, вместе сочинили в подражание «китайский» водевиль под названием «Сын мандарина». На стихи Крылова в 1850-е годы Кюи написал свои первые романы — плоды вдохновения чистого, романтического юноши. Какие обаятельные мелодии выходили тогда из-под его пера! Кто бы мог подумать, что уже в 1870-м автор наступит на горло своему мелодическому дару, погрузившись в декламационные опыты, а среди близких заслужит прозвище «Едкость». Так почему же не Кюи? Цезарь Антонович был занят: при участии Крылова писал оперу «Вильям Ратклиф» на сюжет из Гейне.

Балакирев? При нем вряд ли кто-нибудь посмел бы заикнуться об оперетке.

Мусоргский? Ведь это он, Мусоргский, сыграл главную роль в пьесе «Прямо набело», сочиненной двадцатилетним инженером Крыловым и показанной дома у родителей невесты Кюи, на ее девичнике. Этот сугубо домашний спектакль стал «крестинами» Крылова-драматурга. Вскоре все тот же Мусоргский все в той же квартире, в склеенных из обоев декорациях пел партию Мандарина в «китайской» опере обоих своих друзей. Кюи и Балакирев аккомпанировали на рояле, в «публике» сидели Даргомыжский и Стасов. Предпоследний день 1867 года ознаменовался для него сочинением песни-пародии «Классик» — музыкального ответа на ругательную статью в газете «Голос» за подписью композитора и профессора эстетики Александра Сергеевича Фаминцына. Так почему же не

Мусоргский? Год начался для него бронхитом и нервной лихорадкой — а в июне на мызе Минкино в Лужском уезде за 12 дней был создан шедевр: фантазия «Иванова ночь на Лысой горе».

Едва ли не в те же дни Римский-Корсаков взялся за сюжет, присоветованный ему Мусоргским (а тому еще раньше — Балакиревым). В сентябре была завершена партитура музыкальной картины «Садко», в которой подающий надежды молодой композитор впервые заявил о себе как о гении.

Занятые всю зиму службой, «балакиревцы» имели на лето 1867 года серьезные творческие планы — все, кроме Бородина. Первая симфония — его первый шедевр — была готова. Возможно, ему как мужу пианистки следовало бы сочинить несколько фортепианных пьес и вывезти Екатерину Сергеевну на курорт. Но самых очевидных действий он почему-то избегал, а спрятался на все лето у тещи в Голицынской больнице и занялся «Богатырями». В те годы за Александром Порфирьевичем еще не ходили по пятам потенциальные мемуаристы, если не считать шурина Алексея. Тот позднее поведал дочери Елене, как его зять на улице попросил одного шарманщика играть из «Травиаты», другого — из «Трубадура», а сам встал между ними и наслаждался эффектом. Вероятно, Бородин всегда любил устраивать музыкальные шутки, чем очень напоминал Даргомыжского и мастера пародии Мусоргского. Позднее он делал это постоянно: то любуясь из окна полем, усеянным кучками навоза, импровизировал вальс «Кучки», то воздвигал кадрили на темы из «Псковитянки» или фантазии и фуги на тему «Гусар, на саблю опираясь», то играл вальсы и польки на темы «Сна Ярославны» и «Как уныло все кругом». Случалось, Екатерина Сергеевна при большом стечении народа подавала голос из своей комнаты:

— Сашечка! Ну сыграй то, что ты сегодня утром сочинил!

Сашечка с суровым видом открывал рояль, вместо новой сцены из «Князя Игоря» исполнял нечто невообразимое, закрывал рояль и резюмировал:

— Фу, какая гадость! Фу, какая пакость!

Если слушатели все-таки хвалили импровизацию, прибавлял:

— Что же мудреного, что и невские девицы могут нравиться?..

Наверняка Крылову довелось слышать такого рода импровизации: например, пародию на романс Римского-Корсакова «Южная ночь», который уже был напечатан и вместе с другими романсами Корсиньки и Кюи имелся в домашней библиотеке, украшенный готическим экслибрисом Бородина. А может быть, драматург внимал вариациям Бородина на две польки, одну бородинскую, другую сочинения Николая Александровича Борождина — юриста, композитора-любителя, друга всех Стасовых. В результате профессор химии впервые в жизни получил заказ на музыкальное произведение, притом крупное, то есть оказался в нетипичной для него ситуации профессионального композитора.

Цензурное разрешение последовало 18 мая. На этой стадии к постановке подключился московский режиссер Николай Петрович Савицкий, немало потрудившийся на пользу русской музыки. 11 января того же года он сделал гвоздем своего бенефиса в Большом театре оперу-балет Даргомыжского «Торжество Вакха». Написанное на слова Пушкина, это сочинение появилось в 1846 году и с тех пор еще ни разу (!) не ставилось. Много «добрых» слов сказано по этому поводу в адрес Императорских театров, но где сейчас можно услышать «Торжество»? Нигде. Пресса Даргомыжского разругала, московская же публика с удовольствием посмотрела четыре спектакля. Сразу затем Савицкий взялся за

«Грозу» Василия Никитича Кашперова. В Москве премьера оперы по пьесе Островского стала крупным событием. Начинаящий издатель Петр Иванович Юргенсон напечатал ноты фортепианного переложения, которое сделал маститый Дюбюк, взяв в помощники молодого Петра Ильича Чайковского.

Итак, Бородин засел за работу. Для скорости писал карандашом, набросал две картины из пяти, подсчитал число тактов, внимательно посмотрел на календарь — и отправил Крылову послание с подсчетами: во всей оперетте будет более 5000 тактов, которые займут около 550 страниц партитуры плюс 300 страниц клавира, на что потребуется не менее 70 рабочих дней при условии полной свободы от других занятий либо 340 дней в реальных жизненных условиях. «Богатыри» явно вырастали слишком корпулентными для оперетты, закончить их к осени 1867 года не представлялось возможным. Крылову был предложен выбор: «Итак, если Вы желаете, чтобы я писал музыку к «Богатырям», то я решительно не могу написать ее ранее как к будущему оперному сезону (1868 года). Вы только, пожалуйста, не стесняйтесь; если в Вашем интересе лежит главнейшим образом скорейшая постановка и Вы не гонитесь за свежей и оригинальной музыкой — Вам, вероятно, можно будет подобрать кой-какую из готового, старого театрального репертуара. Оно будет менее художественно, но зато хлебнее: раньше получите барыши, и не придется отдавать половину их мне».

Александр Порфирьевич так хорошо, так убедительно уговаривает, что закрадывается подозрение: охладел он к идее сочинять 550 страниц легкой музыки (кстати, даже следов эскизов уже сочиненных двух картин никто пока не обнаружил). Однако подводить соавтора неудобно, посему предлагается «план Б». Выхода не было, порешили сделать коллаж из чужой музыки, и Бородин стал

сочинять, то есть теперь уже составлять «Богатырей» заново. Он курсировал между Голицынской больницы и Большим театром: просматривал клавиры и партитуры, отмечал крестиками нужные фрагменты. Два немца — флейтист Фердинанд Фридрихович Бюхнер и помощник капельмейстера Русской оперы Эрнст Николаевич Мертен — аккуратно выписывали отмеченное на отдельные листы, после чего Александр Порфирьевич добавлял вокальные партии с новыми словами и еще кое-что от себя: то интерлюдии в народном духе, то мрачный полонез «Все пропало, все погибло!», подозрительно похожий на «Очи черные».

В шесть рук работа пошла споро. Доступны были главным образом произведения из текущего репертуара: Нотная контора Императорских театров находилась в Петербурге, откуда в Москву присылали только необходимые партитуры, обычно вскоре забирая их обратно. Так что выбор у Бородина был невелик. Игались в бенефис Савицкого вместе с «Торжеством Вакха» «Болтуны» Оффенбаха (взамен его же «Синей Бороды», в последний момент запрещенной цензурой)? Берем! Шел тогда же 4-й акт петербургской новинки — «Рогнеды» Серова? Давайте его сюда! Естественно, пошла в ход «Прекрасная Елена», попались под горячую руку «Севильский цирюльник» Россини и «Эрнани» Верди, пригодились «Роберт-дьявол» и «Пророк» Мейербера. Из «Семирамиды» Россини Бородин умудрился выкроить кусочек, напоминающий алябьевского «Соловья», а «Гимн анабаптистов» из «Пророка» запели у него калики перехожие. Брили они себе в белых балахонах и лаптях, с котомками за плечами, с колоколами и палицами в руках, били палицами в колокола, отзвонив, надевали колокола на головы и заводили:

Калики перехожие везде вестовщики.
По всей земле тихохонько бредут, бредут,
бредут
И вести всем и каждому дают, дают, дают.

Широко тогда известная мелодия Мейербера в их устах незаметно превращалась в... русскую песню «Среди долины ровныя». Видимо, под влиянием рассказов Балакирева о чешской музыке два номера оказались «в темпе польки». Главным же объектом пародии для Бородина в отличие от Крылова была «Рогнеда» — грандиозная опера Серова о крещении Руси, впервые показанная в Петербурге 27 октября 1865 года, москвичам же, за исключением 4-го действия, еще неизвестная. Балакирев и Кюи ее ругали, Римский-Корсаков тайком от «старших» ею увлекался, а Бородин вполне добродушно спародировал. У Серова кровожадные язычники пляшут вокруг идола — у Бородина под ту же музыку, в его руках ставшую совсем игрушечной, сам Перун пляшет будто заводная кукла. Музыку этой сцены Александр Порфирьевич записал по памяти, попутно переделав на свой лад.

В сентябре Александр Порфирьевич заболел. Считается, что именно в такие дни и создавались его лучшие произведения, но автор, смотря по ситуации, умел подать свои недомогания то как помогающие, то как мешающие творчеству. В данном случае болезнь помешала. 24 сентября Бородин отбыл в Петербург. К этому времени готовы были лишь четыре картины оперетты, недаром Бородин вложил в уста князя Густомысла свое любимое присловье: «Тише едешь — дальше будешь! Торопитесь не спеша». Через неделю Крылов попросил принять пьесу к постановке в Большом театре, а 13 октября Бородин наконец-то закончил и выслал в Москву окончание партитуры. Лишенный

ресурсов театральной библиотеки, он был вынужден сочинить финал самостоятельно и сотворил целый «лакейско-мещанский» апофеоз: куплеты Соловья на тему «Песни про Брему и Фому» и «Куруханскую вакханалию» («Ходи, изба, ходи, печь!») — трепачок-казачок *a la* Даргомыжский.

Премьера состоялась 6 ноября 1867 года. Бородин пребывал в Петербурге, читал лекции и работал в лаборатории. Собираясь на Святках выбраться в Москву посмотреть спектакль. На афише вместо фамилии композитора красовались три звездочки: негоже было профессору являться в качестве автора оперетки, тем более ее музыка принадлежала многим. Поскольку Александра Порфирьевича не было на репетициях, Савицкий не стал обращаться к нему за двумя срочно потребовавшимися новыми номерами. Любовную песенку Алеши Поповича («Ах, если бы можно буйным ветром стати, подлетел бы к девице, стал бы целовати; но не можно... опасно!») сочинил скрипач Юлий Густавович Гербер. Танец амазонок сотворил декоратор Карл Федорович Вальц. Увертюры Бородин тоже не написал, приспособили чью-то подходящую.

В деле поиска неизвестности Александр Порфирьевич вполне преуспел. Летом петербургские музыкальные друзья были далеко. Только Балакирев приезжал в Клин навестить отца и порывался совершить оттуда целое путешествие: поездом до Москвы, пешком от вокзала до Красных Ворот, а оттуда по Мясницкой мимо почтамта до Лубянской площади, а оттуда по Ильинке, а оттуда через весь Кремль к Большому Каменному мосту, а оттуда к Малому Каменному, а оттуда по Якиманке до Калужских ворот, а оттуда до самой Голицынской больницы — и там заночевать... На что последовал ответ: «Получил я Вашу эпистолу и, к сожалению моему, должен отказать себе в удовольствии видеть Вас спящим у нас на квартире. Причина

заключается в том, что квартира наша более похожа на курятник, нежели на жилье высших существ, изображающих из себя образ и подобие Божие». Милий Алексеевич приглашался в гости, но без ночевки. Выбрался ли он в Москву или же Бородины посетили его в Клину, неизвестно.

Тещу композиции зятя не интересовали, шурин («бедный Лёка») был всечасно занят собой. Знали о зреющей оперетте лишь обожавшая сочинения мужа Екатерина Сергеевна да навешавший обоих Пановский. Его-то История и назначила ответственным за несчастную судьбу «Богатырей». Именно Пановский дал в «Московских ведомостях» анонс «грозной лавины» грядущих бенефисов, пророчески назвав его «Театральные обвалы», и среди прочего сообщил: «Судебная хроника также доставила материал для оперетки, в роде оффенбаховских: «Богатыри». Это, как сказывают, сценический резюме процесса за богатырский подвиг нескольких современных героев в каком-то ресторане в окрестностях Москвы». Якобы ложная информация журналиста сбила с толку публику и повредила успеху, хотя кто знает, какие богатырские подвиги с похищением девушек совершались тогда по окрестностям Первопрестольной. Может, и прав был Николай Михайлович? Ведь центральное событие оперетты, позднее получившее место и в либретто «Князя Игоря», — похищение девушки.

Жаль, благожелательный Пановский не рецензировал спектакль. Это сделал драматург Алексей Антипович Потехин, в пух разругавший пьесу Крылова за отсутствие содержания, неверный взгляд на современный греческий вопрос, скуку, пошлость и отметивший «богатырское шиканье» публики. Отдельно досталось шедшему в один вечер с «Богатырями» дивертисменту «из неприличных канканов» в исполнении юных воспитанниц театральной школы. О

музыке Потехин лишь заметил, что она «набрана и пародирована из разных опер каким-то г. ***». Театр на «Богатырях» был полон. Возможно, на втором спектакле, назначенном на 8 ноября (в бенефис хора), публика разобралась бы в сюжете и распробовала бородинские пародии. Да приболел сладкоголосый Михаил Петрович Владиславлев (Соловей Будимирович), и пришлось заменить оперетту «Аскольдовой могилой» Верстовского. Второй спектакль «Богатырей» так и не состоялся, не пришлось композитору на Святках инкогнито посетить Москву...

Александр Порфирьевич умел хранить тайны: никто из его «музыкальных друзей» так и не узнал о его «двойной жизни» в качестве опереточного композитора. То-то он, наверное, смеялся про себя, когда Стасов с пафосом называл его Вторую симфонию «Богатырской»! Скелет извлекался из шкафа лишь в кругу семьи. Не «Богатырям» было суждено нарушить установившуюся в жизни Бородина гармонию сфер и поколебать его в убеждении, что музыка — забава, а химия — дело.

Глава 11

«МОЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ НОВЕНЬКИЙ ГЛИНКА»

В разгар работы над «Богатырями» Екатерина Сергеевна поздравила супруга с именинами стихами собственного изготовления, от души пожелав:

Чтобы ночи ты спал, чтобы дни ликовал
Мой талантливый новенький Глинка.

Культ Глинки набирал силу. Росло убеждение: Глинка — основоположник и первый классик русской музыки. Словно не было ни Дмитрия Степановича Бортнянского, ни Максима Созонтовича Березовского, ни Василия Титова! И словно не работал одновременно с Глинкой Алексей Николаевич Верстовский, автор шести опер. Но нет, никто в поколении Бородина не стремился назваться наследником Бортнянского или Верстовского, зато звание наследника Глинки оспаривали многие. Первый по старшинству — Александр Сергеевич Даргомыжский, много общавшийся с мастером. Между делом Глинка научил его обращаться с оркестром. Нужно было срочно оркестровать к концерту несколько романсов, Михаил Иванович записал первый такт партитуры и велел молодому коллеге продолжать. Через несколько минут заглянул в ноты, что нужно, поправил и подсказал, как двинуться дальше. В гения инструментовки Даргомыжский так и не вырос, но написание партитуры перестало для него быть тайной за семью печатями.

Александр Николаевич Серов в возрасте двадцати двух лет поделился со своим тогда ближайшим другом

Стасовым: «О, с тех пор как я по случаю лично познакомился с Глинкой, я в него верую, как в божество!» Пример Глинки подвиг Серова к собственным оперным опытам, итогом чего стали «Юдифь», «Рогнеда» и «Вражья сила». Лично познакомиться с Глинкой успел Балакирев.

Серьезным претендентом выступал будущий профессор Московской консерватории Владимир Никитич Кашперов, автор опер «Цыганы», «Гроза» и «Тарас Бульба». В молодости он по совету Глинки ездил в Берлин изучать теорию музыки у Зигфрида Дена, затем вернулся в Россию, участвовал в Крымской войне — и вновь уехал в Германию. 3 февраля 1857 года бездетный Глинка скончался в Берлине на руках у Кашперова, которого звал *figlio carissimo* («дражайший сын»), себя же на немецкий манер — «Папахен». Вскоре в театрах Италии были поставлены три оперы Кашперова — «Мария Тюдор», «Кола ди Риенци», «Консуэло». Как же завидовали ему русские композиторы, тщетно искавшие признания за границей! Кашперов утверждал, будто Глинка надиктовал ему «характеристику оркестра вообще и каждого инструмента порознь», но, как известно, «Заметки об инструментровке» записал со слов Глинки и опубликовал Серов...

В огромной семье родителей Глинки до зрелого возраста дожили лишь двое — Михаил и его младшая сестра Людмила, по мужу Шестакова. После смерти гениального брата она посвятила жизнь заботам о его наследии. Издания музыки Глинки, юбилейные спектакли в Императорских театрах, постановки обеих опер в Праге, появление мемуаров — все это Людмила Ивановна неутомимо инициировала. В середине 1860-х «Людма» стала принимать горячее участие в судьбе балакиревцев. Так появилось на свет новое поколение

«наследников»: Римского-Корсакова Шестакова ласково звала «племянничком».

Бородин вошел в «семью», имея за душой Первую симфонию. Она все еще оставалась известной лишь узкому кругу друзей в авторском исполнении на фортепиано, пока в 1867 году Балакирев не был приглашен дирижировать концертами Русского музыкального общества (РМО). Основанное в 1859 году в Петербурге Антоном Рубинштейном при покровительстве великой княгини Елены Павловны, Русское музыкальное общество сыграло колоссальную роль в развитии регулярной концертной жизни и музыкального образования. В 1862 году начались занятия в Петербургской консерватории, а по мере открытия отделений Общества в разных городах в стране появилась целая сеть профессиональных учебных заведений.

«Роман» Балакирева с Русским музыкальным обществом был недолог. Резок был Милий Алексеевич, недипломатичен, а с такими покровителями, как Елена Павловна, нужно общаться несколько иначе. Как — гениально показал Чайковский в «Пиковой даме», где приживалки поют свое «Благодетельница наша, как изволили гулять...», пока Графине не станет тошно: «Полно врать вам, надоели!» Но пусть только попробуют на другой день не завести по новой: «Благодетельница... Раскрасавица...» Однако несколько лет Балакирев умудрялся одновременно руководить и концертами Общества, и единолично (после ухода Ломакина) — концертами Бесплатной музыкальной школы. Новая школа — Шуман, Лист, Берлиоз — была блистательно представлена в программах, и в то же время Балакирев поднял такой пласт современной русской музыки, что отзвук его деятельности долетел аж до Парижа и угодил там на страницы журнала «Менестрель». В частности, 24 февраля 1868 года Балакирев провел «в

зале театра Михайловского Великой княгини Елены Павловны дворца» (таково аутентичное наименование зала) закрытую репетицию «для пробы накопившихся новых русских произведений». Накопились: увертюра Александра Ивановича Рубца (выпускника Петербургской консерватории, хоровика, сольфеджиста, собирателя украинских народных песен); «Песнь на Волге» экономиста, философа и писателя Дмитрия Аркадьевича Столыпина; «Восточный марш» некоего Демидова; увертюра «Король Лир» 22-летнего пианиста, в будущем музыкального критика Виктора Антоновича Чечотта; увертюра и симфонические антракты к драме Шиллера «Вильгельм Телль» Фаминцына.

В таком-то окружении была проиграна с листа Первая симфония Александра Порфирьевича. В оркестровых партиях оказалась бездна ошибок, которые никто не удосужился выправить, музыканты не раз останавливались. Что до Балакирева, то он не слишком хорошо ладил с оркестрами обеих столиц по очень простой причине — обращался к музыкантам по-русски. Бородин однажды был свидетелем легкой стычки, когда Милий Алексеевич, заслышав нелады в группе валторн, закричал:

— Рога! Рога!

— Wir haben keine «рога»! Waldhorn!^[13] — с негодованием ответили ему из оркестра.

Все же впечатление от симфонии в узком дружеском кругу было всецело положительным — а это стимул к новой композиторской работе!

Учебный год в 1868-м закончился рано. Бородины изменили своей привычке проводить лето в Москве, в «курятнике» тещи, и уже 15 мая, прихватив с собой Михея Щиглёва, отправились в село Маковницы Тверской губернии. Произошло это благодаря музыкальным связям Александра Порфирьевича. В 1866 году активным участником «Могучей кучки» стал 24-

летний Николай Николаевич Лодыженский, впоследствии видный дипломат. Прозвище его в кружке было Фим — обращенное «миф», в силу мифичности его глобальных замыслов (вроде оперы «Дмитрий Самозванец» и кантаты «Русалка») и склонности надолго исчезать из поля зрения друзей. Одно время Фим то ли из аскетизма, то ли под влиянием романа «Что делать?» спал на голых досках, по слухам, даже утыканных гвоздями. Лодыженский был полон идей, прекрасно импровизировал, но в итоге завершил лишь десяток романсов, причем его «Восточную колыбельную песню» по его просьбе довел до законченного состояния... Мусоргский.

Дружба с Фимом и привела Бородиных в Маковницы. Селом нераздельно владели братья и сестры Лодыженские. У гвардии полковника Николая Васильевича Лодыженского от двух браков родилось пятеро сыновей и столько же дочерей. Близким родственником приходился Даргомыжский, для которого в семье традиционно заготавливалось варенье. Хозяйство в многочисленных имениях, разбросанных по нескольким губерниям, вообще велось основательно.

Маковницы в 1868 году гляделись райским местом. Село, получившее название по маковкам церкви Покрова Богородицы, было вполне зажиточным. Свидетельством заботы Лодыженского-старшего о крестьянах служило приходское училище для мальчиков. В усадьбе имелись большой пейзажный парк, пруды, конный завод. Римский-Корсаков прогостил в Маковницах всего одну июльскую неделю, и этого было достаточно, чтобы в его голове вдруг стала рождаться музыка «Псковитянки».

Бородина тверские впечатления подвигли на сочинение романсов «Морская царевна», «Отравой полны мои песни», «Фальшивая нота». Тогда же или чуть раньше была написана «Спящая княжна» (сказка Шарля Перро «Спящая красавица» в переводе Тургенева

вышла чуть раньше, в 1866 году). За эти-то романсы — все, кроме «Отравой полны мои песни», на собственные слова — Бородин и был впервые объявлен наследником Глинки.

Чудное это было время в русской музыке, творческое! Хоть ненадолго, а сбылась мечта о содружестве музыкантов, где открытия совершались совместно, искренне и без зависти. Талант каждого служил общему делу. Удивительно, сколько родственных связей обнаруживается в музыке нескольких композиторов и сколько взошедших позднее зерен рассеяно в их романсах 1860-х годов. Легкий отзвук мерцающих фантастических гармоний «Песни золотой рыбки» Балакирева звучит в «Морской царевне» — и в написанной спустя десятилетия «Ундине» Клода Дебюсси. «Грузинская песня» Балакирева (плод его поездок на Кавказ) стала прообразом каватины Кончаковны. А сколько идей подали Бородину романсы молодого Римского-Корсакова! «В тихой роще замолк соловей» — словно предчувствие «Спящей княжны», крошечные фрагменты романса «Как небеса, твой взор блистает» пригодились для арии Кончака, фортепианная постлюдия романса «Приди!» — для любовного дуэта Игоря и Ярославны. Речь не идет о подражании, об эпигонстве: Бородин умел находить в чужой музыке элементы на уровне «музыкальных атомов» и синтезировать из них нечто новое. В свою очередь, его музыка даже после смерти автора питала сочинения переживших его друзей.

Творческий взрыв, переживаемый кружком, не был единственной причиной появления маленьких шедевров Бородина. В десяти верстах от Маковниц лежит село Турово. Владел им тогда Николай Иванович Калинин, помещик и лесовод, женатый на самой младшей из сестер Лодыженских, 22-летней Анне Николаевне. Александр Порфирьевич посещал Турово не один раз.

Екатерина Сергеевна предпочитала дышать воздухом, сидя на балконе, он же был легок на подъем, много ездил верхом. Конечно, он произвел впечатление на Анку Калинину и... 4 августа в Турове, у живой изгороди, она впервые услышала от него слова любви — сладкие слова. Пели птицы, цвел шиповник, цвели акации, ибо весна осталась далеко позади, лето шло к закату. 34-летний Бородин поклялся Анке в нежных чувствах, сам себя уговаривая, что делает это с целью помочь «освобождению» молодой женщины от грубого, недостойного ее мужа — сущего бегемота! С его умом нетрудно было найти оправдание любому поступку. Александр Порфирьевич был влюблен не на шутку, но, поддавшись чувству, и представить не мог, что бывают на свете натуры гораздо более страстные и более решительные. Что цепкий шиповник живет много лет и не отцветает до самой осени.

Вот такую натуру он и встретил. Анка отдала ему свое сердце навсегда и бесповоротно. До самой его смерти она любила его как в тот летний день, когда они впервые говорили наедине, любила вопреки любым обстоятельствам и без всяких колебаний. В студенческие годы Бородин написал вариации на тему народной песни «Чем тебя я огорчила, ты скажи, любезный мой?». Но к их с Калининой отношениям больше подошла бы похожая песня, еще в 1770 году сочиненная Александром Петровичем Сумароковым:

Чем тебя я оскорбила,
Ты скажи мне, дорогой!
Тем ли, что я не таила
Нежных мыслей пред тобой...

Для того ли я склонилась
И любви далась во власть,
Чтоб отныне я крушилась,

Бесполезну видя страсть?..

Я во всем позабываюсь,
На тебя когда гляжу;
Без тебя я сокрушаюсь
И задумавшись сижу.
Все часы считаю точно
И завидую заочно,
Кто против тебя сидит.
На тебя всегда взираю —
И с утехой внимаю,
Что язык твой говорит.

Я тебе открылась ясно:
Жду того же напротив;
И пускай я жду напрасно,
Мой пребудет пламень жив.
Я готова, хоть как прежде,
Пребывать в одной надежде
И себя отрадой льстить;
Не склоню тебя тоскою —
Может время долгою
Твердо сердце умягчить.

Он был женат, она замужем, общение ограничивалось пылкой дружбой, мучительной для обоих. Брак Калининых в конце концов распался. Бородин всегда винил Николая Ивановича: тот и с женой обращался не так, и усадьбой ее пытался распоряжаться, да еще и картавил... Нужно только помнить, что Александр Порфирьевич был заинтересованной стороной и судил обо всем со слов Анны Николаевны, находившейся в процессе неформального раздела имущества и, мягко говоря, в конфликте с супругом. Каков бы ни был Калинин, он

пытался сохранить семью. Даже через десять лет после окончательного разрыва он всё звал жену вернуться. А Бородин ее и не приближал слишком, но и не отпускал. Интересным человеком была Анна Николаевна — сильная, импульсивная, очень образованная, очень музыкальная, талантливая во всем. Письма ему писала на русском, английском и французском с немецкими вкраплениями (знала еще латынь и греческий, но ими в переписке не пользовалась). И какие письма — литературные шедевры!

У Александра Порфирьевича было одно постоянное свойство: крайняя антипатия к переменам в жизни, в особенности к ссорам и расставаниям. Во всех ситуациях он предпочитал любой ценой сохранять уже сложившиеся отношения. Сохранился фрагмент его ответа Аделаиде Николаевне Луканиной, которой его предыдущее письмо показалось каким-то странным. В этом ответе — весь Бородин, спокойный, рассудительно-эгоистичный: «Итак, пишу ли я Вам, нет ли, странные мои письма или нет, — я к Вам не переменялся. В естественной системе моих отношений к людям, в коллекции моих симпатий и антипатий Вы всегда занимаете то же место, что и прежде, потому что признаки, которыми определяется это место в естественной системе, установлены и не подлежат сомнению. Коллекция может пополняться, как и в любом музее, но то, что в ней имеется, не может быть исключено из каталогов».

Почти 20 лет теплились эти неопределенные отношения, иногда тяготившие обоих, иногда радовавшие, чтобы незадолго до смерти Александра Порфирьевича разгореться... чуть поярче.

Глава 12

«РОМАН В ПИСЬМАХ»: ВИНОВАТОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Екатерина Сергеевна первой (или второй — после Щиглёва) узнала об увлечении мужа и торжественно разрешила Анке любить Александра Порфирьевича «братски». Насколько неискренне звучало в его устах пушкинское «я вас люблю любовью брата», было ясно, по-видимому, всем троим, но все старательно делали вид, что «а может быть, еще сильнее» — не о них. Менее других ложность ситуации понимала Анка, самая молодая и самая искренняя. Калинин ни о чем не догадывался.

В конце лета Бородины из Маковниц приехали в Москву и поселились, как обычно, в Голицынской больнице. В разлуке Александр Порфирьевич затосковал, места себе не находил, блуждал неприкаянный по больничным коридорам, по саду... В 34 года его впервые угораздило влюбиться в женщину моложе себя. Что делать? На этот счет в 1860-е годы ходило немало теорий, но ни одна ему не подходила.

Старая квартира тещи, где Екатерина Сергеевна, случалось, проводила по полгода, была самым неподходящим для нее местом в Москве. Сырость, духота, десятилетиями копившаяся по углам рухлядь, которую никто не тревожил уборкой, быстро вернули ей позабытые было в Маковницах кашель и сердечные припадки. Бородин и сам никак не мог отделаться от кашля и насморка, наконец осознал, что квартиру нужно срочно менять, и снял жене меблированную комнату в Газетном переулке, в доме некоего Римско-Корсакова. Приближалось начало семестра, однако ни любовь, ни ревность не заставили Екатерину Сергеевну отправиться

с мужем. 18 сентября после тяжелого расставания Бородин уехал в Петербург один. Сборы и прощания затянулись, до вокзала он добрался уже после закрытия кассы и чудом попал на поезд, упросив начальника станции посадить его без билета. В поезде заплатил положенный штраф, в спальный вагон не попал, сел в общий, битком набитый пассажирами, и всю ночь не спал. Благо теща снабдила в дорогу отличной провизией, а попутчики попались забавные.

Петербург встретил 19 сентября проливным дождем. Пришлось оставить багаж на вокзале и ехать вместо академии поближе, к Авдотье Константиновне. У нее на квартире было написано первое из восемнадцати длинных и невероятно нежных писем, в которых Александр Порфирьевич ради спокойствия супруги описывает свою жизнь чуть не по минутам, не забывая сообщить, как просыпался в три, в четыре часа утра и вспоминал ее. Екатерина Сергеевна должна была знать — все под контролем: «Видишь, моя милая, каким я сделался исправным корреспондентом и верным докладчиком обо всем, что со мною творится и дееется. Похвали меня за это и поцелуй мысленно; стою того».

Авдотья Константиновна за лето заметно постарела, больно много напастей приключилось кряду. Затеяла делать в доме пристройку — подрядчик надул, сбежал, дело затянулось, вместо четырех тысяч работы обошлись в семь тысяч. С братьями тоже не всё было ладно. Митя без особого энтузиазма учительствовал в Опочке Псковской губернии, Еня уже год как оставил службу из-за тяжелой болезни, Бородин даже подозревал у него чахотку. Да еще заявился из Москвы какой-то дальний родственник Екатерины Сергеевны и прожил на всем готовом недели три, пока «тетушка» не намекнула: погостил — пора и честь знать.

А все же так хорошо было Александру Порфирьевичу в доме на Глазовской, что и не уезжал бы в «пустые

хоромы» на Выборгской стороне, где никто не ждет, кроме кухарки Михайловны. Да делать нечего, 20 сентября встал в семь часов утра, напился с Авдотьей Константиновной чаю и отправился на вокзал выручать багаж. «Тетушка» поехала прямо в академию, приводить квартиру в жилой вид. Оказалось, лекции начались еще 16 сентября, и по поводу нового устава МХА тоже уже собирались — всё пропустил. Узнал расписание: лекции по вторникам, средам и четвергам. Разобрал библиотечные книги, чтобы отдать в переплет. Лег в полночь, «тетушка» пока осталась у него.

В субботу 21 сентября встал в восемь утра, сходил в библиотеку. Зашли студент Смольский и еще дюжины полторы студентов, фармацевтов и докторантов, все по поводу научных работ. Зашли фармаколог Забелин, недовольный своей заграничной поездкой, Макея Сорокин, также недовольный заграничной поездкой, доктор медицины, приват-доцент Киевского университета Успенский, Николай Николаевич Зинин, Николай Николаевич Лодыженский и главная сенсация — Кашеварова-Руднева, о которой ее супруг говорил, будто она вся иссохла, готовясь к экзаменам. Оказалось, то была злая ирония: «Варвару Александровну так разнесло, что ни одно платье ей не годится. Положительно она вдвое толще тебя стала. Выходит, что науки питают не одних юношей, но и женщин тоже». Визиты продолжались до четырех часов дня. Вечером «сходил в баню, где провел время с великим удовольствием». Лег в полночь. 22-го числа встал в восемь часов утра, напился с «тетушкой» чаю, до двух часов занимался делами, затем «абстрык себе ногти большими ноженками» и отправился обедать на Гончарную улицу к Рудневым, в их новую роскошную квартиру из девяти комнат. Щеголял там отросшими усами. Ужинать пошел к Сорокиным, где застал профессора Богдановского с женой. У Сорокиных сидел

допоздна, так тоскливо было идти домой в пустую квартиру: «Вот и выходит верна поговорка: вместе скучно, порознь тошно».

В понедельник 23-го встал в семь часов утра. Только засел за работу, как пришли новый инспектор Смирнов и профессор Равич, читавший врачам и ветеринарам эпизоотолию. Побывал в канцелярии, в библиотеке, получил жалованье, отдал казенные книги в переплет — всё это не выходя из дома на улицу. Обедал на Моховой у четы Богдановских, там встретил офтальмолога Юнге, но все равно было скучно, и в девять вечера пошел домой готовиться к лекциям. В пять лет как построенном здании полным ходом шел ремонт: «В нижнем коридоре во всю длину прорыта канава для кладки труб; так как коридор не освещается, то по вечерам в ту канаву валяются люди». Вообще, кругом вершились перемены: «Твоему патристическому сердцу без сомнения приятно будет слышать, что параллельно обрусению западного края идет и обрусение северного. Помимо того, что польский элемент в лице инспектора академии и ученого секретаря заменен русским, на Выборгской стороне пострадал и немецкий элемент: нашу немецкую булочную заменила грандиозная московская пекарня, где над дверьми вместо жиденького немецкого кренделя болтается в воздухе массивный золотой калач». Неизменны были лишь вонь из каминной, с которой «милые инженеры» только теперь начали бороться, да вонища из сортиров. Да еще скука...

24 сентября в девять утра явился Кюи «с неотступною просьбою обедать у него». Прочитав две лекции и еще поработав, Александр Порфирьевич отправился к другу на Шпалерную. Не кулинария была причиной приглашения: «Кюи познакомил меня со всеми новыми номерами Радклифа и с оркестровкой всей оперы. Одна прелесть! — Корсинька сыграл несколько

номеров из своей оперы: Псковитянка. Ну, скажу тебе, это такое благоуханье, такая молодость, свежесть, красота... я просто раскис от удовольствия. Экая громада таланта у этого человечка! И что за легкость творчества! Потом исполнил Мусоргский первый акт «Женитьбы» Гоголя, написанный прямо на текст этого писателя, без всякого изменения. Вещь необычайная по курьезности и парадоксальности, полная новизны и местами большого юмору, но в целом — *ипе chose tanquee* — невозможная в исполнении. Кроме того, на ней лежит печать слишком спешного труда». Экспериментальная вещь Мусоргского в глазах Бородина оказалась ниже опер Корсакова и Кюи, несмотря на сердечную дружбу с Модестом Петровичем и на явное сходство натур. Людмила Ивановна Шестакова вспоминала о Мусоргском: «С первой встречи меня поразила в нем какая-то особенная деликатность и мягкость в обращении; это был человек удивительно хорошо воспитанный и выдержанный. Я его знала 15 лет и во все это время никогда не заметила, чтобы он позволил себе вспылить или забываться и сказать кому бы то ни было хотя одно неприятное слово. И не раз, на мои замечания, как он может так владеть собою, он мне отвечал: «Этим я обязан матери, она была святая женщина». Эти воспоминания можно слово в слово отнести и к Бородину.

Итак, имела место традиционная встреча «Могучей кучки» после летних каникул, с показом всего, что удалось сочинить на досуге. Встреча прошла без Фима и без Балакирева. Последний входил в сложный период своей жизни, начал отдаляться от друзей и всё больше конфликтовать с коллегами. «Кюи-балакиревский» кружок к этому времени скорее можно было назвать «Даргомыжским» — молодые композиторы стали тесно общаться со старейшиной русской школы. Мусоргского и Кюи это общение заставило обратиться к

декламационной манере письма, плодом чего стал опыт с «Женитьбой». Да и Бородин, не одобрявший этой тенденции, начал «Князя Игоря» в несколько схожей манере, но при доработке сцен заменил декламацию кантиленой.

Возможно, для пожилого Даргомыжского это новое общение было еще более ценным. Впервые после смерти Глинки он был окружен собеседниками, не уступавшими ему талантом. До этого, если говорить о мужском обществе, рядом с ним была компания музыкальных «инвалидов» (по выражению Стасова), включая Щиглёва, которого Даргомыжский прозвал «бородой». Женское общество было многочисленнее и ярче — целый сонм дам и девиц, которых Александр Сергеевич всю жизнь безвозмездно обучал пению. В этом цветнике возросли сестры Виктора Крылова, Кюи нашел там свою половинку в лице Мальвины Рафаиловны Бамберг. Близок к тому же был Римский-Корсаков. Его суженая Наденька Пургольд не пела, но была талантливой пианисткой и такой умницей, что Даргомыжский научил ее делать фортепианные переложения оркестровой музыки. А теперь рядом с Даргомыжским оказались бала-киревцы, гениально одаренные и полные идей. И вот на склоне лет он взялся за неслыханную, абсолютно новую задачу и создал подлинный шедевр: оперу «Каменный гость» на подлинный пушкинский текст, почти целиком в декламационной манере.

Что показывал 24 сентября на Шпалерной Бородин? Может быть, вот этот романс на слова из Гейне в переводе Льва Мея:

Отравой полны мои песни,
И может ли иначе быть?
Ты, милая, губительным ядом
Сумела мне жизнь отравить.

Отравой полны мои песни,
И может ли иначе быть?
Немало змей в сердце ношу я
И должен тебя в нем носить.

Вернулся Александр Порфирьевич домой поздно, но в среду 25 сентября встал в семь часов, читал лекции, принимал посетителей, обедал с «тетушкой» у Сорокиных. В четверг с самого утра дома толпились «все народы», включая Зинина, Лодыженского-Фима, анатома Грубера, специалиста по ушным и горловым болезням адъютанта Пруссак и прочих «нужных и ненужных людей». С Грубером поболтали по-немецки, а еще надо было поспеть к Менделееву, к Пыпину (пристраивать в «Вестник Европы» очередной опус очередной кухни жены) и в Гостиный двор за покупками. Обедал на сей раз у дяди супруги, Дмитрия Степановича Протопопова, члена совета Министерства государственных имуществ. Там у Бородина имелся маленький крестник. В восемь часов вечера началось очередное заседание по поводу нового устава академии, действовавшего с 1869 по 1881 год и задним числом зафиксировавшего все нововведения, появившиеся при Дубовицком (тот в 1867 году оставил должность и в следующем году умер).

В Москве в отсутствие Александра Порфирьевича протопоповская родня металась, томила и страдала: заболел шуринок Алексей, любимец матери. Требовалась помощь то ли психиатра, то ли терапевта, но все-таки скорее психиатра. Решено было вновь прислать его в Петербург для лечения. Бородин уже договорился поместить шурина в клинику Боткина, но ни мать, ни сестра, ни жена — словом, ни одна из «трех Катерин» не смогла сопровождать в дороге «бедного Лёку», и тот остался лечиться в Москве. Кажется, отсюда берет начало череда случаев, о которых Римский-Корсаков

сказал: родственники «сходили с ума, и Бородин возился с ними, лечил, отвозил в больницы».

В пятницу 27-го Бородин по-семейному обедал с «тетушкой» у Сорокиных. Вечером был приглашен музицировать в семействе Пургольд, по соседству с Даргомыжским, однако проигнорировал. В субботу с самого утра экзаменовал и переэкзаменовывал (обилие каждую осень переэкзаменовок много говорит о прилежании студентов). Затем отправился к инспектору на совещание по поводу «Общества вспоможения бедным студентам» (сколько было среди этих бедных нерадивых хвостистов?). Обедал у Руднева, который не мог нахвалиться своей супругой: уж она-то держала экзамены с блеском. Бородину представили младшего брата Руднева, шустрого тринадцатилетнего мальчишку, его нового ученика по химии. Вечером был у Боткиных, лег спать в полночь, к счастью, не в пустой квартире — на время своего «вдовства» пустил пожить профессора физики Петра Алексеевича Хлебникова. Тот пал жертвой издателя Николая Львовича Тиблена: поручился по его просьбе за восемь тысяч рублей, а тот внезапно исчез. Говорили, будто Тиблена «сгубили женщины». Ничего подобного! Тиблен отнюдь не погиб, а, напротив, набрал кредитов, повесил долги на поручителей, бросил на произвол судьбы семью и отбыл за границу, где со вкусом прожил еще 20 лет, занимаясь журналистикой и ни в чем себе не отказывая.

Приютив разоренного Хлебникова, Бородин по-прежнему дома не столько жил, сколько работал. Спал беспокойно: «Веришь ли мне, что я всякую ночь, в условный час просыпаюсь, и мысль о тебе, как электрическая искра, пронизывает меня. Мне живо представляется, что, может быть, ты в эту самую минуту не спишь, страдаешь и думаешь в то же время обо мне, который мог бы в данную минуту облегчить твои страдания». Знакомые наперебой приглашали его

обедать, кухарка Михайловна пребывала в праздности, а он между тем уже дважды перепутал порядок приглашений и являлся не туда, где его ожидали видеть. В воскресенье удалось отобедать в семье окулиста Николая Ивановича Тихомирова и мило провести время с родственницами его жены, «уморительными старыми институтками из немок, добродушными, сантиментальными и игривыми». В понедельник 30 сентября Бородин до трех часов работал, потом обедал у Сорокина, потом заседал в какой-то комиссии. Жена Сорокина, зная его любовь к духовым инструментам, привезла ему из-за границы словацкий чакан. В порыве обустройства Александр Порфирьевич затащил домой из лаборатории «водородное огниво Дёберейнера» (громоздкий прообраз современных зажигалок) и агрегат для приготовления шипучих напитков. Супруга тем временем поручила ему похлопотать о своей двоюродной сестре Маше Ступишиной, очутившейся в Петербурге.

В октябре дел еще прибавилось, Бородин теперь вставал не в семь, а в шесть часов утра и только радовался правильному распорядку дня. Жил экономно: дома почти ничего не ел, носил только военную форму, ходил всюду пешком, ложился спать рано и на освещение не тратился. Только в страховое общество пришлось внести взносы (уже три года как застраховал свою жизнь). С утра занимался наукой, потом читал лекции и проводил все никак не кончавшиеся переэкзаменовки. 2 октября пришли Корсинька и Фим помузицировать и музицировали часа четыре, хозяин же убежал обедать к Богдановским, а оттуда на заседание Общества русских врачей. В лаборатории по утрам трудился тринадцатилетний ученик, за которым нужен был глаз да глаз. По воскресеньям теперь заседал еще один комитет при активном участии Сеченова,

Хлебникова и жены кого-то из братьев Лодыженских — насчет устройства «женского университета». Из Курска, где теперь обосновался экстравагантный князь Кудашев, донесли вести, что тамошнее земство желает на свой счет обучать в Петербурге женщин-медиков.

Екатерина Сергеевна, конечно, писала мужу чаще, нежели Аполлону Григорьеву в Италию, но не слишком его баловала, а постоянное мелькание в его посланиях фамилий «Сорокин», «Тихомиров» и «Богдановский» так намозолило ей глаза, что она запретила их упоминать. Переписка затихала, супруг уже не слал ежедневных отчетов. Зато в его жизнь вернулась музыка. Русское музыкальное общество прислало ему «артистический билет» на квартетный вечер 6 октября. Всласть наслушался романсов Шумана, Шуберта и Даргомыжского, от квартета Гайдна отмахнулся («старьё»), а исполнение квартета Бетховена назвал «верхом совершенства». Ауэр, Пиккель, Вейкман и Вержбилович играли «Русский» квартет Бетховена, в котором звучит подблюдная песня «Слава». Любили тогда его в России — только весной Бородины слушали тот самый квартет у Лодыженских! 9 октября последовали обед у Кюи и музицирование у Шестаковой, где балакиревцы собирались в полном составе, но без Балакирева. Тот все не возвращался с Кавказа. Конечно, у него имелось от Русского музыкального общества поручение собрать данные о кавказской музыке, но оно было дано три года назад, а сейчас важнее было бы готовиться к симфоническим концертам Общества...

К середине октября жизнь вошла в мирную колею. Скука прошла. Инженеры победили сортирную вонь, починили отопление и закопали канаву в нижнем коридоре. Закончились утомительные переэкзаменовки. К обществу «ночлежника» Хлебникова прибавились временно бездомные Заблоцкие (врач Дмитрий

Александрович и его жена Надежда Марковна), по-прежнему часто гостила Авдотья Константиновна. Екатерина Сергеевна согласилась с мнением Боткина, что нужно остаться в Москве до самой зимы и лечиться сжатым воздухом, и заказала себе новую шубку. Труднее ей было следовать другому совету Боткина: «ограничить, елико возможно, гнусное курение», уже дошедшее «до безобразных размеров».

И вдруг грянул гром. В Петербург приехала Калинина. Настал момент истины: всё, в чем Александр Порфирьевич почти месяц уверял жену в бодрых письмах, было неправдой!

«Пока я был в Москве, вид твоих страданий, уход за тобою, физическое утомление от недостатка сил, постоянная необходимость притворяться, казаться веселым, лебезить и пр. — все это несколько маскировало тоску. Когда же я попал в Петербург, где сдерживаться было не для кого и не для чего, тут-то она, проклятая, меня и обуяла. Я ударился в занятия, в музыку, в чтение, в посещение академического кружка знакомых, — ничего не помогало. Несмотря на полную возможность спать, сколько мне угодно, я, ложась в 11 часов, просыпался уже в 4 и даже в 3 часа утра. Занятия не заглушали тоски, музыка нервировала, академическое общество раздражало...

В одно прекрасное утро раздался у двери сильный звонок. Я отворил. Это была она. Прежде всего она справилась о тебе и сообщила, что приехала в Петербург без Н. И., который по делам должен был отправиться дней на пять в Москву. Затем мы поздоровались, поцеловались весьма кордиально... Я проводил ее в кабинет, предложил чаю, так как она сильно прозябла, но она отказалась и начала живо и... крайне непоследовательно рассказывать про свое житье, свои мучения и пр. Когда она кончила, я, желая сразу поставить отношения наши на настоящую почву,

выгрузил ей весь запас аргументов и положений, заранее обдуманых и приготовленных давно уже, на всякий случай. Я говорил очень спокойно, твердым голосом, но не без волнения: голова у меня горела, на глазах навертывались слезы, руки были холодны, как лед... Тут она перебила меня и сказала с некоторою досадою: «Господи! зачем Вы мне говорите все это, ведь я сама знаю, да и не все ли мне равно, сестра ли я Вам, дочь ли, — я знаю, что мне хорошо с Вами, без Вас было нехорошо, от Вас я ничего не требую, ни на что не надеюсь»... Потом она посмотрела на меня веселым, ясным взглядом, собрала нос на сборку, взяла мою руку и крепко поцеловала, прибавив: «добрый Вы мой! Вот что!» Я было воспротивился, но она возразила мне: «оставьте! тут нет ничего дурного, я это сделала в первый раз при Вашей жене и при Щиглёве».

Александр Порфирьевич проводил Анку к родственникам — в Петербурге всегда жил кто-нибудь из ее братьев, сестер, кузенов, — а ночью...

«...ко мне снова приступил наплыв злой и едкой тоски, доходившей до боли. Я уткнулся носом в подушку и горько, прегорько заплакал, приговаривая вслух: зачем она мне в самом деле не сестра, не дочь, не кузина; как бы я тогда был счастлив; я бы ведь мог любить и ласкать ее, не внося горя ни в чью жизнь».

На другой день он, Анка и «тетушка» обедали втроем. За обедом Александр Порфирьевич вдруг вспомнил о жене...

«...и вообразил сидящею с нами; тут меня вдруг охватило какое-то, совершенно новое для меня, чувство; не знаю, как тебе и назвать его; чувство какой-то невообразимой полноты... В воздухе веяло чем-то патриархально-семейным, напомнив мне отдаленные времена моего студенчества, когда были живы Мари, Луиза. Мне казалось, как будто я годами 12–15 моложе настоящего... В то же время я и по отношению к А.

испытываю тоже чувство виноватости, ибо я твердо убежден, что стоит мне только сказать одно слово, и она навсегда свободна и счастлива, но именно этого-то слова я не хочу сказать и не могу сказать».

Так-то! Только бы не делать выбора и ничего не менять, не расставаться ни с женой, ни с возлюбленной, не принимать окончательного, неотменяемого решения. Пусть всем будет хорошо, но пусть это устроится само собой. Ждал ли он совета от «тетушки»? Ее отношения с невесткой были ровными, исправно передавались положенные «приветы» и «поклоны», в своих воспоминаниях Екатерина Сергеевна подчеркивала разумность и такт свекрови. Авдотья Константиновна любила всех, кто любил ее Сашу, Анку же особенно любила, от всего сердца жалела и всегда привечала у себя дома. Надеялся ли Бородин, что Екатерина Сергеевна даст ему свободу? Жил ведь его отец отдельно от жены, с новой семьей. Похоже, госпожа Бородина была близка к такому решению. Даже после его исповеди она всё не двигалась из Москвы, временами высказывая намерение приехать и остановиться... в номерах. А вот ее муж вроде бы свободы не желал, в письмах твердил одно и то же: ласково и виновато уговаривал ехать в Петербург, вновь и вновь заверял в своем «дружеском» и «братском» отношении к Анке. Забыла ли Екатерина Сергеевна слова, некогда прилетевшие к ней из Флоренции от Аполлона Григорьева: «Я Вас так много, так просто люблю... так, если хотите, страстно — ибо и дружба в отношениях к женщинам принимает всегда страстный характер»? Вряд ли забыла, мужу справедливо не верила и вдруг потребовала, чтобы он (бросив лекции?) ехал к ней в Москву: она больна, Алексей болен, мама в скорбях — всех нужно пожалеть, обо всех позаботиться. Александр Порфирьевич уж было сдался, собрался в Москву, и тут вдруг вырвалось: «Прости, моя родная.

Право, я не стою твоей горячей любви. За что я тебя так мучу? Я имею право на мое собственное, личное счастье, на мою жизнь, мою судьбу... Помни, что это последнее письмо в Москву; больше не жди теперь». Кажется, она приехала к началу января, к официальной премьере симфонии Александра Порфирьевича и сразу же вернулась в Москву.

Авдотья Константиновна была права, жалея в этой ситуации только одного человека — Анку. Та два месяца тяжело проболела: обмороки, потеря сна и аппетита, нервная раздражительность, даже галлюцинации... Николай Иванович места себе не находил. На него разом навалились опасная болезнь жены и ее внезапное, нескрываемое охлаждение к нему. Он не знал, чего больше бояться, вдовства или развода. Их обоих запутали. Бородин, желая спасти Анку «из крепостной зависимости» — нет, спасти ее от самого себя — или нет, спасти себя от любви к ней, бросил на амбразуру самого близкого, самого верного друга. Калинин страшно ревновал жену к тихому холостяку Щиглёву, срывался, устраивал сцены. А она наедине с Михеем поверяла тому самую заветную свою мысль: уехать за границу и там ждать, пока Сашенька не будет свободен. Михей-то был лишь наперсником.

Добившись разрыва Анки со Щиглёвым, Калинин стал, по ее желанию, устраивать ей лабораторию для занятий физикой и химией, а себе искал работу в Петербурге, чтобы не разлучаться с женой, — Бородин, который за глаза не находил для Николая Ивановича ни единого доброго слова, хлопотал о месте для него у Протопопова-дяди. Всё окончательно запуталось. Лишь в одном восторжествовал разум: Анку взялась лечить Кашеварова-Руднева, да так успешно, что та поправилась, помирилась с мужем и через три года произвела на свет Николая Калинина-младшего.

Глава 13

«ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ — В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ»

В академии вновь наступили смутные времена. Среди профессоров возобновилась борьба «русской» и «немецкой» партий. Недовольные новым строгим инспектором студенты охладели к учебе и собирались на сходки. Или наоборот: охлаждение студентов к учебе в пользу разговоров о политике спровоцировало инспектора на строгости и привело к конфликтам. Разговоры о «женском институте» сами собой затихли.

Бородин с головой ушел в работу. В декабре 1868 года он исчерпывающе перечислил темы, которыми занимался, в письме Алексееву. Из письма следует, что с полимерами валеральдегида на тот момент у него мало что получалось, хотя первая его статья на эту тему («О производных валерианового альдегида») только что вышла из печати. Параллельно он экспериментировал с неврином и протагоном — веществами, выделенными Оскаром Либрейхом из головного мозга, и затеял работу «о притягивании воды расплывающимися и гигроскопическими веществами, и выпаривании водных растворов их при различных условиях температуры и давления». Из последних опытов ничего не вышло (по крайней мере не вылилось в публикации), но круг интересов любопытен, ведь исследования головного мозга вел Сеченов, а растворами упорно занимался Менделеев.

Конечно, и о свершившемся именно тогда основании Русского химического общества Бородин Алексееву сообщил, но еще больше осталось за рамками письма. В семью профессора вошла Лиза — Елизавета Гавриловна Баланёва, дочь курьера академии, жившего тут же, в

подвале. Лизе было шесть лет, когда умерла ее младшая сестренка, а мать от горя сошла с ума (отец, по-видимому, умер еще раньше). Феодосия Александровна Баланёва осталась в подвале с прочей прислугой, часто наведываясь в профессорскую квартиру, а девочку Бородины взяли к себе. Первое время она жила при Екатерине Сергеевне в Москве, а потом и у Александра Порфирьевича появились новые хлопоты — новые радости. Он гордился способностями Лизы и ее школьными успехами, заботился буквально обо всем, от гардероба до уроков танцев. Иногда роль «воспитателя чужих детей» его тяготила, но в последние годы жизни, пожалуй, самыми счастливыми для него были минуты умиления способностям крошечного сына Лизы и любимого ученика — Александра Дианина.

В 1868 году Бородин попробовал себя еще в одной роли — музыкального критика. Кюи, постоянно писавший для «Санкт-Петербургских ведомостей», был занят постановкой в Мариинском театре своей оперы «Вильям Ратклиф» и попросил друга на время заменить его в газете. Бородин справился блестяще, опубликовав три большие рецензии на концерты Российского музыкального общества и Бесплатной музыкальной школы с подробным, основательным разбором исполнявшихся произведений. Поскольку среди них были танцы из «Воеводы» Чайковского, Бородин оказался в числе первых, что откликнулся в печати на дебюты Петра Ильича. Рецензии его почти неизменно доброжелательны. Лишь две вещи начинающий критик прямо-таки разругал: увертюры к «Нюрнбергским мастерзингерам» Вагнера и к «Проданной невесте» Сметаны (в последнем случае он наверняка припомнил, что ее автор интриговал в Праге против Балакирева).

Гвоздем всех отрецензированных программ для Бородина стал *Te Deum* Берлиоза (1855). Балакирев первым исполнил это сочинение в Петербурге в Седьмом

концерте Бесплатной музыкальной школы. Помимо хора и оркестра на сцене красовался орган, специально привезенный ради такого события из дома великого князя Константина Николаевича.

В кругу Балакирева из рук в руки переходили две партитуры *Te Deum* — печатная и более полная рукописная, которую автор подарил Публичной библиотеке. Бородин досконально проштудировал обе. Некоторые части он признал слабыми, неоригинальными, сентиментальными, но важнее, конечно, что он похвалил. *Sanctus* («Свят») из части *Tibi omnes Angeli* («К Тебе все ангелы») был отмечен за «красивый и эффектный аккомпанемент деревянных духовых» — этот оркестровый прием Бородин позднее развил в «Младе» и в *Andante* Второй симфонии. «Военная прелюдия», в наше время часто пропускаемая дирижерами, была признана номером «из самых оригинальных во всем сочинении». Действительно, прелюдию начинают шесть малых барабанов и двенадцать деревянных духовых (флейты, гобои, кларнеты), играющих в унисон. В этом есть что-то варварское и в то же время древнее, ветхозаветное. Слушая берлиозовские барабаны, можно вспомнить соло литавр в «Половецких плясках». Теплота и мягкость *Dignare, Domine* («Помоги нам, Господи») тоже запали в душу Александру Порфирьевичу. Крошечный фрагмент *Dignare* явно вспоминался ему вместе с «Песней об иве» из «Отелло» Джоак-кино Россини, когда он сочинял оркестровые отыгрыши, сопровождающие в «Князе Игоре» приход и уход со сцены Ярославны. Наконец, часть *Judex crederis* («Веруем, что Ты придешь судить нас») Бородин назвал «верхом совершенства». Ее мощная, словно бы древняя и явно ориентальная первая тема впоследствии стала одним из прообразов сцены «Дозор в половецком лагере», а вторая тема родственна теме Игоря и Ярославны.

Ничего не сказал Бородин о самых первых тактах *Te Deum*, а ведь именно первые такты *Allegro moderate* — самый яркий и поразительный фрагмент этого очень неровного произведения. Тяжелые ферматы оркестра и органа, которые сменяет причудливо изгибающаяся одноголосная тема, есть не что иное, как далекий прообраз главной темы Второй симфонии Бородина.

Удачно и с пользой для себя дебютировав на новом поприще, Александр Порфирьевич больше на него не возвращался. В некотором смысле повторилась история с «Богатырями». «Композитор, ищущий неизвестности» впредь не сочинял оперетт — критик, подписывавший статьи «Б.» либо «—Ъ.», впредь не выступал в печати с оценкой чужих сочинений и почти не обсуждал эту свою деятельность с друзьями. Не считая, конечно, Стасова, которого он по настоятельному совету Балакирева просил перед публикацией просматривать свои статьи (Владимир Васильевич, впрочем, никакой необходимости в этом не видел).

Все в том же декабре 1868 года, когда Бородин перечислял Алексееву предметы своих занятий в лаборатории и писал первую в жизни рецензию, он впервые познал, как горек хлеб профессионального композитора. Приближалось публичное исполнение Первой симфонии, и в самый последний момент ее автор наконец-таки взялся выправлять целую бездну ошибок в оркестровых партиях. В отличие от романсов и фортепианных пьес оркестровая музыка требует очень много времени на подготовку нотного материала. Позднее Римский-Корсаков, десятилетиями проводивший ночи за этим бесконечным занятием, говорил ученикам: композитору прежде всего надо выучиться «стирать, скоблить и наклеивать». В случае с симфонией Бородина ситуация усугублялась тем, что параллельно с исправлением ошибок автор вносил в музыку серьезные изменения, клеивал в партитуру

целые листы. Вечерами, после обычных занятий в академии это особенно утомляло. К Балакиреву отправилось раздраженное письмо, в котором, помимо всего прочего, звучит обида на соратника, долго не желавшего исполнять Первую и всё это время мучившего Бородина идеями новых переделок: «Проклятая симфония моя мне надоела — смерть! Остается проверить кларнеты, гобои, фаготы. Остальное проверено, кое-что исправлено мною, кое-что должны исправить по моим указаниям копиисты. Вранья там была чортова куча! Рога 1-й и 2-й навраны были безбожно; в альтях местами переписчик въехал в виолончель, местами в скрипку. В знаках бездна вранья. Вообще, над симфонией тяготеет какой-то рок: все наши вещи шли в бесплатной школе, только моей не удалось; все шли своевременно — только моя три года ждет очереди. Ни одна не осквернена исполнением в Михайловско-дворцовом театре в компании Чечоттов — только моя. Все переписывал Гаман, только мою какой-то сукин сын. Остается только, чтобы автора закидали мочеными яблоками».

Мусоргского и Римского-Корсакова подобные обиды доводили до серьезных ссор с Балакиревым — обиды Бородина ни разу в ссоры не вылились, он всегда оканчивал дело миром. А за глаза обруганный Виктор Чечотт по иронии судьбы со временем превратился в восторженного почитателя Александра Порфирьевича и даже написал о нем книгу.

Премьера симфонии обошлась без закидывания мочеными яблоками. О реакции публики Бородин мельком обмолвился год спустя в письме Екатерине Сергеевне: «...помнишь, всего лучше принято было *andante*, а не скерцо, несмотря на то, что последнее несравненно доступнее и эффектнее». К счастью, Стасов подвиг Балакирева написать об этом событии мини-

мемуары, благодаря чему до нас дошла информация из первых рук. Вот что сообщает мемуарист:

«Афиша была выпущена, и начались трудные репетиции. Уже после первой из них мнение о симфонии стало у некоторых меняться, и Кологривов^[14], относившийся с сердечной горячностью и к делу и ко мне, с радостью сообщил мне, что симфония начинает нравиться не только ему, но и что Ник. Ив. Заремба, тогдашний директор консерватории и теоретик, переменил о ней свое мнение и уверился в несомненной талантливости ее автора. Это меня и обрадовало и ободрило, но я все-таки не был спокоен и с тревогой на душе ожидал субботы 4 января, так как противников у этой музыки еще было много среди заурядных музыкантов по профессии, гораздо менее публики способных к восприятию чего-либо нового, выходящего из обычных рамок симфонической музыки.

Много интересовался ходом этого дела и покойный А. С. Даргомыжский, бывший в то время в числе директоров Русск. Муз. общ., и также с нетерпением ожидал этого концерта, на котором он уже не мог присутствовать, будучи смертельно болен.

Наконец роковой вечер настал, и я вышел на эстраду дирижировать Es-dur'ную симфонию Бородина. Первая часть прошла холодно. По окончании ее немножко похлопали и умолкли. Я испугался и поспешил начать *Scherzo*, которое прошло бойко и вызвало взрыв рукоплесканий. Автор был вызван, публика заставила повторить *Scherzo*. Остальные части также возбудили горячее сочувствие публики, и после финала автор был вызван несколько раз. Тогдашний музыкальный критик Ф. М. Толстой, ненавистник новой русской музыки, стал мне даже нахваливать финал и, видимо, был растерян от неожиданного успеха симфонии. Кологривов радовался от души и сердечно приветствовал Бородина. Умиравший Даргомыжский с нетерпением ожидал

известия о том, как прошел концерт, но, к сожалению, никто из нас после концерта к нему не заехал, боясь тревожить больного поздно ночью, кроме приятеля его К. Н. Вельяминова, который, к сожалению, не мог рассказать ему обо всем подробно. Наутро уже не стало Даргомыжского, скончавшегося от аневризма около 5 ч. утра 5-го января, а потому в следующем концерте *и* был исполнен под моим управлением *Requiem* Моцарта».

Бородин считал, что публика лучше всего приняла *Andante* — Балакирев сообщает, что на бис требовали повторить скерцо. Вопреки его собственному утверждению повторять скерцо дирижер не стал, опасаясь утомить музыкантов. Остается только гадать, что происходило на самом деле. 15 января Балакирев написал Чайковскому о «блестящем неожиданном успехе Бородина» и отправил ноты в Москву, Николаю Рубинштейну. Тот не смог быстро включить большую симфонию в уже составленную программу концертов и предложил исполнить отдельные ее части. Балакирев воспротивился и немедленно затребовал ноты обратно, ссылаясь на запланированное исполнение на Пасху. Однако на Пасху никто в Петербурге Первую симфонию не играл, и она надолго отправилась на полку. Позднее Милий Алексеевич безуспешно пытался через Юргенсона уговорить немецкое издательство «Шотт» напечатать партитуру.

Критики, не готовые оценить с одного прослушивания столь масштабное и необычное сочинение, и ругали, и хвалили с оговорками. Студент Петербургской консерватории (и будущий профессор Московской) Николай Губерт не смог составить ясного впечатления ни от Первой симфонии, ни от исполненного в том же сезоне «Антара» и безапелляционно приписал вину за это авторам: «Гг. Римский-Корсаков и Бородин сделали большую ошибку, назвав свои сочинения симфониями... Симфония

г. Бородина, по содержанию отдельных частей своих, до того разрознена, что с трудом переносишься от одного представления, от одного настроения к другому».

В гораздо лучшем положении был Кюи, уже несколько лет досконально знавший музыку симфонии друга. Соответственно, и оценка его была иной:

«От болезненных припадков паттомании^[15] перехожу к трезвому, здоровому и крайне отрадному, именно к третьему концерту Русского музыкального общества, в котором были исполнены в первый раз два превосходных сочинения двух молодых русских композиторов: хор из «Псковитянки» Римского-Корсакова и симфония г. Бородина. Имя последнего никогда еще не стояло на афише, но в своей симфонии он является композитором вполне готовым, мастером своего дела... Талант Бородина прежде всего поражает своей яркостью и блеском. Он богат идеями свежими, кипучими, полными прелести... Третья часть симфонии — самая лучшая. Это бесподобнейшее *andante* в восточном роде. Мелодическая роскошь, богатство и полнота мысли, глубокая страстность, гармоническая новизна и изящество, чудесные краски оркестра, все это соединилось вместе, чтобы очаровать слушателя. В этом *andante* г. Бородин являет такую бездну тонкого вкуса, такое богатство фантазии, такое счастливое вдохновение, что оно бы украсило любую из существующих симфоний.

Начало финала не хорошо. Первая тема классически-ординарна в шумановском роде, и не менее классически изложение повторяется два раза. Интерес начинается в средней части и растет, не переставая, до последних аккордов симфонии... Инструментована симфония г. Бородина очень мило. Кое-где видна неопытность, неизбежная в первом инструментальном произведении, повсюду виден талант. Инструментовка *andante* — верх вкуса и изящества...

Симфония г. Бородина, а еще более хор г. Корсакова публике понравились. Г. Бородин был вызван два раза, г. Корсаков четыре раза, и его хор был повторен... Но возвращаясь к главному событию концерта, именно к прекрасному и блестящему дебюту г. Бородина. Действительно прав был Даргомыжский, когда говорил неоднократно перед смертью: «Я умру спокойно, потому что вижу искусство в хороших и талантливых руках».

Что касается резонанса, вызванного премьерой, вот упрямые факты: осенью Бородин получил от Русского музыкального общества «артистические» билеты на все симфонические и квартетные вечера (чего Общество мало кого удостаивало), а также просьбы о новых сочинениях. В ноябре 1870 года Петербургское собрание художников, «желая почтить... одного из даровитейших представителей современного русского искусства», прислало приглашение за № 8 на концерт в фонд памятника Глинке. Директорам Общества и Комитету Собрания вторил нотоиздатель Бессель, с которым Бородин познакомился у Кюи: он попросил разрешения напечатать романсы Александра Порфирьевича. Словом, «дебютант» занял достойное место в музыкальном мире Петербурга. Но даже если бы не все эти обстоятельства, Бородин, по-видимому, был скорее склонен верить не публике и не критике, а собственным впечатлениям от живого звучания музыки. Балакирев завершает воспоминания словами: «Но всего более доволен был автор исполнением своей симфонии, решившим его судьбу. Успех сильно подействовал на него, и тогда же он принялся за сочинение второй симфонии h-moll, чувствуя в музыке настоящее свое призвание». И правда, день премьеры Первой симфонии стал днем, когда замысел Второй пустил первые ростки. Из темы си-минорного хора встречи Ивана Грозного (из корсаковской «Псковитянки»), исполненного тогда же и

повторенного на бис, впоследствии выросла побочная тема новой симфонии Бородина.

Впереди ждали еще более неслыханные события. 17 февраля Менделеев завершил работу над «Опытом системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве», и 6 марта Меншуткин на заседании Русского химического общества прочел его доклад «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Мировая наука обогатилась Периодическим законом. Жаль, реакция Бородина на это открытие неизвестна. До нас дошли имена всех его котов и кошек, но нет сведений, оценил ли он открытие друга или сперва отнесся к нему, как большинство, с недоверием. Точно так же, читая в письмах Александра Порфирьевича о самых незначительных мелочах, мы остаемся в полном неведении, увлекался ли он в принципе новыми научными теориями, появившимися после середины 1860-х годов. А когда газеты наводнили полемика о спиритизме и даже покойный Козьма Петрович Прутков на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» посредством медиума возвысил свой голос с того света, осталось неизвестным, на чьей стороне был Александр Порфирьевич: Менделеева с Егоровым или Бутлерова с еще одним русским химиком, Егором Егоровичем Вагнером? Дружил-то он со всеми.

Достижения Бородина в химии были скромнее менделеевских, но и ему 1869 год принес одну из самых крупных в его научной биографии удач: открытие реакции уплотнения альдегидов — альдольной конденсации. Появились его статья «О продуктах действия паров брома на серебряные соли кислот масляной и валериановой» и два сообщения: «Изокаприновая кислота, ее альдегиды и соли» и «Продукты уплотнения альдегидов». Тем временем Мусоргский завершил «Бориса Годунова», Балакирев — фортепианную фантазию «Исламей» (возможно, свое

лучшее сочинение), Бородин же взялся за Вторую симфонию. В 35 лет он был всему открыт, за все брался, все успевал, не сомневаясь ни в своих силах, ни в зрелом, окрепшем мастерстве.

Только опера пока оставалась недостижимой высотой. Вероятно, под впечатлением приезда в Петербург в начале 1868 года олонцкого сказителя Трофима Григорьевича Рябинина Александр Порфирьевич увлекся былинным сюжетом и набросал план оперы в семи картинах «Василиса Микулишна». Действующих лиц предполагалось тоже семь: князь Владимир — бас, жена его княгиня Апраксия — сопрано, богатырь Данило — тенор, жена его Василиса — контральто, богатыри Илья и Алеша — бас-профундо и тенор, Тугарин — бас. Бородин мыслил себе трагедию по мотивам былины «Данило Ловчанин». Опера должна была открываться богатырской охотой и хвастовством Данилы, а продолжаться предательским заговором и подлым убийством. Шестая, предпоследняя картина представлялась сольной сценой Василисы Микулишны, получившей весть о смерти мужа, — по сути, ее Плачем. Стержнем характера героини Бородин видел непоколебимую верность: опера завершалась сценами «Свадебный поезд» и «Самоубийство». Не последнюю роль в трагедии Василисы играл введенный композитором басурманин Тугарин.

Как видно, Бородину, впервые задумавшемуся об опере, виделось уже нечто близкое «Князю Игорю». А сюжет былины еще два десятка лет продолжал жить в его воображении, нет-нет да и возникая в разговорах с близкими. Анка Калинина 18 декабря 1886 года в письме Александру Порфирьевичу упомянула «сказание о том, как пасынки «Микулы Селяниновича гнали со свету белого хоробрую поляницу», то есть богатыршу. Она подразумевала себя и какой-то свой юридический казус.

В ней действительно было много от верной и бесстрашной Василисы.

В другой раз он увлекся «Царской невестой». Среди музыки, которую Бородин играл-импровизировал для «Царской невесты», Стасова особенно восхищал хор пирующих опричников. Возможно, позже он превратился в хор дружины Галицкого «Княжьи молодцы гуляли», музыкальная тема которого восходит к первой теме «Камаринской» Глинки («Из-за гор, гор высоких»).

На Пасху 1869 года Бородин получил от Стасова сказочный подарок: сценарий оперы «Князь Игорь» (сюжет и исторические источники друзья еще раньше обсуждали между собой). В ответ Стасову отправилась записка: «Мне этот сюжет ужасно по душе. Будет ли только по силам? Не знаю. Волков бояться — в лес не ходить. Попробую».

Глава 14

ЖЕЛУДЬ, ИЗ КОТОРОГО ВЫРОСЛИ ДВА ШЕДЕВРА

Незаметно подошло лето. После прошлогодних метаний ехать в Голицынскую больницу не хотелось, в Маковницы дорога была заказана. В Турово отправилась сдружившаяся с обоими Калиниными «тетушка», взяв с собой младшего сына. К счастью, был у Бородина дальний родственник, химик-любитель князь Кудашев, ныне занятый долгим бракоразводным процессом и живший то в Курске, то под Курском в имении Алябьеве, что при впадении реки Рать в реку Сейм. Для Бородина, с головой погруженного в полученные от Стасова переводы «Слова о полку Игореве», в летописи и сказания, эти названия звучали музыкой. По-семье (местность по реке Сейм) упоминается в его «Князе Игоре».

4 июня Александр Порфирьевич выехал из Петербурга к гостеприимному князю. По пути он задержался в Москве и заключил мир с Екатериной Сергеевной. 13 июня Бородин прибыл в Алябьеве и тут же отписал в Москву: «Дорога в Курск — восторг. Особенно хорошо между Тулою и Орлом: — горы; подумаешь, что едешь мимо Оденвальда или Вогезов... Курск, издали, очень живописен и лежит на горе». Зная требования жены, муж много внимания уделил климату, добавив важное: «Опасностей — никаких. Ни воров, ни разбойников». И заключил непонятно: «Провертайки мы с тобою, бедная моя, право провертайки!»

Дом Кудашева, окруженный цветником, стоял на острове. Николай Иванович жил там один, слуг вызывал к себе свистком, и они ходили с берега по плотинам. Квартира в Курске (целый этаж в доме помещика

Чурилова) была не менее колоритна: все вещи «сбиты в кучу: табак, белье, бумаги, револьвер, туфли, книги, стеариновые огарки, окурки папирос, цветы, объедки всякие и пр., все это — *péle-téle*^[16] — покоится на столах, стульях, этажерке, постели, камине, на полу и т. д.». 15 июня Кудашев отправился по делам в Москву и заодно привез оттуда Екатерину Сергеевну. Дожидаясь, пока в Алябьеве отделают и обставят мебелью один из флигелей на берегу, супруги жили в Курске, развлекаясь прогулками в городском саду. Александр Порфирьевич впервые оказался в местах, где до наших дней сохранились непаханая степь, древние городища и половецкие каменные бабы. Может статься, ничего из этого он не увидел (некому было показать дорогу, не было свободной лошади, Екатерина Сергеевна спала до полудня, потом до вечера собиралась поехать погулять, и все заканчивалось сидением на крылечке флигеля). Может статься, безалаберный Кудашев так и не привел флигель в порядок и его гости застряли в Курске до самого августа. Но даже в худшем случае, если Бородин провел на берегах Сейма всего лишь два дня, 13 и 14 июня, он, привыкший очень рано вставать, не мог не слышать в предрассветный час птиц — тех самых, что в XII веке пели в Путивле княгине Ярославне. Прошло шесть лет, и, сочиняя Плач Ярославны, Бородин открыт его перекликаньем птичьих голосов.

Супруги жили в то лето мирно и без происшествий, но долго гостить у Кудашева не пришлось. 20 августа в Москве открылся Второй съезд русских естествоиспытателей. 22 августа Бородин открыт первое заседание химической секции сообщением о синтезированной им изокаприновой кислоте и ее производных — альдегиде и солях. Еще 10 августа он «прописался» (как это тогда называлось) в Москве у родственников жены Ступишиных, в Гранатном переулке. 5 сентября докладчик отбыл по месту службы

и 9-го начал принимать переэкзаменовки. В тот год около половины студентов имели «хвосты», что для академии было скорее нормой, чем исключением.

Жизнь потекла обычным порядком. В середине сентября переэкзаменовки постепенно сменились лекциями (по четыре дня в неделю), чтобы в ноябре учебный процесс, как водится, прервался на время ледостава. Чуть не каждое лето инженеры с целью починки труб выкапывали в нижнем коридоре академии канаву и заново перекладывали печи, растягивая это удовольствие до ноября (научно-технический прогресс принес в академию центральное отопление, до отладки которого было еще далеко). В июне неизменно начинались ремонт и переоборудование химической лаборатории, тут же замиравшие на начальной стадии и только с возвращением профессора с каникул переходившие в активную фазу. Бородин с утра до вечера распоряжался, подгонял, что-то привинчивал, что-то прилаживал и между концом октября и серединой декабря торжественно вступал во владение своими угодьями. Его стараниями лаборатория год за годом расширялась за счет соседних помещений.

К концу ноября наступала «самая горячая пора: заказы, отчеты, комиссии и т. д. и т. д. Служили, служим, будем служить — вот девиз настоящего времени у нас». Не чтение лекций, не работу в лаборатории полагал Бородин службой, а единственно бумажное изобилие: «счеты, отчеты, донесения — словом все, за что получаю царское жалованье». Что ж, дела шли своим чередом, чины и награды «в воздаяние усердно-отличной службы» следовали исправно. В 1865 году надворный советник Бородин получил орден Святого Станислава II степени, в течение следующих семи лет статский советник удостоился орденов Святой Анны III степени, Святой Анны II степени с короной и Святого Владимира III степени, в 1879 году

действительный статский советник был награжден орденом Святого Станислава I степени и в 1883-м — Святой Анны I степени.

В промежутках между ремонтами и отчетами Александр Порфирьевич работал в лаборатории с утра до ночи — появились причины торопиться. Вернувшись осенью 1869 года в Петербург, Бородин просмотрел свежие номера «Бюллетеня Немецкого химического общества». К своему неудовольствию, он обнаружил там большую статью Кекуле «Продукты конденсации альдегидов», поступившую в Общество еще 12 июля (нового стиля). Август Кекуле был более чем серьезным конкурентом, в Боннском университете он параллельно вел несколько экспериментальных исследований и энергично занимался теоретическими вопросами, коих Бородин в принципе не касался. Вечером 3 октября было написано письмо Екатерине Сергеевне, знаменитое сообщением об игре «музикусам» «Сна Ярославны». Но автор, целый день проведенный за экспериментом, начал с *более* важной темы: «У меня теперь весьма счастливый период лабораторной деятельности: идет все на лад. По этому самому я теперь в пассиве лабораторных работ. Только чуть-чуть не случилось неприятного столкновения на химическом поле с Кекуле, который, в одной из своих работ, затронул ту область, в которой я работаю; правда, что он выходил из совершенно других начал и бил совершенно не на то, на что я, но все-таки, при дальнейшем ходе своих исследований, он легко мог напасть на те же идеи и преследовать те же цели, что и я. В предупреждение возможности столкновения, я вчера сообщил свою работу в заседании Химического общества, хотя работа была еще далеко не округлена. Все химикусы нашли ее, впрочем, крайне интересной и по фактической стороне, и по теоретическому развитию идей».

Сообщение, сделанное Бородиным 2 октября, называется «Продукты уплотнения альдегидов», иначе — «О действии высокой температуры на энантол и валеральдегид». Рассказать о своей работе в Русском химическом обществе было совершенно достаточно, чтобы о ней тут же узнали в Германии. Бюллетень Немецкого химического общества наряду с собственными материалами исправно печатал обзоры заседаний обществ Парижа, Петербурга, Лондона. В номере от 25 октября вышел очередной петербургский обзор Виктора Юльевича Рихтера (для немцев — Виктора фон Рихтера) с изложением сути доклада Бородина в одном абзаце.

«Столкновения» предупредить не удалось. 9 марта Александр Порфирьевич снова потревожил жившую в Москве супругу химическими проблемами: «В четверг я был у Бутлерова, откуда я прошел в Химическое общество, где узнал неприятную для меня вещь: Кекуле (в Бонне) упрекает меня в том, что я работу с валерьяновым альдегидом (которую делаю теперь) заимствовал от него (т. е. не самую работу с фактической стороны, а идею работы). Это он напечатал в Bericht'e Берлинского химич. общества. Такая выходка вынудила меня сделать тут же заявление об открытых мною фактах и показать, что я этими вопросами занимаюсь уже с 1865 года, а Кекуле наткнулся на них только в августе прошлого года. Вот она честность-то немецкая! Хотя наше Химич. общество и знало все это, но я счел нужным заявить, для того, чтобы это потом сообщено было, заведенным порядком, в Берлинское Общество».

Собственно, Кекуле 21 февраля 1870 года в большой статье «О конденсации альдегида» сказал о том, что в настоящее время всё чаще одно и то же явление изучают несколько ученых, и перечислил целый ряд имен, включая Михаила Дмитриевича Львова (ученика

Бутлерова). Бородин он упомянул через запятую с трудившимся на той же ниве парижанином Жозефом Рибаном. Ответ Александра Порфирьевича на заседании РХО в передаче Рихтера не содержал ничего полемического и начинался так: «Г. Бородин поделился наблюдениями над конденсацией валеральдегида...» Имя Кекуле не звучало. Бородин просто обозначил: да, он с такого-то времени работает на той же территории и пришел к таким-то результатам. Недели через три Екатерина Сергеевна прочла в письме мужа: «С Кекуле я порешил — не отвечать, а просто продолжать работу, а то он подумает, что я в самом деле испугался его заявления. Когда же работа будет кончена, я сделаю вскользь заметку и о Кекуле, мимоходом, это гораздо более с тактом». Заметки этой так и не появилось.

Кекуле продолжал исследования и в течение нескольких месяцев напечатал в Бюллетене еще две статьи — Бородин с середины февраля до конца апреля 1870 года вынужденно позабыл о «пассии».

25-летний великий князь Николай Максимилианович, 4-й герцог Лейхтенбергский, увлекался минералогией, уже четыре года как возглавлял Российское минералогическое общество и вот пожелал заняться химическим анализом почв и горных пород. Зинин из каких-то соображений присоветовал герцогу воспользоваться лабораторией Бородина, и началось... Ежедневно с 9.00 до 14.00 Александр Порфирьевич почти неотлучно состоял при госте, ассистировал, делал вычисления, а после подыскивал для него научную литературу. Личность герцога не вызывала неприятных эмоций: «Мы с ним очень сошлись. Это такой милый, такой симпатичный молодой человек, и притом джентльмен до конца ногтей. Как с ним ни деликатничай, как ни будь любезен — все останешься у него в долгу. При всем этом он прост и естествен в высшей степени, умница, весьма начитан и относится к

науке серьезно». Но собственные исследования пришлось отложить в сторону, черпая слабое утешение в наблюдениях за коллегами: «Что смешно, так это отношение других, прочих ко мне, точно я издаю от себя запах великого князя, остающийся во мне вследствие частого посещения высокого гостя».

Конкуренты тем временем не дремали. 3 мая 1872 года (нового стиля) Шарль Вюрц представил в Парижском химическом обществе огромную работу «Об оксиальдегиде (альдегидоспирте)». Рассказав, каким образом синтезировал новое вещество, он упомянул из коллег лишь Кекуле и его работу с кротональдегидом. Бородин 4 мая (старого стиля) сделал в Русском химическом обществе три сообщения: о действии натрия на валеральдегид, о действии натрия на энантол и о получении продукта уплотнения обыкновенного альдегида. Работа была им наконец «округлена». Александр Порфирьевич специально указал, что конденсацией альдегидов занимается с 1864 года и что оксиальдегиды (альдоли) получены им не позднее Вюрца и другим способом. Подробное изложение его выступлений немедленно напечатал Бюллетень Берлинского общества, а оттуда его целиком перепечатал Бюллетень Парижского общества.

Тогда-то, вскоре после «столкновения» с Кекуле и в период острой конкуренции с Вюрцем, в круг близких знакомых Бородина вошел студент академии Александр Дианин. Возможно, сквозящий в его воспоминаниях об учителе глубочайший пессимизм навеян первыми впечатлениями от общения с профессором, полученными не в самое удачное время. В 1917 году, к тридцатилетию со дня смерти Бородина, Дианин писал: «Его исследования конденсации альдегидов, получение фтористого бензоила и алдола (одновременно с Вюрцем) доставили ему почетную известность за границей... Бедность лабораторной обстановки доходила до того,

что при одной из работ, где требовалась азотно-серебряная соль, А. П. принужден был пожертвовать частью своего фамильного серебра. В таких условиях он, естественно, не мог конкурировать со своими заграничными коллегами, к услугам которых, кроме надлежащей лабораторной обстановки, были уже химические фабрики, между тем как А. П. в своей лаборатории готовил капля по капле необходимый для работы материал. Кончилось тем, что одну работу (об алдоле) он должен был уступить французскому химику Вюрцу... А. П. был удивительно удачлив, неудачлив же был весь наш склад, неудачлива была наша жизнь бесцветная, инертная». «Уступил» Бородин не результаты работы (о их обнародовании он как раз позаботился). Уступил он вскоре саму тему, вернувшись к занятиям нитрозоамарином.

К тому времени для Александра Порфирьевича сама собой нашлась ниша, где он мог не опасаться конкуренции. На заседании Русского химического общества 1 февраля 1871 года он обнародовал результаты совместного с врачом Крыловым исследования, впервые установившего связь между холестерином и развитием атеросклероза, — открытие, увы, еще долго остававшееся не востребованным. В химической лаборатории академии постоянно вели свои эксперименты врачи. Бородин как профессиональный химик и как человек абсолютно безотказный в той или иной степени принимал участие во всех работах. Например, в 1875 году он сконструировал прибор для предпринятого учениками гигиениста Доброславина анализа различных сортов крахмала. Доброславин вообще много занимался исследованием продуктов, вероятно, Бородин не раз ему в этом способствовал. В полной мере выяснить и оценить его роль в развитии отечественной медицины невозможно.

Неторопливо входил Бородин в новую для себя область научно-популярной периодики. В 1868 году он дал согласие участвовать в издании журнала «Космос» — журнал так и не начал выходить; в 1870-м вошел в редакцию затеянного Хлебниковым журнала «Знание» — и через год ее покинул. Причиной скорее всего было объявленное в мае 1871 года «Знанию» в лице ответственных редакторов-издателей Хлебникова и Бородина первое предостережение. В нем упоминались статьи «Право и жизнь», «Организация труда на Урале» и «Борьба за существование в человечестве», ставились на вид редакторам «вредное материалистическое учение» и «вредные воззрения социалистические», порицался чересчур популярный для серьезного журнала стиль изложения. Самый же важный из пунктов гласил: «В статье «Вопрос социальной психологии» заключается безусловное отрицание начала индивидуальной ответственности и вообще уголовной вменяемости, признаваемой автором статьи чудовищной несправедливостью...» Упомянутая статья представляла собой перевод с итальянского и принадлежала швейцарскому физиологу Александру Александровичу Герцену, жившему тогда во Флоренции. Ее положения были далеко не новы и широко применялись российскими адвокатами в уголовных процессах, когда обвинение виртуозно переносилось с преступника на «среду».

По-видимому, два редактора-издателя обсудили предостережение и не сошлись во мнениях. Хлебников продолжил вести журнал в прежнем духе, пока его в 1877 году окончательно не закрыли «за материалистические тенденции». Бородин, изначально бывший в журнале кем-то вроде «свадебного генерала», в октябре 1871 года усиленно хлопотал в Главном управлении по делам печати о своем выходе из редакции и передаче всех полномочий другу. После

этого они продолжали общаться; когда Хлебников по болезни вынужден был отойти от дел и уехать из Петербурга, он отдал другу всю свою библиотеку. Вскоре другой товарищ Бородина, Доброславин, стал выпускать журнал «Здоровье». Александр Порфирьевич способствовал ему статьями.

Сам он в то время мог служить живой иллюстрацией для доброславинского журнала: рано вставал, вовремя обедал, вовремя ложился спать, много ходил пешком. Нарушали этот порядок разве что посещения концертов, но и они происходили с завидной регулярностью: несколько симфонических и камерных собраний Русского музыкального общества да несколько концертов Бесплатной музыкальной школы за сезон, редкие вылазки в оперу, раз в год — поход с каким-нибудь знакомым семейством в оперетту. О легком жанре Бородин судил профессионально, то возмущаясь примитивностью сюжета, то восхищаясь, как смешно в «Трех школах» Ивана Федоровича Деккер-Шенка «пародированы музыкальные элементы немецкий, итальянский и французский», то радуясь с видом знатока: «Есть замечательно хорошие и свеженькие голоса, с выработанным фиоритурным пением, особенно француженки». Выступления гастролеров Бородин редко чтил своим присутствием, делая исключения лишь для таких музыкантов, как любимый ученик Листа Карл Таузиг.

После удаления Балакирева от управления концертами Русского музыкального общества в музыкальном Петербурге открылись военные действия. Эстафету в РМО принял Эдуард Францевич Направник. Как человек исключительной прямооты, он не скрывал: великая княгиня Елена Павловна велела «с корнем вырвать прежнее направление». Балакирев сосредоточился на Бесплатной музыкальной школе и сделал все, чтобы пять ее концертов в сезоне 1869/70

года затмили концерты конкурентов. Сопоставление программ напоминает цветаевское «Квиты: вами я объединена...»:

Вы... — с трюфелем, я — с грифелем,
Вы — с оливками, я — с рифмами...

В РМО — строгая классика (Палестрина, Гендель, Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен), слегка разбавленная «Марокканским маршем» Леопольда Мейера и ариями из «Севильского цирюльника», и приглашенные за огромные гонорары «звезды». В БМШ — весь цвет Новой школы (Шуман, Берлиоз, Даргомыжский, Римский-Корсаков, Чайковский, «Легенда о святой Елизавете» Листа и написанный в духе того же направления «Иван Грозный» Антона Рубинштейна). На стороне Школы неожиданно выступил Николай Рубинштейн, который приехал из Москвы и произвел фурор исполнением Первого концерта Листа и «Исламея» Балакирева. «Ну уж играл он! — просто сукин сын!» — отметил профессор химии и со всей компанией пошел к Додону отмечать концерт. Отзыв его о сочинении Милия Алексеевича был сдержаннее: «Пьеса эта действительно немного длинновата и запутана; в ней слишком видится технический труд сочинительства; это сознается даже поклонниками Балакирева. Жаль, но что делать».

Публика от бешеной схватки музыкальных партий только выигрывала. Бородин же был взбудоражен, волновался и злорадствовал. Кюи на посту рецензента «Санкт-Петербургских ведомостей», будучи как-никак специалистом по фортификации, день за днем осаждал вражеский бастион: великая княгиня объявила мобилизацию верных критиков и учредила журнал «Музыкальный сезон», продержавшийся два года. 4 ноября 1870 года Кюи метнул в логово врага бомбу под

длинным названием «Музыкальные заметки. Русское музыкальное общество. — Единоличное управление программами концертов. — Государственный переворот. — Комитет народной обороны. — Председатели: гг. Толстой и Серов». Не зря друзья прозвали его «Едкость»! Статья переполнила чашу терпения Елены Павловны. Начальник Кюи в Инженерной академии генерал Тотлебен получил предписание: фельетон прочесть, подчиненному сделать внушение. Эдуард Иванович исполнил и то и другое, а от себя попросил Цезаря Антоновича продолжать с фельетонами, чтобы не подумали, будто начальство запрещает ему их писать. С каким удовольствием изложил эту рассказанную Кюи историю Бородин в письме жене, посланном не по почте, а с оказией!

Вскоре Елену Павловну на посту августейшего покровителя РМО сменил великий князь Константин Николаевич, адмирал, глава Морского ведомства (в этом качестве он однажды на 15 минут заглянул в концерт БМШ — послушать «Садко» Римского-Корсакова). Музыкальная политика менялась, в программах Общества появились такие «радикальные» сочинения, как «Фауст-симфония» Листа. Балакирев, Римский-Корсаков и Антон Рубинштейн внезапно получили приглашение составить для РМО концертные программы, охватывающие историю музыки от XVI столетия до современности. Отказались все трое, но Рубинштейн уже через два года впервые исполнил грандиозный цикл «Исторических концертов».

В сезоне 1870/71 Балакирев сдал позиции и ничего не устраивал в Школе, только провел 14 ноября в зале Дворянского собрания организованный Санкт-Петербургским собранием художников большой концерт в фонд памятника Глинке. Для этого концерта Константин Егорович Маковский буквально за один день

сделал пастельный портрет классика. В пику Императорским театрам в программе стояли купируемые там сцены «Руслана и Людмилы». В следующем сезоне концерты БМШ возобновились, но прежнего антагонизма с РМО уже не было.

Тихой гаванью, куда не долетали раскаты партийной борьбы, оставались квартетные вечера РМО. Балакиревцев камерная музыка не интересовала как немецкая по определению, но Бородин по-прежнему любил ее и с удовольствием ходил слушать то квартеты Бетховена, то навевавший лирические воспоминания квинтет Шумана. С не меньшим удовольствием пересекал он полгорода, чтобы самому поиграть в ансамбле на виолончели (инструмент теперь нередко путешествовал на спине студента университета Николая Григорьевича Егорова, будущего профессора физики в академии). Не важно, что музыка эта — немецкая. Юлишка Сорокина общается с мужем по-немецки, да никто же не записывает их обоих в «немецкую партию».

С полуторавековой дистанции кажется, что участник «Могучей кучки» должен был все свободное время проводить в кругу балакиревцев. Это не так. Размышляя, какая среда является для него своей, Бородин обнаруживал две — научную и артистическую. В первую он попадал ежеутренне, стоило только выйти в коридор, но и вечера часто проводил в гостях у Боткина, Бутлерова, других врачей и ученых. «Музикусы», «музыкальные друзья» составляли отдельный кружок, собиравшийся теперь на «понеделниках» Шестаковой. Бородин почти не пропускал этих собраний, с Людмилой Ивановной у него были очень доверительные отношения. Весной 1870 года он в качестве душеприказчика подписал ее завещание — кто знал, что сестра Глинки переживет Александра Порфирьевича почти на 20 лет. У Шестаковой музицировали и заводили полезные знакомства с солистами Русской оперы. Здесь

Мусоргский 21 сентября 1870 года потешил друзей «Райком» — сатирическим изображением прошлогодней борьбы в музыкальном мире, увековеченной им по просьбе Стасова. Всегда были поводы засидеться допоздна, тогда либо Бородин шел ночевать к Римскому-Корсакову, либо наоборот. Так продолжалось, пока Николай Андреевич не поселился на Пантелеймоновской улице в «коммуне» с Мусоргским. У Шестаковой все находили понимание и утешение. Когда Корсаков вдруг разочаровался в «Псковитянке», она бережно хранила неоконченную партитуру до тех пор, пока автор не вернулся к опере. Умиравший Даргомыжский поручил заботам Людмилы Ивановны своих учениц сестер Пургольд.

Баталии с РМО еще сильнее сплотили кружок. Не успел дым рассеяться, как явилась новая напасть. После смерти Даргомыжского Кюи закончил его «Каменного гостя», а Римский-Корсаков — оркестровал, но путь на сцену опере закрыло неожиданное обстоятельство. Наследником бездетного Даргомыжского оказался Павел Александрович Кашкаров, муж покойной сестры композитора Эр-минии Сергеевны и опекун его племянников. Кашкаров потребовал от Дирекции Императорских театров за право постановки «Каменного гостя» три тысячи рублей, но по принятому в 1827 году «Положению по управлению театрами» за оперу русского автора нельзя было заплатить более 1143 рублей (иностранным авторам не платили ничего, если только произведение не было специально заказано). По иронии судьбы автором «Положения» был отец композитора Сергей Николаевич Даргомыжский. В 1827 году его четырнадцатилетний сын Александр еще только начинал службу канцеляристом в Контроле Министерства двора, первое время — без чина и жалованья... И вот теперь дело с посмертной постановкой «Каменного гостя» уперлось в

недостающие 1857 рублей. Пока Бородин с адвокатом Дмитрием Стасовым обсуждали юридическую сторону проблемы, Кюи и Владимир Стасов подняли в печати кампанию. Деньги были собраны по подписке, причем решающую роль сыграло Санкт-Петербургское собрание художников.

Не один «Каменный гость» шел к сцене. Римский-Корсаков оканчивал «Псковитянку», Кюи издал в Лейпциге у Роберта Зайтца клавир «Ратклифа» и сочинял «Анджело», Мусоргский завершил вторую редакцию «Бориса Годунова» (с польским актом). Было чем поделиться с друзьями, с избытком хватало поводов заглянуть друг к другу в гости и показать что-нибудь новое. Бородин «упивался и наслаждался» этим великолепием, особенно когда Мусоргский играл у него дома «Бориса». Молоточки рояля падали жертвами пианизма Модеста Петровича, зато брат Митя был в восторге. Авдотье Константиновне темперамент не позволял ограничиться словами — она горячо обнимала Модиньку. Всех превзошел Доброславин, назвавший новорожденного сына Борисом. У Бородина восхищение шедевром вызвало порыв вдохновения: он симпровизировал шуточный вальс на тему песни Варлаама «Как едет ён».

Репутация кружка укреплялась. Основатель Русского хорового общества Карл (Константин) Карлович Альбрехт в поисках отечественного светского репертуара для мужского хора обратился к русским композиторам с просьбой о нетрудных сочинениях, не забыв никого из «Могучей кучки». Если, конечно, не считать прибившегося к кружку совсем юного Николая Владимировича Щербачева — курьезную личность, прозванную «Флакончиком с духами» за выходки вроде описанной Бородиным в одном из писем жене. «Флакончик» счел, что просто справиться у Александра Порфирьевича о Екатерине Сергеевне недостаточно:

«Положите меня к ногам мадам Бородиной». Вот! «я кладу его к вашим ногам, мадам». Вытрите их об него. Он тебя поблагодарит» (разговор шел по-французски). Бородин неизменно писал жене о Щербачеве в ироническом ключе, не веря, что из того что-нибудь да выйдет. Вышел из «Флакончика» (он же «Шевалье») романтик-космополит, автор неплохих фортепианных пьес.

На зов Альбрехта тогда откликнулся только Чайковский. Бородин Карла Карловича ничем не порадовал, но и просьбы не забыл: все его попытки сочинять в хоровом жанре — именно для мужского состава. Это хор «Слава Кириллу и Мефодию», сочиненный, вероятно, после исполнения Римским-Корсаковым в концерте БМШ одноименного сочинения Листа; «Вперед, друзья», «На забытом поле битвы», а также обработка фрагмента интродукции «Жизни за царя» Глинки («Во бурю, во грозу»).

После смерти Даргомыжского постоянным пристанищем для «музикусов» стал дом его соседей — огромной семьи Пургольд. Пургольды принимали в делах кружка горячее участие, в 1870 году именно их стараниями в Лейпциге был отпечатан «Семинарист» Мусоргского. На семейных «вторниках» певица Александра Николаевна и пианистка Надежда Николаевна при под держке друзей-композиторов исполняли с листа любую музыку. Здесь Бородин впервые услышал целиком «Каменного гостя», «Бориса Годунова» и «Псковитянку». Здесь пили «за успех наших милых опер», как записала в дневнике Саша Пургольд, еще не вышедшая замуж за служащего Департамента уделов Николая Павловича Моласа. Сашеньку Бородин звал Лаурой (поскольку Даргомыжский специально для нее сочинил партию Лауры в «Каменном госте»), А еще он называл ее соавтором романса «Отравой полны мои песни». Не спросив композитора, она как-то при всех

спела романс гораздо быстрее предписанного. Вышло так неожиданно и так удачно, что автор изумился:

— Кто это сочинил такую прелесть? Я никогда ничего подобного не мог написать.

Саша редко вспоминала о своем дневнике и делала только коротенькие записи вроде: «Разные шалости и смех с Бородиным». Надя вела дневник тщательно, подробно записывая разговоры и размышления, посвящая целые страницы самоанализу. Из ее дневника мы знаем, что Балакирева сестры звали — «Сила», Мусоргского — «Тигра», Римского-Корсакова — «Искренность». Бородина она не упоминает ни разу. Из писем Александра Порфирьевича видно, что его шутливая галантность, так смешившая Сашу, распространялась на обеих сестер. К Надежде Пургольд обращен мужской квартет Бородина «Серенада четырех кавалеров одной даме» на собственные слова, басовые партии в котором случалось петь Римскому-Корсакову и Стасову:

Дрень, дрени-дрени-дрень, дрень, дрень,
Дрень, дрень, дрень, дрень...
Покуда объята вся улица сном,
Мы здесь собрались у вас под окном...
Любовью сгорая, мы все вчетвером
Так долго, ах, долго стоим под окном...

Но в дневнике Нади на месте Бородина — фигура умолчания...

Нигде, как в трудолюбивом семействе выходцев из Тюрингии, не ругали столько Александра Порфирьевича и не стыдили, «что не производит ничего нового по музыкальной части». Среди забот он жаловался Екатерине Сергеевне: «А между тем наши музыкусы меня все ругают, что я не занимаюсь делом, и что не

брошу глупостей, т. е. лабораторных занятий и пр. Чудаки! Они серьезно думают, что кроме музыки не может и не должно быть другого серьезного дела у меня». В 1870 году позиция Бородина пребывала неизменной. При желании он легко мог сослаться на Ивана Федоровича Ласковского, чью музыку Балакирев исполнял в концертах БМШ: тот умер действительным статским советником. Или на Михаила Викторовича Половцова, который служил в конной артиллерии, брал уроки у пианиста Адольфа Гензельта, затем в течение восьми лет преподавал музыку будущему Александру III и его братьям, после чего вернулся к строевой службе. Так почему же Бородину нельзя было заниматься наукой, а в свободное время сочинять и еще чуточку обучать музыкальной теории жен и дочерей своих коллег — Сорокина, Доброславина, Хлебникова, Чистовича?

Самый сильный аргумент являл собой профессиональный музыкант Балакирев, вот уж точно не имевший «другого серьезного дела». Где был он, когда «Пургольдши» стыдили Бородина за малую продуктивность? Дома, во флигеле особняка Бенардаки, остывавший к делам кружка и ничего не сочинявший. Обретала очертания его идея перевести церковно-певческий «Обиход» в современные ключи, но осуществить ее не удалось. На досуге Милий Алексеевич вносил всё новые и новые бессмысленные исправления в застрявшую у него партитуру Первой симфонии «победителя-ученика»...

Был ли ученик счастливее «побежденного учителя»? Ненамного. Везде привечаемый, привлекавший всеобщее внимание молодой химик и композитор еще никогда не был до такой степени одинок. Ее высокоблагородие Екатерина Сергеевна Бородина осенью 1868 года обосновалась в Москве всерьез и надолго. В сентябре 1869-го ее муж снова очутился в

профессорской квартире один. Люстра не горела, предстояло вешать шторы и натирать полы. Семейная жизнь свелась к почтовым «отчетам», отправляемым жене не реже раза в неделю. Профессор бодрился, хвалился здоровым образом жизни, а между строк сквозила тоска. Чтобы не оставаться в квартире одному, он опять приютил Заблоцких, поселил их в кабинете, а свой письменный стол перетащил в спальню. Вместе они посещали концерты БМШ, захватывая с собой служителя лаборатории Петра. Надежда Марковна взяла на себя домашние заботы, баловала Александра Порфирьевича деликатесами. Екатерине Сергеевне он докладывал: «Заблоцкие взапуски ухаживают за мною; да не одни Заблоцкие, а все, особенно барыни: Юли, Богдановская и пр. Все они меня рассматривают как сироту; наперерыв зовут к себе, пичкают всякой всячиной». Бородин толстел, лысел, скучал и по советам «барынь» взял вперед 800 рублей (треть годового жалованья!), чтобы закупить резко подешевевших акций «Демутовой биржи». Дамам почему-то казалось, что после падения акции непременно пойдут вверх. От полного разорения Александра Порфирьевича спасла занятость в академии: не успел купить столько бумаг, сколько собирался. Все же пришлось продать бриллианты и купленную в Париже золотую цепочку, после чего он успокоился и стал относиться к колебаниям курсов бумаг философски: «Полно волноваться 4 раза в год».

С Заблоцкими вышел реприманд. В ноябре они переехали на собственную квартиру, а вскоре Бородин получил от Надежды Марковны некое письмо, после чего в их отношениях появилась неловкость. Екатерина Сергеевна немедленно узнала о «пассаже» из «отчета» супруга вкупе с еженедельным рапортом о Калининой, которые обычно бывали в таком духе: «С А. вижусь только в концертах и то мельком... А. — ничего. По-видимому очень расположена, но не более. Я вежлив и

мил, как всегда... и только». Анка слушала лекции по математике, физике и химии, пока не приключилось у нее заболевания глаз.

Уж какими ласковыми прозвищами не награждал Александр Порфирьевич тогда жену — Червлёная, Маленькая, Голенькая, Синенькая, Клопик, Зопик, Сопик, Пипи, Газой, Писойчик, Золотойка, Дорогойка, Пуговчик, Собин-ка, Собачка... Чего только не писал ей: «В первое время по приезде я ужасно скучал и скучал именно по тебе специально... Милая Кокушка, хорошая девочка, Вас очень, очень любят и все думают про Вас. Иногда даже позволяют себе громко славословить, так что на коридоре слышно. Но последнее впрочем редко случается; потому боятся раздражить — даже заочно». Имелись в виду импровизации вроде *On aime son petit Pigot* («Любят своего маленького Пиго»).

Ноябрь выдался пасмурный, в лаборатории целыми днями работали при газовом освещении. Начался ледостав на Неве, но каждый раз прерывался оттепелью, и лекции в академии прекратились месяца на полтора. Бородин совсем затосковал. Чуть не каждый день бывал в гостях, а дома подольше засиживался в лаборатории, только бы поменьше «чувствовать себя сторожем, стерегущим хозяйское добро». Тишина угнетала: «На днях я ужасно радовался тому, что лопнула труба в коридоре и ее пришлось чинить по ночам. Стук, ходьба, движение, жизнь. Теперь для меня как нельзя более понятен смысл одной юмористической брошюры, на немецком языке: «О несчастьи, происходящем от одинокой жизни и в особенности — от спанья в одиночестве. Сочинение, удостоенное премии Академией счастливых супругов». Я читал ее очень давно, еще в детстве и не понимал тогда всей глубины ее смысла, полного житейской правды». Екатерина Сергеевна все не ехала. Кто развлекал ее, так любившую общество, в московском доме Ступишиных?

Известно о визитах сплетничавшего Пановского, но главное — с ней была маленькая Лиза. Екатерина Сергеевна обучала способную девочку чтению, письму и Священной истории.

Авдотья Константиновна всю осень прохворала. Митя переводился из Опочки поближе, в Новую Ладугу. Еня сидел без работы и осенью 1869 года уехал в Кашин строить дом для Калинина. К середине декабря «тетушка» поправилась и водворилась у старшего сына, все прибрала, вычистила, повесила драпировки. Квартира обрела жилой вид. На Рождество Бородин съездил к жене в Москву и уже 8 января отправился обратно. На вокзал его провожала горничная жены Дуняша, поскольку Екатерина Сергеевна отправилась в Большой театр на «Пророка» Мейербера. Вернулся профессор домой простывшим в вагоне 3-го класса и в какой-то растерянности: «Вообще поездка в Москву мне кажется каким-то сном. Теперь, когда я стою перед бюро и строчу тебе это письмо, я похож на известную старушку в сказке «О рыбаке и рыбке»: опять та же обстановка, та же покосившаяся хата, то же разбитое корыто... точно и не ездил в Москву».

Нужно было регулярно отсылать в Москву деньги, вещи по спискам, готовить для Екатерины Сергеевны порошки: пирофосфат железа, хинин, ляпис. Строчение «отчетов» в 1870 году только нарастало, в ту осень их число достигло сорока двух! Екатерина Сергеевна составляла списки вопросов — супруг отвечал. По этой причине точно известно, как часто профессор ходил в баню, почему вместо полотняных рубашек покупал шертинговые (хлопчатобумажные), что кальсоны и ночные рубашки заказывал по полудюжине, что новый шерстяной халат взамен истрепавшегося сшила ему Авдотья Константиновна, что когда пришлось обзаводиться новыми сюртуком, брюками, пиджаком и жилетом, он «торговался изо всех кишек», шинель же

пока донашивал старую, короткую. Едва заказанные вещи были готовы, Юлишка Сорокина запрятала подальше старый черный сюртук и розовые брюки, в которых соломенный вдовец слишком долго щеголял, и заявила, что больше он их не увидит — она всё продаст. А еще она сшила ему новый галстук.

Авдотья Константиновна снова поселилась у сына и вела хозяйство. Ее часто навещали родственники Готовцевы, Анка, Маша Ступишина. Добрая старушка с удовольствием оставляла гостей ночевать. Квартира больше не пустовала, и все же к марту сын затосковал так, что «тетушка» через Машу попросила невестку немедленно приехать. После этого Екатерина Сергеевна в письмах засыпала мужа вопросами, на которые он, разумеется, ответил, что все в порядке, а «насчет же моих сердечных дел, пожалуйста, не беспокойся; никаких атак и тревог не предстоит ниоткуда. Да и времени нет, хоть бы и представились». На Пасху снова ездил в Москву, по приезде повторилось ровно то же ощущение прошедшего сна и разбитого корыта.

В состоянии «соломенного вдовства», между приступами тоски и рапортами жене, что «времени нет» и «музыка в загоне», рождались два шедевра. В сентябре 1869 года появился на свет первый номер «Князя Игоря» — «Сон Ярославны». Подавляющее большинство опер XIX века, тем более исторических, начинается хоровой интродукцией. Трудно сказать, из каких соображений Стасов открыл первоначальный сценарий «Игоря» огромным монологом Ярославны. Этот «Сон» фактически служит прологом к опере и повествует обо всем сразу — о том, что князь ушел в поход, а вестей от него нет, о зловещем сне княгини и о путивльской крамоле: «Устала я, борьба мне не по силам. Опоры нет. Кругом враги народ мутят. Везде измена. И даже брат родной кует крамолу мне, сестре своей. Князем в Путивле хочет сесть коварный брат».

Уже в первом номере будущей оперы говорилось о планах Владимира Галицкого захватить власть в городе! «Князь Игорь» явно затевался как опера о русской смуте.

Впоследствии Бородин дважды сокращал эту сцену. Окончательный вариант с некоторыми изменениями, внесенными Римским-Корсаковым, известен как Ариозо Ярославны «Немало времени прошло с тех пор». Изначально же «Сон» был куда богаче, экспрессивнее и драматичнее. Это музыка Бородина, которого мы до сих пор еще не знаем, — Бородина-экспериментатора, Бородина-авангардиста. Фрагменты «Сна» Бородин позднее перенес в сцену Ярославны с боярами — в эпизоды «Гонцов скорее снаряжайте» и «Скорее вече собирайте», Римским-Корсаковым исключенные. Один из элементов того, первого «Сна» по-новому «пророс» в монологе князя Игоря «Зачем не пал я на поле брани». В фантастическом, призрачном эпизоде зловещего видения мелькает тема из «Ночи на Лысой горе» Мусоргского. А на словах «И только див зловещий летит над головой и кличет мне беду» в оркестре звучат словно крики хищных птиц — совсем как у Мусоргского в «Грановитой палате» из «Бориса» («Пусть клюют враны голодные») и у самого Бородина в арии вернувшегося с охоты хана Кончака («Аль сети порвались, аль ястребы не злы и с лету птицу не взбивают?»).

Старшая племянница^[17] Екатерины Сергеевны вспоминала о том, в какой обстановке впоследствии происходили переделки «Сна»: «Уже с трех лет я помню многое из своего детства. Как сейчас вижу перед собой наш зал, во всю длину которого стоит концертный рояль. На нем горят свечи. В противоположной от рояля стороне стоит небольшой круглый стол. На нем лампа с абажуром цвета чайной розы. Вокруг стола сидят: бабушка, раскладывающая пасьянс, тетя (жена Бородина) с вязаньем в руках, моя мать с каким-то

шитьем и отец, внимательно слушающий игру Бородина на рояле. В комнате тихо. Слышны только тиканье старинных стенных часов да музыка дяди... Меня, трехлетнюю, давно уже уложили спать. Но я проснулась и услышала музыку, доносившуюся из зала. Я неотступно прошу нести меня «к дяде Саше». Меня в одеяле приносят в зал. Вижу дядю у рояля. Он слегка склонился и боится потревожить двух котят, усевшихся на его плечи. Дядя берет меня и сажает к себе на колени, продолжая свою игру. Ясно помню слова тети:

— Он все недоволен собой, все ладит свою Ярославну...»

В ноябре Бородин еще дописывал первую версию этого изначально огромного номера, когда получил от Екатерины Сергеевны письмо о каких-то очередных ее страхах и ответил: «Ну, как тебе не стыдно волноваться из пустяков? Что же касается до сна твоего, то ты им даешь мне прекрасную мысль: мне непременно нужен «Сон Ярославны» для «Игоря». Тот, который сочинил мне Бах (В. Стасов), мне не нравится, нужно что-нибудь пострашнее. Вот я и придумал изобразить, что Игорь во сне сбрил себе оба уса. А какая это широкая тема для музыки!»

В первом, щедром порыве вдохновения родились едва ли не все темы будущей оперы. К концу зимы имелись материалы еще для нескольких номеров: каватины Кончаковны, Половецкого марша, хора дружины Галицкого и некоего половецкого хора в си миноре. И вдруг Бородин отказался от «Игоря». Потрясенный Стасов подозревал: причина — рассуждения Екатерины Сергеевны о том, что «теперь не время сочинять оперы на сюжеты глубокой, полусказочной древности, а надо брать для оперной сцены сюжеты современные, драмы из нынешней жизни». Но именно ей, все еще жившей отдельно супруге, Александр Порфирьевич подробно, с разных

точек зрения объяснял свое «отречение»: кого он убеждал, ее или себя? Перечислил и технические трудности, и драматургические просчеты, обнаружившиеся в «Ратклифе» Кюи, и резкое осознание «неестественности» оперы, «не драматической в строгом смысле», внезапно настигшее на «Пророке» Мейербергера. На новую постановку «Пророка» Бородина 13 февраля 1870 года водил... Стасов. Надо полагать, начавшиеся мытарства Мусоргского, представившего в Дирекцию Императорских театров «Бориса Годунова», тоже сыграли свою роль.

Стасов был вне себя. Рушился столь дорогой ему замысел, пропадало столько чудной музыки. Владимир Васильевич был уверен: навсегда. И повел атаку на Римского-Корсакова: «Пора же подумать тоже и про «Князя Игоря», вторую Вашу оперу. Сюжет Вас ждет и сидит, пригорюнившись, что Вы по сию пору знать его не хотите. А лихая штука будет, уж конечно, ни за что не хуже «Псковитянки». Римский-Корсаков тогда отказался, но мысль в его душу запала. Не прошло и десяти лет, как Николай Андреевич был готов ускорять, улучшать и завершать дело друга.

Оправдываясь перед Екатериной Сергеевной за отказ от оперы, Бородин самые важные слова поместил в конце: «Притом же я по натуре лирик и симфонист, меня тянет к симфоническим формам». «Лирик» — это о романсах, «симфонист» — о Второй, за которую композитор вдруг принялся со всей энергией. Стасов получил небольшое утешение:

— Материал не пропадет. Все это пойдет во Вторую мою симфонию.

Бородину повезло в августе 1869 года познакомиться в Москве у Чайковского с прекрасным собеседником — Н. Д. Кашкиным. Умница Николай Дмитриевич многое из долгих бесед с Бородиным забыл, но самое главное запомнил: «Первая тема симфонии

предназначалась для половецкого хора в музыке «Князя Игоря», но потом композиция оперы была оставлена, а тема взята для симфонии». Зловещая тема, построенная на «восточном» звукоряде с увеличенной секундой, позднее вернулась в оперу и зазвучала в дуэте Игоря и Ярославны на словах «Я тайно бежал сюда, когда узнал, что враг был здесь». Это ключ ко всему сочинению: Вторая симфония открывается картиной нашествия. Тяжелые ферматы в ее первых тактах — точно такие, какими первоначально открывалась у Бородина ария Кончака.

Парадокс в том, что та же самая тема открывает «Сон Ярославны» — те же четыре ноты, только взятые без «восточной» увеличенной секунды, в чистой диатонике. Это тема Игоря и Ярославны, которая буквально пронизывает оперу, возвращаясь в арии князя, в его сцене с Кончаком и в сцене Ярославны с боярами. Встречаем мы ее и во Второй симфонии. Строго говоря, это «вечная» музыкальная тема, которая присутствует в «Юпитере» Моцарта и в мессах Жоскена Дебре, тема, созданная, чтобы говорить о вечном и всеобщем. Бородин преобразует ее, превращает то в русскую, то в половецкую. Эта техника преобразования тем в свою противоположность (техника монотематизма) была в конце 1840-х годов разработана Ференцем Листом и применялась им в сонатах и симфонических поэмах. Листу многие пытались подражать, но, наверное, нужно было профессионально заниматься органической химией, чтобы так гениально претворить его открытие.

Мы до сих пор знаем Вторую симфонию Бородина в обработке Римского-Корсакова и Глазунова и до сих пор, упорно игнорируя свидетельство Кашкина, гадаем: о чем она? Вот какого рода толкования обычно звучат, особенно в школах и училищах: «Начальный унисон первой части — «клич» всего произведения, зерно, из

которого вырастает не только главная тема, но и вся часть в целом. Если допустить программно-картинное толкование, то оно могло бы выглядеть так: «Князь-вождь перед дружиной, обращение к воинам и кличи одобрения».

Есть ли в русской музыке еще хоть один такой же низкий, тяжелый и долгий «клич»? Есть, и раздается он при нападении татар на Малый Китеж во втором действии «Сказания о невидимом граде Китеже и деде Февронии» Римского-Корсакова. Величальный хор прерывается тяжелой октавой туб. Народ в растерянности: «Тише, братцы, затрубили трубы. Кони ржут, возы скрипят гораздо. Что за притча? Ровно бабы воют. Дым столбом встал над концом торговым...» У Бородина в первом такте симфонии тоже вступает басовая туба — Римский-Корсаков ее вычеркнул! Половецкую тему он оркестровал мягче, чем автор, затушевывал ее зловещий характер. Следом в его редакции Второй симфонии вступает какая-то скоренькая плясовая, затем темп снова замедляется — возвращается первая тема. Новая ломка темпа — во второй раз идет плясовая. Слушая это легкомысленное мельтешение, Бородин небось переворачивается в гробу. У него-то с половецкой темой сразу же сшибается влет (без всякой смены темпа!) мощная, строгая, вовсе не плясовая русская тема — и закипает битва, достойная самых кровавых страниц средневекового эпоса: удары всего оркестра, сигналы медных духовых, в «Князе Игоре» фигурирующие как «мотивы половецких труб». Чуткий Мусоргский называл Вторую симфонию Бородина «Славянской героической», по аналогии с «Героической» Бетховена, где в первой части тоже разворачивается картина битвы.

Как уже говорилось, побочная тема — родная сестра корсаковской темы встречи псковичами Ивана Грозного, пришедшего с опричниной и татарской конницей («Царь

наш, государь, твои рабы ложатся ко твоему ко царскому подножью»). В симфонии о нашествии эта тема из «Псковитянки» оказалась как нельзя более уместна... Римский-Корсаков свою оперу о нашествии закончит много лет спустя, в 1905 году. В его «Китеже» на фоне характерного ритма скачки будет надвигаться и расти тема кочевников («Мчатся комони ордынские, скачут полчища со всех сторон») — совсем как в разработке симфонии Бородина.

Первую часть Бородин завершил картиной бедствия: половецкая тема разрастается и заполняет все пространство, русские темы смяты, разбиты на мелкие фрагменты. Римский-Корсаков в своей редакции «поправил» это обстоятельство, пересочинив целый эпизод репризы. Для чего? Ведь не вычеркнул он из первой части такты, где звучит народный вопль, родственник крику толпы в прологе «Бориса Годунова».

Странные вещи творились вокруг Второй симфонии после смерти Бородина. Стасов, так восхищавшийся ею, написал о первой части нечто невразумительное: «Сам Бородин мне рассказывал, что в *adagio [Andante]* он желал нарисовать фигуру «баяна», в первой части — собрание русских богатырей, в финале — сцену богатырского пира, при звуке гусель, при ликовании великой народной толпы». Разве богатыри проводили собрания?! Любимая племянница критика Варвара Дмитриевна Комарова запомнила, что дядя говорил ей о «суете боя» и «ударах меча» в первой части. А Сергей Дианин передал разговоры о сцене языческой тризны в финале симфонии.

К маю 1870 года первая часть симфонии уже существовала и начала распространяться, подобно древнему эпосу, в устной традиции. Бородин играл куски из нее Корсиньке, тот, как мог, по памяти — «Пургольдше», та — своим знакомым. В исполнении Корсакова что-то услышал Балакирев. «Прихожу к

Людме — Милия узнать нельзя: раскис, разнежился, глядит на меня любовными глазами и наконец, не зная чем выразить мне свою любовь, осторожно взял меня двумя пальцами за нос и поцеловал крепко в щеку... — похвастался Бородин жене. — Штука эта вообще производит шум в нашем муравейнике».

Часть III

**«У ВСЯКОГО КОМПОЗИТОРА
СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНА
ОСНОВНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ТЕМА»»**



Глава 15

СТЕЗЕЮ ЛИРИКА И СИМФОНИСТА

Весна 1870 года принесла Бородину-лирику новое признание за пределами кружка: в марте Петр Иванович Юргенсон издал его романсы «Спящая княжна», «Фальшивая нота», «Отравой полны мои песни» и чуть позднее — балладу «Море». Произошло это по инициативе Балакирева, который очень торопил «птенца» и в итоге остался недоволен, что тот дал ему для пересылки в Москву так мало пьес. Александру Порфирьевичу пришлось впервые после 1849 года вспомнить, что значит для композитора печататься: как минимум требовалось изготовить чистовую копию, на что у него вечно не хватало времени.

Сочиненная раньше других «Спящая княжна» вышла с посвящением самому близкому из «музыкальных друзей» — Римскому-Корсакову. Еще в 1867 году Бородин, занимаясь опереттой «Богатыри», попутно произвел на свет весьма ироничную вещь о том, как могучий богатырь... не является освободить княжну. Романс вызвал в кружке бурные споры. Мусоргский «как человек боевой» требовал убрать в конце первой строфы повторение слова «спит» — Бородин отказался и был обруган «сонным лешим».

Кроме Мусоргского, кажется, никто из музыкантов не обращал особого внимания на слова (больше говорили о политическом подтексте, уподобляя княжну «спящей» России). Чуть больше внимания обращали на мелодию — настоящую колыбельную. Зато всех поразила небывалая колористическая находка: постоянное чередование больших секунд в аккомпанементе, для классической гармонии вещь абсолютно неслыханная. Композиторы ее, впрочем,

скорее принимали. В первые дни 1870 года Бородин в Москве играл «Спящую княжну» Чайковскому (будущему автору прекрасного учебника гармонии). Тот, звавший балакиревцев «якобинцами», говорил, «что всё, что хорошо звучит, должно иметь теоретическое оправдание», — и действительно находил логичное объяснение бородинским секундам. А вот горячий приверженец Чайковского критик Герман Августович Ларош и четыре года спустя никак не мог переварить эти секунды, высказавшись на страницах газеты «Голос» в том смысле, что немзыкальному читателю трудно объяснить, «какая оргия диссонансов бушует в этом романсе». Бушует! Нужно совсем не слышать музыки Бородина, чтобы применить к этим ленивым секундам столь сильное выражение.

Гораздо проницательнее Лароша была маленькая племянница художников Маковских Маня Смирнова. Бородин был просто очарован тем, как этот ребенок поет «Княжну» с утра до вечера «с увлечением и экспрессией», подбирает по слуху аккомпанемент и вообще «обнаруживает замечательное эстетическое чутье»: «Вот оно молодое-то поколение, небось сразу схватывает *Zukunftsmusik*»^[18]. Кюи, язвительный трубадур «Могучей кучки», разом рецензируя все вышедшее у Юргенсона за год («Исламея», «Садко», романсы Римского-Корсакова ор. 8), нашел для волшебного бородинского романса прекрасные слова. В 1880 году в серии статей «Музыка в России» для *Revue et gazette musicale de Paris* он вернулся к «Княжне» — она стала единственным из всех русских романсов, с отрывком которого он счел нужным познакомить парижан, поместив нотный пример.

С посвящением самому Кюи вышла миниатюра Бородина «Отравой полны мои песни». Критик назвал эту лаконичную вещь «вдохновенной вспышкой, чрезвычайно страстной и чрезвычайно талантливой». 1

мая 1870 года «вспышка» прозвучала перед широкой публикой в концерте Анны (Алины) Поляковой-Хвостовой, годом раньше представившей широкой публике «Спящую княжну».

Мусоргский, как уже говорилось, получил в подарок «Фальшивую ноту» на «текст в гейневском роде» (по верному наблюдению Кюи). То ли в бородинских строках есть что-то провоцирующее, то ли вещь чересчур миниатюрна, но Екатерина Сергеевна прислала мужу от себя и своих кузин аж три новых куплета-пародии, позднее певица Любовь Ивановна Кармалина через Балакирева тоже передала ему несколько дополнительных куплетов. А весной 1887 года Елизавета Андреевна Лавровская спела на концерте памяти Бородина «Фальшивую ноту» с прибавлением строфы неизвестного автора:

Со мною мила так бывала,
Казалось притворным все в ней,
Фальшивая нота звучала,
Ни в чем уж не верил я ей —
И это она угадала.

В «юргенсоновскую четверку» чудом успела попасть масштабная баллада «Море», сочиненная в зиму 1869/70 года, — удивительно романтическое и в то же время... антиромантическое сочинение. Как и положено в балладе, герой в финале погибает, вот только в этом нет ни малейшего оттенка сверхъестественного. Римский-Корсаков и Екатерина Сергеевна услышали «Море» в Москве в первых числах января. Только после этого Бородин записал балладу и сам удивился: «В самом деле, вещь вышла хорошая: много увлечения, огня, блеску, мелодичности, и все в ней очень «верно сказано» в музыкальном отношении... Вышел эффект совершенно

неожиданный: Балакирев и Кюи в восторге. О Корсиньке и Мусоргском нечего и говорить. Пургольдши — с ума сходят от этой вещи. Бах — неистовствует до последней степени; басит мне всякие комплименты, Щербачев усиленно благодарит (он специалист по части — благодаренья, всех и за всё благодарит)». После смерти Бородина Стасов написал о балладе: «Первоначально задуман был другой образ: та самая музыка, которую мы теперь знаем, рисовала молодого изгнанника, невольно покинувшего отечество по причинам политическим, возвращающегося домой — и трагически гибнущего среди самых страстных, горячих ожиданий своих, во время бури, в виду самых берегов своего отечества». Эмигрировали и возвращались тогда многие (например, возвратился из Турции Михаил Чайковский, он же Садык-паша), но трудно отыскать реальный случай, который подошел бы к рассказанной Стасовым романтической истории.

Деятельнее всех «Морем» восторгался Балакирев. Он настоял на немедленной отсылке вещи Юргенсону и энергично предлагал вставить в фортепианную партию пассажи, рисующие вой ветра и рокот волн. Бородин не стал сообщать эти пассажи издателю, а только вписал их в черновик и подарил этот черновик Стасову — счастливому адресату посвящения. Стасов аккуратно переписал ноты начисто, проигнорировав балакиревские вставки. Может быть, посвящение «Моря» чуточку примирило его с отказом от «Князя Игоря».

Юргенсон никогда не печатал других сочинений Бородина, но из доставшейся ему четверки романсов выжал всё. После смерти композитора он переиздал ее во французском переводе, «Спящая княжна» и «Море» также вышли в фортепианной транскрипции Теодора Жадуля под названием «Две баллады». В XX веке они же появились в оркестровке Римского-Корсакова.

«Море» сам Бородин оркестровал летом 1884 года, в очень сдержанной манере. Собственную оркестровку он признал слишком аскетичной, решив когда-нибудь ее переделать, присоединив еще небольшое вступление. После его смерти Римский-Корсаков создал совершенно новую, безумно романтическую и живописную оркестровую версию, которая открывается огромной интродукцией. Николай Андреевич занимался этой работой в одно время с сочинением «Кашея Бессмертного». Мелодические изгибы оркестровой партии, которые у Бородина рисуют волны, поглотившие героя, почти дословно воспроизведены в сцене Кашеевны:

Настала ночь, затихнул ветерок.
Благоуханный мрак кругом разлит,
И волны хищные сильнее плещут...
Ликуйте тризну, волны!

Романс «Отравой полны мои песни» незадолго до революции усилиями Давида Абрамовича Крейна превратился в трио для фортепиано, скрипки и виолончели. В таком виде он вместе с романсами других авторов вошел в юргенсоновскую серию «Русских трио».

Возможно, Юргенсон получил бы больше романсов, если бы Бородин еще раньше не сговорился с выпускником Реформатского училища и Петербургской консерватории, скрипачом и альтистом Василием Васильевичем Бесселем, только что основавшим нотное издательство, и не придержал бы кое-что для него. В 1873 году Бессель, всерьез занявшийся русской музыкой, выпустил в свет «Морскую царевну», «Песню темного леса», «Из слез моих выросло много». Четвертым в его коллекции стал сочиненный в 1885 году «Септен» («Чудный сад»). Третью же и последнюю

четверку зрелых бородинских романсов после смерти автора заполучил Митрофан Петрович Беляев.

«Песню темного леса» Бородин, вероятно, полагал наиболее достойной пера «наследника Глинки», поскольку посвятил ее Шестаковой. Песня явно «крамольная», хитростью проскочившая через цензурное сито. В силу мощной, совершенно не камерной звучности и явных недомолвок в тексте она имеет вид отрывка какого-то крупного сочинения. Стасов предлагал назвать ее «Песнью Ильи Муромца»: «В ней именно что-то богатырское, силаческое, и вместе буйволовское-дремучее, точь-в-точь первые два бурлака у Репина». Кюи сразу же предложил развить «Песню темного леса» пошире, Глазунов позже переложил ее для хора с оркестром. У Римского-Корсакова ее отзвуки зазвучали в «Садко» в хоре вольных новгородцев «Будет красен день в половину дня». Сам Бородин вырастил из нее сцену бунта князя Галицкого.

Музыку романса «Из слез моих выросло много» на слова Гейне в переводе Мея (для Бородина как будто не существовало других поэтов!) современники упрекали в отсутствии «немецкого элемента». Скорее следовало бы похвалить эту миниатюру за изысканность гармонии. Романс вышел с неожиданным посвящением не «музикусам», а Маше Ступи-шиной, несколько зим прожившей в Петербурге в качестве гувернантки Маковских. Бородин часто навещал ее и по поручению Екатерины Сергеевны, и без оно, Маша звала его «милый Сашечка». В семье Маковских ему тоже всегда были рады, даже слегка досаждали вниманием, и он мог хвастаться жене: «Эти Маковские вообще — черт знает что такое! Что у них за необыкновенный тон! Сначала Елена передала мне через Машу, что я — урод! Потому что нейду к ним. Потом она назвала меня любезно — Свинтусом! Это все так, любезничанье своеобразное: они

были просто на седьмом небе, оттого что удалось им увидеть меня наконец в их квартире».

Елена Тимофеевна была первой женой Константина Егоровича Маковского. Весной 1870 года она работала над портретом Бородина, и тот регулярно ходил позировать. Когда художница сочла портрет готовым, ее муж чуть прошелся по нему кистью, к большому удовольствию модели. С тех пор портрет висел у Бородиных. Елена Маковская напоминала ему русалку, и он хотел посвятить ей романс «Морская царевна». Увы, когда романс был напечатан, чахотка уже свела ее в могилу, и посвящение было переадресовано Александре Егоровне Маковской. Будучи дочерью одного художника и сестрой трех других, она тоже профессионально занималась живописью, но в отличие от братьев сосредоточилась на пейзажах. Пока ее невестка писала портрет Бородина, Сашок (так звали в семье Александру Егоровну) успела подарить ему свои картины «Закат» и «Деревенский пейзаж». Вся его коллекция живописи практически сводилась к этим трем полотнам художниц Маковских.

Маковские были музыкальны и всерьез увлекались Новой русской школой. В их обществе Бородина видели на концертах БМШ и на премьере «Вражьей силы» Серова в Мариинском театре (между 4-м и 5-м действиями группа меломанов отправила Вагнеру телеграмму об огромном успехе оперы его друга). В доме Константина Маковского Александр Порфирьевич слушал свои романсы, «Бориса Годунова» и «Каменного гостя», причем хозяин пел партию дона Карлоса. Константин Маковский оставил портреты многих музыкантов, в том числе Даргомыжского, Кюи, Азанчевского. Он стал третьим художником (после Андрея-Генриха Денъера, сделавшего акварельный портрет пятнадцатилетнего юноши, и своей супруги), рисовавшим Бородина при жизни. Однажды Маковский

набросал с натуры, как Сашок разговаривает с Александром Порфирьевичем о музыке. Увидев рисунок, сестра рассвирепела, но Бородин успел «похитить» листок. Эту сценку он послал Екатерине Сергеевне, а та ее не сохранила.

Счастливей оказалась судьба другой карикатуры Маковского, на которой запечатлены Стасов в виде медведчика, художник Гартман в виде обезьяны, скульптор Антокольский в виде Мефистофеля, Балакирев — медведь, Кюи — лисица, Мусоргский — петух, Римский-Корсаков — краб, обнимающий клешнями сестер Пургольд, и Серов, который мечет из тучи критические перуны. Шестакова в воспоминаниях «Мои вечера» пишет, будто карикатуру рисовал не Константин, а Елена Маковская, осердясь на «музикусов» за отказ прийти на вечер, на котором был Тургенев. Чтобы никому из кружка не было обидно, Людмила Ивановна попросила изобразить и себя — в виде курицы или какой другой птицы. Но художница отрезала: «Я на них сердита, а на вас нет!» Может быть, у рисунка на самом деле два автора — муж и жена Маковские?

Один лишь Бородин изображен на карикатуре в нормальном человеческом облике, даже в мундире. В творческих планах Константина Егоровича было дорисовать Балакиреву красные перчатки, которые он тогда носил, а Бородина поместить в реторту. Помешали этому великому замыслу отсутствие в мастерской художника реторты и нерасторопность профессора, не поспешившего ее доставить... А вот на картину молодого Ильи Ефимовича Репина «Славянские композиторы» из всей «Могучей кучки» попали только Балакирев и Римский-Корсаков — так решил Николай Рубинштейн, составлявший список персонажей по просьбе заказчика, Александра Александровича Пороховщикова. Лишь однажды при жизни Бородина

Репин сделал с него беглый набросок, который сам же счел «плохим».

В майские дни 1870 года лекций уже не было, а экзамены еще не начались. Александр Порфирьевич наводил в лаборатории порядок, с Корсинькой играл в четыре руки фуги Баха, в новом бархатном пиджаке (который его портной Герман Корпус именовал «пиджакетом») навещал еще не отбывших на дачи знакомых, сходил на Всероссийскую промышленную выставку в только что перестроенном Соляном городке и вообще много гулял. Может быть, даже дошли руки до партитур симфонических поэм Листа, которые лежали дома с марта, да некогда было их изучать. Впрочем, главное открытие Листа — монотематизм — Бородин уже использовал в «Сне Ярославны» и во Второй симфонии. Настроение было каникулярное, мечталось, как они с Екатериной Сергеевной летом будут спать до полудня, а потом собираться съездить «как-нибудь» погулять. И Кудашев, и Калинины наперебой звали к себе, но Бородины решили провести лето по старинке, поближе к Москве. Выбор несколько затянулся, только к началу июля супруги вместе со Ступишиными и жившей в Москве при Екатерине Сергеевне воспитанницей Лизой устроились в селе Давыдкове, о котором сегодня напоминает лишь Давыдовская улица в Москве. Бородин перевез в деревню «маленький инструмен-тик» — ему хорошо работалось за фортепиано.

Лучше бы он уехал тогда в Друскеники делать анализы минеральной воды! Сочинять не пришлось ни в Давыдкове, ни в номерах напротив московского Малого театра, куда супруги переехали в августе. Причину этого русская интеллигенция уж лет тридцать как объясняла словами «среда заела». Екатерина Сергеевна встретила лето не в лучшем душевном состоянии, случалось, целыми часами плакала. Муж еще в мае заказал новые кровати и тюфяки и сообщил ей, а в

следующем письме пришлось успокаивать: «Зачем рисовать себе картины будущего в таком безвыходно-безнадежном свете? Зачем думать о смерти на новом тюфячке, когда единственная цель последнего спать комфортабельно при жизни». Уговоры не помогли, в тот год Бородин не раз был вынужден возвращаться к этой теме: «Когда-нибудь надобно же умереть, и этого никому не избежать. Неужели же однако постоянно думать о минуте смерти и рисовать себе подробную картину агонии. Да ведь этак нельзя покойно прожить ни минуты, ибо все существование будет тебе казаться наступлением медленной агонии. Как хочешь, но человек в трезвом, не раздраженном болезненно уме не должен и не может травить себя подобными картинами». Летом в Москве явилась холера, усугубившая постоянную тревогу Екатерины Сергеевны. Как ни странно, брак с жизнерадостным, остроумным Александром Порфирьевичем несколько не излечил ее от мнительности, от беспричинных страхов — горького «протопоповизма». Два года жизни врозь с мужем помогли этим явлениям развиться до предела. В доме Ступишиных госпожа Бородина пребывала в самой что ни на есть обломовской праздности, сосредоточенная на своих недомоганиях, среди жалостливых родных (в лексиконе супругов имелось слово «обломовщина»). В делах практических бездеятельность дошла до нежелания лично ездить в банк за денежными переводами из Петербурга. Духовная пища на тот момент свелась к чтению романов модного Бертольда Ауэрбаха. Муж с ужасом наблюдал, как к «протопоповизму» добавляется «ступишизм»: «Что это за напасти?! Неужели же причина всех этих штук лежит только в сортирной вони? По-видимому так, ибо на это указывают сердечные припадки, которые вызывались у тебя единственно вонью. С другой стороны, мне кажется, немаловажную роль относительно

расстройства нервной системы играет и вся эта московская обстановка и среда — душная, гнетущая своими тяжелыми картинами, своею роковою безысходностью, хроническою, до отупения мозолящую душу, тоскою... На меня болезненно действовала вся эта буржуазно-чиновничья обстановка, весь склад мыслей и жизни, весь антураж, которым обставлены Алексей и пр. Вся эта масса предрассудков, местных болячек, выработанных московской распушенностью, суеверием и пр., на меня действует всегда убийственно угнетающим образом... Я сам... бываю весь разломан, весь болен под влиянием подавляющей мги, тоски окружающих стонов, охов и т. д.».

В состоянии, мало совместимом с творчеством, Бородин в сентябре 1870 года вернулся в Петербург. Поход в баню слегка взбодрил его. Авдотья Константиновна приехала к нему с Катериной Егоровной и давай разбирать, по ее выражению, «всякие хавдры», то есть делать генеральную уборку. Тут и хандре, что привез из Москвы сын, пришел конец. «Тетушка» наконец завершила дела с продажей дома и хотела устроиться пансионеркой в богадельню при Смольном монастыре. С богадельней не сложилось, посему «тетушкин дом» в полном составе водворился на Выборгской стороне. Митя Александров перевелся из Старой Ладogi еще ближе, в Гатчину. Еню Федорова Бородин пытался через знакомых устроить на Саратовско-Тамбовскую железную дорогу, но встретил препятствие: «Там теперь во главе немец и замещает вакансии немцами, кои во множестве прибывают из-за границы за неимением там дела». В науке, музыке и на железной дороге шла одна и та же борьба партий... Безработный Еня остался в старом тетушкином доме и весной 1871 года женился на дочери тамошних жильцов Варваре Александровне Сютеевой (Сутеевой). От этого

брака произошло двенадцать душ детей. Родственники жены устроили Еню на Варшавскую железную дорогу.

Еще весной Бородин задумал реформы в «министерстве» (от французского *ministre* — «служитель»). Собирался уволить одряхлевшую кухарку Михайловну, нанять новую, а заодно обзавестись и мужской прислугой — слишком настойчивые пошли по академии слухи, что профессор химии отвлекает служителей лаборатории домашними поручениями. Но куда было идти старой Михайловне? Она согласилась стряпать за меньшее жалованье, лишь бы не гнали на улицу. Итак, дома всё осталось по-прежнему, вот только Александр Порфирьевич сбежал оттуда и поселился у Сорокиных. Макея Сорокин, давно перекрещенный в Ванчуша (собственно, его звали Иваном Максимовичем), смеялся над постоянным писанием писем в Москву:

— Да коего черта так часто писать; что ж, сочинять, что ли?

Сочинять... Александр Порфирьевич как мало кто умел складно вить да вить логические узоры — будто разрабатывать тему в симфонии или квартете. Чего стоит хотя бы его рассуждение о писании писем из послания неизвестной адресатке: «Хотелось бы мне написать Вам побольше, да вот беда моя: каждое письмо поглощает у меня сравнительно много времени. Не могу я писать так, как пишут другие. Сел да и намахал листа 3 или 4. Письмо ведь в сущности разговор. Ну вот и садись разговаривать. Согласитесь, что перо ужасно плохой язык. Да и странно было бы читать письмо, состоящее из вопросов, на которые не дается ответа, и ответов на воображаемые вопросы. Каждое письмо походит более или менее на картину из комедии или трагедии, где пара действующих лиц разговаривает между собой, но так, что на вопросы одного другой отвечает совсем не то, что следует, а что на ум взбредет. Не правда ли, неуклюжая форма? Ведь то, что

Вас интересует сегодня, может вовсе не интересовать завтра...» В его семейной жизни письма, увы, часто служили неуклюжей заменой разговорам.

Жену Бородин надумал с комфортом водворить в Царском Селе, где она была бы избавлена и от «стужишизма», и от неудобств служебной квартиры в академии. Да вмешалась большая политика: Франция объявила войну Пруссии. Чем это закончилось для Франции, хорошо известно. Для петербуржцев следствием стало резкое подорожание квартир и отсутствие свободного жилья даже в пригородах: «Война пригнала к нам столько соотечественников, что Петербург не в состоянии вместить их». Екатерина Сергеевна осталась у Ступишиных, «заедаемая» средой, шлющая «горькие» письма. Муж в ответ слал ей бодрые, а все же 31 октября 1870 года вырвалось: «Да и что это в самом деле за существование наше бездомное. Точно бобыли какие-нибудь, женатые холостяки, вечные жида или Марьи Герасимовны мы с тобою». Весь этот день Бородин провел за работой — писал бумаги, экзаменовал, заседал в конференции академии. Вечером растянулся на диване дома... то есть у Сорокиных, понаблюдал сцену сборов друзей в гости — обычную семейную сцену с поторапливаниями и упреками, облеченными «в самую душистую, розовую тафту супружеских нежностей и любовных игривостей», — и остался в пустой квартире писать жене письмо. Это был его 37-й день рождения...

Письма стали спокойнее, тьма нежных прозвищ порассеялась, тон изменился: «Когда же ты думаешь двинуться в путь? Или может быть думаешь остаться в Москве? Здесь никто не верит, что ты соберешься, и со мною многие держали пари». Среди неудобств служебной квартиры была всеобщая осведомленность о семейных обстоятельствах коллег... В Москве Екатерина Сергеевна лечилась от астмы пневматическим

«колоколом», но теперь такой же появился и в Петербурге. Тем временем у «экс-медика», видевшего и больных в чахотке, и астматиков, крепло убеждение, что нет у его жены «никаких особенно глубоких местных расстройств в системе дыхательных органов». Бородин остановился на диагнозе «бронхоэктазия», все же остальное — от образа жизни, который Екатерина Сергеевна год за годом успешно для себя отстаивала: «в закутке, одна, с черными мыслями, в духоте, в чаду». Нужно добавить: и в праздности.

Что ж, он исправно высылал жене и ее горничной вид на жительство и привычно звал домой. В ожидании съехал от Сорокиных, «тетушку» поселил в кабинете, сам переехал в общую лабораторию, для Екатерины Сергеевны приготовил столовую — обедать ведь можно и в гостиной. Какие-то сплетни доходили в Москву через Машу Ступишину, что-то пересказывал Пановский. Александр Порфирьевич не забывал слегка кокетливо писать в «отчетах» — уже третий год кряду, — что Анку Калинину разлюбил: «Был на полчаса у Калининых... Ай как стыдно майчику-стаичку за прошлое! Простите... Извините... нечаянно». Но мнительный «протопоповизм» распространялся на все сферы жизни. Имея 24 часа в сутки досуга, Екатерина Сергеевна употребляла время в том числе на сомнения в чувствах мужа. Радует ли он ее письмам, не будет ли она в Петербурге «мучать» его своим режимом дня? В сотый раз слал он за 600 верст ответы на эти проклятые вопросы, а его ревнивая жена хваталась, однако, за любой повод, лишь бы не торопиться домой. За два года раздельной жизни что-то изменилось в их отношениях, какая-то трещина прошла между ними. Каким образом их брак не распался? По-видимому, из-за исключительного постоянства Александра Порфирьевича и его нелюбви к переменам. Таким он, по воспоминаниям Доброславина, был в дружбе: «Раз он был убежден в чем, не было силы,

которая могла бы отклонить его от принятого образа действий. Особенно же стойкость выражалась в его отношениях к лицам, ему симпатичным. Никакие ни наговоры, ни убеждения даже не заставляли его изменять установившимся отношениям. Друзья его могли всегда твердо на него рассчитывать — это был друг преданный и никогда не изменявший даже в маловажных случаях». И правда, Бородин был, кажется, единственным музыкантом, который ни разу не поссорился с Балакиревым. Его отношения с людьми пребывали неизменными, как он сам о том написал — удивительно ровно и бесстрастно: «Коллекция может пополняться, как и в любом музее, но то, что в ней имеется, не может быть исключено из каталогов».

Екатерина Сергеевна приехала под самый Новый год и застала мужа в разгаре трудов. В сентябре и октябре из-за болезни глаз и очередного ремонта в лаборатории он работал мало. Теперь же возобновилась беготня от реторт к роялю, понеслись между экспериментами по лабораторному коридору, как вспоминал Доброславин, «стройные и привлекательные звуки рояля из квартиры профессора».

После большого перерыва Бородин взялся за три оставшиеся части Второй симфонии. От сочиненной еще весной 1870 года первой части они отличаются полной независимостью от всех уже написанных балакиревцами опер, будь то «Борис Годунов» или «Псковитянка». О скерцо Стасов глухо молчал, а Римский-Корсаков в «Летописи» заметил, что оно носит «чуждый всей симфонии характер». Но если симфония о нашествии, то появление в ней скерцо, окрашенного в легкие восточные тона, вполне логично. Открывается скерцо поистине волшебным аккордом духовых, будто переносящим после первой части в другой мир. Аккорд этот некогда симпровизировал для Бородина Балакирев

и уже больше никакого участия в сочинении новой вещи «птенца» не принимал.

Andante Второй симфонии — само совершенство. Стасов прав: голос валторны в сопровождении аккордов арфы в самом деле звучит будто голос эпического певца Баяна. Сказание далеко не бесстрастно, музыка то трепетна, то достигает удивительной полноты чувств. Финал же действительно праздничный. Его начало слегка напоминает «Мефисто-вальс» Листа (сцену в деревенском кабачке), но масштабы части совершенно иные, а эпизод языческой тризны дышит какой-то древней мощью. Вся часть буквально изобилует музыкальными темами, которые рождаются одна за другой (возвращается и мотив «половецких труб» из первой части).

Вторую симфонию принято называть «Богатырской». Однако Бородин, вскормленный в балакиревском кружке на музыке Берлиоза и Листа, твердо знал: литературная программа — вещь обязывающая, ей нужно следовать строго. Эта уверенность звучит уже в его рецензиях 1868 года. Посему свое детище Александр Порфирьевич называл «Симфония № 2 си минор» и никак иначе. Другое дело Стасов, так и сыпавший эпитетами: «Львица», «Богатырская». У Владимира Васильевича была легкая рука, ведь даже случайное выражение «Могучая кучка» накрепко привилось. Привилось и название «Богатырская симфония» — вопреки всей комичности богатырства в оперетте Бородина и его романсе «Спящая княжна». У Стасова, впрочем, были свои резоны. В отличие от Александра Порфирьевича и других музыкантов он, скорее всего, видел эскиз Виктора Михайловича Васнецова «Богатырь» (1870) и следил за созданием картины «Богатыри», оконченной лишь в 1898 году. Да и комплекция Александра Порфирьевича давно располагала к размышлениям о «богатырских пирах».

Считается, что Бородин соглашался с определением Стасова, поскольку он с ним не спорил. Читая лекции четыре дня в неделю, он легко мог бы наговорить и больше, и громче вечно «шумевшего» критика, почему же не спорил? Ответ находится в одном из первых стихотворений в прозе Ивана Сергеевича Тургенева — «С кем спорить...»: «Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит... но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя. Спорь с человеком ума равного... Спорь с человеком ума слабейшего... Спорь даже с глупцом... Не спорь только с Владимиром Стасовым!»

Финал симфонии был готов менее чем наполовину, когда Бородины вновь отбыли в Давыдково. Лето 1871 года сложилось удачнее. Холеры в Москве больше не было, а на фобии Екатерины Сергеевны нашлась управа в лице молодого скрипача, студента Московской консерватории Якова Сергеевича Орловского. Любя музыку, Бородина все же нуждалась для игры в стимуле — хотя бы одном благодарном слушателе. Супруг эту роль в свое время сыграл, но, видимо, из нее вырос. Иное дело новые знакомые. Началось ежедневное разыгрывание скрипично-фортепианных дуэтов, часто перераставших в трио, в которых Александр Порфирьевич исполнял партию виолончели. Вновь зазвучали в доме Бетховен и Шуман. Спасенная от праздности, Екатерина Сергеевна воспрянула духом, забыта и страхи, и недомогания. «Милый Яша», «твоя прелесть» называл Бородин в письмах жене своего избавителя. Он даже загорелся идеей перевести Орловского в Петербургскую консерваторию и повел разведку через новоиспеченного профессора Римского-Корсакова. Но учеба там оказалась для Орловского невозможной из-за очень высокой платы (200 рублей в год). Он остался в Москве и впоследствии преподавал музыку в самых разных учебных заведениях, от

кадетских корпусов до Сущевского женского училища. До конца жизни Екатерины Сергеевны Орловский оставался ее верным другом и помощником.

Итак, дачная жизнь наладилась. Бородин спокойно и неторопливо занимался оркестровкой первой части симфонии. От кого-то из знакомых он узнал, что в двух или трех километрах от них в поселке Жуковка обитает на даче Кашкин, нагрянул к нему без предупреждения — и начались совместные пешие прогулки по живописным берегам Сетуни. Кашкин преподавал в Московской консерватории теорию музыки и фортепиано. Он был профессионалом высокого класса и достойным Бородина собеседником.

20 августа в Киеве открылся Третий съезд русских естествоиспытателей, на котором Бородин должен был выступить с докладом. Материалов было предостаточно — исследование альдегидов продолжалось. Александр Порфирьевич собирался ехать в Киев вместе с Екатериной Сергеевной и уже достал льготные железнодорожные билеты, но на съезд почему-то не попал. 22 августа Бородины начали укладывать вещи и 23-го переехали с дачи к Ступишиным. Нет никаких сведений о резком ухудшении состояния жены, из-за которого поездка Бородина в Киев оказалась невозможной. Вероятнее всего, Екатерина Сергеевна просто стала тяжела на подъем, долго откладывала сборы, пока совсем не раздумала ехать, а муж ее в очередной раз принес науку в жертву... и снова не музыке (у Ступишиных ему вряд ли хорошо работалось). Впереди была очередная долгая разлука с женой: может быть, еще одна зима в одиночестве?

15 сентября Бородин вернулся в Петербург и с головой ушел в заботы о лаборатории: починка мебели, дверей и замков, покраска стен, подведение водопроводных и газовых труб — всё требовало хозяйского глаза. Не иначе как с воспитательными

целями писал он в Москву, что стал здоровее, бодрее, не устает — а всё потому, что рано поднимается, по немецкой поговорке: «Утренний час — золотой час». Письма никакого воздействия на Екатерину Сергеевну не оказывали, «ступишизм» цвел с новой силой. Оставалось только взывать: «Бога ради не скаредничай и катайся больше по воздуху. Просто возьми извозчика по часам и вели себя возить не торопясь, куда глаза глядят».

Сообщения, как много он успевает в академии, чередовались с жалобами на ревматические боли и отсутствие времени на музыку, но факты неумолимы: в середине октября была окончена симфония, кроме «самого хвостика финала», а вскоре и «хвостик» явился. Восприимчивыми Второй стали «Модя, Корея и Н. Лодыженский», не говоря о Кюи. Жительство Римского-Корсакова в «коммуне» с Мусоргским Бородин одобрял: «Влияние их друг на друга вышло крайне полезное. Модест усовершенствовал речитативную и декламационную сторону у Корсиньки; этот, в свою очередь, уничтожил стремление Модеста к корявому оригинальничанью, сгладил все шероховатости гармонизации, вычурность оркестровки, нелогичность построения музыкальных форм, — словом, сделал вещи Модеста несравненно музыкальнее». Кюи без отдыха писал ноты и фельетоны, Лодыженский сочинил еще один романс. Все энергично работали. Не хватало только Балакирева, который весной впал в апатию и совсем отдалился от друзей. Ходили слухи, что он сошел с ума, но это было преувеличением. Как и то, что Милий Алексеевич совсем забросил музыку. Среди состоявшихся композиторов ему стало неуютно — а вот арфист Императорских театров Иван Александрович Помазанский в то самое время сочинял под его руководством Увертюру на русские темы (или скорее Балакирев ее сочинял, водя рукой Помазанского и не

допуская возражений). В следующем году Балакирев устроился на Варшавскую железную дорогу.

Анка Калинина с новорожденным сыном Колей уехала в Турово. В долгой разлуке с Александром Порфирьевичем она в следующем году в Маковницах начала поэтический цикл «Песни разбитой любви» и продолжала писать стихи в различных имениях Лодыженских и Калининых, в лежащем ныне на дне Рыбинского водохранилища Коротнево, в вагоне Рыбинско-Бологовской дороги...

У Бородина тоже появились новые заботы. В Петербург с ним отправили воспитанницу Лизу. Он еще мало знал эту девочку, почти чужую ему, но едва ребенок оказался на его попечении, все стало меняться. Лиза легко поладила с доброй Авдотьей Константиновной. Катерина Егоровна взялась учить ее шить и вязать, а девочка читала ей вслух, повторяла пройденное еще в Москве из Священной истории и очень красивым почерком выводила строки своих первых писем «милый Катерине Сергеевне». Бородин переживал, что ребенок все-таки много болтается без дела, урывками давал уроки арифметики. Прошел месяц — и он восстал против намерения Маши Ступишиной поселиться в его квартире, поскольку та плохо относилась к девочке. «По-моему, у Лизы много такта, сметливости, характера и практического ума», — написал тогда Александр Порфирьевич жене. Он отыскал для девочки единственное в столице учебное заведение, куда принимали детей всех сословий и давали знания практически в объеме гимназии — Еленинское училище, в котором в 1875 году станет преподавать Балакирев. Пройдет два года, Бородин придет забрать Лизу на выходные, увидит у нее на плече красный бант (она целую неделю получала одни пятерки!) и... «грешный человек, ёкнуло у меня родительское сердце и глаза (стыжусь, ей-ей стыжусь)

покраснели — от насморка». Второй раз муза истории видит Бородина плачущим: первый случился в Италии при криках «Да здравствует Гарибальди!».

Глава 16

«МЛАДА»: НОВЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ПРОЕКТ

Лирико-симфонические заботы отступили: Вторая симфония сочинена, новые романсы напечатаны — и судьба немедленно позаботилась, чтобы Бородин-композитор не сидел без дела. В конце 1871 года Степан Александрович Гедеонов, совмещавший посты директора Эрмитажа и директора Императорских театров, затеял постановку оперно-балетной феерии «Млада». По его сценарию либретто из истории полабских славян писал вездесущий Виктор Крылов, выбор же композиторов оказался довольно неожиданным. По сообщению Стасова, «музыку для балета должен был сочинять Минкус, тогдашний автор балетной музыки для нашего театра, а музыку оперы Гедеонов через меня предложил написать четверем музыкальным приятелям: Бородину, Кюи, Мусоргскому и Римскому-Корсакову».

Для Римского-Корсакова логика заказа музыки именно балакиревцам осталась непонятной, он искал сложные объяснения, пахнувшие интригой окольные пути: «Откуда шел почин этого заказа, я не знаю. Предполагаю здесь влияние Лукашевича, чиновника театральной дирекции, начинавшего входить в силу при Гедеонове. Лукашевич был близок к певице Ю. Ф. Платоновой и знаменитому О. А. Петрову, последние оба пользовались симпатией Л. И. Шестаковой; таким образом устанавливалась некоторая связь между нашим кружком и директором театров. Полагаю также, что это дело не обошлось без участия В. В. Стасова».

Участие Стасова неоспоримо, но выбор композиторов скорее всего сделал сам Гедеонов — быть может, не без влияния Крылова. Степан Александрович известен прежде всего как первый директор Эрмитажа. Много лет он провел в Италии, занимаясь пополнением коллекций музея, затем много лет трудился над описанием этих коллекций. Работа в театре увлекала его меньше, этот пост был скорее наследственным (его отец руководил Императорскими театрами на протяжении четверти века). К началу 1870-х, несмотря на громадную занятость по службе, главным делом его жизни стало исследование «Варяги и Русь» (1876), пафос которого — в опровержении догматов «норманнской школы».

Гедеонов сосредоточился на одном из спорных моментов русской истории — призвании варягов. Две теории были для него равно неприемлемы — «как теория Шлецера о дикости, так теория г. Соловьева о младенческом состоянии Руси». «Принимая славянские племена в IX веке за разъединенные стада человекообразных существ, еще не дошедших до понятий о Боге и о княжеской власти, она [норманнская школа] вносила к ним все учреждения германоскандинавского общества, даже самый скандинавский язык», — писал он. Заново анализируя летописные источники, читая их без «норманнской презумпции», Гедеонов в поисках родины варягов остановил выбор на западных славянских землях: «Из беспристрастных немецких историков многие сознают сравнительное превосходство славянского над германским образованием в эпоху язычества; пораженные торговым и земледельческим благосостоянием поморских славянских земель, бамбергские миссионеры сравнивали Вендскую область с обетованной землей»; «...поводом к сношениям Новгорода с Поморием было, вероятно, религиозное первенство балтийских вендов над прочими славянскими племенами; мы знаем из Гельмольда, что

на поклонение идолу Радегаста в Ретре стекались ежегодно из всех славянских земель. Еще в конце XI столетия чехи посылали тайным образом в Аркону и Ретру за языческими наставлениями и оракулами».

И вот вывод историка: «Поищемъ себе князя, иже бы володелъ нами и судиль по праву»... Судить же по словенскому праву мог очевидно только славянский князь, вскормленный на основных законах славянской гражданственности. «Советъ даю вамъ, — говорит новгородский старейшина, — да поедете в Руськую землю мудрые мужи, и призовете князя отъ тамо сущихъ родовъ». Если бы не история и народное предание, историческая логика указала бы на поморских князей».

Как видно, замысел «Млады» не был для 55-летнего Гедеонова случайной блажью интеллектуала. Показать древнюю славянскую цивилизацию, стертую в XII веке с лица земли, и показать ее со всем размахом, на который способны Императорские театры, было для Степана Александровича делом огромной важности, залогом того, что его будущая книга найдет заинтересованных читателей. Грандиозные Славянские концерты Балакирева, увертюры членов кружка на русские, чешские и сербские темы — всё это вряд ли прошло мимо его внимания. Именно в этом кружке он мог найти музыкантов-единомышленников, потому-то его выбор несколько отличался от выбора Пороховщикова и Николая Рубинштейна при украшении стен «Славянского базара». Зимой 1871/72 года Гедеонов как минимум один раз встречался с композиторами. На этой встрече были распределены между ними четыре действия пьесы. К концу февраля Мусоргский, Бородин и Кюи уже вовсю работали над музыкой (вероятно, также Римский-Корсаков, только что поставивший последнюю точку в «Псковитянке», и Людвиг Минкус).

О чем думал сын князя Гедианова, разговаривая с потомком смоленских шляхтичей Гедеоновым? Степан

Александрович, специально исследовавший западнославянскую лексику в «Слове о полку Игореве», мог оказаться интересным собеседником — если, конечно, соавторы встречались более одного раза. Сведений об этом нет: Екатерина Сергеевна жила при муже, и тот не писал писем-рапортов. Не вспомнил он ни о своей «лирико-симфонической натуре», ни о неактуальности сюжетов из «глубокой, полусказочной древности». Оперетта о князе Куруханском Густомысле провалилась, замысел оперы о князе Новгород-Северском Игоре бьи отвергнут, но со всей энергией взялся Александр Порфирьевич за 4-е действие оперы-балета о Яромире, князе Арконском. Прежде чем приступить к сочинению музыки, он запасся у Стасова исторической литературой. О храме в Ретре и о древних ритуалах Бородин прочел в «Исследованиях о языческом богослужении древних славян» Измаила Ивановича Срезневского (1848) — автора, на которого часто и уважительно ссылается Гедеонов.

Музыкальная жизнь в те месяцы бурлила. Меломаны обсуждали белый парик Аделины Патти и черные глаза Полины Левицкой. В патриархальной Москве прощальный бенефис Патти дал восемь тысяч рублей сбора, певица получила 300 букетов и венков и 80 раз выходила кланяться. 16 февраля 1872 года был поставлен «Каменный гость» Даргомыжского. Впервые явилась в Петербург и произвела фурор шведское сопрано Кристина Нильсон. В апреле состоялась премьера ми-бемоль мажорной симфонии «Жизнь художника» некоего Леонида Дмитриевича Малашкина, учившегося в Берлине и через год снова атаковавшего петербуржцев (на сей раз «Триумфальной симфонией»), но отнюдь не снискавшего триумфа. Однако в безвестность Малашкин не канул — он нашел себя в духовной музыке и в романсах («Я встретил вас» поется по сию пору). 5 мая под управлением Ломакина прошел

последний концерт Шереметевского хора перед его роспуском. В Мариинском театре разучивали «Псковитянку», впервые исполненную 1 января следующего года.

Всё это никак не сказывалось на сочинении «Млады». Музыку порученного ему четвертого действия Бородин закончил уже к 16 апреля. Недаром Стасов говаривал: «Вы бывали в Зоологическом саду, Вы видали, как вдруг слон накладёт целую гору, так что там просто хоть утони, вот так-то и Бородин всегда сочиняет. Вдруг накладёт целую гору!» В своей книге о Бородине он, конечно, вспоминал о друге в совершенно ином тоне: «В это время... я очень часто виделся с ним и часто заставлял его, утром, у его высокой конторки, в минуту творчества, с вдохновенным, пытающим лицом, с горящими, как огонь, глазами и с изменившейся физиономией. Особенно помню одно время: у него было легкое нездоровье, он недели две оставался дома и почти все время не отходил от фортепиано. В эти дни он сочинил всего более, все самое капитальное и изумительное для «Млады», и когда я приходил к нему, он тотчас же с необыкновенным увлечением и огнем играл мне и пел все вновь сочиненное». Так один за другим появились все восемь сцен четвертого действия: Идоложертвенный хор Радегасту, Дуэт Яромира и жреца, Явления теней, Дуэт Войславы и Яромира, Явление Морены, Разлив, буря и гибель храма, Явление Млады, Апофеоз. Большой дуэт Яромира и жреца Бородин успел даже оркестровать, чуточку вдохновившись началом пьесы Листа «Ночное шествие» (из музыки к «Фаусту» Николауса Ленау). Это действительно вдохновенная музыка, дышащая языческой древностью, — особенно Идоложертвенный хор. Парадокс в том, что прообраз темы этого хора находится в эпизоде тризны из финала Второй

симфонии, сочиненного до знакомства с замыслом «Млады» и до чтения Срезневского...

Гедеонов просил для феерии музыки яркой и максимально лаконичной. При сочинении «Богатырей» Александр Порфирьевич скрупулезно подсчитывал такты, привыкнув перед публикацией научных работ подсчитывать число букв в тексте. Теперь он открыл для себя новый метод: стал хронометрировать готовые сцены. Его часть «Млады» оказалась безупречна по пропорциям.

Горячее участие в новом проекте кружка приняли сестры Пургольд. Дольше всех — до самого конца июля — возился с первым действием Кюи, а подгоняли сестры почему-то Бородина, дарили ему подарки «с намеком». Он отшучивался изящно, почти кокетливо. Ноты двух его дуэтов почти не покидали дома сестер, там часто их пели. Александр Павлович Молас (младший брат будущего мужа Александры Николаевны) записал: «Раз как-то хотели спеть дуэт из «Млады». Теноровую партию взялся исполнить Бородин. Александра Николаевна начала: «Я отравила Младу», — Бородин отвечает: «Serpent». Конечно, пение прекратилось, все обращаются к Александру Порфирьевичу, что это означает, а он говорит, что, взглянув на столь уважаемую даму, как Александра Николаевна, он не посмел крикнуть «змея», а по-французски все-таки не так грубо выходит. Все посмеялись, но «Младу» так и не пели в этот вечер». Рукопись этого дуэта несет на себе редакторские пометки... Мусоргского.

Уже Матвей Андреевич Шишков писал декорации, уже Стасов с Николаем Александровичем Лукашевичем, учеником и другом Карла Павловича Брюллова, «сочиняли, по историческим источникам, древнеславянские костюмы, выдумывали разные фантастические полеты целого кордебалета по сцене, или колебанья русалых дев на длинных гнущихся

ветвях деревьев...». Музыка, кроме неизвестно кому порученной увертюры, была почти готова. В итоге проект Геденова оказался слишком дорогим и спектакль не был выпущен. Конспирологическая версия (спектакль о Ретре и Арконе, разрушенных германцами и датчанами, был неугоден правящей немецкой династии, тем более что наследник престола, будущий Александр III, был женат на датской принцессе) не находит подтверждения, поскольку в дальнейшем сюжет «Млады» был востребован на столичной сцене. Все к лучшему: как бы приспособленная Мусоргским для выхода Черногобога авангардная «Ночь на Лысой горе» прозвучала рядом с дансантичными ^[19] пьесками Минкуса?!

Отвергнутая в 1872 году, «Млада» дала невероятно обильное музыкальное потомство. В 1879-м появился одноименный балет Минкуса, в 1890-м — опера-балет Римского-Корсакова. Помимо этого Корсаков включил кое-что в «Снегурочку», «Майскую ночь» и струнный квартет фа мажор. Мусоргский использовал свою часть музыки в опере «Сорочинская ярмарка» и марше «Взятие Карса». Кюи в 1911 году издал с некоторыми изменениями написанный им в 1872 году первый акт, но еще раньше перенес некоторые номера в оперы «Кавказский пленник» и «Анджело».

Что касается Бородина, многие его темы из «Млады» вскоре по-новому проросли в «Князе Игоре». Более того, композиция 4-го действия стала «каркасом» для всей оперы: Идоложертвенный хор лег в основу Пролога, Апофеоз — в основу Заключительного хора. В наше время коллективная «Млада» реконструирована Альбрехтом Гаубом, остается ждать ее исполнения.

Во время работы над оперой-балетом жизнь Бородина текла спокойно и весело. Екатерина Сергеевна жила дома и почти не выходила за порог академии, но и не скучала. 2 января 1872 года Бородины объединились с Доброславиными и устроили в соседней аудитории

первый костюмированный танцевальный вечер. Вечера привлекли много молодежи. Особо отличался друг и «прелесть» Екатерины Сергеевны — артиллерист Николай Решетин, рассуждавший, что «в нынешние трудные времена одно удовольствие и остается — плясать».

Едва ли не больше всех веселился на домашних балах профессор химии. Одна мысль о грядущем танцевальном вечере приводила его в преизрядное настроение. Доброславина он, например, зазывал на «общее собрание членов Общества приятных телодвижений»: «Программа занятий остается без изменения: по-прежнему занятия будут состоять в том, что мужчина, обхватив крепко стан женщины и прижав ее к себе, будет одновременно с нею производить телом ритмические движения взад и вперед, хотя и однообразные и утомляющие, но очень приятные для обоих, при том движения, которые принято производить обыкновенно по ночам и которые по преимуществу любят женщины (т. е. танцевать)». Среди забот Бородин находил время переписывать танцевальные пьесы невесть каких авторов и готовить маскарадные костюмы, наряжаясь то Меркурием, то царем Менелаем, то китайцем. Существует немало рассказов о том, как серьезные посетители заставляли его за примеркой «опереточных» костюмов, гротескно смотревшихся на его полной фигуре, и осторожно пытались выяснить, не сошел ли профессор с ума.

В том же 1872 году супруги в третий и последний раз оказались вместе за границей. 17 июня они через Кёнигсберг и Берлин отправились в Йену и Дрезден (там Екатерина Сергеевна купила себе какой-то необыкновенный платок). Александр Порфирьевич подготовился к поездке основательно: составил полный список химиков, работавших в университетах и лабораториях Германии и Австрии. По пути он посещал

заводы и фабрики, в Берлине нанес визит в тамошнее Химическое общество, в которое заочно вступил 8 января того же года. Но главной целью путешественников был дорогой и солидный австрийский курорт Глейхенберг, где лечили болезни дыхательных путей. Увы, термальные воды Глейхенберга Екатерине Сергеевне не помогли, хуже того, в Австрии ее настиг тяжелый бронхит.

Во время этой либо предыдущей поездки произошел переданный Александром Моласом эпизод, говорящий о рассеянности Александра Порфирьевича:

«Однажды в Париже, идя с женой, он зашел в магазин, она же осталась ожидать его на улице. Купив, что надо, он попросил прислать покупку и назвал свой адрес.

— На чье имя? — спросил продавец.

— На чье имя... — Бородин растерялся. — Простите, забыл. Я сейчас спрошу у жены, она тут, около магазина.

На улице он обратился к жене:

— Катенька, как наша фамилия?

— Что с тобой? Бородины, — напомнила она улыбнувшись.

— Спасибо! — крикнул он и побежал в магазин».

Молас тоже что-то запомнил или перепутал. Нет сведений о том, чтобы в эту поездку супруги достигли Парижа, а при их совместном посещении Франции в 1861 году речь еще не могла идти о «нашей фамилии». Другая версия той же истории гласит, что при паспортном контроле на границе Александр Порфирьевич не мог вспомнить, как зовут вписанную в его паспорт жену. Та как раз вышла в дамскую комнату, а он совсем растерялся перед заподозрившим худшее чиновником. При появлении супруги Бородин вскричал:

— Катя... ради Бога... как тебя зовут?!

Некоторые мемуаристы связывают эти события с усиленным паспортным контролем по случаю Польского

восстания 1863–1864 годов, но тогда Бородины никуда не ездили. Существует также версия с иной развязкой, в ней Александра Порфирьевича спасает некий случайно оказавшийся рядом знакомый.

По возвращении из Австрии супруги 27 августа прибыли в Москву, где вкусили от прелестей «стужишзма», и 15 сентября достигли Петербурга. Небывалое дело — вместе.

Глава 17

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НА АЛТАРЬ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10 октября 1872 года Бородин был утвержден преподавателем Женского курса ученых акушеров с годовым жалованьем 700 рублей. Замысел, о котором так долго говорили, воплотился в жизнь. Женщины уже не раз появлялись в стенах академии на правах вольнослушательниц. Грубер привечал трудолюбивых барышень, Сеченов еще осенью 1861 года стал руководить научными исследованиями двух дам. В 1864-м доступ им в академию был вновь запрещен, но потребность в женщинах-врачах уже сильно чувствовалась в мусульманских областях империи. Обе ученицы Сеченова решились отправиться в киргизские степи — лишь бы ради этого им разрешили учиться. «У меня не хватило тогда рассудка понять, что две молодые женщины, отправляясь в дикие степи с полуторамиллионным населением, обрекают себя на гибель без существенной пользы делу, и я подал, в желаемом ими смысле, докладную записку тогдашнему директору канцелярии военного министра (впоследствии туркестанскому губернатору) Кауфману. К счастью, на эту записку не последовало никакого ответа», — вспоминал Сеченов. Директор канцелярии оказался мудрее молодого ученого. Обе женщины завершили образование в Цюрихе. Одна из них, Мария Александровна Бокова, впоследствии стала женой Сеченова.

Бородин жил в эпоху перемен. Мало кто так хорошо это сформулировал, как он сам в знаменитом письме Стасову из старинной усадьбы Соколово:

«На стенах висят почерневшие портреты бывших владельцев усадьбы... Висят они, загаженные мухами, и глядят как-то хмуро, недовольно. Да и чем быть довольным-то? Вместо прежних «стриженных девок», всяких Палашек да Малашек — босоногих дворовых девчонок, корпящих за шитьем ненужных барских тряпок, — в тех же хоромах сидят теперь другие «стриженные девки», — в катковском смысле «стриженные», — сами барышни и тоже корпят, но не над тряпками, а над алгеброй, зубря к экзамену для получения степени «домашней наставницы» той самой «домашней наставницы», которую прежде даже не сажали за стол с собою. Да, *tempora mutantur*, времена переменчивы! И в храминах, составлявших гордость российского дворянского рода, — ютятся постояльцы, с позволения сказать, — профессора, разночинцы и даже еще хуже».

Александр Порфирьевич знал немало энтузиастов, горячо желавших жить своим трудом. В его биографиях редко упоминается имя Кашеваровой-Рудневой, а между тем они были ближайшими друзьями. Александр Порфирьевич пользовался безграничным доверием семьи Рудневых. После смерти в 1878 году Михаила Матвеевича он исполнял обязанности опекуна над его имуществом.

Овдовевшая Варвара Александровна благодаря обширной частной практике в материальном отношении крепко стояла на ногах. Рудневы даже держали собственный выезд, причем Варвара Александровна сама правила лошадьми. Неприятности поджидали совсем с другой стороны. Один из отвергнутых претендентов на руку и сердце вдовы, штабс-капитан артиллерии Иван Сергеевич Поликарпов, отомстил, напечатав в «Новом времени» пасквиль о ее личной жизни («Доктор Самохвалова-Самолюбова»), Варвара Александровна не стала сидеть сложа руки: подала в

суд и на автора, и на редакторов газеты. Приговор был вынесен только 27 января 1881 года. Для обидчиков дело кончилось непродолжительным тюремным заключением и штрафами. Для истицы процесс вылился в нравственное опустошение, ибо привлек к ней всеобщее внимание. Если в 1876–1877 годах в академии из-за ее нетипичных для женщины успехов и непростого характера были серьезные неприятности у Руднева, теперь буквально весь Петербург осуждал ее, многие знакомые предпочли отдалиться.

Весной 1881 года Кашеварова-Руднева, ни с кем не попрощавшись, тайно уехала в Харьков. Несмотря на предосторожности, газетчики все-таки выследили ее на вокзале и разнесли весть о ее новом замужестве. Молодожены положили ехать в Валуйский уезд тогдашней Воронежской губернии и там строиться. Место было глухое: «Достаточно сказать, что место, куда я добровольно отправилась, служило прежде местом ссылки», — написала Варвара Александровна Бородину. Поскольку строительство усадьбы происходило на ее деньги, она, как женщина практичная, предпочла купить рядом с владениями мужа, близ селца Александровка, 124 десятины отличной пахотной земли и строиться на своем участке. Но скрыться в степях не удалось, столичные газеты продолжали атаки. «Русский курьер» и «Новое время» припомнили, что в свое время она училась в Петербурге в качестве стипендиатки Оренбургского башкирского войска, однако в Оренбургском крае никогда не служила — значит, уклонялась? Когда-то Варвара Александровна уже отвечала на подобные обвинения, теперь пришлось снова писать опровержение, суть которого заключена в следующих строках: «Но видно, что недостаточно было желать и быть готовой служить за свою стипендию!!! На мои неоднократные предложения служить в Оренбургском крае я получила один ответ, что меня

некуда девать и что со мной не знают, что делать». Высочайшее повеление от 14 января 1871 года о допущении женщин на службу регламентировало деятельность фельдшериц и акушерок, но ничего не говорило о женщинах — докторках медицины.

Начался новый виток газетной полемики, растянувшийся на много лет. Доктор медицины жила на своем хуторе в 30 верстах от Валук и 120 — от Харькова, хозяйничала в усадьбе, писала книгу «Гигиена женского организма», завела аптеку, лечила окрестных жителей, составляла для крестьян бумаги. Находясь вдали даже от уездных городов, она не могла отслеживать, что поделявают журналисты. Напечатано ли ее опровержение? Что еще сочинили о ней, какие еще откопали поводы ее задеть? Сообщать об этом Варвара Александровна попросила Бородина. Тот остался едва ли не единственным из петербургских друзей, который никогда ее не предавал.

На эмансипированных дам с богатой биографией Александру Порфирьевичу везло. В 1866 или 1867 году порог лаборатории МХА переступила 23-летняя выпускница Смольного института Аделаида Николаевна Луканина (в девичестве Рыкачева, во втором браке Паевская, представленная Бородиным жене как «племянница мадам Рихтер, урожденная Альбини»). Около пяти лет она занималась под руководством Александра Порфирьевича и оказалась способной ученицей: «Журнал Русского химического общества» поместил ее сообщения «Окисление белка хамелеоном» (перманганатом калия) и «О действии хлористого сукцинила на бензоин», причем второе немедленно перепечатал «Бюллетень Парижского химического общества». В начале 1870 года Луканина провела две недели в Петропавловской крепости по делу кружка «Народная расправа» и благополучно вышла на свободу, но приключения ее продолжались. Из Старой Ладogi

приехал Митя Александров — между молодыми людьми произошла некая романтическая история. Что касается Александра Порфирьевича, он чуточку ревновал Аделаиду Николаевну к ее «мужу-тирану» — купцу 2-й гильдии Юлию Александровичу Луканину, владельцу книжного магазина на Большой Московской, издателю весьма интеллектуальной литературы. То ли брак был, по тогдашнему обычаю эмансипированных женщин, фиктивным, то ли Аделаида Николаевна быстро оставила мужа, по в 1871 году она отправилась за дипломом в Хельсинки. Впрочем, буквально через три дня вернулась с вестью, что женщины там имеют не больше прав, чем в Петербурге. В 1872-м она отбыла в Цюрих, где именовала себя на немецкий манер Адельгейдой. Языковых барьеров для нее, знавшей французский, немецкий, английский, итальянский, испанский и сербский, не существовало. В 1876 году Луканина I выучила степень доктора медицины в Филадельфии, а уже в следующем году объявилась в Париже, бросила науки (если не считать подработки в журнале «Здоровье») и посвятила себя литературе. Бородин, к которому Аделаида Николаевна всегда относилась тепло и даже с оттенком горячности, прислал ей рекомендательное письмо к Тургеневу.

Из всех писательниц, за которых Александру Порфирьевичу случалось хлопотать, Луканина оказалась самой способной. В ноябре 1877 года она в Париже по черновой рукописи прочла Тургеневу рассказ «Любушка (из ночных дум старой няни)». Тут же полетели от Ивана Сергеевича письма в Петербург, и побежал Бородин, у которого Аделаида Николаевна предусмотрительно оставила чистовик, к уже предупрежденному Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу. Он и сам был в восторге от литературных талантов своей протее. В марте 1878 года «Любушку» напечатал «Вестник Европы». Позднее в России вышли рассказы Луканиной для детей и

юношества, книга «Год в Америке. Из воспоминаний женщины-врача»; для биографической библиотеки Флорентия Федоровича Павленкова «Жизнь замечательных людей» она написала биографии Виктора Гюго и Вальтера Скотта. Но главным ее произведением оказались прекрасные воспоминания «Мое знакомство с И. С. Тургеневым». Фактически это дневник шестилетней дружбы, подробные записи каждой встречи в Париже и Буживале. На его страницах Тургенев подробно разбирает с Луканиной ее повести и рассказы «Березай», «Палата № 103», «Птичница», дает советы, как строить повествование, как вырабатывать стиль, как очищать язык от всего лишнего, и в качестве образца читает ей «Житие протопопа Аввакума». Луканина записала разговоры Ивана Сергеевича о литературе и живописи, жалобы на редакторов, изменяющих его тексты, поскольку публика покупает только журналы с понятной «тенденцией». Передала и сказанные Тургеневу Проспером Мериме слова: «Русское искусство через правду дойдет до красоты...» Она слышала, как Тургенев читает на литературных вечерах Пушкина и Салтыкова-Щедрина, а когда Полина Виардо пела «И сладко, и больно» Чайковского, Аделаида Николаевна видела его плачущим и шепчущим: «Замечательная старуха какая!» Умиравший Тургенев диктовал Луканиной письма русским адресатам. Именно ей он поручил перевести свой рассказ «Пожар на море», записанный Полиной Виардо под его диктовку по-французски. Ей же намеревался отдать для перевода рассказ «Конец» (после его смерти эту работу выполнил Дмитрий Васильевич Григорович).

Несмотря на все успехи, в Париже Аделаида Николаевна часто погружалась в глубокую тоску, и летели к Александру Порфирьевичу горькие жалобы: «Строчу повести, живу со дня на день. Научные знания улетучиваются помаленьку — цели впереди не вижу

никакой. В душе пусто, впереди темно и тоже пусто. Ничего-то из меня не вышло и не выйдет, а если бы вышло, то применения нет и быть не может... Дело в том, что ни в какую форму, ни под какую мерку я не подошла, ни к кому и ни к чему не пристала; ни во что не уверовала в частности и верю только в одно, в то, что истина когда-нибудь восторжествует».

Так продолжалось, пока она не вышла замуж за врача-психиатра, революционера-народника Николая Ивановича Паевского, еще в 1877 или 1878 году бежавшего за границу от «Процесса 193-х». Паевский тоже пробовал себя в литературе и пользовался поддержкой Тургенева. Вскоре пара смогла вернуться на родину, и в декабре 1885 года Аделаида Николаевна предстала пред критическим взглядом профессора: «Как ее разнесло! Потолстела и, разумеется, подурнела, но все же баба приятная очень и здоровенная, несмотря на все грехи и скверное житье». Когда через десять лет и второй брак распался, госпожа Паевская стала работать в психиатрических клиниках, устраивала в Петербурге мастерские с общежитиями для девушек — все это не порывая с литературой. Жаль, не написала она ни биографии Бородина для серии Павленкова, ни воспоминаний об учителе.

Четырехлетние курсы ученых акушеров поначалу открылись в качестве эксперимента. Сомнений хватало, судьбы таких «пионерок», как Кашеварова-Руднева (которой принадлежит автобиографический рассказ «Пионерка»), часто скрывали немало разбитых семей и сердец. Или вот, скажем, академик Зинин привык при встречах обнимать и целовать любимых учеников — а ну как на месте ученика окажется барышня? Все же прием был открыт, и в первый же год вместо семидесяти курсисток приняли восемьдесят девять.

В следующем году правительство с новой стороны озаботилось вопросами образования, вдруг обнаружив большую русскую и преимущественно женскую колонию в Швейцарии. Как выяснилось, пока ни в Париже, ни в Лондоне, ни тем более в Германии высшие учебные заведения не допускали женщин в свои стены, Цюрихский университет широко распахнул для них двери. В 1860-е годы в Цюрихе обосновалась не только давняя подруга Екатерины Сергеевны Леонида Владыкина (Визард), дочь выходцев из Швейцарии. К началу 1870-х девять из десяти тамошних студенток были из России!

«Правительственный вестник» строго указал «на разные непохвальные черты обстановки, в которой живут русские цюрихские студентки, на близкие их связи с нашими политическими эмигрантами, проживающими в Швейцарии, на распространение в их среде вредных нравственных и политических воззрений и, наконец, на положительную безнравственность некоторых сторон их жизни». Посему «правительство решилось положить конец такому положению вещей, приняв предупредительные меры, имеющие целью остановить увлечение молодых женских голов... Меры эти состоят в решении не допускать до занятий каких бы то ни было зависящих от правительства мест и дипломов тех из находящихся ныне в Цюрихе молодых девушек, которые не вернутся в Россию до 1 января 1874 года». Не вернулась Луканина, чья молодая голова в Швейцарии увлеклась анархизмом. Бородин сообщил об этом Екатерине Сергеевне, мягко говоря, недовольным тоном: «Связалась баба с каким-то господином, больным чахоточным либералом и ездила с ним в Италию... Черт знает что такое! Вздурились бабы совсем!» Он был так раздражен, что даже не подумал, о чем вспомнит его жена, прочтя о поездке в Италию с чахоточным больным... В результате въезд в Россию был для

Луканиной надолго закрыт, даже вопреки хлопотам Тургенева (что, однако, не мешало ей печататься в русских журналах). А Бородин с безопасного расстояния написал в далекую Филадельфию: «Я очень ценю каждое теплое слово от Вас, потому что пора Вам знать, что Вы составляете одну из моих слабостей».

В качестве компенсации запрета учебы в Цюрихе правительством предполагалось «во-первых, открыть при всех медицинских факультетах наших университетов курсы акушерского искусства для женщин, по образцу женских курсов, открытых при Императорской медико-хирургической академии, а во-вторых, учредить... высшие учебные заведения для женщин». Высшие женские курсы действительно стали появляться в русских городах, но в медицинской сфере благие намерения обернулись ничем — вся деятельность ограничилась «предупредительными», то есть запретительными мерами. Женщин-врачей по-прежнему готовили только при МХА. Зато на курсы стало поступать еще больше девушек, хорошо подготовленных и чувствующих настоящее призвание к профессии.

Среди самых ярких личностей первого выпуска была Анна Николаевна Шабанова. Совсем юная смоленская дворянка, едва сдав экзамены на аттестат зрелости при Московском университете, ринулась в пучину революционной деятельности в составе Ишутинского кружка (бывшего отделения «Земли и воли»). В 1865 году одни члены кружка готовили побег с каторги, другие (или те же самые?), среди которых была и семнадцатилетняя Шабанова, начитавшись «Что делать?», открывали в Москве женские мастерские и вели агитацию среди работниц. Поскольку к «ишутинцам» принадлежал Каракозов, после его покушения на Александра II две тысячи членов кружка оказались под следствием. Анна Николаевна полгода

провела в одиночке Петропавловской крепости и была выслана в родную губернию.

Вскоре интересы девушки заметно изменились. Она сделала безуспешную попытку поступить в Медико-хирургическую академию, а в 1870 году стала студенткой университета в Хельсинки и прилежно занялась изучением химии (хотя в следующем году тот же университет не прельстил другую экс-узницу Петропавловки — Луканину). В 1873-м Шабанова с готовностью оставила Хельсинки и присоединилась к ученым акушеркам, поступив сразу на второй курс. Тут-то и произошло знакомство с Бородиным, вылившееся в четырнадцатилетнюю дружбу. На первое время он даже приютил девушку у себя. Слушая лекции Карла Андреевича Раухфуса, Анна Николаевна поняла: ее призвание — педиатрия. Занималась она с таким усердием, что по окончании курсов ее оставили ассистенткой, затем ординатором при Николаевском военном госпитале. Революционное прошлое не помешало.

Бородин установил в лаборатории такой порядок, чтобы будущие ученые акушерки не встречались во время занятий со студентами мужского пола. Для начала он устроил особое женское отделение на девять мест (то есть для восемнадцати курсисток), потом «в виду большого числа занимающихся и крайне ревностного отношения их к делу» добавил еще шесть, так что одновременно у него могли работать до тридцати девушек. В 1873 году второкурсницы в форменных коричневых платьях с белоснежными воротничками и манжетами ежедневно с пяти до семи-восьми часов вечера занимались под его руководством качественным и количественным анализом. А дома (то есть за стенкой лаборатории) сидела и читала медицинские книги «тетушка», стриженная и в очках: «Как есть — передовая женщина!»

В июне 1873 года Бородин получил благодарность военного министра за успешное преподавание женщинам и в августе во время торжественного обеда на Съезде естествоиспытателей в Казани, разогретый вином, поднял эту тему: «...сказал горячую речь, провозгласив тост за процветание специального образования женщин. Поднялся гвалт, и мне сделали шумную овацию. Все это потом, говорят, разнеслось живо по Казани. (Когда я был в театре несколько дней спустя — одна из казанских дам... прислала мне сказать через Бутлерова, что она искренно меня уважает, горячо благодарит за сочувствие женскому делу и крепко жмет руку. Я, разумеется, сейчас отвечал, что мне это очень приятно и что я желаю быть представленным этой барыне. Оказалось — очень хорошенькая, живая и образованная дама из общества)».

В 1876 году состоялся первый выпуск «ученых акушеров». Эксперимент признали удачным, учебное заведение переименовали в Женские врачебные курсы при Николаевском военном госпитале, выделили государственную субсидию, срок обучения увеличили до пяти лет. В госпитале, таком знакомом Бородину, появились специальные помещения для курсисток, и он энергично занялся оборудованием новой лаборатории. Знакомиться с опытом этого уникального учреждения специально приезжали иностранцы. Должно быть, их удивляло, что в деликатном деле женского образования военное ведомство оказалось далеко впереди университетов (обстоятельство, впоследствии оказавшееся бомбой замедленного действия). Но вопреки новым веяниям Кашеварову-Рудневу, первую в России женщину — доктора медицины, все-таки не ввели в число преподавателей. Не удалось попасть в штат и Юлии Всеволодовне Лермонтовой, первой русской женщине — доктору химии. В 1874 году она блестяще защитила диссертацию в Гёттингенском

университете, а по возвращении в Петербург Менделеев устроил в ее честь торжественный «химический» обед. Бородин на обеде присутствовал, но помочь Лермонтовой с устройством на курсы не смог. От начала и до конца их существования он один читал там химию, за исключением ее физиологической части.

С приходом каждого нового потока учащихся нагрузка на курсах возрастала, а второй Луканиной всё не появлялось. Александр Порфирьевич обучал и выпускал женщин-врачей, но не женщин-химиков. В 1876 году революционерка Софья Севастьяновна Лаврова в красной мужской рубашке и с револьвером за поясом явилась к нему домой узнать насчет поступления на курсы, ужасно напугав Лизутку. Словом, студентки попадались разные, но Бородин никогда на них не жаловался. Курсы стали для него чуть ли не единственным «лучом света». Во всяком случае, так он представил это Кармалиной: «Множество хлопот, забот, нужной и ненужной возни, при относительно туго подвигающемся успехе дела, плохих финансовых делах кафедры и проч., далеко не располагают к хорошему настроению духа и оставляют очень мало досугов для любимых занятий. Домашние дела идут тоже не блестяще... Одно, что меня несколько хорошо настраивает, это — дела женских курсов, которые хотя и много отнимают у меня времени, но зато дают нравственное удовлетворение, совершенно отвечающее ожиданиям». Нужно сказать, Бородин вообще любил обучать женщин. Как до него Даргомыжский, он частенько брался учить музыке особ женского пола, мужчин же — никогда. Он был так увлечен воспитанием женских кадров, что, сочиняя для «Князя Игоря» сцену обморока Ярославны, вписал в ноты шутливую ремарку: «Бояре за нею ухаживают: сажают на княжеское место и пр. Суматоха; крики: Доктора! Лекаря! Фельдшера!

Аптекаря! Фельдшерицу! Акушерку! Сестру
милосердия!»

На похоронах Бородина женщины-врачи десяти выпусков несли венок с надписью «Основателю, охранителю, поборнику женских врачебных курсов, опоре и другу учащихся...». Действительно, при всех конфликтах, коих возникало множество, он брал ситуацию в свои руки. Никто не умел так увещевать и уговаривать, как он, прирожденный адвокат и дипломат. Екатерина Сергеевна называла мужа Солнцем, теща же незадолго до смерти говорила о зяте: «Не дождусь своего Златоуста... Ах, кабы поскорее Златоуст приехал!» Бесконечно терпеливый, он неизменно защищал курсисток, которые, может быть, не всегда того стоили. Иногда приходилось составлять такого рода рапорты: «В день экзамена по фармакологии у профессора П. П. Сушинского 17 или 18 Сентября, точно не помню, я был по своим делам в Николаевском Военном Госпитале и на входной лестнице встретил хорошо знакомую мне слушательницу Э. К. Гольдштейн, вместе с сестрою ее Валицкою, также слушательницею Курсов. Г. Гольдштейн поразила меня своим болезненным и расстроенным видом. Я спросил: что с *нею*? — Она отвечала мне, что сейчас только была на экзамене из фармакологии, что с нею сделался там нервный припадок, так что она едва могла отвечать на вопросы профессора Сушинского, и он, видя ее в таком состоянии, не стал более экзаменовывать ее, не выставил никакой отметки и велел прийти ей через несколько дней, когда она поправится здоровьем... Таких слушательниц оказалось очень много (около 15-20)». Очевидно, общее число испытанных на экзамене внезапный «нервический припадок» было более двадцати, поскольку «очень ограниченное меньшинство» их составляли семь второгодниц. Добрейший Александр Порфирьевич был на стороне

учащихся и при разборе конфликта с профессором физиологии Николаем Игнатьевичем Бакстом, когда курсы даже закрывали на один день.

В воспоминаниях Елены Буланиной (Протопоповой) рассказана совершенно апокрифическая история: «Бородин хлопотал о женских медицинских курсах, закрытых по царскому распоряжению уже при Александре III. Бородин, бывши профессором химии на женских курсах, добился аудиенции у царицы и просил ее распоряжения открыть курсы. Но она ответила на эту просьбу отказом, говоря, что женские курсы отнимают у страны жен и матерей, приносят только вред семье и стране. Но Бородин, все-таки, добился открытия курсов». 78-летняя писательница создала нечто почти фольклорное. Но если бы такая аудиенция имела место, Александр Порфирьевич с его-то обаянием, конечно, сумел бы уговорить царицу.

Курсисток нужно было не только обучать. Иные болели, сходили с ума, многим не на что было жить в столице, но лишь некоторые получали стипендии от земств. 29 февраля 1876 года Комитет Общества для пособия лицам женского пола, обучающимся на курсах ученых акушеров при Медико-хирургической академии и на Педагогических курсах, избрал Бородина в свои члены и официально назначил казначеем. Длинное название Общества недаромстораживает. Во главе его стоял тайный советник Виктор Антонович Арцимович, бывший губернатор двух губерний, активный деятель реформ 1860-х годов, позднее — член Главной дирекции Русского музыкального общества. Арцимович имел вкус к канцелярской службе. Плохо читаемым почерком дослужившегося до высоких чинов человека он писал Бородину одну записку за другой, приглашая на воскресные заседания, разнообразные общие, частные и предварительные совещания. Тайный советник знал порядок и умел сделать так, чтобы

подчиненные — пусть и по линии добровольного общества — чувствовали себя в ежовых рукавицах. Александру Порфирьевичу следовало первым делом ознакомиться с уставом Общества и финансовым отчетом за 1875 год, а также (в качестве образца) с документами Литературного фонда. Требовалось учитывать поступавшие суммы, направлять установленные доли в действительный либо в нейтрализованный капитал, ежемесячно публиковать отчет о положении Общества... Благотворительность обернулась еще одной «службой».

Ой, честь ли то молодцу лён прясти?
А и хвала ли боярину кичку носить?..
Гусляру-певуну во приказе сидеть,
Во приказе сидеть, потолок коптить?
Ой, коня б ему, гусли б звонкие!
Ой, в луга б ему, во зеленый бор —

эти стихи Алексея Константиновича Толстого в 1877 году положил на музыку Мусоргский, но к ситуации Бородин они подходили еще больше.

«Должность казначея выполнялась им не официально, но это был живой источник утешений и помощи нуждавшимся в них. Времени, при всем его недостатке, Бородин никогда не жалел для самого точного выполнения обязанностей по комитету этого общества», — вспоминал Доброславин. А ведь в те же самые годы Бородин был также активным участником Общества для вспомоществования нуждающимся студентам Медико-хирургической академии. Он же стал заведовать семейной столовой слушательниц Женских врачебных курсов и в январе 1881 года, параллельно с утрясанием программы по физиологии, составлял Правила для столовой. Разве что во Вспомогательной

кассе музыкальных художников, учрежденной в 1877 году при Петербургском отделении РМО, не состоял. Зная о безотказности Бородина, к нему зывали слушательницы самых разных курсов, например Фельдшерских при Калининской больнице. Помогал он и неофициальным образом. Александра Николаевна Молаас вспоминала: «Когда из провинции приезжали желающие поступить на курсы, то, пока они не находили себе помещения, он их устраивал у себя на квартире, а сам уходил спать в лабораторию». Екатерины Сергеевны в это время года в Петербурге обычно не было.

«Казначейство» Бородина явилось следствием его общения со Стасовыми и их знакомыми. Доходило до смешного: Владимир Васильевич, метавший громаы и молнии по поводу отсутствия новых музыкальных сочинений «алхимика», как-то отправил к нему его же собственного выпускника лекаря Евгения Ивановича Аничкова с запиской: «У него есть большая просьба до Вас, и я не сомневаюсь, что Вы, как вечный благодетель студентов, поможете и этому, если Вам возможно будет». Не позднее 1874 года через Стасовых началось его сотрудничество с известной благотворительницей Анной Павловной Философовой (урожденной Дягилевой), в разные годы участвовавшей в учреждении Общества доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга, Общества для доставления средств Высшим женским курсам, Русского взаимно-благотворительного общества. Большую роль в этой деятельности играли Дмитрий Стасов, сменивший Арцимовича на посту председателя Комитета Общества для пособия лицам женского пола, и его супруга. Их дочь Варвара вспоминала:

«По большей части вместо того, чтобы написать письмо или записочку, Бородин сам заходил к нашим по какому-нибудь спешному делу, относящемуся до курсисток, обыкновенно до обеда, «на минутку». Но

минутки эти растягивались в часы, Бородин оставался обедать, после обеда усаживался за рояль или продолжал сидеть в кабинете отца, оживленно что-нибудь рассказывая, и часто лишь часов в 10 вечера вдруг восклицал:

— Ах, что я наделал! Ведь мне в 6 часов непременно надо было быть у того-то или там-то. Ну уж, теперь все равно, можно еще посидеть, — и сидел часов до 11-12.

Иногда, сидя за вечерним чаем, он по рассеянности среди рассказов и шуток подвигал к себе блюдо с бутербродами и, не замечая, кушал их один за другим, пока вдруг тоже не восклицал:

— Посмотрите, что я наделал! Я все бутерброды съел, а ведь мне совсем не хотелось. Как это случилось — не знаю. Ну уж, все равно, съем и последний».

Ровно то же самое он проделывал в детстве, как рассказывала с его слов (или со слов «тетушки») Екатерина Сергеевна:

«Ему можно было доверить все, кроме лакомств. Он знал ящик, где они обыкновенно хранились. И вот иной раз подходит он к ящику и рассуждает:

— Сегодня будут гости, это для них сласти приготовлены. Но ведь как тут всего много; гостям хватит, если я и возьму себе немножечко.

Саша брал из ящика несколько конфет. Они быстро исчезали, и Сашу снова тянуло к ящику, и около него вновь строились рассуждения о гостях и о том, что еще много им осталось на долю. Не раз случалось, что после ряда таких визитов к ящику Саше в конце концов приходилось видеть там уже так мало, что, конечно, не стоило такую малость оставлять гостям, — и последнее забиралось».

Римский-Корсаков именно в общественной деятельности Бородина видел главную помеху музыке:

«Не наука отвлекала его... Мне всегда казалось странным, что некоторые дамы из стасовского общества

и круга, по-видимому, восхищавшиеся композиторским талантом Бородина, нещадно тянули его во всякие свои благотворительные комитеты и запрягали в должность казначея и т. п., отнимая у него время, которое могло бы пойти на создание чудесных художественно-музыкальных произведений; а между тем благодаря благотворительской сутолоке оно разменивалось у него на мелочные занятия, выполнить которые мог бы и не такой человек, как Бородин. Сверх того, зная его доброту и податливость, медицинские студенты и всякая учащаяся молодежь прекрасного пола осаждали его всевозможными ходатайствами и просьбами, которые он самоотверженно старался удовлетворить. Его неудобная, похожая на проходной коридор квартира не позволяла ему запереться, сказать не дома и не принимать. Всякий входил к нему в какое угодно время, отрывая его от обеда или чая, и милейший Бородин вставал не доевши и не допивши, выслушивал всякие просьбы и жалобы, обещая хлопотать».

А вот Владимир Стасов, по-видимому, не сетовал, что Александр Порфирьевич часто проводит вечера у его брата за разговорами о помощи курсисткам, что благотворительность отвлекает его от общения с музами. В каком-то смысле она действительно не отвлекала, а способствовала. Не позднее 9 марта 1875 года Бородин провел первый концерт в пользу курсов. 26 января 1876 года квартиру Бородина впервые посетил Сергей Иванович Танеев — а на другой день уже играл на благотворительном вечере в пользу студентов. 2 декабря того же года на подобном же вечере выступил Мусоргский. Засим последовал целый ряд концертов, спектаклей, благотворительных балов, «живых картин» на темы из студенческой жизни. Александр Порфирьевич занимался буквально всем — от приглашения артистов до распространения билетов. Эта деятельность способствовала новым контактам в среде

музыкантов и художников. Распространению его собственных сочинений она, правда, не помогала, но удовольствие Бородину доставляла огромное. После залов, заполненных на концертах БМШ едва ли на треть, он видел те же залы, до отказа набитые слушателями, дирижировал одним из своих хоров или оркестром перед обожавшей его аудиторией, а потом далеко за полночь танцевал среди молодежи в давке и тесноте — да не в обиде.

В прессе регулярно появлялись выпады против идеи высшего образования для женщин вообще и против Женских врачебных курсов в частности. Бородин обычно не вступал в полемику, но однажды не смог промолчать. 2 января 1877 года воскресная политическая и литературная газета «Неделя» угостила семь с половиной тысяч своих подписчиков материалом «Студентки-медики (очерки с натуры)». Кто был автором сего творения, неизвестно — в «Неделе» хранили глухую анонимность, не раскрывая инкогнито пишущих и их «источников». Газета была вполне либеральная и вроде бы сочувствующая делу женского образования, но важнее для редакции все-таки была не тема, а возможность придать материалу оттенок скандальности. Скажем, в большой серии очерков «Из семейных отношений» рассказывалось исключительно об убийствах родственников.

В данном случае среди преподавателей Женских курсов мишенью был избран добродушный Бородин. Для начала, говоря о бедности курсисток, аноним бросил камень в огород Общества для пособия, коего Александр Порфирьевич являлся казначеем: «Общественная помощь для студенток крайне плохо организована». Правда, ниже говорилось о курсистках, регулярно получающих пособие от Общества, но разве настоящий журналист обращает внимание на такие нестыковки?

Далее потянулось повествование о занятии хирургией у некоего профессора, «широкоплечего, сутуловатого, с добродушной физиономией господина», прерываемое вставными эпизодами и водянистыми размышлениями. Эпизод, возмущивший Бородина, начался с рассуждения «за здравие»: «Какая резкая разница между студентками и студентами в посещении занятий и самих занятий! Студент не придает особенно большого значения лекциям профессора: «прочту и без него!» — небрежно говорит он, дорожа практическими занятиями больше, чем словом профессора... Студентки же в течение всего года посещают курсы, не пропуская ни одной лекции. Практические занятия не только идут наравне с занятиями студентов, и даже гораздо успешнее, потому что студентки придают гораздо более веры слову профессора, чем студенты; это можно видеть даже из частоты посещения лекций: мне не раз приходилось видеть крайне огорченные физиономии, опечаленные тем, что лекция почему-нибудь пропущена».

Трудно сказать, что заставляло неизвестного автора так немилосердно повторяться — стремление внедрить идеи в сознание читателя, неумение четко излагать мысли или желание увеличить свой гонорар. Из того очевидного факта, что девушки, как правило, старательнее юношей, анонимный автор «Недели» сделал весьма специфический вывод: «Тут играет роль не боязнь получить выговор, который иногда инспекторша курсов позволяет себе делать, хотя только в форме вопроса, а просто боязнь утратить ту массу фактов, которая была сообщена на лекции. Для студента дело легкое — «отзудить» по источникам лекцию; если не сам их разыщет, то товарищи, привыкшие к этому, укажут. Для студенток дело это непривычное, с серьезной литературой оне никогда не обращались, систематическое занятие наукой для них дело еще

новое, потеря двух-трех лекций делает у них целый сумбур в голове, приходится еще усидчивее заниматься».

Спекуляции неплохо бы подкреплять конкретными примерами, что журналист и попытался проделать:

«Относительно практических занятий я приведу крайне характерный случай, рассказанный мне очевидцем. Профессору химии пришлось как-то заглянуть часу в первом ночи в лабораторию. В освещенном углу, среди склянок, работала студентка, кипятя какое-то вонючее снадобье; толстый том химии Менделеева и тощий томик Меншуткина, оба изъеденные серной кислотой, постоянно тормозились ею; на клочке бумаги выводила она формулы. «Что вы тут так поздно делаете?» — ласково спросил профессор. «Я чувствую себя слабее подруг и потому мне позже всех приходится сидеть», — ответила та. «Что же вас тут затрудняет, над чем вы так хлопочете теперь?» — «Да вот хочу по вашему способу добыть салициловую кислоту, а между тем у Менделеева вовсе не так сказано, а у Меншуткина и вовсе не говорится». Студент давно бы плюнул на способ профессора, если бы он у него не удавался; для него важен не метод, а самый факт, он бы успокоился, добыв салициловую кислоту хотя бы по способу Менделеева, лишь бы вышла кислота, — а для нее важно сделать именно так, как сказал профессор. Вообще, я мог бы привести массу случаев, где так и проглядывает раболепство перед авторитетом, боязнь выйти из круга указаний учителя. Что Голубев, например, сказал, то и свято, и никакими логическими аргументами ее не разубедишь. Голубев посоветовал смотреть в микроскоп не прищуривая глаза — теперь ничем не докажешь, что так смотреть неудобно, глаз развлекается посторонними предметами; ничего не поделаешь — так Голубев сказал! И таким запелляционным авторитетом выступают у студенток

почти все профессора. Есть, правда, и такие, которые профессора в грош не ставят, но их наберется не более двух-трех».

Завершала очерк интригующая фраза: «Окончание следует».

Если журналисту требовался для примера профессор, пользующийся безоговорочным уважением и любовью курсисток, то Бородин подходил идеально. Фамилии действительного статского советника «Неделя», правда, приводить не стала, но недвусмысленно указала на Александра Порфирьевича, упомянув его лаборанта Порфирия Григорьевича Голубева.

Прошло почти дней десять, прежде чем кто-то показал сей опус Бородину. 12 января тот написал и сразу же отправил письмо редактору «Недели». 16 января в третьем номере газеты появилось продолжение «Студенток-медиков», в котором автор провел своих героинь через все круги больничных ужасов, заставил их наблюдать агонию застрелившегося молодого человека и завершил очерк красочным описанием «анатомического института», причем анатом получил удивительную характеристику: «Профессор, заведующий занятиями студенток, — человек вообще крайне изящный, он даже своих слушательниц поделил, неизвестно на каком основании, на шипы и розы...»

В конце редакция поместила объявление: «По поводу первой главы настоящего очерка мы получили от профессора Бородина несколько поправок. Отлагаем их до следующего номера, отчасти вследствие позднего получения письма г. Бородина, отчасти из желания навести предварительно некоторые необходимые справки». Отложив публикацию «поправок» до 23 января, редакция убила сразу трех зайцев: спокойно напечатала вторую главу «Студенток-медиков», подогрела интерес читателей к следующему номеру

газеты и как нарочно подгадала к исполнению 25 января в концерте БМШ Первой симфонии Бородина.

Бородин умел не только защищать, но и защищаться. Он вдребезги разбил журналистские бредни, ничего не упустив:

«В статье «Студентки-медики» («Неделя» № 1) приводится «со слов очевидца» один, по мнению автора, крайне «характерный случай», обрисовывающий отношения студенток к своим профессорам. В рассказе — описан целый разговор, происходивший в лаборатории между профессором химии (т. е. мною, ибо другого на курсах никогда не было) и студенткою... Рассказ — вымышленный и сам по себе нелепый — не требовал бы опровержения, если бы автор не связал его, неожиданным образом, с общими выводами, крайне нелестными для студенток и совершенно не верными... Считаю обязанностью заявить, что во всем этом «случае» нет ни одного слова правды: 1) Никогда у меня подобного разговора со студентками не было; 2) Никогда ни одна студентка не добывала в лаборатории салициловой кислоты, так как приготовление органических кислот вовсе не входит в круг занятий студенток; 3) Никогда для приготовления салициловой кислоты не приходится «кипятить» никаких «вонючих снадобий»; 4) Никогда в науке не существовало способа приготовления этой кислоты, принадлежащего Менделееву или мне; 5) Никогда не бывало, да и не может быть такой тупоумной и невежественной студентки, которая бы, *добывая органическую кислоту*, обратилась за справкою о способе добывания к учебнику *аналитической* (!) химии (т. е. к руководству Меншуткина), вместо органической. 6) Наконец, кто такой мог быть «очевидцем» «случая», да еще в первом часу ночи, когда — как следует из рассказа — кроме меня и студентки никого не было? Да если бы и был кто-нибудь, то разве работающие, студентки же, ассистент

мой или служитель (посторонние в лабораторию не допускаются). А ни одно из этих лиц никогда не сочинит подобной нелепости, за что я могу поручиться. «Случай» этот действительно «крайне характерный», но совсем в другом смысле — он показывает, как далеко может доходить бесцеремонность в обращении с печатным словом и злоупотребление доверием редакции, давно заслужившей общее уважение своим сочувствием к учащейся молодежи.

Если верить автору, что у него есть еще целая «масса случаев» и что он «мог бы привести» их все (в чем я не сомневаюсь), то заявление мое является необходимым, для предупреждения появления их в печати.

Что касается до вывода автора, что «студентки с серьезной (?) литературой никогда не обращались...», то это — неправда. Все они перед поступлением должны были *систематически* пройти гимназический курс и пройти *хорошо* (других не принимают на врачебные курсы); огромное число их систематически прошли педагогические курсы или другие какие-нибудь, выше гимназического; между ними немало лиц многосторонне и солидно образованных, долго и много учившихся и дома, и за границею, занимавшихся серьезно педагогическою деятельностью; есть и такие, которые успели уже сами внести свой вклад в серьезную ученую литературу... В особенности же мне хорошо известна прекрасная подготовка студенток по математическим предметам, так как я ни разу не встретил студентки, которая бы при химических занятиях затруднялась уравнениями, формулами или вычислениями, как бы сложны и новы для нее они ни были. На основании всего этого я не могу допустить, чтобы «потеря двух-трех лекций делала у них целый сумбур в голове».

Что же касается до вывода, что «для студента дело легкое отзудить (?) по источникам лекцию, для

студенток же это дело непривычное», — то я убежден, что оно одинаково непривычное и для тех и для других, потому что по «источникам» можно только заниматься чем-нибудь специально, а не «отзудить лекцию».

Редакция, «давно заслужившая общее уважение», славилась боевитостью, часто судилась из-за материалов, то выигрывая, то закрываясь по приговору на три месяца. Она не могла не огрызнуться на опровержение, лишь бы последнее слово осталось за ней. Сделала она это в послесловии, написанном в стиле «а что такого?». Скандальности ситуации (студентка в первом часу ночи одна в лаборатории) редакция упорно не замечала:

«Мы очень рады, что напечатанный у нас очерк дал случай почтенному профессору сказать такое горячее слово в пользу своих слушательниц. Но нас несколько удивляет общий тон письма г. Бородин. Судя по этому тону, можно подумать, что мы напечатали ни более ни менее как обвинительный акт против студенток. Между тем ничего подобного в очерке не было, и уж если кто-нибудь мог обидеться, то скорее студенты, чем студентки. Положим, случай с г. Бородиным, описанный в очерке, в действительности не существовал; но он вероятно был с другим профессором — по крайней мере мы слышали о нем и из других источников; наконец, пусть он даже и вполне вымышлен, что же в нем обидного? Неужели указание на усердие студенток, засиживающихся в лаборатории до поздней ночи? Правда, в описание этого случая проскользнуло неловкое слово: «раболепство». Но мы охотно берем его назад и позволим себе уверить почтенного профессора, что это было не более, как неудачное выражение мысли о непривычке студенток к самостоятельному труду, — мысли, может быть, неверной для некоторых, но для многих, конечно, вполне справедливой, хотя опять-таки нисколько не обидной, потому что она не по своей вине

были лишены возможности подготовиться к академии тем путем, каким готовятся студенты. — После этих объяснений, надеемся, нам нет надобности распространяться насчет салициловой кислоты, хотя при помощи собранных нами справок мы и могли бы указать на несколько излишнюю придирчивость почтенного профессора».

Девушки оканчивали курсы — и снова требовалось участие Александра Порфирьевича. Одним он помогал с поиском работы, другие отчаянно зывали о моральной поддержке, ибо первые впечатления на новом месте часто обескураживали. Первое письмо профессору от врача Марьи Ивановны Покровской из Опочки Псковской губернии — вопль отчаяния:

«Вот, Александр Порфириович, я и общественный деятель. Сижу я теперь да горькую думу думаю: неужели такова эта деятельность, которую я себе некогда представляла верхом совершенства?.. Представьте себе мой сегодняшний день. Пришлось принимать больных, было человек 60. Как Вы думаете, можно тут задуматься, остановиться на чем-нибудь? Приходится исследовать больных очень поверхностно, прописать подходящее. Голова пошла кругом, и теперь сижу, как одурелая... Жаль у нас в больнице платные места, так что крестьянам мудрено туда попасть, 9 р. в месяц ему негде взять, а бесплатно принимают только сифилитиков да черкесов. По-моему, это очень несправедливо. Крестьяне содержат больницу, врача больничного и притом должны платить, если хотят туда попасть. Больница существует только для виду и для ссыльных черкесов... Относительно моего сотоварища — Шульц я могу сказать, что она производит на меня впечатление человека, который свое дело сделает, пожалуй и честно, но безо всякого увлечения, удовольствия, сделает как долг, но безо всякой любви. А мне кажется, что если человек хочет идти вперед в

каком-нибудь деле, он должен любить это дело, увлекаться им, иначе он застынет на месте, на одной точке... И зачем только я сюда приехала?»

По-видимому, Александр Порфирьевич нашел для своей ученицы нужные слова. Вскоре она в Опочке обжилась, осмотрелась, на часть вопросов появились ответы. Оказывается, в 1860-е годы, когда земская больница только открывалась, бичом уезда был сифилис, из-за которого признавали негодными около половины рекрутов, и только к началу 1880-х годов усилиями врачей удалось переломить ситуацию. Доктор А. И. Шульц, сперва «не показавшаяся» Марье Ивановне, в том самом 1882 году представила собранную по приходским книгам статистику рождений и смертей и выявила волости, в которых смертность оказалась ужасающей. Земство немедленно приступило к санитарным мерам.

Приходилось Бородину печься и о подготовке будущих студенток. 5 октября 1882 года он получил извещение о том, что 2 ноября 1881 года утвержден членом Попечительского совета женской гимназии Стоюниной. Мария Николаевна Стоюнина с юности мечтала о высшем образовании, но ее супруг Владимир Яковлевич — выдающийся педагог, в 1871–1875 годах инспектор Николаевского сиротского института в Москве — воспротивился решительно и едко. Мария Николаевна занялась самообразованием, посещала Педагогический музей в Соляном городке, где Бородин изредка читал лекции. Когда она решила открыть в Петербурге частную женскую гимназию, муж ее поддержал, а напутствовал на новое дело Достоевский (они дружили семьями).

Занятия начались 25 октября 1881 года совсем в семейной обстановке: Мария Николаевна — начальница, Владимир Яковлевич — инспектор, одна из всего семи учениц — их старшая дочь, на хозяйстве — мать Марии

Николаевны. Через месяц открыли также детский сад. Среди отцов-основателей гимназии был выпускник МХА, специалист по нормальной анатомии Петр Францевич Лесгафт. Благодаря ему большое значение изначально придавалось физическому воспитанию девочек, развитию в них воли и самостоятельности. Гимнастику попеременно вели Лесгафт и женщина-врач, выпускница Бородина Анна Адамовна Красуская. Среди знакомых Бородину учителей был Григорий Алексеевич Маренич, впоследствии преподаватель сольфеджио Петербургской консерватории, с 1883 года — профессор.

Год спустя Министерство народного просвещения спохватилось, что в новой гимназии нет Попечительского совета. Пришлось сделать вид, будто совет уже год как работает. На первых порах в него вошли трое: Лесгафт, Бородин и Доброславин. Александру Порфирьевичу сразу же нашлось дело. Конфликтный, деспотичный Лесгафт мог раздуть скандал из того, что кто-то не вовремя вошел в класс или графин с водой стоит не на месте. В 1886 году это привело к окончательному разрыву со Стоюниными, а до той поры Бородину удавалось всякий раз примирять стороны на благо гимназии — на благо женского образования.

Глава 18

ВОЗВРАЩЕНИЕ К «КНЯЗЮ ИГОРЮ»

Новый, 1873 год Бородин встретил в отменном состоянии духа. Грипп помешал ему побывать на дне рождения Стасова, но настроения не испортил. Именинник получил записку, рисовавшую физическое состояние Александра Порфирьевича в стихах:

Потек — и ослабел;
Напрягся — и упал.

Бородин процитировал творение некоего Т. Пилянкевича «Я беден», в 1858 году напечатанное в журнале «Атеней»:

О, как неверно я расчислил,
Как безрассудно проиграл
Свой бедный, тощий капитал:
Не взвеса божиих даров,
Не разгадав предназначенья,
Я в путь потек на первый льстивый зов,
Не думая о камнях преткновенья.
Потек — и ослабел, напрягся — изнемог,
На изнемогшего посыпались удары —
И только милосердый бог
Не дал еще допить мне чаши смертной кары.

Некогда вдохновленный этими строками Николай Александрович Добролюбов объявил о «новом роде поэзии — атенейном» и предрек: «Стих «Потек — и ослабел, напрягся — изнемог» не умрет в истории

русской литературы». Благодаря Бородину точно не умрет.

Год оказался для Александра Порфирьевича исключительно плодотворным. Весной химик Федор Федорович (Фридрих Конрад) Бейлыптейн, перечисляя в письме Эрленмейеру, в чьей гейдельбергской лаборатории Александр Порфирьевич когда-то работал, над чем нынче трудятся русские ученые Марковников, Бутлеров, Менделеев, Лисенко, написал: «Бородин пишет симфонии», — и был прав лишь наполовину. На редкость продуктивно шли занятия в лаборатории, причем исследования велись в различных областях: Бородин экспериментировал с сукцинилдибензоином, подготовил сообщения «Гидрамыды и измерение с ними щелочи» и «О действии аммиака на куминол» и продолжал работу с валериановым альдегидом. 23 сентября 1873 года Бейлыптейн смог сообщить Эрленмейеру: «Бородин все еще конденсирует валерал». Вскоре, однако, валеральдегид был оставлен.

Балакиревский кружок продолжал функционировать без Балакирева, зато с горячим участием Стасова. За постановкой в Мариинском театре «Псковитянки» последовало исполнение трех сцен из «Бориса Годунова», прошедшее с огромным успехом. Было ясно, что и постановка оперы не за горами. Не теряя времени в ожидании, друзья устраивали спектакли другого жанра: 18 февраля 1873 года Бородин наслаждался комедией «Домашний доктор» в исполнении многочисленных Моласов, Пургольдов и Римских-Корсаковых.

Римский-Корсаков еще летом 1872 года женился на Надежде Пургольд. Наверное, ни у кого из композиторов, кроме Баха и Шумана, не было настолько идеальной жены, понимавшей мужа, помогавшей ему во всем и не ведавшей праздности. Надежда Николаевна успела поучиться в Петербургской консерватории и была

весьма сильна в теории и практике музыкальной композиции. Бородин прямо-таки восторгался ее способностями: «А какова Надежда Пургольд? Вообрази, Корсинька наиграл ей антракт из «Псковитянки»; она на память написала его, да не на фортепьяно, а прямо на оркестр — со всеми тонкостями гармоническими и контрапунктическими, несмотря на сложность, оригинальность и трудность голосоведения. Молодец барыня! Ей-богу — молодец!» За несколько дней до венчания невеста закончила музыкальную картину «Заколдованное место» (по повести Гоголя), в марте следующего года сочинила скерцо для фортепиано в четыре руки... И на этом завершила свою композиторскую деятельность.

По окончании весеннего семестра Бородины отправились в Москву и остановились в Преображенской больнице. Алексей Протопопов устроился туда надзирать за хозяйством психиатрической клиники вопреки предостережениям Александра Порфирьевича («Алексея, по моему мнению, ни в каком случае не следует допускать до места в доме умалишенных! Это просто гибель ему»). Из больницы переехали на дачу. Племяннице Елене исполнилось шесть, и то лето накрепко запечатлелось в ее памяти: «Мои родители, вместе с Бородинами, поселились в мае на даче в Сокольниках. На дачу переехал и рояль. Я просыпалась рано утром и выходила на воздух. Бородин тоже вставал рано, брал себе на завтрак ягоды или фрукты, делил их со мной, и мы шли с ним в рощу, полную ранней утренней свежести. Так мне было хорошо. Трава и цветы сверкали росой. Щебетали и пели птицы. Бородин рассказывал мне о происхождении земли, о растениях, о всем животном мире, давая мне обо всем правильные реальные понятия натуралиста, говоря со мной живым, понятным для меня языком. В промежутках своей речи он напевал вполголоса отрывки из своих музыкальных

произведений. Однажды, во время прогулки нашей, мы увидели птенчика, упавшего в траву из гнезда. Бородин поднял птенчика, посадил его в свою соломенную шляпу, принес домой, а потом кормил, поил его с гусяного перышка и выпустил туда, где он его поднял, когда птеник подрос и стал летать». Разумеется, девочка не знала, что 3 июля Александр Порфирьевич закончил и отправил в редакцию «Бюллетеня Немецкого химического общества» работу «О новых производных валеральдегида». Только играть на рояле по утрам было нельзя: Протопоповы вставали поздно.

Сокольники, скорее всего, были выбраны из-за близости к Николаевскому вокзалу — Бородин чувствовал, что его в любой момент могут вызвать в Петербург. И действительно, 15 июля от Катерины Егоровны пришла телеграмма: с Авдотьей Константиновной случился апоплексический удар. 23 июля она умерла на руках у старших сыновей (младший служил в Вильно судебным приставом при Палате уголовного и гражданского суда). Александр Порфирьевич в последние дни был при матери почти безотлучно. Лишь однажды ненадолго съездил к Римским-Корсаковым: Бессель просил скорее передать ему переложение Первой симфонии для фортепиано в четыре руки, которое находилось у Надежды Николаевны, помогавшей готовить его к печати. Поскольку она была в плохих отношениях с Балакиревым, издание вышло без упоминания ее имени — дабы не травмировать ранимую душу Милия Алексеевича.

Похоронили «тетушку» на Охтинском кладбище. 28 июля состоялся раздел оставшегося после нее капитала. Собственно, делить было нечего, Авдотья Константиновна еще весной 1871 года завещала все свое имущество в полную собственность старшего сына. Для такого человека, как Александр Порфирьевич, само

собой разумелось, что отныне он с удвоенной силой должен заботиться о младших братьях.

Составляя черновик прошения в Окружной суд, Бородин написал: «Имею честь просить Окружной суд об утверждении меня в правах наследства по духовному завещанию, оставленного мне моей...» — и начал записывать слово «матерью». Всю жизнь он звал Авдотью Константиновну «тетушкой», прекрасно зная, что она его мать, — и вот вырвалось. В чистовике, разумеется, появилась «вдова Клейнеке».

Похоронив мать, Бородин вернулся в Москву к хворавшей и тосковавшей Екатерине Сергеевне. А уже через несколько дней отбыл поездом в Нижний Новгород, погулял по ярмарке, сел на пароход и отправился в Казань на Четвертый съезд русских естествоиспытателей, питаюсь в дороге баснословно дешевыми икрой и стерлядками. Пароход общества «Кавказ и Меркурий», которым он должен был плыть, сломался, и Бородин поплыл на «Шурине». Внешне ничто не выдавало его переживаний, только он почему-то решил, что съезд начнется не 20-го, а 10 августа, и удивлялся, не видя на пароходе коллег... Когда дело разъяснилось, Александр Порфирьевич решил не ждать десять дней в Казани, перебрался с «Шурина» на пароход «Горчаков» и отправился дальше по Волге — к своему шурину Сергею Сергеевичу Протопопову.

Артиллерийский офицер, участник Крымской войны, Сергей единственный в семье был свободен от «протопоповизма» и не склонен к жалобам. Оставив армию, он поселился в Самаре и устроился в акцизное ведомство. Когда в 1882 году его внезапно сняли с винных акцизов и перевели в Тимашево на сахарный завод Монтгомери Уокера, он для начала досконально изучил технологию производства рафинада. Сознывая, что здесь «наука гораздо обширнее применяется, чем в военном деле», Сергей раздобыл книги по физике и

химии и давай их штудировать: «Говорят, что русский человек способен на все руки и может сделать все! Поневоле будешь способен, как совершенно неожиданно бухнут тебе сахарный завод, об котором совсем не думаете... Знакомлюсь подробно с устройством и употреблением сахаролизов и креометров, действием машин, насосов, диффузоров... Времени свободного пропасть, а интерес возбуждается все сильнее, лишь бы было спокойствие духа, а друзьям, если только они рыли для меня яму, думая, что я окажусь в новом деле несостоятелен совсем, придется разочароваться».

Бородин был с Сергеем Сергеевичем в хороших отношениях, постоянно с ним переписывался. В августе 1873 года тот собирался ненадолго приехать в Казань, чтобы повидаться с Александром Порфирьевичем, а вышло, что они целую неделю провели вместе в Самаре. Поездка эта вернула Бородину душевное равновесие. Сергей недавно женился, и его зять обрел окружение, которым больше всего дорожил, — круг любящей семьи: «У них царствует такая светлая атмосфера, такая внутренняя гармония, какую редко мне случалось встречать в семьях. При крайней простоте, скажу более, некоторой бедности обстановки у них дышится ужасно легко. Эта трезвость и в то же время теплота, которою наделены и он, и она, ужасно приятно действуют на окружающее. Мне не хотелось даже уходить у них из дому». Нечего и говорить, что Софья Осиповна Протопопова очень любила музыку и часто играла на фортепиано то одна, то в четыре руки с мужем.

В Самаре Бородин осмотрел кумысные заведения и отдал кумысу должное (судя по его отменному самочувствию в Казани после «геморроидальных припадков» в Москве, это пошло на пользу). Одной его просьбы Сергей не исполнил — не свозил в степь, чего Александр Порфирьевич очень желал. У этого желания могла быть только одна очевидная причина: летом 1873

года Бородин уже думал о возвращении к «Князю Игорю».

А пока надо было возвращаться в Казань. Делегатов съезда приняли профессора Казанского университета. Бородин поселился у Александра Михайловича Зайцева в одной комнате с Менделеевым. Будто вернулись времена совместного житья в Гейдельберге — с той разницей, что дома у Зайцевых имелись два рояля и звучали Лист да Шуман. Екатерина Сергеевна предполагала, что ее муж побудет на Волге пару дней и вернется, и он ее заранее не разуверял. Но программа оказалась такова, что с утра 20-го до вечера 30 августа свободного времени хватило только на два письма в Москву. То был звездный час Бородина: его сразу же избрали в Распорядительный комитет, он председательствовал на втором из трех заседаний химической секции, сделал семь (!) сообщений о своих работах и работах коллег по академии, осмотрел университетские лаборатории и городские фабрики. 25 августа ездили на устроенный еще профессором Киттары образцовый мыловаренный завод братьев Крестовниковых (ныне компания «Нэфис»), Технической частью там заведовали химики братья Зайцевы.

Вне научных заседаний Бородин неизменно находил интересных собеседников. Наличие в городе университета и Духовной академии определяло уровень общества, в котором он вращался. «Беседы, собрания, заседания, осмотры, обеды самые оживленные и тонкие, ужины шумные, веселые, полные блеска и остроумия, театр и пр. Да! Грех было бы пожаловаться на Казанцев, да и вообще на съезд. И при всем этом я извлек здесь множество самых полезных сведений, установил полезные и приятные отношения, завязал множество интересных для меня знакомств», — конечно, это написано для Екатерины Сергеевны в оправдание,

почему супруг так задержался на Волге. Но не похоже, чтобы он сильно преувеличивал.

Между делом успевали повеселиться. После обеда в Дворянском собрании «пели «Gaudeamus», «Вниз по матушке по Волге»; профессора пустились в пляс; оркестр валял Камаринскую, а ученые мужи задали выпляску на славу — кадрили, мазурку... Публика растрогалась — начали качать... неожиданно подлетели ко мне грешному: «Бородина! Бородина качать! Он не только хороший честный ученый, но и хороший честный человек!» Десятки дюжих рук подняли на воздух мое тучное тело и понесли по зале».

Пусть и разгоряченный шампанским, профессор Бородин предлагал самые что ни на есть дипломатичные тосты: за городского голову Казани и «за процветание будущей магнитной обсерватории», которую городские власти вроде бы собрались строить для университета, но что-то колебались. А тут вдруг столичный гость заговорил о ее открытии как о деле уже решенном. Еще один политически безукоризненный тост был провозглашен в честь Казанской химической школы. Бородин назвал Зинина ее дедом, а Бутлерова — отцом, за что был тут же произведен в «дядю».

23 августа Бородин провел вечер в театре, 27-го до утра «танцевал в Соединенном клубе и ужинал со всякими представительницами юной женской интеллигенции Казани: учащимися барынями, телеграфистками и т. д. Тут была, разумеется, и передовая университетская молодежь». 28 августа состоялся большой симфонический концерт в Дворянском собрании, а между этими датами — два квартетных вечера. В Казани любили квартетную музыку, Бутлеров музицировал в квартете с другими профессорами, в различных домах собирались кружки, прозывавшиеся попросту «Интенданты», «Слепцы» и т. п. В начале 1872 года кружок «Старые воробыи»,

собиравшийся у профессора математики Диодора Александровича Панаева, обладателя скрипки Амати, альта Страдивари, двух скрипок и виолончели Вильома, с огромным успехом провел в зале Первой гимназии «Три вечера камерной музыки». Тут уж началась регулярная концертная жизнь во славу Гайдна, Моцарта, Бетховена и Мендельсона.

24 августа Александр Порфирьевич посетил вечер, «где специально интересуются мною как музыкантом». Оказывается, в Казани хорошо знали о балакиревском кружке, Бородин и Мусоргский имели здесь поклонников. Это неудивительно хотя бы потому, что в Казани в 1872 году обосновался Виктор Никандрович Пасхалов. Студент Парижской и Московской консерваторий, он также успел получить в Придворной Певческой капелле диплом регента. Прожив перед переездом в Казань год или два в Петербурге, Пасхалов не раз появлялся среди балакиревцев, даже одно время преподавал в Бесплатной музыкальной школе. Его морально поддерживал Стасов, Мусоргский играл по памяти какое-то шествие (то ли «Марш Сатаны», то ли «Свадебную телегу, скачущую с бубенцами») из начатой Пасхаловым оперы «Первый винокур». В Казани Виктор Никандрович в 1882 году возглавил только что основанную там по образцу петербургской Бесплатную музыкальную школу, а на знаменитых в городе «пасхаловских ночах» пел, почти без голоса, свои романсы и сатирические куплеты. Хватала за душу «Песня о рубашке» на слова Томаса Гуда в переводе Михайлова. До нас ее музыка не дошла, остался лишь отзыв Мусоргского, чужавшего фальшь припева «Работай, работай, работай» в устах Виктора Никандровича. Не иначе как в пику жалостной и надрывной «Рубашке» сочинил Мусоргский в 1871 году чудное скерцино для фортепиано «Швея».

Энциклопедии создают ощущение, будто все композиции Пасхалова оставили столь же эфемерный след, сколь и «Песня о рубашке». Мало что сохранилось от оперы «Мазепа», но увертюра на тему песни «Винный наш колодезь» демонстрирует мастеровитое владение большим оркестром и сонатной формой, построенной по моцартовским образцам. Вальс для малого оркестра «Яблок сладких, яблоч!» на тему крика разносчика по замыслу близок музыкальным шуткам Бородина. А есть еще сборник обработок народных песен, десятки романсов, десятки фортепианных пьес... Так что в Казани имелся свой активный «кучкист».

30 августа Бородин покинул гостеприимный город и отправился в Москву, а 14 сентября, невзирая на возражения жены, отбыл в Петербург. Екатерина Сергеевна не стала повторять прошлогоднего эксперимента и осталась в Москве у брата. К ней полетели из Петербурга новые письма, обстоятельства которых немало удивлялся живший тогда у брата Митя. В них мелькает такой калейдоскоп имен и фактов, что кажется, будто мы знаем об Александре Порфирьевиче все. Это иллюзия. Например, он дружил с московским композитором Павлом Ивановичем Бларамбергом — и где в письмах хоть какие-то подробности?

Та же ситуация с возвращением к «Князю Игорю». 15 октября 1874 года Бородин объявил о своем решении Стасову — тот чуть в обморок не упал. А ведь решение не было внезапным. Почему же автор не взялся за брошенную оперу осенью 1873 года, вернувшись с Волги? Или даже раньше, когда рухнул проект «Млады»? Стасов считал, что в 1874 году решающую роль сыграл разговор Бородина с приехавшим с Кавказа на побывку его выпускником Владимиром Алексеевичем Шоноровым, но вряд ли мнение молодого врача оказалось единственной причиной. Бородин был очень организованным человеком. Он любил четкую,

планомерную работу, «гейдельбергский» распорядок дня всегда оставался для него идеальным. Одну из любимых поговорок — «Торопитесь не спеша» — он даже ввел в либретто «Богатырей». Теснившие друг друга замыслы распределялись строго по порядку: после «Млады» следовало сперва подготовить переложение Первой симфонии для фортепиано в четыре руки (в итоге вышедшее у Бесселя в 1875 году), а затем завершить оркестровку Второй симфонии.

В начале 1870-х годов нотный почерк Бородина был каллиграфическим. Свойственный ему перфекционизм сказывался во всем: и в проработке композиций, и во внешнем виде рукописей. Стоя за конторкой, он писал чернилами, четко и компактно, без какой-либо размашистости. Именно так, тонко и тесно, была записана партитура финала Второй симфонии, но — карандашом. Это доселе нетипичное обстоятельство позволяет вычислить, что последнюю часть симфонии Бородин оркестровал между серединой октября и концом ноября 1873 года, когда сидел (а точнее, лежал) дома из-за воспаления лимфатических сосудов на ноге. Писать в постели чернилами было неудобно. В декабре наступил период интенсивной «службы», а там, в промежутках между правкой корректур для Бесселя, можно было и оперой заняться.

К моменту разговора со Стасовым Александр Порфирьевич явно успел пересмотреть все написанное для «Князя Игоря» четыре года назад и обдумать, как использовать материал «Млады». В тот исторический октябрьский вечер они со Стасовым засиделись до ночи, но так и не наговорились. Бородин под дождем пошел пешком провожать Владимира Васильевича с Выборгской стороны до Кирочной улицы, и всю дорогу они обсуждали будущую оперу. Домой Александр Порфирьевич попал только под утро. На другой день Стасов прибежал к другу с целой кипой изданий

летописей, «Историей государства Российского» Карамзина и различными переводами «Слова о полку Игореве». Каковы бы ни были привычки Екатерины Сергеевны, не одна она была повинна в том, что муж часто недосыпал!

Поводов вернуться к обдумыванию оперы накопилось немало. Например, такой: профессор Петербургской консерватории Николай Феопемптович Соловьев, автор симфонической картины «Русы и монголы» (1870), в 1873 году представил сочинение для голоса и фортепиано под названием «Слово о полку Игореве». А 27 января 1874 года состоялась премьера «Бориса Годунова». Пресса была... разная, фельетонисты нашли себе в новой опере бездну пищи, сталкивая мнения:

«— В «Борисе Годунове» Мусоргского есть сцена в корчме — тоже сцена выдающаяся, хоть и вульгарная... Наша публика не на Бетховенах, не на Мендельсонах воспитана, ей подавай чего-нибудь забирающего, сдобного, чего-нибудь вроде песни, которую поет у Мусоргского хозяйка корчмы, — песня разудалая, пьяная, чуть не чувственная, и что же? Публика от нее в восторге... значит, ей сродни, на ее инстинкты действует.

— Я теперь понимаю, отчего в Антона Рубинштейна до сих пор влюбляются сотни девушек, отчего на концерте у Николая Рубинштейна одна застрелилась... Не значит ли это, что признаваться в любви всего выгоднее тотчас по выходе из концертной залы?

— Или надуть в любви.

— Даже взаимное надувание, я уверен, происходит всего легче под сильным музыкальным впечатлением: нервы так настраиваются, что сами жаждут иллюзии... Чтобы этого с вами не случилось, всего лучше выслушивать музыку, изображающую бабий вой,

ребячий писк или пьяную бессвязную ругню... это самая безопасная музыка.

— А если Мусоргский женихов Гоголя переложит на музыку?^[20]

— Застрелюсь или повешусь...»

За четыре дня до очередного спектакля билетов на «Бориса» было не достать при тройных (!) ценах. Если же у Бородин в 1869 году действительно существовали сомнения, надо ли сочинять «на сюжеты глубокой, полусказочной древности», в процессе работы над «Младой» они не могли не рассеяться.

Тем временем интерес к «Слову о полку Игореве» в обществе не ослабевал, а, напротив, рос. В 1869 году Стасов мог снабдить друга первым изданием «Слова» и множеством переводов: Сирякова (1803), Шишкова (1805), Палицына (1807), Язвического (1812), Левицкого (1813), Пожарского (1819), Грамматина (как прозаическим, так и поэтическим, 1823), Полевого (1830), Вельтмана (1833 и 1866), Максимовича (как русским, 1837, так и украинским, 1859), Деларю (1839), Дубенского (1844), Минаева (1846), Гербеля и Мея (оба 1850), Кораблева (1856), Тихонравова (1866 и 1868), не считая переложений на чешский, польский, сербский, словенский, немецкий, французский языки. Но пока Бородин занимался Второй симфонией и «Младой», появилось кое-что еще. Аполлон Николаевич Майков перечитывал «Слово» вместе с сыном-гимназистом — в результате в 1870 году вышел в свет его стихотворный перевод. При жизни Бородина новые публикации, преследующие художественные либо научные цели, сыпались как из рога изобилия. К его услугам были издания Малашева и Погоского (оба 1871), Алябьева (1873), Бицына (псевдоним М. Н. Павлова, 1874), Огоновского и Скульского (оба 1876), Вяземского (1877), Потебни (1878), Андриевского, Жданова и Павского (все

три — 1880), Прозоровского (1881), Ласкина (1885). В 1882 году был напечатан давний перевод Жуковского.

Глаза разбегаются от такого изобилия! Что же действительно пригодились Александру Порфирьевичу? Наверняка не рассматривался непревзойденный в своем роде перевод Палицына:

А наши вознося враги свой гордый рог,
Из сердца Русского льют слез и крови ток;
Как хоботом слоны терзают все рыкая,
И копыта их звучат до берегов Дуная!

Некоторую ясность внес Стасов, отвечая на вопрос племянницы Варвары и за давностью лет слегка путаясь в датах:

«Чем я руководствовался для «Князя Игоря» Бородин? Только двумя машинами:

1) «Слово о полку Игореве» — в нескольких переложениях, прозаических и стихотворных. Из последних, лучшее — Мея. Из прозаических — переложение с комментарием — Вяземского (но это уже только в последнее время: когда я выдумал и затеял всю штуку в начале 70-х годов, Вяземского книги еще не было).

2) «Ипатьевская летопись» (2-й том собрания летописей). Сверх того, для того места, где жены режут и прощаются с мужьями перед походом, я взял «Задонщину» или «Мамаево побоище». Там все такое причитанье есть tout au long^[21] и сверх того там сказано, что мне понравилось, что жены «захлебывались от слез» и вначале совсем не могли говорить.

Вот и все. Прочее в либретто я все сам выдумал, а впоследствии Бородин много прибавил и своего».

Чем дольше Бородин работал над «Князем Игорем», тем глубже он вчитывался в «Слово». В 1869 году его

внимание привлекли лишь некоторые поэтические детали. В самой первой и самой полной версии «Сна Ярославны» княгиня рассказывает:

Мне снился берег неведомого моря.
Там жемчуг, что снег, на землю падал.
А я все шла да жемчуг собирала: к слезам,
видно.

Этот жемчуг — из сна Святослава («сыпахутьми тыщами тулы поганыхъ тльковинъ великий женчюгъ на лоно»), но также из пронзительных строк о князе Изяславе, «единъ же изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла, чресъ злато ожереліе». Падающий жемчуг во сне княгини — словно души погибших воинов Игоря... Зримо представляя себе события, Бородин выписал для памяти слова о золотых шлемах у русских и об аварских — у половцев. И конечно, первая строка каватины Кончаковны «Ночь, спускайся скорей, тьмой окутай меня» восходит к образам «Слова»: «На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла».

По-видимому, в 1869 году Бородин был еще далек от мысли положить на музыку целые фрагменты «Слова». В 1874-м композитор начал работу с Половецкого марша, место которого в опере — после Пролога, в момент битвы. Проблема либретто встала, когда он занялся превращением Идоложертвенного хора из «Млады» в эпилог оперы. Позднее этот эпилог, еще раз перетекстованный и еще расширенный, был перенесен в Пролог, но в 1875 году этот знаменитый хор существовал с текстом, взятым из последних строк «Слова»:

Солнцу красному слава в небе высоком,
А князю-то слава у нас на Руси.

В градах-то радость, в селах веселье,
К нам воротился князь наш, князю слава.
В Киев держал он путь да по Боричеву
К славной святой Пирогощей владычице...
И на Дунай-реке славу поют ему,
Славу поют князю красные девицы.
Вьется их голос от моря до Киева.
Князю-то Игорю слава! Свет Святославичу
слава...
Буй тур Всеволоду свет Святославичу,
Млад соколику князю Владимиру...
Здрави, князи, здрави, слава князьям, слава,
Слава храброй рати их.

Перелагая для пения древнерусский текст, Бородин явно опирался на недавно вышедший перевод Майкова. Этот прекрасный хор стал первой ласточкой, достигшей ушей широкой публики, первой вестью о будущей опере. 23 марта 1876 года он прозвучал под управлением Римского-Корсакова в зале городской думы, в концерте БМШ. Удивительно, что за все время существования школы музыка Бородина впервые (!) попала в программы ее концертов.

Никто не сказал о хоре «Солнцу красному слава» лучше Стасова: «Этакая львиная штука, как хор Бородина — сущий Гендель, только нашего времени». Кюи в «Санкт-Петербургских ведомостях» тоже не поскупился на похвалы:

«Бородин один из самых талантливых наших композиторов. Его отличительные черты: легкость и свобода сочинения; счастливые темы, часто страстные и сильные; прекрасная их полифоническая разработка; гармонизация тонкая; много индивидуальности, блеска и жизни. Быть может, г. Бородин недостаточно разнообразен, быть может, в гармонических и

мелодических оборотах он склонен повторяться, но это покажет время... Исполненный хор входит в состав последнего действия оперы. Это приветственный хор Игорю Святославичу, возвращающемуся в Путивль после победы над половцами. Народ поет «славу», союзники князя: Топчаки, Ревучи, Татраны, Шельбиры, Ольберы и пр. приветствуют Игоря. (Какие все звучные имена этих союзников! За введение этнографического элемента в программу — г-ну Бородину спасибо, пусть он только не вводит этого элемента в музыку своей оперы.) В музыкальном отношении этот хор безусловно превосходен... Особенно хорош его конец: массивный, мощный, грандиозный... Употребление голосов хора чудесное: звучное, сильное. Оркестр тоже хорош: густой, колоритный, хотя и с некоторым злоупотреблением духовых инструментов. Хор произвел на публику сильное впечатление: автор был горячо вызван несколько раз. Пусть этот успех побудит его к скорейшему окончанию своей оперы».

Просился на музыку Плач Ярославны — номер, прежде в операх небывалый. К счастью, в 1874 году в классе Римского-Корсакова появился новый студент — Николай Витальевич Лысенко. В самом конце 1874 года в Петербурге вышел из печати его «Плач Ярославны» для голоса и фортепиано на текст «Слова о полку Игореве» в украинском переводе Михаила Александровича Максимовича (с посвящением памяти переводчика). Лысенко не побоялся положить Плач на музыку целиком, сохранив чередование прямой речи и рефренов от автора: «То княгиня Ярославна у Путивлі на стіні і ридає, і гукає, як зозулька на зорі». В марте следующего года новая киевская примадонна Юлия Яковлевна Махина спела «Плач» Лысенко в концерте Помазанского. Бдительный Кюи, как всегда, был на посту. В рецензии он, что следовало, похвалил, но и недостатки

перечислил: запутанность формы, монотонность ритма и нестерпимо жалостный характер от начала до конца.

Мнения Цезаря Антоновича и Александра Порфирьевича часто совпадали дословно (по-видимому, они любили обсуждать прослушанное). Сочиняя свой Плач, Бородин словно специально избегал указанных Кюи недостатков. Опыт Лысенко дал толчок его работе: теперь можно было точно представить себе и масштабы композиции, и подводные камни. От косвенной речи Бородин, конечно, отказался, сочинив новый рефрен: «Ах, плачу я, слезы лью...» Передавая современным языком строфы Плача, он опирался на упомянутый Стасовым перевод Льва Мея — один только Мей назвал «зегзицу» оригинала «кукушкой перелетной»! У Мусина-Пушкина, Сирякова и Палицына она — горлица, у Майкова и Погоского — ласточка. Заключительное обращение к солнцу у Бородина — парафраз строк Мея:

Для чего ж лучем горячим
Опалило ты дружину
Моего милова друга
И в безводном поле жаждой
У нее луки стянуло,
И колчаны ей истомой
Заложило, запекло?

Украшающие Плач аккорды арфы, возможно, появились не без связи с выступлениями в Петербурге в марте 1875 года бандуриста Остапа Вересая — приблизительно в это же время Александра Молас окрестила «Сон Ярославны» «думкой».

Парным к Плачу номером стал монолог князя Игоря «Зачем не пал я на поле брани». Не вошедший в редакцию Римского-Корсакова и Глазунова, он вернулся из небытия лишь в 1950 году, а в 1974-м впервые был

включен в постановку «Князя Игоря» в Государственном театре оперы и балета в Вильнюсе. Поскольку монолог стал известен позже знаменитой арии «Ни сна, ни отдыха измученной душе», его часто называют «второй арией Игоря» и по этой логике помещают ближе к концу спектакля. Но конечно, он должен идти сразу же после Половецкого марша. Это речь князя, едва опомнившегося после битвы, речь на мертвом поле, над телами воинов. Бородин виртуозно скомбинировал обращения к князьям из золотого слова Святослава с рефренами, взятыми из других разделов «Слова». Какими только переводами он при этом не воспользовался! Ингварь и Всеволод названы «шестокрыльцами славного гнезда». В древнерусском тексте и в подавляющем большинстве переводов — «не худа гнѣзда шестокрилци», и только Иван Иванович Сиряков, еще в 1803 году первым переложивший «Слово» стихами, сказал:

О! ты Ингварь со Всеволодом
И все трое вы Мстиславичи,
Шестокрыльцы гнезда славного...

Между обращениями к русским князьям Бородин поместил рефрены, в которых поминается Каяла — окаянная река:

Ты русскими костями Каялу не засеял...
Вы русской кровью Каялы не поили...
Вы силы русской в Каяле не топили...
Вы полков своих в Каяле не сгубили...

Они тоже восходят к строкам «Слова о полку Игореве»: «Чръна земля подъ копыты, костями была посѣяна, а кровію поляна»; «Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ

бяхуть посѣяни, посѣяни костью Рускихъ сыновъ». А еще к одному из «темных» мест поэмы — «каютъ Князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣ Каялы рѣкы Половецкія», — переданному Меем как «а за то, что силу русскую погрузил на дно Кая л-реки...».

Мусин-Пушкин, Сиряков, Шишков, Грамматин, Вельтман, Гербель, Майков и, конечно, Мей — их переводы Бородин проштудировал и в течение одного года создал три ключевые сцены «Князя Игоря», непосредственно восходящие к «Слову». Кроме того, к началу 1876-го были готовы хор половецких девушек «На безводьи, днем на солнце», ария Кончака и первая (короткая) версия сцены Игоря с Кончаком, хор и танцы половецкие («дикий восточный балет», известный как Половецкие пляски) и даже монолитная, стремительная картина «Дома у князя Володимера» — пока что лишенная песни Галицкого и Княжой песни гудочников. При жизни Бородина русский народ еще играл на гудках, композитор мог «живьем» слышать инструмент, чья история прослеживается до X столетия, а далее теряется во тьме веков. Но ни Скулы, ни Брошки Голопузого в опере пока не было.

Глава 19

СОРОК МИНУС ОДИН

Сорокалетие Бородин встречал в полугоризонтальном положении. В первых числах октября на ноге появились фурункулы. Как-то летом в Москве профессор уже запустил точно такие же и знал, к чему это может привести, но... как обычно, пренебрег лечением. Вскоре началось воспаление лимфатических сосудов, на шесть недель лишившее возможности покидать дом. Хорошо, что 2 октября, когда пришлось спасать лабораторное имущество от наводнения, Александр Порфирьевич был еще на ногах. Вскоре загрустила, запричитала на Москве Екатерина Сергеевна: «Милый мой больной! Меня очень беспокоит твоя ножка и я всей душой скорблю, что меня нет с тобой в настоящее время: иметь тебя долго при себе, говорить, читать с тобой — ведь это редко случается — а теперь ты один, я тоже одна... Как бы хотелось перелететь к тебе и сесть возле тебя и поцеловать и всячески приласкать тебя». Врачи, химики, музыканты наперебой навещали коллегу. Римский-Корсаков, недавно возглавивший духовые оркестры Морского ведомства, приносил различные духовые инструменты (дома у него был крошечный первенец Мишенька, и шуметь там не рекомендовалось). Натешившись с казенным флюгельгорном, Александр Порфирьевич вернул его другу, адресовав сопроводительное письмо Корсакову-младшему: «Милостивый государь Михаил Николаевич, Ваш папенька дал мне трубу, не совсем, а только поиграть. Теперь я в большом затруднении. Папенька Ваш просил возвратить ее поскорее, а маменька, не любящая вообще шумных игрушек, просила продержать ее подольше... Пересылаю игрушку

Вам, предоставляя на Ваше усмотрение, как поступить с нею далее. При этом считаю нужным предупредить Вас: не берите игрушку в рот — она медная... Мне хорошо известно, что молодые люди Вашего возраста склонны к подобного рода увлечениям, и без всякой осторожности берут в рот все, что попадает под руку. Я сам когда-то имел эту привычку, правда, очень давно, но впоследствии совершенно отстал от нее».

24 октября Бородина навестила вся музыкальная братия: Стасов, Мусоргский, Римский-Корсаков, Кюи, Щер-бачев с примкнувшими адвокатом Дмитрием Стасовым и поэтом Арсением Голенищевым-Кутузовым. Развлекались чтением вслух статьи Лароша в газете «Голос», где говорилось, что музыка есть «искусство сочетать звуки приятным для слуха образом». («Искусство есть средство для беседы с людьми, а не цель», — напишет в «Автобиографической записке» Мусоргский.) На досуге больной без всякого восторга читал в «Отечественных записках» «Благонамеренные речи» Салтыкова-Щедрина, а вот идиллия Феокрита «Сиракузянки» пришлась по душе: «Она написана за 280 лет до рождения Христова. Что это за прелесть! Простота, естественность, сколько жизни и как все реально». По выходным приезжала из училища Лиза и читала вслух то «Недоросля», то «Как я отыскал Ливингстона» Генри Мортон Стенли, а ее приемный отец, пользуясь желанным досугом, писал партитуру Второй симфонии. Кажется, он все-таки выздоровел чуть раньше, чем успел оркестровать последние страницы финала.

В знаменательный день 31 октября профессор проснулся рано и приступил к тщательному бинтованию ноги. Тут случилось главное событие дня: Митя с Катериной Егоровной внушили Александру Порфирьевичу, будто ему исполняется не 40, а только 39. Оба настаивали, что в 1850 году Саша якобы

поступил в академию пятнадцати, а не шестнадцати лет. Не следовало доверять домочадцам в этом вопросе! В 1850-м Митя был еще очень мал, а унаследованная от Авдотьи Константиновны экономка, напротив, уже тогда достигла «неопределенно-зрелого» возраста, успев проявить склонность к выпивке, обману и обсчету. Теперь ей было отлично известно, что сорокалетний Бородин хотел бы отказаться от ее услуг, но слабые струны хозяйского сердца она изучила досконально. Александр Порфирьевич поверил ей с легкостью — рад был поверить. С тех пор он всюду указывал в качестве года рождения 1834-й.

Новая дата успела проскочить на страницы «Русского календаря на 1873 год» Алексея Сергеевича Суворина. Издатель впервые ввел в календарь рубрику «Современники», обещая читателям: «Ученый, литератор, художник, музыкант, актер, педагог, врач, администратор, воин, земский деятель, купец, промышленник, адвокат — все они найдут место в этом отделе... Помещенные ниже биографии по большей части появляются в первый раз и на основании сведений, нами собранных». На первый раз из 36 персонажей рубрики 26 оказались художниками, скульпторами и архитекторами, а семь — композиторами. Белыми воронами смотрятся среди них Боткин, Сеченов и Алексей Толстой. Бородин фигурирует именно как композитор, который, однако, «состоит в настоящее время профессором химии». Художники как на подбор — воспитанники Академии художеств и Московского училища живописи и ваяния, Чайковский — выпускник Петербургской консерватории, Антон Рубинштейн представлен учеником немецкого теоретика Зигфрида Дена. Напротив, в биографиях всех пяти членов Новой русской школы повторяется с различными вариациями курьезная фраза: «Музыкальным образованием обязан исключительно

самому себе». В случае Кюи — чуть длиннее: «Музыкальным своим образованием обязан лишь отчасти композитору Монюшко, главным же образом самому себе». И выбор имен, и установка на отрицание какой-либо педагогической преемственности выдают твердую руку Стасова.

Вслед за Сувориным другие издатели, словно сговорившись, тоже стали помещать биографию Александра Порфирьевича. В разделе «Словарь современных деятелей России» «Календаря на 1874 год» Алексея Алексеевича Гатцука Бородин притулился золушкой между Буняковским и Буслаевым — крошечное жизнеописание «композитора, состоящего профессором» перепечатали с сокращениями из календаря Суворина. А вот для вышедшего в том же 1874 году очередного тома Русского энциклопедического словаря Ильи Николаевича Березина биографию Бородина написал со слов друга Кюи. Завершается она забавным утверждением: «Сочинения Б. собраны и изданы придворной певческой капеллой». Этой фразой должна была оканчиваться другая статья Кюи в том же словаре — о действительном статском советнике Дмитрие Степановиче Бортнянском.

Если 32-летнему статскому советнику Бородину хотелось выглядеть помоложе, что говорить о сорокалетием. Пройдет еще два года, Александра Порфирьевича произведут в его последний классный чин — в действительные статские советники, — и он вдруг зарыдает, твердя: «Старость, старость!» Отец его на шестом десятке был полон сил — сын, чья карьера шла семимильными шагами, уже на четвертом жил с ощущением безвозвратно упущенных возможностей. В 1877 году конференция МХА изберет Бородина в академики. Его научная карьера достигнет потолка, с формальной точки зрения стремиться будет некуда,

разве что получить чин тайного советника — последний, доступный ученому.

Итак, сорокалетний юбилей откладывался на год. Катерина Егоровна угостила несостоявшегося юбиляра фруктами, орехами, пастилой и отбыла в гости к своему брату. Митя укладывал вещи, чтобы тоже ехать к брату: Еня Федоров добыл ему должность судебного пристава в Вильно. День прошел тихо. К вечеру жена служителя лаборатории сервировала чай и закуски. Больной хозяин в халате возлег на кушетку, уподобив себя хивинскому хану (Хивинское ханство несколько месяцев как покорилось Российской империи, так что сравнение было весьма ироничным). Гостей хан и соломенный вдовец классифицировал, призвав на помощь незабвенную оффенбаховскую «Прекрасную Елену». Всех оказалось по паре. Две «Елены» (Доброславина и Богдановская) — обе высоконравственные, обе в интересном положении, в сопровождении своих «Менелаев»-профессоров. Два «Париса» — Митя и молодой врач-гигиенист из Казани Иринарх Полихроньевич Скворцов. Круг тесный, почти семейный. Хозяин был рад: «...не пришел никто из музыкальной братии, а то и я, и другие были бы в фальшивом и неприятном положении». По понятным причинам не танцевали, зато пировали за полночь.

Екатерина Сергеевна до середины ноября все не ехала из Москвы — то денег не было, то шуба из Петербурга не прибыла, то не знала, есть ли переправа на Выборгскую сторону. Неизвестно, обрадовало ли ее «омоложение» мужа. В редких сохранившихся эпистолах она ничего об этом не говорит. По злой иронии судьбы из всей ее переписки до нас дошло чуть более двух десятков посланий (часть их супруг сразу же рвал, «чтобы не попались кому», часть пропала позднее). Первое из уцелевших писем отправлено 18 сентября 1873 года 41-летней генеральшей и открывается эпитафией из шансонетки «Песня бедной женщины»:

D'autres femmes ont des plaisirs^[22]. Начинает Екатерина Сергеевна с эксцентричного рассказа о том, что случилось 15 сентября на Николаевском вокзале: «Ну, слушай, как и что было с твоей бедной Червой по твоём отъезде. Проводив тебя, я очутилась в группе итальянцев, провожавших своего знакомого в Афины, Смирну и, кажется, в Ерусалим. В ожидании последнего звонка они (кажется, четверо) без умолку болтали с своим отъезжающим товарищем — и их южные лица с характерными носами, и то, что они говорили и как говорили — заняло меня, увлекло, перенесло *dahin, dahiri*^[23] etc. Звонок прозвенел, итальянцы закричали: *buona fortuna, buon viaggio!*^[24] — Я перекрестила майчика, прошла мимо моих милых соотечественников по возрождению к новой, лучшей жизни и, проходя мимо, не утерпела... сказала: *Send Signore: forse avra veduto qui due giovanne signore!*^[25] Итальянцы чуть не прыгнули ко мне на шею, и вместо того чтобы искать молодых синьор, которых я не особенно нетерпеливо искала, принялись болтать со мной наперерыв один перед другим и проводили меня до экипажа, где несчетное число раз [изцеловали] мне все они руки. Они уговаривали не плакать и не грустить по тебе, потому что ты наверное *ип buon ragazzo*^[26], звали в Италию, говорили, что русские *биопа gente*^[27] и прч.».

Итальянский язык, напоминавший о самом счастливом времени в жизни, Екатерина Сергеевна старалась не забывать (в 1870 году муж по ее просьбе выслал ей итало-французский словарь). В переписке супруги обычно прибегали к этому языку для передачи особо конфиденциальной информации, кою Бородин почитал неизбежным злом: «Но так как повествовательная часть сводится всегда на сплетни, то не взыщи, если и я тебе буду передавать кое-какие сплетни».

Воспитанницы Бородиных запомнили, что лет до сорока Екатерина Сергеевна сохраняла обаяние и в нее продолжали влюбляться мужчины. После она изменилась, к обычным жалобам добавились новые: «Вечером я посмотрела свой живот, который давно не видала, — и ужаснулась до такой степени, что почти не спала ночь». Даже московский анатом Зернов пришел в замешательство: нет ли тут «вечной беременности»? Двигалась она всё меньше и меньше, самочувствие не улучшалось. Тяжелое впечатление произвело на нее известие о смерти в 1873 году от астмы в Пильни — це короля Саксонии Иоганна Непомука. В те времена еще не обсуждали, полезно ли астматикам держать кошек, — у Екатерины Сергеевны их всегда было несколько.

Пока Бородин праздновал «еще не юбилей», супруга его с головой погрузилась в переживания о брате Алексее: бедный Лёка запутался в хозяйстве психиатрической клиники и подал в отставку. Киса, семилетняя Лена и обожавший «дяденьку Сясеню» маленький Сережа остались без всяких средств. Александр Порфирьевич хлопотал о месте для шурина чуть не у всех петербургских знакомых и давал у себя приют всем московским гостям, могущим быть полезным родне, а дело между тем повернулось еще хуже. Покончил с собой один из знакомых Алексею пациентов Преображенской больницы, и тот вновь слегка тронулся рассудком. Ведь предупреждал же Бородин: нельзя шурина находиться среди сумасшедших!

Обстановка вокруг самого Александра Порфирьевича тоже напоминала сумасшедший дом. Катерина Егоровна, часто распекаемая за неистребимую пыль и грязь, все так же наводила в делах кухонных свою «темную экономию». Поползновения хозяев взять другую прислугу оканчивались ничем. Гражданский муж экономки Эрёма (Еремей) временами пил и дебоширил,

пугая Екатерину Сергеевну, — попытки согнать его со двора ни к чему не приводили. Лишь престарелая мать горничной Дуняши доживала свои дни в профессорской квартире тихо, тревожа барина только чтобы передавать в Москву привет дочери.

Оба супруга нуждались в обществе. Екатерина Сергеевна в Москве окружала себя приживалками вроде Клеопатры Исполатовской и Лины Столяревской, которые любили следовать за ней и даже без нее в Петербург, располагаясь там в профессорской квартире. Бородин по-прежнему редко отказывал. Невозможно пересчитать всех, кто когда-либо пользовался его гостеприимством. Некоторые фактически вошли в семью профессора, как приехавший осенью 1873 года доцент Казанского университета Иринарх Скворцов (Бородин познакомился с ним летом на съезде — тот читал на общем собрании делегатов доклад «Гигиена и цивилизация»), Весной следующего года Иринарх женился на Раиде Сютеевой — свояченице Ени Федорова, временно жившей у Бородиных на положении «воспитанницы». До самого отъезда Скворцовых в Казань осенью 1875 года Бородин даже в отсутствие Екатерины Сергеевны пребывал словно в кругу семьи. «Иры», как называли себя Иринарх и Ираида-Ида-Раида, окружали его всяческими заботами. При рождении их первенца профессор достойно исполнил обязанности повитухи и крестного отца.

Супруги Скворцовы были музыкальны. На двух роялях профессора Иринарх играл 1-ю сонату Бетховена, Раида — 14-ю сонату. Нечто подобное играли братья Гольдштейны — начавший заниматься в лаборатории Бородина Михаил Юльевич и его брат Эдуард, пианист, выпускник Лейпцигской консерватории. 26-ю сонату Бетховена разыгрывал Александр Павлович Дианин (1851–1918), о котором нужно сказать особо.

Будущий студент Бородина родился в семье священника владимирского села Давыдово Павла Афанасьевича Дианина, некоторое время учился в духовной семинарии во Владимире, но (вероятно, под влиянием старшего брата Василия) решил избрать профессию врача и в 1870 году поступил в Медико-хирургическую академию. Лекции Зинина и Бородина указали Дианину его истинное призвание. Для Александра Порфирьевича он вскоре стал больше чем учеником и другом — сыном и наследником. В 1873 году Дианин уже активно вел эксперименты, на съезде в Казани Бородин сделал сообщение о его работе «О продуктах окисления нафтолов». После этого «Шашенька» стал частным ассистентом профессора. Помощь его была необходима, поскольку как раз тогда Бородин наконец-то добился давно поставленной цели: охватить практической работой всех студентов без исключения.

Трудолюбивый, несколько медлительный, хотя еще без заметной на его поздних фотографиях вальяжности, чистый душой юноша решительно выбрал химию, но пошел иным путем, нежели профессор. Бородин в свое время с блеском окончил академию и получил степень доктора медицины — Дианин отказался это делать. Он подумывал перейти в Петербургский университет, но к осени 1875 года оставил эту мысль из-за высокой платы и большого количества экзаменов. Бородину пришлось немало потрудиться, чтобы вырастить себе преемника из ученика, так и не окончившего ни одного учебного заведения.

Дианин был любимцем кузины Бородина Санички Готовцевой, баловавшей его гостинцами, предметом неразделенной страсти Лины Столяревской, фаворитом Кашеваровой-Рудневой. Для Екатерины Сергеевны Шашенька тоже быстро стал родным человеком — сыграла роль его любовь к музыке. Наблюдавшая всю

семью летом 1874 года помещица Елизавета Александровна Куломзина писала Бородину: «Не надумает ли Хохолок^[28] обрадовать нас присылкой своего портрета с глубокими глазами, воспламеняющимися только при чудной игре на фортепиано Екатерины Сергеевны». При Шашеньке та оставляла докучную праздность. Со всей энергией, на какую была способна, она взялась учить его французскому и игре на рояле. Вскоре он уже обучал музыке экономку Лену Гусеву и даже начал сочинять. Однажды, когда Екатерина Сергеевна была за что-то на него сердита, он отправил ей музыкальную «Просьбу» и после уговаривал: «Нет, дорогая Катерина Сергеевна, я вижу, что Вы довольно небрежно отнеслись к моей *Bitte*, мало Вы играли ее, потому что у Вас все еще есть какой-то недочет на душе... Нет, Вы попробуйте раз 50 кряду сыграть эту самую *Bitte*, уверяю Вас, что тогда не только дурное, а вообще всякое расположение духа пропадет; ей-Богу так!»

Их общей страстью, не разделявшейся Александром Порфирьевичем, было курение — до тридцати — сорока сигарет в день. (Конечно же, от табака была громадная польза: по его состоянию Екатерина Сергеевна определяла, сухо или сыро в помещении.) Очень скоро Дианин взвалил на себя часть забот о больной супруге профессора. Екатерина Сергеевна так часто, кстати и некстати, ставила Шашеньку в пример воспитаннице Лизе, что девочка невзлюбила его и всячески избегала. Зато когда Екатерина Сергеевна жила в Москве, Лиза и Хохолок вместе разделяли с Александром Порфирьевичем обязанность писать ей подробные послания — но это не значит, что он стал писать жене меньше или реже! От всех она требовала внимания и любви, посему все писали ей «дорогая» и «родная». Шашенька, он же Александрushка, он же Павлыч, он же Пава обладал явными литературными способностями. Он

без труда заполнял несколько страниц бодрой, успокоительной болтовней ни о чем, с легкостью создавая очередное «письмо о том, как я пишу письмо». В первые годы, еще не пропитавшись флюидами «протопоповизма», он дружески побранивал госпожу Бородину за хандру и стремился поддержать ее дух: «Если бы в какое-нибудь прекрасное утро я получил от Вас письмо, в котором крупным-разкрупным шрифтом было бы написано: «Я чувствую себя в Давыдове прекрасно, аппетит у меня чудный, много гуляю; я бодра, весела и т. д.» — я бы взял это письмо, прибил бы его на стенку и все бы смотрел, да хотел смеяться. Не смеялся бы, а только хотел бы смеяться — понимаете?»

Вне стен химической лаборатории работа в академии радовала Бородина всё реже. Осенью 1873 года он потерпел фиаско, не добившись утверждения Менделеева профессором физики МХА, когда из-за болезни Хлебникова кафедра оказалась вакантной. Зинин почти полностью отстранился от дел. Когда мошь поела его форменный сюртук, пощадив лишь погоны, он для визита к начальству одолжил форму у любимого ученика. Шить новую явно не стоило, коли Николай Николаевич собирался совсем оставить академию, что в 1874 году и осуществил. У Бородина прибавилось забот, а вот научного общения с учителем, всегда столь плодотворного, он окончательно лишился.

История с неизбранием Менделеева очень типична для тех лет. Один конфликт следовал за другим, и не всегда было понятно, где извечная борьба партий, а где — борьба всех против всех. Кажется, в истории с Ильей Ильичом Мечниковым, выдвинутым Сеченовым в профессора академии, но забаллотированным Конференцией, Бородин должен был оказаться на стороне будущего нобелевского лауреата. Но нет, он категорически встал на сторону академического большинства и не изменил своей позиции, даже когда

Сеченов покинул МХА. Долго еще гуляло по аудиториям и коридорам эхо ухода знаменитого физиолога. Рекомендованный им на свое место Илья Фаддеевич Цион (впоследствии один из предполагаемых авторов «Протоколов сионских мудрецов») не был одобрен Конференцией, однако через два года, ко всеобщему неудовольствию, его кандидатуру утвердил военный министр. В октябре 1874 года Циону пришлось покинуть академию после обструкции студентов. Малорабочая обстановка в кипящей страстями Конференции вкупе с полыхавшими студенческими волнениями, из-за которых обучение будущих врачей не раз прерывалось на целые месяцы, поставили под угрозу само существование МХА. Двойственность ее положения — с одной стороны, учреждения военного, с другой — обязанного за отсутствием в Петербургском университете медицинского факультета готовить и гражданских врачей — усугубляла опасность. Дело кончилось упразднением на два года Конференции и назначением Временной комиссии, которая управляла академией почти до 1881 года и в которую Александр Порфирьевич вошел на последнем этапе.

В этот сложный период полномочия ученого секретаря МХА принял сосед Бородин, к тому времени ставший его ближайшим другом, — Доброславин, умевший мирить профессоров, но не учащихся. Весной 1876 года Бородин вместе с Богдановским и Заварыкиным был в комиссии по расследованию беспорядков (студенты сорвали защиту диссертации). Комиссия поступила буквально по рецепту Герцена-сына, отрицавшего индивидуальную ответственность: «не нашла возможности указать виновных». Осенью беспорядки продолжились с новой силой. В конце 1878 года Александр Порфирьевич попал в очередную комиссию, расследовавшую, в частности, «дерзкие поступки студентов по отношению к некоторым

профессорам» (подразумевалась травля другого его друга, Руднева). После горячих дебатов комиссия приняла решение в духе Деларю из толстовского стихотворения «Великодушие смягчает сердца» — разрешила курсовые сходки. Пока шли беспорядки да разбиралось дело, преподавание не велось.

Не позднее 1874 года Бородин стал дирижировать хором студентов, к которому вскоре прибавились занятия с хором женщин-врачей, а позднее — и с оркестром академии. Мария Александровна Бокова вспоминала, что Бородин неровно относился к ученикам и особо благоволил к тем, которые играли у него в оркестре и вообще с ним музицировали. В свете политической ситуации усиленное поощрение профессором «художественной самодеятельности», постоянные вечерние посиделки в его квартире, где всем желающим подавались обед и ужин, приобретают дополнительное значение. Возможно, дело было не в одной любви Александра Порфирьевича к музыке. Видя студента у себя на репетиции, он мог быть спокоен: этот не устроит ему завтра на лекции политического демарша, не угодит в подозрительный кружок, и профессору не придется ночью вызволять его из полицейского участка.

Научная деятельность Александра Порфирьевича теряла интенсивность. Виной тому могли быть частые недомогания, которые вроде бы не мешали музыкальным занятиям, но от работы в лаборатории отрывали. В 1874 году новых его публикаций не появилось. В 1875-м в Петербурге и Берлине вышла статья «О нитрозоамарине». Тогда же Бородин снова обратился к теме, связанной с медициной: по просьбе своего товарища по академии врача Дмитрия Ивановича Кошлакова сконструировал прибор для определения азота в моче и вплоть до 1886 года совершенствовал методику анализа. Кошлаков был в академии заметной

личностью. Ученик Боткина, он в 1864 году защитил диссертацию «Исследование формы пульса посредством сфигмографа Маррея» и отправился за границу завершать образование. С его возвращением в МХА началось систематическое преподавание ларингологии и болезней почек. Он активно занимался физиологической химией, а в 1883 году возглавил терапевтическую клинику академии. Поначалу студенты по каким-то причинам бойкотировали лекции Кошлакова, добиваясь его отставки (впрочем, его предшественника Эйхвальда они тоже не жаловали), но Дмитрий Иванович в отставку не ушел, а из его клиники вышло множество научных работ. В 1884 году он был одним из оппонентов при защите диссертации Иваном Петровичем Павловым. В Петербурге Кошлаков имел обширную практику, много лет консультировал Достоевского.

Связывало ли Кошлакова с Бородиным что-либо кроме многолетней совместной работы? «Кто знал покойного Д. И. Кошлакова, у того навсегда останется в памяти его замечательная мягкость характера и доброта, его обширное образование и готовность всегда помочь неопытному ученику указанием и советом. Несмотря на свои обширные знания, Д. И. всегда отличался удивительной научною скромностью и простотой в обращении как со своими учениками, так вообще и с окружающими», — вспоминал о нем его ученик Александр Эдуардович Спенглер. Дмитрия Ивановича не видели на музыкальных и танцевальных вечерах Бородина, переписка их неизвестна, но именно к Кошлакову Александр Порфирьевич обратился незадолго до смерти, заподозрив нелады с сердцем.

В отличие от Менделеева, Стасова и многих других знакомых Бородин ни разу еще не ездил на всемирные выставки, а в 1872 году пропустил даже Всероссийскую политехническую выставку в Москве. В 1875 году ему

впервые пришлось поучаствовать в подготовке международной экспозиции. В лондонском Музее Южного Кенсингтона, впоследствии разделившемся на Музей Виктории и Альберта, Естественно-исторический музей и Музей науки, выставлялась коллекция научных приборов (*Special Loan Collection of Scientific Apparatus*). В комитете выставки было девять русских участников, включая анатома Грубера и химика Бейльштейна. Бородин руководил подготовкой химической коллекции МХА и среди прочего представил результаты четырех своих исследований: продуктов уплотнения валерианового альдегида; серно-кислой, азотно-кислой, хлороводородистой и щавелево-кислой солей кумарина; нитрозоамарина; определения мочевины. В феврале 1876-го, еще до открытия выставки, настигло разочарование: экспонаты академии забыли внести в первые издания каталога и не упомянули в анонсах. Это был третий и последний случай «столкновения» Бородина с зарубежными коллегами, когда он настаивал на значимости своих работ. Со следующего года тема потеряла актуальность: он больше не предпринимал исследований, результаты которых имело смысл опубликовать за границей.

По-прежнему Александр Порфирьевич продолжал большую часть вечеров проводить в обществе: у Шестаковой, у Стасовых, у знакомых врачей. На торжественном обеде Санкт-Петербургского собрания художников по случаю 22-летия артистической деятельности Дарьи Леоновой он был одним из ораторов. Газеты вежливо называли событие «юбилеем» певицы. На деле повод был иным: Леонова оставляла императорскую сцену. Артистка вспоминала об этом обеде: «Вся зала и потолок были в зелени. Бюст мой также весь в зелени, кроме того, художник Богданов^[29] сделал акварелью мои портреты в лучших ролях. Без конца, казалось, чествовали мои заслуги; профессора

говорили речи, провозглашали тосты, и кушаньям обеденного меню даны были названия опер, петых мною». Дарья Михайловна осталась без ангажемента, на распутье: «Вдруг в голове моей блеснула новая и смелая мысль. Задумала я думушку, которая не давала мне покою ни днем, ни ночью, а именно: дай-ка возьму да объеду кругом света». И действительно объехала, маршрут ее гастролей пролег через Сибирь, Дальний Восток, Японию, США и Западную Европу.

Александр Порфирьевич далеких путешествий не предпринимал, но летом обязательно вырывался из Петербурга. 26 июня 1874 года с женой, Лизой и Дуняшей он прибыл в принадлежащее капитан-лейтенанту в отставке, мировому судье Суздальского уезда Аполлону Александровичу Куломзину сельцо Губачево. Оттуда Бородины отправились в соседнее Рожново и там «пустили корни». Туда же в качестве фактически члена семьи немедленно был вызван Дианин.

Компанию Бородиным составляла виновница поездки, нашедшая для них эту дачу, — владелица части владимирского села Налескино Мария Миропольская, натура, что называется, ищущая. Начинала она как пианистка, среди ее учеников был маленький Сережа Танеев. В 1871 году Миропольская, прозванная Бородиным Кривошейкой, переехала из Москвы в Петербург. Через два года она неожиданно «променяла лиру на скальпель», то есть консерваторию на медицинские курсы, и стала еще чаще обретаться в профессорской квартире. Екатерину Сергеевну в Москве мучили «вещие сны»: «Я проснулась в испуге и тоске: видела, что ты совсем увлекся Марией Александровной Миропольской — и я ничего не могу поделать». Как тут не вспомнить давно сочиненный ее мужем «Сон Ярославны»: «В страхе проснулась я, а слезы так и льются, и не могу я их унять!»

В 1874 году Миропольская сделала для Александра Порфирьевича доброе дело. Благодаря ей он более двух месяцев провел во Владимирской губернии, с Елизаветой Александровной Куломзиной ездил в Суздаль поклониться Смоленской иконе Божией Матери. В сохранившихся письмах он ни слова не говорит о своих впечатлениях, но... в октябре случилось такое неожиданное для окружающих возвращение к «Князю Игорю». На Владимирской земле произошла его встреча с подлинными русскими древностями: Бородин мог видеть храмы, возведенные, когда Игорь Святославич ходил на половцев. Человеку, для которого «Сиракузянки» Феокрита были полны жизни, древние камни могли поведать о многом.

В полных благодарности письмах хозяйке Бородин рисовал идиллические картины: «Я с наслаждением вспоминаю прошлое лето, Губачево с его радушием и истинно родственной теплотой и заботливостью, Рожново с его архаической простотой нравов, свободой, широко раскинутыми полями с волнующейся рожью, запущенным поросшим садом, моею любимой липой, где я работал и ленился одинаково с наслаждением, забывая вполне всю мелкую возню, все дрянные дразги, которыми преисполнена жизнь»; «Домик Рожновский опять опустел, опять погрузился в зимнюю спячку, отделавшись от докучливых посетителей, нарушивших его многолетний сон. «И с тех пор в хуторке никого не живет» и даже соловей и тот не поет, а только индейский петух глупо кричит на дворе, сопровождая свою глупую подругу по опустелой усадьбе. Полкашка и Кутузка уныло глядят на балкон, откуда никто им не выкинет косточки; мухи подошли, двухвостки разбрелись, голуби на чердаке притихли... Настает осень и скоро — зима!» Из ответного письма Елизаветы Александровны выясняется, что не только липа, собаки да мухи составляли в то лето общество профессора. Все

владимирские и суздальские барышни с восторгом вспоминали Александра Порфирьевича и мечтали заполучить его фотографию.

Где бы ни оказывался Бородин, общество вокруг него собиралось мгновенно. Какой вечер состоялся у него на квартире 5 октября 1874 года — гостей пришло 43 человека! Угощались большими грушами и очень мягким ростбифом. Взятая на выходные из Еленинского училища Лизутка страшно гордилась нарядным белым платьем, танцевала одну кадрили с Иринархом Полихроньевичем и две — с начальником репертуара Императорских театров Лукашевичем. Тихая, пугливая Лизутка, которая ужасно боялась кричавшего на воспитанниц учителя-француза, а письма свои Екатерине Сергеевне подписывала «Ваша толстая Лиза» да «Ваша глупая Лиза», была весьма благоразумна, рассудительна и прекрасно изложила на бумаге события этого вечера.

Екатерина Сергеевна жила в Москве до 2 ноября, так что на мужнином сорокалети (по новому исчислению) отсутствовала. В ту зиму она особенно плохо себя чувствовала — настолько, что часто не могла даже читать взятый у знакомых роман Евгения Андреевича Салиаса-де-Турнемира «Пугачевцы». Следующим летом Бородин хотел вернуться или хотя бы на несколько дней вырваться на реку Уршму, «в благословенное Рожново». Этого желали все: дети Куломзиных сдружились с Лизой, прислуга — с Дуняшей. Очень ждал новой встречи с Александром Порфирьевичем молодой учитель Николай Васильевич, сын священника села Цыбеево. Он страдал от туберкулеза костей, и Бородину удалось (по-видимому, скорее морально, нежели физически) облегчить его состояние. Елизавета Александровна основательно готовилась к приезду гостей. Обнаружив, что ремонт крыльца и балкона — двух мест, где супруга Бородина проводила больше всего времени, — в

стареньком рожновском домике выйдет дороговат, присмотрела удобную дачу в соседнем Головенцыно.

15 июня 1875 года Бородин прибыл в Москву, несколько дней поскитался по родственникам жены... и водворился на лето в Голицынской больнице — как во времена «Богатырей». Только теперь он был знаменит, посему администрация выделила ему пустовавшую квартиру главного врача больницы Николая Ивановича Стуковенко. В распоряжении семьи оказались 21 комната и рояль. В Голицынской, кроме купания с Дианиным в Москве-реке, развлечений было немного, зато прекрасно работалось и над статьей о нитрозоамарине, и над «Князем Игорем». Куломзиным Бородин окончательно ответил только 29 июля и объяснил отказ приехать неурядицами в академии, ее «подвешенным» состоянием и капитальным ремонтом лаборатории. Скорее всего, дело было в том, что Екатерина Сергеевна не разделяла восторгов мужа по поводу прошлогодней дачи. Куломзиной, несмотря на передаваемые приветы, она ни разу не написала.

В сентябре академия, разумеется, встретила хаосом. Нижний коридор, по обыкновению, украшала канава, элемент разнообразия вносила стоявшая в квартире профессора мебель Шабановой. Зато из Самары пришла радостная весть: у шурина Сергея наконец-то появились дети, сразу две девочки. Счастливый отец пребывал в сильном замешательстве от того, сколько теперь требуется женской прислуги: «Переехав в 20-х числах Августа в город, мы очутились с одной только нянькой. Вчера только наняли горничную, кормилицу наняли дня 3 назад; кухарка только завтра поступает. Обедаем из гостиницы, а временная кухарка нанята была только стирать детское белье, готовить себе и няньке и нам носить обед».

На следующий год вопрос выбора дачи оказался в руках некоего сельского учителя, знакомого Алексея

Протопопова. Оказывается, учитель этот уже несколько лет развлекал Екатерину Сергеевну разговорами об особенностях летнего отдыха и хорошо изучил ее требования: дача должна быть недалеко от Москвы, вблизи железной дороги, на сухом месте. Даже гастрономические предпочтения Бородиных были таинственному Алексею Николаевичу преотлично известны. И вот он обратился к Александру Порфирьевичу с предложением снять квартиру в доме его зятя, священника Александра Яковлевича Миролюбова, только что переведенного в Старую Рузу.

В конце мая 1876 года Бородин уже был в Москве, в июне семья прибыла на станцию Шелковка Смоленской железной дороги и оттуда на лошадях добралась до села. Ехали все вместе: Александр Порфирьевич, Екатерина Сергеевна, Дианин, Лиза и Ганя Литвиненко — сирота, жившая в Москве в Николаевском сиротском институте и по мере сил опекаемая Екатериной Алексеевной Протопоповой. Та знала, что сирот плохо кормят, что зимой они часто мерзнут, что «с ними очень грубо обращаются, оттого они и такие делаются сами грубые, а моя так амбициозна, что она из ласки готова все на свете делать». Старушка жалела девочку, но к себе домой не всегда могла взять даже на праздники.

Ганя была, что называется, с характером. Бойкая девочка попросила добрейшего Александра Порфирьевича поиграть с ней в четыре руки (в Рузу привезли рояль Алексея Протопопова):

— Но, позволь: ты ведь ничего не умеешь играть, детка.

— Да нет же: смотри, я умею играть вот что.

И сыграла двумя пальчиками «котлетную польку» (может быть, разговор происходил не в 1876-м, а годом раньше, но суть от этого не меняется). Как было отказать ребенку? Бородин симпровизировал к польке аккомпанемент, вышло что-то вроде «Славянской

тарантеллы» Даргомыжского, тоже сочиненной «для игры с теми, кто вовсе не умеет играть». Вскоре появилось еще несколько музыкальных шуток на ту же тему: Похоронный марш, Реквием и Мазурка. Они имели успех у петербургских «музикусов», к Бородину примкнули Кюи, Лядов и Римский-Корсаков. Весной 1878 года их опыты выросли в коллективный труд под названием «Парафразы. 24 вариации и 15 маленьких пьес на неизменяемую известную тему», уже в следующем году изданный в Петербурге у А. Битнера. Первым делом отправили ноты Ференцу Листу. Тот пришел в восторг, заявил, что «Парафразы» — превосходное сжатое руководство по гармонии, контрапункту, фуге и форме, и сочинил к польке Бородина прелюдию. С опозданием к проекту присоединился Щербачев с большой пьесой «Пестроты». Но это совершалось уже за пределами Старой Рузы.

...Дом священника стоял на горе, между церковью Рождества Пресвятой Богородицы и берегом огибающей гору Москвы-реки. Всё было, как обещали хозяева: четыре комнатки, мебель, посуда. Имелись верховая лошадь, в лучшие годы возившая на себе гусар, тарантас и четыре лодки. К дому примыкало пустовавшее летом помещение сельской школы, где расположилась Дуняша. Было еще одно преимущество, специально отмеченное таинственным Алексеем Николаевичем: «Деревня с селом почти смежна. Что опять для них хорошо: оне, сколько мне помнится, любят слушать деревенские песни».

Да, Екатерина Сергеевна любила слушать песни — много больше, чем ее муж. Горничная ее Дуняша Виноградова, родом с Поволжья (видимо, из-под Сызрани) была певунья. Римский-Корсаков для своего сборника «100 русских народных песен» (1876) записал с ее голоса мелодию «Звон колокол во Евлашеве селе» и долго-долго не мог передать на бумаге свободный,

такой естественный, не укладывающийся в расчерченные такты ритм. Тогда же Николай Андреевич записывал песни от самой Екатерины Сергеевны и от Александра Дианина.

Обе воспитанницы уехали из Старой Рузы не позднее августа. Бородин в тот год не только проигнорировал шедший в Варшаве Пятый съезд естествоиспытателей, но и задержался на даче подольше. Екатерина Сергеевна вспоминала: «Сентябрь уже наступил, и А. П. пора уже было в Петербург; я же с А. П. Дианиным еще решила немного остаться. И вот А. П. поехал; но, обыкновенно мирная, Москва-река задержала его. Она с чего-то разлилась. К тому же поднялся сильный ветер и переехать не было возможности. А. П. постоял некоторое время на берегу. А берег в том месте крутой, и с него хорошо как-то и в то же время уныло было смотреть на разгулявшуюся реку, на эти серые, грустно прыгающие и катящиеся волны. А. П. вернулся назад и проникся двойственным чувством; ему отрадно было лишний день провести со своими, и не мог он отделаться от впечатления, рожденного только что виденной серой картиной. Он сел за фортепиано, и у него сразу, все целиком вылилось ариозо Ярославны: «Как уныло все кругом!».

Коли этот речитатив из последней картины «Игоря», в котором проходит тема Хора поселян, появился на свет в Старой Рузе, значит, и прекрасный хор «Ох, не буйный ветер завывал» был уже сочинен Бородиным. Может быть, под звуки тех самых «деревенских песен». А может, он был тогда лишь начат, развившись позже, не без влияния великолепных хоровых обработок Римского-Корсакова — от «Надоели ночи» до «Татарского полона».

За лето хозяева очень привязались к своим «любезнейшим жильцам» и их «любезнейшим воспитанницам». На будущее лето их ждали снова: перебрали полы и потолки, переложили печи,

пристроили еще одну комнату. Но по каким-то причинам Бородины больше в Старую Рузу не ездили.

Глава 20

ТАЙНА ПРОПАВШИХ РУКОПИСЕЙ

С возвращением к «Князю Игорю» Бородина настигло бедствие, которого он прежде тщательно избегал: крупные работы стали накладываться одна на другую. Он уже ничего не мог поделать, музыкальные замыслы захлестывали, мастерство позволяло браться за любые задачи. Энергия черноусого и черноглазого генерала находила новые русла. Едва появлялся «нравственный досуг», хоть немного отодвигались «мелкая возня и дрянные дразги», он хватался за то, что удавалось теперь лучше всего. Насколько удавалось, знал давно, что бы ни говорили критики. Недаром написал жене о финале Второй симфонии: «Средняя часть вышла — бесподобная. Я сам очень доволен ею; сильная, могучая, бойкая и эффектная».

К своему сорокалетию (по новому счету) Бородин получил настоящий подарок. Еженедельник «Всемирная иллюстрация» поместил статью Михаила Ивановича Сариятти «Русские композиторы. Бородин, Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский» с портретами всех пяти (статьи о Балакиреве и Антоне Рубинштейне вышли еще в 1870 году). О «юбиляре» сказано: «Говоря об этих, еще скрытых или не многим известных силах, нельзя обойти молчанием личность Александра Порфирьевича Бородина, заявившего свой талант хотя не многими, но до крайности оригинальными произведениями, из которых напечатано 7 романсов, отличающихся оригинальностью, свежестью и заставляющих сожалеть, что их так мало».

В конце 1875 года у Бесселя наконец-то вышло переложение Первой симфонии. Кюи не пожалел похвал: «Симфония эта поражает своей яркой талантливостью.

Темы ее превосходны, свежи, кипучи, полны прелести; развитие тем разнообразное и богатое; контрапунктическая работа сложная и чистая; ритмы новые, гармонизация самая тонкая. Если к этому добавить много силы, горячности, огня и значительную степень оригинальности, то будет понятно, что эта симфония не может не поражать своей талантливостью». К недостаткам Кюи отнес «некоторую невыдержанность стиля; общая музыка в смеси с русской, восточной и шумановской музыкой». Этот недостаток критик тут же признал извинительным, поскольку он «встречается в величайших произведениях великих мастеров (русские темы у Бетховена)». Бородин и Кюи друг друга ценили и понимали. В сентябре 1874 года исполненные на вечере у Римских-Корсаковых два акта оперы Кюи «Анджело» (с огромным успехом поставленной в 1876 году) понравились Александру Порфирьевичу гораздо больше, нежели спетый Мусоргским цикл «Без солнца».

В 1874 году произошло еще кое-что: появился Второй струнный квартет Чайковского (сыгранный им петербургским коллегам), и, что было для Бородина не менее важно, квартет написал Римский-Корсаков. Тем самым исчез существовавший в балакиревском кружке негласный запрет на этот жанр. Бородин теперь уже редко играл на виолончели, но по-прежнему не пропускал квартетных собраний Русского музыкального общества и других подобных концертов. В 1873 году среди балакиревцев стал циркулировать, переходя из рук в руки, первый в истории русский квартет — «Волга» Афанасьева (1860), давнего знакомого Бородина. В феврале 1875-го всех удивил старик-теоретик Гунке, дебютировав в качестве композитора: в концерте РМО исполнили фрагмент его оратории «Потоп». Никогда не слыхавший о таком авторе Кюи ожидал увидеть на поклонах «юного, начинающего композитора, едва

расправляющего свои крылья», а узрел «маститого старца», гладко и опрятно излагающего избитые музыкальные мысли. Вот и Бородин взял да удивил «музиков». К апрелю 1875 года он «к ужасу Стасова и Модеста (Мусоргского)» набросал свой Первый квартет, оконченный в 1879-м и посвященный Надежде Николаевне Римской-Корсаковой.

Нет, недаром Евгений Карлович Альбрехт (брат хлопотавшего о мужских хорах Карла Карловича) выслал ему 30 октября 1875 года отчет и устав Санкт-Петербургского общества квартетной музыки, выразив надежду, что профессор «не откажет способствовать своим просвещенным содействием дальнейшему развитию и преуспеянию Общества». Бородин ни с кем не делился замыслами, но, похоже, затеял тогда целую серию сочинений: в процессе работы над Первым квартетом родились тема для Второго квартета и скерцо, по зрелом размышлении предназначенное для Третьего; среди набросков Второго квартета фигурируют темы *Andante* и финала для того же Третьего квартета, увы, так и не оконченного. Что было делать с таким взрывом вдохновения? «Страшно! стыдно! Жалко! Смешно! А ведь ничего не поделаешь? Подобно Клоду Фролло в «Notre Dame de Paris», остается только написать на стене по-гречески — «*fatalite*» — и успокоиться», — порешил автор.

Если бы он писал это кому-то из приятелей, возможно, «*fatalite*» предстало бы цитатой не из романа Виктора Гюго, а из оффенбаховской оперетты «Прекрасная Елена». Но Александр Порфирьевич писал даме. С Любовью Ивановной Кармалиной (в девичестве Беленицыной) он познакомился осенью 1873 года через Балакирева и Шестакову. Музыкальное образование Любви Ивановны простиралось далеко за пределы доступного большинству певиц-любительниц. В молодости она гастролировала в Италии. С ней,

двадцатилетней, Глинка проходил свои романсы, привив ей верную манеру исполнения. С Даргомыжским они пели Глинке дуэт Наташи и Князя, доводя Михаила Ивановича до слез, и в четыре руки играли ему увертюру к «Русалке». Об уроках Александра Сергеевича Кармалина оставила неподражаемые воспоминания: «Даргомыжский, который очень часто бывал в доме у нас, постоянно играл со мною в 4 руки с листа, принося с собою разные сочинения классиков, и вообще все вновь выходящее, аккомпанировал мне свои сочинения и сочинения Глинки... Вообще, Даргомыжский, зная меня еще маленькой, сохранил ко мне чувство потворства, которое всегда бывает в отношении к любимым и избалованным детям. За ошибку, сделанную им, при разыгрывании с листа нот, он получал сию же минуту наказание: я его сейчас же хлопала по руке; а один раз он столько сделал ошибок, что я ему велела стать в угол. К моему удивлению, он покорно пошел и стал. Желая скрыть мое удивление, я села преважно и пречинно, взяв книгу в руки... ожидая, что будет дальше. Даргомыжский сам выжидал, что я сделаю. Как вдруг выскочит из угла, и ну скакать с дивана на кресло, на стол, на рояль, опять на диван. Он метался как угорелый, к всеобщей радости моих сестер и моей; мы пустились его ловить, притащили тесемок, шнурков, чтобы перевязать его, но это нам не удалось, потому что Александр Сергеевич был очень ловок и мы не могли от сильного смеха поймать его».

Бородину Любовь Ивановна была ровесница. Он знал ее не юной девушкой, только что выпущенной из института, а женой наказного атамана Кубанского казачьего войска, в прошлом Эриванского военного губернатора Николая Николаевича Кармалина, матерью большого музыкального семейства. В Волынском Полесье она записывала песни для Даргомыжского, на Кавказе — для Балакирева, на Кубани — для

Мусоргского, раскольничьи. Обосновавшись в Екатеринодаре, выписывала у Юргенсона все музыкальные новинки. Это ей в бытность ее за границей Даргомыжский написал знаменитые слова: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Если не считать Луканиной, у Бородина не было другой столь интеллектуальной корреспондентки. И эта генеральша-интеллектуалка в самом начале знакомства нагрянула к Бородиным в полночь, устроив импровизированный концерт из романсов Александра Порфирьевича!

Их «годовая» — поскольку послания отправлялись с периодичностью примерно раз в год — переписка скудна количеством, но ценна высказанными мыслями. Жене Александр Порфирьевич писал, бывало, каждый вечер, но второпях, падая от усталости, повторяясь и мешая важное с несущественным. За письма к Кармалиной он садился, когда ему было что сказать и возникало желание отрефлексировать поток событий. Их личное знакомство было недолгим (позже, в феврале 1876 года, Бородин, к взаимному удовольствию, познакомился с Николаем Николаевичем Кармалиным). Зато профессор вдумчиво прочел в «Русской старине» за 1875 год большую подборку писем Даргомыжского к Беленицыной-Кармалиной. Вот строки из письма Александра Сергеевича от 16 августа 1857 года: «Нынешнее лето я провел в совершенном бездействии, даже в скуке... Проектов и начатков у меня много, а когда кончу? Бог ведает!» А вот пассаж из письма Александра Порфирьевича от 19 января 1877 года, возможно, не лишенный иронии: «Всюду торопишься и никуда не успеваешь; время летит, как локомотив на всех парах, седина прокрадывается в бороду, морщины бороздят лицо; начинаешь сотню вещей — удастся ли хоть десяток довести до конца?» Параллелизм двух отрывков тем сильнее, что они написаны с разницей в 20 лет, а Бородин был на 20 лет младше Даргомыжского.

Так что Александр Порфирьевич в письмах Любви Ивановне тщательно взвешивал слова, заботился о литературной отделке и даже, в подражание Даргомыжскому, разражался нетипичными для себя эстетическими декларациями. Это ей он метафорически объяснял отпадение «Могучей кучки» от Балакирева: «Пока все были в положении яиц под наседкою (разумея под последнею Балакирева), все мы были более или менее схожи. Как скоро вылупились из яиц птенцы — обросли перьями. Перья у всех вышли по необходимости различные; а когда отросли крылья — каждый полетел, куда его тянет по натуре его». Перед Кармалиной Бородин отчитывался о ходе работы над «Князем Игорем» и ей адресовал знаменитые слова: «По-моему, в опере, как в декорации, мелкие формы, детали, мелочи не должны иметь места; все должно быть писано крупными штрихами, ясно, ярко и по возможности практично в исполнении, как голосовом, так и оркестровом. Голоса должны быть на первом плане, оркестр — на втором. Насколько мне удастся осуществить мои стремления — в этом я не судья, конечно, но по *направлению* опера моя будет ближе к «Руслану», чем к «Каменному гостю», за это могу поручиться». Здесь Александр Порфирьевич явно вставляет свое веское слово в полемику Кюи с неким Огарковым, который на страницах «Нового времени» резонно предостерегал русских композиторов от увлечения в опере миниатюрными формами. При всем при том нельзя сказать, чтобы Бородин не любил «Каменного гостя». Когда в марте 1870 года его исполняли дома у Пургольдов, он «упивался и наслаждался», о чем доложил жене.

Летом 1875 года, в самый разгар сочинения «Князя Игоря» и увлечения квартетами, Бородин спешно доделывал переложение для фортепиано в четыре руки Второй симфонии, уже год, если не больше, как

обещанное Бесселю. Осенью 1876-го это переложение появилось в продаже. В преддверии его выхода Людмила Ивановна Шестакова 19 сентября обратилась к Направнику: «Теперь я имею к Вам просьбу, и большую, а именно: мне 60 лет, долго ли придется прожить — не знаю, но очень хочется слышать Вторую симфонию Бородина, пожалуйста, устройте так, чтобы ее играли в одном из концертов Русского Музыкального общества». Эдуард Францевич относился к просьбам сестры своего кумира с неизменным вниманием. Он ответил: «Касательно 2-ой симфонии Бородина я готов удовлетворить Ваше желание; но, не имея об ее достоинствах никакого понятия, прошу прислать мне партитуру, и по возможности 4-хручное переложение для рассмотрения. После ознакомления с партитурой и соблюдения некоторых формальностей я сообщу Вам окончательный вердикт».

Что было дальше, Бородин поведал Кармалиной 19 января 1877 года: «А тут еще вышел казус: Музыкальное Общество назначило играть в одном из концертов мою 2-ю симфонию; я был в деревне, ничего не знал об этом. Приезжаю — хватать! — ни первой части, ни финала у меня нет; партитура того и другого пропала. Я их куда-то засунул, искал, искал, и так и не мог найти. А Музыкальное Общество между тем требует; наступила пора переписывать партии. Что делать? Я на беду заболел: воспаление лимфатических сосудов на ноге. Делать нечего, пришлось вновь оркестровать. Вот я это в лихорадке лежу, а сам порю горячку: карандашем, лежа, строчу партитуру».

Александр Порфирьевич мог не сомневаться: опубликовал Стасов после смерти Даргомыжского его письма к Кармалиной — опубликует и его, Бородина. Что написано для Любви Ивановны, написано для потомков.

Здесь муза истории краснеет. Дело даже не в том, что к 19 сентября композитор уже, скорее всего,

вернулся из Старой Рузы в Петербург. Дело в том, что рукописи не терялись. И первая часть, и фрагмент финала лежат себе в Публичной библиотеке, украшенные сделанными как раз осенью 1876 года авторскими пометками. Проблема была в следующем: занимаясь переложением в четыре руки, Бородин заново пересочинил целый раздел первой части, а финал у него был записан таким светлым карандашом, что для передачи дирижеру не годился. Пришлось заново срочно писать партитуры первой части и финала. С Людмилой Ивановной они разработали стратегию, придумав версию с «потерей» нот. Направнику было подарено только что отпечатанное переложение и отданы для просмотра партитуры скерцо и *Andante*.

Едва Бородин бросился доделывать две части, как его настиг рецидив болезни, которая ровно три года назад заперла его дома, поспособствовав тогда оркестровке Второй симфонии. 28 октября он отправил Шестаковой письмо, указав в качестве адреса отправителя «Моя кровать»:

«Дорогая, хорошая Людмила Ивановна, я болен лежу в постели, а тут беда: меня треплет лихорадка, а я порю горячку — оркеструю те части 2-й симфонии, которые затерялись; вдруг — о ужас! — ищу партитуры скерцо и анданте — ни того, ни другого нет. Все перерыли, нигде не нашли. Я так и порешил, что над симфонией тяготеет какой-то фатум (только не «фатум» Чайковского), что так ей на роду написано «теряться». Но что мне делать тогда? вновь все оркестровать? когда же я поспею? Я было хотел уже изобразить на лице уныние, как вдруг является — дай бог ему сто лет жизни — вечный мой благодетель Бах и сообщает, что ноты у Вас на рояли, завернуты в афишу. Отцы! вот благодать-то! А я всем уже повадился рассказывать мною неумышленно сочиненную небылицу о том, как я взял этот сверток, положил в карман, уходя от Вас; как зашел в колбасную

Парфенова, купил колбасу, положил туда же; купил горчицу — положил туда же; купил десяток яблоков, положил туда же; купил два лимона — положил туда же (каков карман-то должен быть? совсем поповский!); как все принес в целости, а партитуру обронил или позабыл. И таково мне жалостно становилось, при мысли, что может быть теперь именно Парфенов (да еще не сам, а мальчишка его) завертывает в нее колбасы да сосиски, да еще может быть не свежие... Родная, пришлите партитурки с моим посланным А. П. Дианиным, сыном моим, если не по плоти то по духу. Сам без ноги, а ручку Вам целую».

Итак, 28 октября можно считать днем, когда Шестаковой был получен положительный вердикт Направника. Иначе откуда бы у нее на рояле оказалась партитура двух средних частей симфонии, да еще завернутая в афишу? Там ее, на радостях позабытую автором, и обнаружил «Бах» (Владимир Стасов). Итак, авантюра увенчалась полным успехом. Найти переписчика, скопировавшего полную партитуру начисто и выписавшего из нее оркестровые партии, помог Римский-Корсаков. Можно было вздохнуть с облегчением — и отправить Кармалиной версию «для потомков». Потомки поверили.

Три года симфония пролежала дома у автора, исподволь питая растущего «Князя Игоря» — множество музыкальных идей из нее по-новому развиты в опере. 26 февраля 1877 года она впервые прозвучала в оркестровом исполнении. Критик Михаил Михайлович Иванов, которого принято числить среди врагов «Могучей кучки», отозвался о симфонии тепло, его семнадцатилетний тезка Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (не критик) был в восторге, как и вся молодежь на хорах зала Дворянского собрания. Константин Петрович Галлер, некоторое время учившийся в Петербургской консерватории по классу

флейты, почему-то не смог обнаружить в первой части сонатной формы, об остальных же частях отозвался вполне положительно. И он, и Кюи высказались в духе: «слишком много нот». Кюи, который всегда выделял в концертных программах сочинения друга и понимал их лучше, чем кто-либо из критиков, теперь на первой странице «Санкт-Петербургских ведомостей» сделал Бородину на редкость много упреков:

«Вторая симфония г. Бородина с большими достоинствами, но и со значительными недостатками... Все темы симфонии прелестны и разнообразны: в них есть сила, свежесть, оригинальность, увлечение; словом, разве только можно что-либо сказать против их краткости, мешающей им быть первоклассными. Гармонизации тоже замечательны по своей новизне, красивости, силе. Словом, материал симфонии великолепен, но в его разработке мы встречаемся со значительными недостатками... Во-первых, форма недостаточно тщательно обработана: встречается с несоразмерностью частей (в первом *Allegro* — длинная педаль, слишком рано наступившая после короткой средней части); встречается со слишком явно прилаженными друг к другу кусочками, недостаточно органично вытекающими один из другого (финал). Во-вторых, автор злоупотребляет своей способностью к оригинальным гармонизациям и ритмам; они нагромождены страшно, уху отдохнуть негде, и эта сплошная, почти звуковая, бizarность^[30] производит тяжелое и несколько смутное впечатление. Возьмите отдельно каждый из этих гармонических и ритмических эффектов и вы будете в восторге, до такой степени они хороши и новы; но, вследствие излишнего обилия, ухо не в состоянии воспринимать и усвоить себе эту новизну и странность ощущения, точно так же как глаз теряется среди пестроты слишком ярких красок... В-третьих, симфония инструментована звучно и колоритно, но

нервно, с слишком частою переменою тембров инструментов, и тяжеломерно, особенно скерцо, что помешало придать ему более быстрый темп, необходимый для надлежащего эффекта... *Andante* очень красиво и поэтично; можно только возражать против слишком частых перемен ритма, до такой степени неожиданно капризных, что как только вы перестаете смотреть на палочку дирижера, многое в нем становится непонятным. Финал — жив, боек, несколько дикого варварского характера; в нем именно чувствуется особенное нагромождение гармонических бизарностей. В сумме, по материалу, Вторая симфония г-на Бородина — первоклассна и обличает у автора сильнейший талант; по обработке, по употреблению этого материала — во многом неудовлетворительна; при удачной переработке легко может стать капитальным произведением».

Никогда еще Бородин не вырывался так далеко вперед «к новым берегам», не создавал ничего столь мощного, оригинального и вместе с тем строго продуманного, структурно совершенного. И вот ближайшие друзья устами Кюи призвали его к умеренности и завели разговоры о «переработке»...

Реакцию публики мемуаристы оценили в диапазоне от «очень холодно» до «форменный скандал, напоминающий кошачий концерт». «На днях... в зале Дворянского собрания, в концерте Русского музыкального общества: была ошикана, целою значительною фракциею публики, 2-я симфония г. Бородина, одно из самых могучих и капитальных музыкальных созданий нашего века», — свидетельствовал Стасов.

По окончании концерта кружок отправился к Корсаковым, чтобы ругать «провалившего» симфонию Направника. (Николай Андреевич только что, 25 января, исполнил в концерте Бесплатной музыкальной школы

Первую симфонию Бородина и не мог хотя бы про себя не сравнивать два исполнения.) Но был ли Эдуард Францевич — исключительно добросовестный человек, профессионал высочайшего класса — виноват в провале? Нет, он сделал все, что мог. Не его вина, что Русское музыкальное общество тогда позволяло проводить лишь по две репетиции, перед самым концертом. Нельзя с нуля так быстро разучить столь сложное и абсолютно незнакомое оркестру произведение, особенно если у вас в программе еще три других. Помимо всего прочего, в симфонии постоянно меняется тактовый размер. Восемь лет спустя Ганс фон Бюлов, репетируя в Петербурге Первую симфонию Бородина, долго бился над небольшим эпизодом в переменном размере (хотя у него было не две, а три репетиции и музыканты уже играли эту симфонию с Ауэром). Сколь медленные темпы пришлось брать Эдуарду Францевичу и как часто оркестранты тем не менее ошибались?

Бородин и Направник никогда этого не обсуждали. Все предварительные переговоры шли через Шестакову, на репетициях общение за нехваткой времени было минимальным. И после два музыканта остались друг другу чужими. Вероятно, Направник полагал, что Бородин, как и весь кружок, винит в провале именно его. В 1890 году он отказался от «Князя Игоря», поручив постановку второму дирижеру. Незадолго до смерти на вопрос невестки о причине отказа Эдуард Францевич лаконично ответил: «Ошибся».

Может, и с двух репетиций премьера сошла бы благополучно, если бы речь шла не о Петербургском отделении РМО. Невоспитанность столичной публики и ее недоброжелательность по отношению к отечественным композиторам (за исключением тройки: Антон Рубинштейн — Чайковский — Карл Давыдов) не подлежат сомнению. Концерт завершала «Ночь в

Мадриде» Глинки. Еще не начали ее играть, как публика стала шуметь и расходиться и продолжала покидать зал во время исполнения.

Что было делать? Стасов ответил так: «Мне кажется, надо только бодро идти вперед и делать свое дело — все остальное придет само собою, потихоньку и понемножку». Мудрая Людмила Ивановна продиктовала своей воспитаннице Леночке Афанасьевой провидческие строки: «Вчера я порывалась из концерта к Корсакам и ежели не поехала, то единственно боясь стеснить их; ведь вчера был наш общий праздник, и мне хотелось искренно обнять Вас и поздравить с будущей участью Вашей симфонии, верьте мне, что ей предстоит стоять на той высоте, как «Руслан», ежели было иное дурно исполнено, ежели наша ослообразная публика не сочувственно отнеслась в ней, это все ничего не значит; все-таки хорошо, что она была исполнена, и во всяком случае она не замедлит пробить себе дорогу; сохраните это письмо и через 10-ть лет прочтите его, и Вы увидите, что я была права».

Часть IV

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ



Глава 21

В ГОСТЯХ У ЛИСТА

Неурядицы с премьерой симфонии скоро отступили на второй план. Разворачивавшиеся на Балканах события в апреле 1877 года вынудили Россию объявить войну Турции. Все внимание теперь было приковано к Плевне, Шипке и Карсу. Маленький Сережа Протопопов точил игрушечную саблю и готовился идти «на турку» добровольцем. На Балканы отбыли ветераны прежней кампании Пирогов и Боткин. Двое из пяти братьев Дианиных отправились на фронт. Выпускник медицинского факультета Московского университета Василий Дианин оказался в румынской Александрии, оканчивавший МХА Федор — в Болгарии. Служивший на Кавказе ученик Боткина и один из любимых учеников Бородина Шоноров оперировал раненых в лагере Мусун. Александр Порфирьевич пристально следил за ходом кампании, о которой знал не только из газет. В это же время он сочинил для хора академии песню «Вперед, друзья».

Всё вместе вкупе с ускоренным выпуском в академии не способствовало занятиям композицией. Научная деятельность в это время, кажется, тоже не слишком занимала Бородина, по-настоящему интересовали лишь работы учеников. Заботясь о положении Александра Дианина, Бородин решил, что наилучшим выходом для того будет получить степень доктора философии в одном из немецких университетов. Этой цели он и посвятил первую часть лета. 12 июня Екатерина Сергеевна в обществе курсистки Маши Исполатовской, дочери ее московских друзей, отправилась в Москву, а на следующий день Александр Порфирьевич отбыл за границу. Его новый паспорт уже не являл собой, как в

прежние времена, огромный лист гербовой бумаги с печатью и всеми титулами государя императора. Теперь это была книжечка в темно-зеленом коленкоре, с печатью петербургского градоначальника. Книжечка объявляла кому следует: «Действительный Статский Советник Ординарный Профессор Медико-Хирургической Академии Александр Порфирьевич Бородин командирится за границу», — и более ничего, ни слова об «ученых целях».

С Бородиным ехали два молодых соискателя: Дианин и Михаил Юльевич (Юрьевич) Гольдштейн. Если у первого были проблемы чисто академического свойства, второй в свободное время посещал в Петербурге не только музыкальные кружки. 6 мая он был арестован по делу «Общества друзей» (отделения «Земли и воли»), но почти сразу выпущен под особый надзор. В этом свете понятна удивившая Бородина эмоциональность его родственников при провах: «Куда девались и философия, и радикализм, Гольдштейнов так развезло, что я и не ожидал». Отъезд за границу под крылом профессора напоминал бегство.

По дороге опытный путешественник предавался наблюдениям за впервые оказавшимися в Германии «мальчиками» — интересно было видеть со стороны их непосредственную реакцию. Очень смешило, что суетливый Михаил Юльевич от лавины впечатлений как-то «сократился»; «Александрюшка», напротив, почти сразу повел себя так, будто уже много лет прожил за границей. Вот только к горам-«чудищам» долго не мог привыкнуть.

В старинном университетском городке Йене остановились в отеле, расположенном между домами Гёте и Шиллера, и накинута на немецкие газеты. Бородина особенно порадовало, что немцы, у которых не было резона искажать истину, пишут об успехах русской армии. Со своими спутниками он ходил гулять в горы и

на правах бывшего профессора Лесной академии даже посетил студенческую пирушку в местном Земледельческом институте. Вдали от петербургских забот, в местах, где всё напоминало о молодости, Александр Порфирьевич и сам словно помолодел, хотя странно, непривычно было оказаться за границей без Екатерины Сергеевны.

Если верить воспоминаниям Гольдштейна, все трое поровну делили между собой хозяйственные заботы, вместе ходили закупать провизию. Бородина местные лавочники прозвали *der Dicke* («Толстяк»), Получение телеграммы гросс-герцога Саксонского на имя его превосходительства генерала Бородина произвело в городке переполох: «Все смотрели нам вслед и не могли понять, как это такая важная особа несет в руках свертки с колбасой...»

Получить степень в Гейдельберге или Гёттингене было бы почетнее, но Бородин выбрал для питомцев тихую Йену. «Мальчиков» он поручил заботам своего одногодка, профессора химии Антона Гойтера. Екатерине Сергеевне было сообщено: «Он нашел работы птенцов более нежели удовлетворяющими условиям диссертаций, показал мне кучу диссертаций, сделанных в Йенской лаборатории. С удовольствием могу сказать, что все они в подметки не годятся диссертации Павлыча и большей частью куда слабее диссертации Гольдштейна». Хозяйственный Павлыч, едва переехав из гостиницы в снятую квартиру, устроился основательно и нанял себе учителя разговорного немецкого. Даже накануне защиты ему снилось, будто предстоит экзамен по немецкому языку. Вообще после отъезда профессора из Йены «вдруг сделалось ужасно скверно. Так скверно, как будто я, например, плавал на пузырях и пробках, и вдруг из-под меня исчезли и пузыри, и пробки, и я должен сам держаться на воде». Впрочем, Александрюшка не скучал, даже наблюдал однажды

студенческую дуэль. 5 декабря (по новому стилю) он успешно защитил работу «Об окислении фенолов» и стал доктором философии.

По железной дороге от Йены до Веймара — не дольше, чем от Петербурга до Царского Села. С тех пор как в Веймаре поселился неофициальный глава Новой школы Лист, город стал местом паломничества музыкантов. О петербургских композиторах Лист был неплохо осведомлен. В 1873 году кружок поздравлял его с пятидесятилетием музыкальной деятельности. Муза истории требует не забывать, что летом 1876 года Кюи в качестве музыкального критика «Санкт-Петербургских ведомостей» ездил в Байройт и дважды прослушал вагнеровское «Кольцо нибелунга». По дороге он специально заезжал в Веймар, чтобы застать маэстро в домашней обстановке, о чем подробно доложил читателям «Ведомостей» в очерке «День у Листа». Его статьи о «Нибелунгах» в высшей степени обстоятельны и добросовестны (вплоть до открывшихся глазу военного инженера конструктивных особенностей театра), но главным в путешествии Кюи все же оказалась не тетралогия. Заключительный очерк о вагнеровском фестивале Цезарь Антонович завершил словами... о вновь встреченном им в Байройте Листе: «Глядя на его добрую, полную жизни старость, вспоминая длинный артистический, им пройденный путь, нельзя не быть растроганным, нельзя от знакомства с ним не вынести неизгладимого, отрадного впечатления, возвышающего и облагораживающего человечество».

Александр Порфирьевич не мог не читать этих статей, ведь Кюи донес до петербуржцев похвалы Листа его Первой симфонии. И вот 1 июля (старого стиля) 1877 года Бородин направился по стопам друга и соратника. Цезарь Антонович заверял читателей: «Лист в Веймаре совершенный патриарх: все его знают, все любят, все

уважают. Квартиру его мне указал какой-то 9-летний мальчик». На поверку всё вышло иначе. Никто в целом городе не мог сказать Бородину, в какой стороне дом маэстро! Долго он блуждал и расспрашивал, пока какой-то длинный неуклюжий немец не сказал:

— Вот тут напротив живет, кажется, какой-то доктор Лист.

До приемных часов «какого-то доктора» оставалось еще немало времени, и Бородин отправился бродить по Веймару. Для него город Лукаса Кранаха, Шиллера, Гердера и Виланда выглядел музеем под открытым небом.

К назначенному часу он вернулся в сомнениях, тот ли это доктор Лист, который ему нужен. Но не успел отдать визитную карточку, «как вдруг перед носом, точно из земли, выросла в прихожей — длинная фигура, в длинном черном сюртуке, с длинным носом, длинными седыми волосами. «Вы сочинили прекрасную симфонию! Добро пожаловать! Я — в восторге, всего два дня тому назад я играл ее у великого герцога, который ею очарован» — сильная рука его крепко сжала мою руку и усадила на диван». Лист словно ждал Александра Порфирьевича, чтобы пролить бальзам на его душу. Речь шла о Первой симфонии. Бородин вставил, что сам сознает многие недостатки, что его упрекали за слишком частые модуляции... Лист перебил:

— Боже сохрани, ничего не трогайте! У вас громадный и оригинальный талант, не слушайте никого!

С этого момента реальность наконец совместилась с описанием Цезаря Антоновича. Камердинер Листа Спиридон Лазаревич Кнежевич, черногорец по национальности (Александр Порфирьевич общался с ним по-итальянски), с момента вступления России в войну с Турцией еще горячее относился к русским. Любимой ученицей маэстро по-прежнему пребывала 23-летняя теперь уже Вера Викторовна Тиманова, часто

слышавшая от своего педагога: «Мадемуазель Вера! Разрешите восточный вопрос вашим методом!» Сие означало, что сейчас прозвучит «Исламей» Балакирева. Разговор шел то по-французски, то по-немецки, Лист говорил быстро, громко и увлеченно — о «Садко» Римского-Корсакова, о трио Направника. Бородин был в высшей степени приятным собеседником, но в Веймаре он встретил собеседника еще более приятного:

— Вы знаете Германию? Здесь пишут много; я тону в море музыки, которую меня заваливают, но боже, до чего это все плоско! Ни одной живой мысли! У вас же течет живая струя; рано или поздно (вернее, что поздно) она пробьет себе дорогу и у нас.

Он не преувеличил. По сообщению журнала «Всемирная иллюстрация», только за первую четверть 1878 года в Германии, Австрии и немецких кантонах Швейцарии явились новые музыкальные сочинения общим числом 1034.

На другой день Лист давал концерт в готической церкви Святого Михаила в Йене. Помимо духовных произведений была исполнена его транскрипция Траурного марша из Второй сонаты Шопена: виолончелист и органист играли по нотам, сам Лист импровизировал за фортепиано. На Бородина еще на утренней репетиции пьеса произвела колоссальное впечатление эффектом колокольного звона. Может быть, под впечатлением от этого концерта возникла одна из немногих музыкальных шуток, записанных Бородиным: Реквием для тенора, мужского хора, фортепиано и органа на тему «котлетной польки». В сборнике коллективных «Парафраз» Реквиему придан вид фортепианной пьесы. В оригинале он протяженнее и имеет вид партитуры, которую предписано исполнять «в темпе польки» при участии «хора монахов». На домашних концертах монахов могли с успехом заменять студенты-медики, одно время Бородин намеревался

прибавить к «монахам» также и женский хор. Бесконечно комбинируя голоса в тройном контрапункте, не посмеивался ли Бородин над сочинявшим десятки фуг новоиспеченным профессором Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым? В довершение всего в основу полифонической композиции положена тема, открывающая... Реквием Моцарта! Пройдет два десятка лет, и Римский-Корсаков введет эту же тему в свою оперу «Моцарт и Сальери».

Между репетицией и концертом Бородин в окружении стайки юных учениц Листа поедал на улице вишни. Потом, смущаясь дорожным платьем (другого с собой в Германию взять не догадался!) и нечищеными сапогами, обедал с маэстро в кругу его друзей. А вечером с интересом наблюдал, как все приехавшие на концерт из Веймара никак не могли поместиться в поезде и для них долго-долго прицепляли дополнительный вагон.

От музыки, общества и сыпавшихся на всех языках комплиментов Бородин был как в чаду и всё ездил в свой «Венусберг», разумея под взятым из вагнеровского «Тангейзера» топонимом Веймар, к «Седой Венере», разумея Листа. Как и Кюи годом раньше, он был допущен в святая святых — присутствовал на занятиях Листа с учениками и ученицами (учениц на одного ученика обычно приходилось около семи). Александр Порфирьевич явно вспоминал иные времена и иных педагогов, когда писал жене: «Он не сердился, не горячился; ученики не обижались... Во всех своих замечаниях он был при всей фамильярности в высшей степени деликатен, мягок и щадил самолюбие учеников». Отрадно было видеть старика-учителя среди обожавших его питомцев и особенно питомиц, ведь роль «старого учителя» в кругу восторженного юношества Бородин давно уж примерял на себя. Особенно приятно было замечать, как выделяет Лист из толпы молодежи

соотечественницу Тиманову. Он и сам с ней сдружился и восхищался ее игрой. Тиманова вместе с контраalto Анной Ланков специально устроила для его «мальчиков» домашний концерт. Екатерину Сергеевну муж тщетно заверял: из двух соискателей больше «раскисал» Гольдштейн, и то от певицы, — она всё равно бомбардировала Дианина посланиями ревнующей пианистки.

Не менее приятной была дружба с жившей в Веймаре баронессой Мейендорф (урожденной княжной Горчаковой), которую Бородин прозвал «мое провидение в Веймаре». В ее доме Лист никогда не отказывался играть и импровизировать. Здесь смущенный Бородин впервые исполнил с ним в четыре руки свою Первую симфонию, а баронесса изображала публику. Его в два голоса журили, что до сих пор не издана оркестровая партитура, и требовали спеть что-нибудь из романсов, но он страшно стеснялся, ничего не пел и только сыграл женский хор из «Князя Игоря» — «Улетай на крыльях ветра». А после побежал телеграфировать Бесселю, чтобы тот прислал Листу переложение Второй симфонии и все романсы. Отправляясь в Германию, он не захватил с собой никаких нот!

Бессель выказал чудеса оперативности. В очередной приезд Лист встретил Бородина словами «Мы вчера играли Вашу вторую симфонию! Она — превосходна!» — и поцеловал кончики своих пальцев. Бородин учтиво спросил его о замечаниях и советах, и тут Лист разразился тирадой, как всегда, сопровождаемой энергичными жестами:

— Не меняйте ничего! Оставьте ее такую, какова она есть; она построена совершенно логично. Вообще я могу дать вам единственный совет: следуйте по вашему пути, никого не слушайте. Вы во всем всегда логичны, изобретательны и совершенно оригинальны. Вспомните, что Бетховен никогда не сделался бы тем, чем он был,

если бы слушал всё, что ему говорили; вспоминайте басню Лафонтена: «Мельник, сын его и осёл». Работайте по вашему методу, не слушайте никого! Вот мой совет, раз вы желаете его от меня получить!

Симфонию вновь играли в четыре руки, сменяя друг друга за фортепиано, автор, хозяин и его ученик Юлиуш Зарембский. Быстрый финал мэтр сыграл «шельмецки» и вновь излил бальзам на душу Александра Порфирьевича:

— Говорят, что нет ничего нового под луною, а ведь вот это — совершенно ново! Ни у кого вы не найдете этого!

«Морская царевна» тоже произвела в Веймаре фурор, а после Зарембский сыграл Бородину свою Большую фантазию для фортепиано с оркестром (которую впоследствии уничтожил) и советовался с ним относительно инструментровки.

Одним словом, в Веймаре Бородина любили и баловали. Карл Александр, великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский, в 1877 году сокративший свой титул до великого герцога Саксонского, тоже проявил к нему интерес. По материнской линии Карл Александр приходился внуком Павлу I, а женат был на двоюродной сестре, также внучке Павла. Герцог не раз бывал в Петербурге, но, судя по отзыву Бородина, его русский язык был далеко не так хорош, как об этом пишут историки. О художественных интересах Карла Александра говорит хотя бы тот факт, что он основал в Веймаре музей Гёте. Некогда его дед Карл Август пригласил поэта ко двору. Гёте прожил в Веймаре почти 60 лет и со временем стал местной достопримечательностью, все путешественники считали своим долгом посетить его в специальные приемные часы. При Карле Александре точно такую же роль в городе стал играть Лист.

Зная Первую симфонию Бородина по фортепианному исполнению Листа, герцог пожелал познакомиться с ее

автором. Они вместе провели целый вечер у баронессы Мейендорф, слушали в интерпретации Листа и Зарембского Вторую симфонию. Герцог расспрашивал о «Князе Игоре» — Бородин сыграл несколько хоров, петь сольные номера и играть танцы не решился. В довершение всего герцог спросил Листа, можно ли устроить в Веймаре оркестровое исполнение Первой симфонии.

На прощание Лист подарил Бородину свою фотографию. Александр Порфирьевич попросил еще автограф, и тут вышло затруднение: фотографий хозяина в доме имелось предостаточно, но в грудке нотной бумаги ничего подходящего не нашлось. Тогда Лист записал последние такты «Данте-симфонии» — тот из двух вариантов финала, который тогда еще не был напечатан, — и вручил Бородину.

Необыкновенно длинные письма к Екатерине Сергеевне подробно описывают успехи «мальчиков», красоты природы, причуды климата и капризы торговли, но больше всего страниц в них все-таки посвящено Листу. Письма так обстоятельны и так хорошо изложены, что в следующем году Бородин составил из них для Стасова статью «Мои воспоминания о Листе», позднее изданную под названием «Лист у себя дома в Веймаре». Редчайший случай: Екатерина Сергеевна, в чьем пантеоне великих людей Лист (надо полагать, еще благодаря Шпаковскому) занимал одно из первых мест, помогала мужу в работе не только советом, но и делом. Первые страницы переписал перед отъездом на Балканы Федор Дианин, затем за дело взялась она, а Бородин при ее участии придал тексту окончательный вид. Екатерина Сергеевна сообщала Александррушке: «Саша дописывает Листиаду и советуется и спрашивает меня во всех своих затруднениях. Он зачеркивает, убавляет, прибавляет то соли, то перцу, то меду в свою рукопись — все по моему усмотрению и вкусу. Не скрою, что такая вера в мой вкус

и чувство меры — очень лестна мне». Тон изложения стал спокойнее, непосредственный восторг потрясенного, ошарашенного путешественника скрылся за бородинским остроумием. Появилось несколько новых подробностей, но исчезли слова Листа о чужих советах и басне Лафонтена: пощадил Александр Порфирьевич своих обидчивых друзей.

После Йены города замелькали один за другим: Марбург, где умерла воспетая Листом святая Елизавета, Бонн, Аахен, Гейдельберг, Страсбург, Мюнхен, Берлин — везде у Бородина были дела и друзья. При подъезде к Гейдельбергу — его земле обетованной, его Мекке, Медине и Иерусалиму — замелькали городки, где в 1861 году они с Екатериной Сергеевной не раз бывали вместе: Бинген-на-Рейне, Бенсхайм, Хеппенхайм. «Я был до того возбужден, до того взволнован, что не заметил даже, как настал вечер (5 часов); только позже гораздо я вспомнил, что с утра, с 6 часов, я ничего не ел и не пил (несмотря на нестерпимый жар). Я пожирал глазами каждую горку, дорожку, каждый домик, деревеньку — все мне сразу напомнило счастливые времена. Подъезжая к Гейдельбергу, я спрятал лицо в окно, чтобы скрыть набегавшие слезы, и крепко сжал ручку зонтика, чтобы не разреветься, как ребенок. Я с замиранием сердца караулил тот садик, что выходил на железную дорогу от Гофмана; садик, где я тебя видел на другой день после Вольфсбрунна. Помнишь? Укараулил таки!! Узнал его сразу!! Почуял его!!» Нет во всей истории русской музыки другого такого письма, какое отправил Бородин жене 18 (30) июля 1877 года! Как и 19 лет тому назад, он остановился в «Баденском дворе» — и уж тут, в номере, разрыдался. За обедом в гостинице сел на то же место, где сидел в прошлый приезд. Город был полон воспоминаний: ни одна улица, ни один дом, ни единое дерево не изгладились из памяти, прошедших лет как не бывало. Профессор

«трогал стены домов рукою, прикасался к ручке двери знакомых подъездов; словом, вел себя, как человек не совсем в своем уме».

По берегу Неккара проложили железную дорогу, но вода «Волчьего источника» все так же лилась из четырех волчьих морд, и так же плавали в фонтане форели. Бородин сел у самой воды. Девушка лет пятнадцати обратилась к нему с приветливой улыбкой:

— Насилу-то опять собрались к нам! Что давно не были?

Но нет, это ему только так подумалось. На самом деле немочка, которой в 1861 году еще и на свете не было, спросила:

— Желаете пива или чего-нибудь еще?

Он отправился разыскивать старых знакомых. Как это не раз бывало с ним, сполна наделенным воображением, воспоминания о счастье стали важнее, реальнее самой реальности. Чем больше лет отделяло его от самого счастливого дня жизни и чем больше верст — от виновницы этого счастья, тем, парадоксальным образом, сильнее становились чувства Александра Порфирьевича: «Никогда еще я так далеко не уезжал от тебя и, кажется, никогда ты мне не была так близка, как теперь».

На обратном пути Бородин навестил в Вильно — братьев, в Москве — тещу и направился в Давыдово, где с 24 июня ждала его Екатерина Сергеевна.

Глава 22

В ПОИСКАХ РОДОВОГО ГНЕЗДА

Выехав из Москвы поездом, Александр Порфирьевич миновал Владимир и вышел на станции Боголюбово. Там за полтора рубля был нанят плетеный тарантас. От железной дороги поднялись в гору, миновав Боголюбский монастырь, в ансамбль которого входит сохранившаяся до наших дней часть дворца князя Андрея Боголюбского (1158).

По Владимирке (она же Сибирский путь) направились в сторону Нижнего Новгорода и вскоре свернули к Давыдову. Было это 5 августа 1877 года.

Сколько бы Александрюшка Дианин ни рассказывал профессору о своем родном селе, вряд ли тот был достаточно подготовлен к открывшейся перед ним картине. С Давыдовом тогда еще не успели окончательно слиться Филяндино, Аксенцево, Новское и растворившаяся среди них Скучили-ха, и все равно село было немаленьким. Некогда эти земли принадлежали Владимирскому Богородице-Рождественскому монастырю, но при Петре III село Давыдово стало «экономическим», оброк и барщину сменила подушная подать. А места-то благодатные! Поля, леса, изобилие дичи, особенно птицы, богатые рыбой озера Вальковской поймы: Свято, Красное, Войхро, Войхра, Войхрыч, Нижнее Вышихро... Не говоря о близости дороги на Нижегородскую ярмарку. Сегодня в Давыдове удивляют крестьянские избы на кирпичном цоколе и старинные кирпичные здания. При Бородине село не выглядело настолько богатым, каким оно стало к началу XX века, но в центре его уже стояла пятиглавая Преображенская церковь, выстроенная в 1840-е годы заботами Павла

Афанасьевича Дианина, и уже высилась колокольня, позднее доведенная до высоты 77 метров.

Бородину всё здесь пришлось по сердцу: чудесная природа, крестьяне, уже более ста лет не знавшие крепостного права, дианинская семья, из которой тогда были в Давыдове Павел Афанасьевич и его младшие сыновья Федор и Николай. Охота и рыбалка не влекли, но погулять по лесу, меряя обхватами старые сосны, и, конечно, пособирать грибы он любил. Екатерина Сергеевна, против обыкновения, тоже была «ужасно довольна» местом. Даже ручей вблизи дома (приток Крапивки) ее, страшившуюся сырости, не смутил.

Здесь супругам предстояло три года кряду проводить лето — ни к одному из своих деревенских пристанищ они еще так не привязывались. Александр Порфирьевич, выросший под крылом энергичной матери, не был по натуре человеком, основательно обустроившим родовое гнездо. Ему вполне хватало забот о химической лаборатории. Возможно, постоянство в привязанностях и заставило бы его обзавестись собственным домом, но Екатерина Сергеевна обычно быстро разочаровывалась — не было на свете такой волшебной местности, где бы самочувствие рано или поздно не начинало доставлять ей огорчения. К тому же в 1880-е годы наконец прояснилось несходство вкусов: муж любил деревню, жена — ближние дачи. Все же Давыдово стало для Бородина больше, чем просто очередным местом отдыха. В завещанном Сергеем Александровичем Дианиным доме здесь в 1980 году открылся единственный в мире музей Бородина.

В Давыдово Александр Порфирьевич приехал в прекрасном творческом настроении, отдохнувший, полный сил. После встречи с Листом он верил в себя как никогда. Химия была забыта до осеннего семестра, если не считать чтения научных журналов. Из Москвы прибыл рояль Алексея Протопопова, и Бородин немедленно

приступил к усердному «служению Аполлону» — засел за Первый квартет, оконченный в Давыдове летом 1879 года. Рояль Алексея плохо перенес путешествие, поэтому следующим летом, 30 июня 1878 года, Бородин специально поехал из Давыдова в Москву и внес 25 рублей задатка за подержанное фортепиано московского мастера Леопольда Штюцваге, выбранное им в магазине А. Кампе за прочность конструкции. 8 июля Александрюшка привез немцу оставшиеся 75 рублей и договорился о доставке. Фортепиано понравилось, он нашел, что некий владимирский сорокарублевый инструмент относится к московскому сторублевому, как беккеровский рояль к шрёдеровскому. Рояли этих конкурировавших петербургских фирм с недавних пор соседствовали в профессорской квартире. Весной 1877 года Бородин купил у Шрёдера большой концертный рояль палисандрового дерева, новейшей американской системы, диапазоном в семь октав (№ 6701). Это чудо Карл Иванович уступил ему за 700 рублей. Рояль Беккера был приобретен гораздо раньше.

Сторублевый инструмент торжественно привезли в Давыдово 16 июля, не без помощи еще двух братьев Дианиных — Федора и служившего на железной дороге Михаила. За этим фортепиано Бородин немедленно сочинил какой-то красивый романс, к которому не было подходящих слов. Настраивал фортепиано он без посторонней помощи. Сочинял Бородин по-прежнему за инструментом, а чтобы записать музыку, переходил в роскошный рабочий кабинет «с громадным зеленым ковром, уставленным великолепными деревьями, с высоким голубым сводом вместо потолка».

В Давыдове семимильными шагами двинулась вперед работа над «Князем Игорем». Летом 1878 года для картины у князя Володимера Галицкого были сочинены «Княжая песня» и заключительный хор. От хора Стасов был в неописуемом восторге: «Бородин

сочинил такой *chef d'oeuvre a la* Борис Годунов». Уезжая в Петербург, Александр Порфирьевич оставил в Давыдове и фортепиано, и эскизы «Князя Игоря» — продолжать такую серьезную работу во время учебного года он не надеялся. Строго говоря, ничего исключительного в этом не было, многие активно работавшие композиторы сочиняли главным образом летом — лишь бы оно не было «заедено».

Летом 1879 года появились песня Галицкого, его дуэт с Ярославной, сцена Ярославны с девушками и финал этой картины (начиная с боярского хора «Мужайся, княгиня»). Сцены так логично, так крепко сами собой сложились в единое целое, что Бородин не мог не похвастаться Стасову: «Вон оно как сочиняется, органически-то, либретто!» Тогда же пришлось ему из Давыдова отражать по почте первую интервенцию Римского-Корсакова, который по собственному почину взялся «приводить в порядок» клавир «Игоря», улучшая и украшая музыку по своему разумению, при живом-то авторе!

Между сценой Ярославны с боярами и нападением половцев Бородин вместо стасовского рассказа купцов о пленении Игоря поставил сцену бунта дружины Галицкого. Познакомившись с ней осенью, Мусоргский расцеловал Александра Порфирьевича! Действительно, в ней есть сходство со сценой под Кромами из «Бориса Годунова». Впоследствии Римский-Корсаков мудро исключил этот бунт из оперы, чтобы из-за него цензура одним махом не запретила все произведение. В последнее давыдовское лето Бородин торопился с работой — как чувствовал, что никогда больше не будет у него возможности так долго и так успешно заниматься «Князем Игорем» и что плодотворные каникулы рано закончатся. В 1877 году Бородины покинули Владимирскую губернию 16 сентября. В следующем году отъезд состоялся в первые дни осени: по опыту стало

ясно, что сентябрь на Вальковщине слишком суров для Екатерины Сергеевны. А в 1879-м в академии раздался призыв к порядку, лекции велено было начать 1 сентября, посему пришлось отбыть 25 августа.

Описание путешествий, ежегодно совершаемых супругами Бородиными из города в деревню и обратно, могло бы составить целую главу в какой-нибудь «Истории быта русской интеллигенции в XIX столетии». Вот лишь небольшие выдержки из письма^отправленного Бородиным Дианину и Гольдштейну в Иену 17 сентября 1877 года, на другой день после отъезда с дачи:

«Нечего делать — «взвились», несмотря на анафемски-ненастную погоду, и отправились вчера «налегке», с багажом в 7 пудов 34 ф., не считая всяких плэдов, зонтиков, мешков, мешочков, корзинки с живыми карасями в мокрой крапиве, узла с репою, узла с огурцами, бочонка с солеными рыжичками, груздочками, волжаночками, банки с отварными маслятами и ореховыми грибочками, корзинки с пирогами, вареными вкрутую яичками, жареными в сметане карасиками, вареною курочкою, хлебом, солью, сахаром, чаем; с калеными орехами в одном кармане и полштофом водки «двойной очистки» в другом («профессорской» — как я ее прозвал, в отличие от той, которую употребляют в Давыдове «народные учителя» и вообще менее обеспеченные представители русской интеллигенции). В дополнение ко всему целая коллекция подушечек, платочков, платков; — ужас!.. А все-таки это только «налегке» уехали, ибо многое множество вещей — конторку, керосиновую кухню с принадлежностями, лампы, чайнички, кофейники, миски, тарелки, ножи, ложки и другую посуду всякую, летнее платье, летнюю обувь, сенники, драпировки, всякие — макароны, перцы, цикории, горчицы, крепкие бульоны и пр. и пр., равно как и весь арсенал лекарств — все оставили в Давыдове

милому папану Вашему в залог того, что приедем к нему и на будущий год... Далее на попечение папана остались 7 пудов кушетки с приложением в известном Вам колоссальном ящике, классический сундучина наш и ящик с самоваром (для Николая), электрической, т. е. гальванической батареею и большою керосиновою лампою... Вот как ездят русские культурные люди у себя дома, в отечестве!.. Широко распахнулись тесовые ворота, запруженные учащеюся молодежью Давыдова (очевидно радикального оттенка, ибо она была в красных русских рубашках, штаны в сапоги; словом, как наши радикалы-студенты). Устинья бесцеремонно крикнула на учащуюся молодежь «цovo стоите-то здесь!» (должно быть она принадлежит к представителям «охранительного» элемента в Давыдове). Молодежь расступилась, и культурный поезд тронулся».

Инвентарный список совершенно не вяжется с Давыдовским образом жизни Александра Порфирьевича, который с наслаждением переодевался в крестьянскую рубаху и пахнущие дегтем сапоги, при необходимости спокойно спал на полу — и находил в этом высшую степень свободы от «службы». Как человек полный и небогатый гардеробом, он чрезвычайно удобно чувствовал себя в подштанниках, заправленных прямо в сапоги (в таком виде они внешне не отличались от летних брюк). Фрачная пара извлекалась, когда Бородин шел к обедне или когда в селе встречали крестный ход с Боголюбской иконой Божией Матери, шедший из Боголюбского монастыря в Ковров.

К своему генеральству Бородин относился до того спокойно, что иногда подписывал письма «Генераша-замараша». Оказавшись не в дворянской усадьбе, как бывало раньше, а среди работающей семьи священника, он с удовольствием помогал в уборке сена и другой подобной деятельности. Большинство местных

обитателей не подозревали о его чине и между собой звали безотказно лечившего их генерала «толстым фершалом». В 1879 году Бородин сперва приехал в деревню только с воспитанницами: Екатерина Сергеевна задержалась в Петербурге, затем в Москве у матери. Муж сообщал ей: «Мы жили и живем тут ведь попросту; по выражению Тургенева, совсем опростились». Опрощение по-толстовски для русской интеллигенции еще было делом будущего, но Тургенев уже успел написать о нем в романе «Новь» (1877), а Бородин успел роман прочитать. Он был бесконечно далек от того, чтобы бросаться претворять в жизнь чьи-то идеи. Просто для сына Авдотьи Константиновны само собой разумелось: коли все дианинские работники заняты в поле, ничего страшного не случится, если профессор и его воспитанницы сами уберут постели, вытрут пыль и подметут пол.

Об этом деревенском житье Римский-Корсаков много лет спустя рассказал в «Летописи» весьма причудливо, как он смутно помнил по рассказам друга: «Уже несколько лет подряд Бородины уезжали на дачу в среднюю Россию, кажется, преимущественно в Тульскую губернию. Жили они на даче странно. Нанимали ее обыкновенно заочно. Большею частью дача состояла из просторной крестьянской избы. Вещей с собой они брали мало. Плиты не было, готовили в русской печке. По-видимому, житье их бывало пренеудобное, в тесноте, со всевозможными лишениями. Вечно хворавшая Екатерина Сергеевна почему-то ходила на даче все лето босиком. Но главным неудобством такого житья-бытья было отсутствие фортепиано. Свободное летнее время протекало для Бородина если не совсем бесплодно, то, во всяком случае, мало плодотворно... Так-то странно складывалась жизнь для Бородина, а между тем чего бы, кажется, лучше для работы, как не его положение вдвоем с женой, и с женой, которая любила его,

понимала и ценила его громадный талант». Если супруга Александра Порфирьевича и правда ходила босиком, она могла подражать в этом «опростелой» Марианне Синецкой из тургеневской «Нови».

В остальном в присутствии Екатерины Сергеевны семья вела более привычный образ жизни. Спать ложились с рассветом, перед этим основательно закусив в обществе самовара. В июле 1878 года Бородины и Дианины распевали хором очередное пародийное сочинение, музыка которого не сохранилась, — «Песню о стороже села Давыдова Василии Поченом, крестьянина того же села Ионы Дмитриева Акилова собаке Морозке и приезжих господах»:

...Стал старик и наблюдает,
В окна к господам глядит:
Барин спит совсем, зевает...
Барыня, гляди... курит;
Вишь, поди-ка, стол накрыли;
Самовар на стол тащат;
Чаю, значит, заварили;
Яицы никак варят; —
Вот житье-то им сердешным,
По ночам и то едят!
Им не то, что нам-то, грешным,
А поди вот ты: не спят!..

Бессонница Екатерины Сергеевны, которую обязаны были разделять домочадцы, мучила воспитанниц до такой степени, что они не забыли этого до конца дней своих. Бородин по-прежнему режима жены не одобрял, но поделаться ничего не мог, так что часов до трех ночи «служил Аполлону». По утрам в деревне можно было и поспать, не опасаясь, что в девять или даже в восемь часов явится кто-нибудь из коллег по срочному делу.

Екатерина Сергеевна много гуляла, но только по деревне. По воскресеньям устраивались любимые обоими супругами танцы, во время которых Бородины сменяли друг друга за фортепиано. Общительная Екатерина Сергеевна радовалась: «Публики под окнами и в комнатах бездна. Хоровое пение с пришлыми девицами тоже совершается по праздникам». Ее письма дают представление о том, в какой обстановке Александр Порфирьевич сочинял путивльские сцены «Князя Игоря»: «Представьте себе такую картину: жаркий день, мы сидим на задах у только что скошенного сена. Саша пишет ноты, Лена и Ганя шьют, я вяжу — все сидят на сене — а возле Митя-пастух, корявый, но добрый малый, по моему наущению, режет моими новыми ножницами у себя ногти на ногах и на руках! — Другая картина: я сижу на скамейке, перед домом, Ганя с книжкой возле меня, — передо мной, на коленях Василий — Ермилов, одной рукой держится за мою коленку, другой жестикулирует. Подъезжает Никола [Дианин], возивший снопы с поля, и похищает меня из-под самого носа Василия Ермилова». Сколько было у нее радостей — деревенские дети, которым она читала стихи, и не менее пяти котов и кошек с котятками. Но наступала осень, и вспоминала она мудрость младшей воспитанницы: «Правду говорит Ганя, что в жизни все расставанье или утрата...»

С семьей Дианиных Бородины жили дружно, обед гостей иногда даже совпадал с ужином хозяев. Бородин восхищался Павлом Афанасьевичем: «Это такая воплощенная простота, доброта и теплота, какую я себе могу представить только в человеке, вышедшем из народа, но никогда не выходившем из народа. Сколько в нем врожденной, тонкой, настоящей — не буржуазной европейской, — деликатности, любезности, простоты без всякой приниженности, услужливости без низкопоклонства». А до чего восхищал его младший из

Дианиных, Николай: «Как я люблюсь им! Вот образец здорового во всех отношениях русского парня — умный, способный в высшей степени, деятельный, работающий, умелый на все, за что ни примется, а принимается он за многое, чуть не за все. А что за сила! Надобно видеть, когда он молотит, пилит, дрова рубит, — сердце радуется. Не много мужиков с *ним* потягаться могут. И как он всегда сейчас отыщет дело, и все полезное, нужное! Не успеет воротиться из лесу, с охоты — глядишь, уж молотит, да как! Небу жарко!.. Совсем Илья Муромец — давай Бог ему здоровья, славный мальчуга!»

Провожая Николая в город, вздумали петь «Прощание охотника» и другие песни Мендельсона для мужского хора, сколько помнили наизусть. Екатерина Сергеевна и Александр Порфирьевич исполняли партии теноров, Федор и Николай — басов: «А слушателей-то, что слушателей было! Чуть окна не высадили. Мы уж отворили окна-то, из предосторожности. Сначала показались в них только макушки голов, потом и целые головы, а там глядишь головы-то очутились уж в комнате, а на окнах-то локти, да груди (это значит уж очень увлеклись, слушая музыку-то, почитай в горницу влезли!). Да слушают-то не просто, а с замечаниями — это де лучше, а вот то хуже». То же самое произошло по прибытии фортепиано: «Давыдовское общество, разумеется, не преминуло выказать живейший интерес к этому продукту европейской культуры. С утра — и взрослые, и дети, — не отходили от окон, как и в прошлом году. Мальчишки отрядили караул, который зорко сторожил нас и обязан был немедленно дать знать, кому следует, что «заиграла музыка». Иллюстрацией к этим событиям с некоторой натяжкой может служить хранящаяся во Владимире картина Наркиза Николаевича Бунина «Незванные критики» (1884).

Не всегда звучал Мендельсон. Василий Ермилов, упрасивавший Бородина взять его «на выучку», слышал, как профессор под собственный аккомпанемент пел из «Камаринской»: «Февраля 29-го целый штоф вина проклятого...»

Случались и разные другие события. В июне 1878 года в Филяндине приключился страшный пожар, перекинувшийся на Давыдово. Бородины едва успели выбраться из дома и от сильного жара ушли в поле, где у Екатерины Сергеевны случился приступ агорафобии (боязни открытого пространства). Найдя пристанище для женской половины семьи, Бородин с Шашенькой Дианиным отправились поискать и себе ночлега. Они нашли его в церковной сторожке и не без удобства расположились в хранившихся там гробах, на что Александр Порфирьевич философски заметил:

— Вот уж не думал, Шашенька, что мне придется при жизни отдыхать в месте вечного успокоения.

После такого происшествия бессонница Екатерины Сергеевны усугубилась, и благодаря ей Бородины ночью 31 июля 1878 года наблюдали лунное затмение. Также наблюдали, как Лизутка влюбилась в Федора Дианина. 27 августа Александр Порфирьевич должен был присутствовать в Московском университете на пятидесятилетии преподавательской деятельности геолога Григория Ефимовича Щуровского, но не поехал — сказался больным. После чего его и правда настиг грипп (хорошо еще, не возвратный тиф, поразивший село, едва погорельцы начали строиться). И не было Александру Порфирьевичу никакого дела до того, что в далеком Париже бушует Всемирная выставка и делегат Русского музыкального общества Николай Рубинштейн исполняет в трех русских концертах Глинку, Даргомыжского, Серова, Чайковского, Шопена, Монюшко, Венявского и Контского, а имен Балакирева, Мусоргского, Бородина и Кюи в программе-то и нет.

Только Римский-Корсаков, которому РМО сперва предложило провести эти концерты, а потом сообщило о его якобы отказе, был представлен музыкальной картиной «Садко».

В Давыдово с Бородиными ездили уже не две, а три девушки: к Лизе и Гане прибавилась Лена Гусева. Ее обычно называют «воспитанницей», но она отнюдь не являлась взятой на попечение малолетней сиротой. В 1878 году (или в самом конце 1877-го), когда Лена поселилась у Бородиных, ей исполнилось 23, если не 24 года. Александр Порфирьевич знал ее семью с тех времен, когда солдатская дочь Авдотья Константиновна Клейнеке и жена унтер-офицера, фейерверкера 2-го класса Авдотья Егоровна Гусева квартировали в доме доктора Чарного на Бочарной. Старшая дочь Гусевых фельдшерица Марья Антоновна была близким и преданным другом Александра Порфирьевича. В 1877 году она тяжело заболела и, едва пойдя на поправку, «взяла место» на юге, в Киевской губернии. Ее отца к тому времени уже не было в живых, мать слегка тронулась рассудком, пополнив обширный список сумасшедших, о которых Бородину приходилось заботиться. Младшая сестра, прозванная в семье Бородиных Лено, поселилась в профессорской квартире.

Меньше всего времени провел в Давыдове с Бородиными Шашенька Дианин. Летом 1877 года он был в Иене, в 1878-м ненадолго приехал и вернулся в Петербург — готовиться к магистерским экзаменам и стеречь профессорскую квартиру. Стеречь-то особой необходимости не было, поскольку в то лето у Бородиных обретались Митя Александров, развлекавший Шашеньку «назиданиями по части женского вопроса», и врач Покровская, не считая экономки Катерины Егоровны и разных приживалок. Так что Дианин смог целую неделю провести в Петергофе на даче Доброславиных. А 18 августа вернулась из Давыдова

Лиза. Ее былой детской неприязни к Шашеньке уже и след простыл, да и он был рад ее видеть: «Приехала Лиза — толстая, красная, сияющая. Разумеется, она привезла разговоров на целый вечер... А Лиза так действительно поотъелась и поотгулялась в Давыдове. Она сияет, как красное солнце!» Как человек серьезный, Дианин озаботился умственным развитием девушки, стал читать ей модные повести из жизни интеллигентов Николая Герасимовича Помяловского — «Молотов» и «Мещанское счастье».

В 1879 году Шашенька прибыл в деревню поздно, но и тогда Бородины редко его видели. Почти все время проводил он в лесу со своей «охотной» собакой, являясь лишь к обеду и к чаю. Он и годом раньше-то не знал, жалеть ему или нет, что должен жить в городе и зубрить к экзаменам: «Будь я там, я бы теперь дневал и ночевал в лесу; а это подало бы повод к большим и малым недоразумениям. Когда бы я был дома, думал бы об том, как хорошо теперь в лесу — на лоне природы, а когда бы я был в лесу, я думал бы о том, как это теперь Катерина Сергеевна недоразумеает...» Вытащить его из леса не было никакой возможности. Осенью 1879 года он так увлекся, что поздно вернулся в Петербург. Александр Порфирьевич, заботясь о материальном благополучии своего ассистента, успел устроить его в несколько мест и был вынужден отвечать на недоуменные вопросы: «Где же ваш протеже?»

Летом 1879 года произошло эпохальное событие: Бородин записал от крестьянина народную песню. Или не записал, а только выслушал и запомнил? Скорее второе — при его методе работы ему явно были нужны лишь отдельные элементы, «атомы» мелодии, — но все равно это был исключительный случай. Для работы над «Князем Игорем» понадобилось вспомнить песню «Горы Воробьевские», и он попросил крестьянина деревни Новское Ивана Петровича Лапина, который обычно возил

его на станцию и в чьей баньке он любил «погреться», найти кого-нибудь знающего. Лапин привел своего родственника Вахрамеича из Новой Быковки, тот пел Бородину старинные песни и получил за это «красненькую». Учítывая, что в то лето профессор оказался в деревне почти без денег и за свои смазные сапоги заплатил пять рублей, сумма, полученная певцом, была солидной.

За три лета, проведенные в Давыдове, Бородину не довелось слышать «Владимирских рожечников». Только в августе 1883 года он в столице прослышал о знаменитом ансамбле и отправил Шашеньке в Давыдово весть: «Знаете ли, что у нас в Питере производят фурор — Владимирские пастухи, «рожечники», играющие на рожках, в Ливадии и т. д. Радуйтесь, Володимерец!» А через несколько дней уже делился впечатлениями: «На днях слышал Ваших «Володимерцев» — рожечников; это такая эпическая, народная красота во всех отношениях, что я совсем раскис от удовольствия. Жаль будет, если Вы их уже не застанете! И как они представительны в своих светложелтых широких балахонах и цилиндрах! А гармонизация у них совсем в церковных тонах сплошь!»

Случай же с песней «Горы Воробьевские» имел продолжение осенью того же года: Бородин записал напев былины с голоса карельского крестьянина Василия Петровича Щеголёнка (Шевелёва). Тот прожил осень в Петербурге, хлопоча о пенсии, в чем ему по просьбе Льва Толстого помогал Стасов. Критик прозвал Василия Петровича «Гансом Саксом», устраивал выступления сказителя в Археологическом институте и однажды умудрился собрать у себя всю «Могучую кучку» в полном составе: «В том числе пел он и у меня, на собрании специально музыкусов (Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Кюи), и эти господа в несколько карандашей записывали за ним не только

мелодии в главном их скелете, но и во всех изгибах их мельчайших, а это нелегко!...»

Глава 23

ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ

Облик Бородина в конце 1870-х годов лучше всего запечатлен, наверное, в воспоминаниях Порфирия Алексеевича Трифонова:

«По внешности Бородин не производил впечатления энергичного человека. Он был более чем среднего роста, плотного телосложения; его лицо, довольно полное, с замечательно здоровым, свежим румянцем, было несколько восточного типа; небольшие темно-карие глаза с мягким, каким-то ласкающим взглядом, придавали особую прелесть его физиономии; походка, все движения, так же как и разговор, не отличались оживленностью, скорее были медленны и спокойны. Во всей его фигуре и в обращении было много благородства, достоинства и вместе с тем простоты; с первого же раза он производил впечатление человека искреннего и сердечного. Всегда спокойный, ровный, он, казалось, никогда не волновался, ко всему относился с необыкновенным благодушием, в каждой личности, во всяком факте он старался находить хорошие или оправдательные стороны, даже там, где их, по-видимому, совсем не могло быть, что иногда давало повод заподозрить его в пассивности, в индифферентизме или по крайней мере в крайнем оптимизме».

В поисках же наиболее точной характеристики личности Бородина лучше всего обратиться к очерку Кюи «День у Листа». Многие его строки должны были эхом отзываться в душе Александра Порфирьевича:

«Лист мученик своей любезности, воспитанности, снисходительности и добродушия. С утра до ночи он завален письмами и посещениями, и никому нет отказа,

доступ к нему совершенно свободен, всех он принимает, со всеми вежлив. Самое мучительное для него, как он говорил, это корреспонденция, по ее обширности... Далее мучат его не-прерывающиеся посещения... Правда, некоторых из своих посетителей Лист принимает стоя, но все же принимает, со всеми любезен, всякому найдет сказать что-либо приятное.

В этом отношении благодущие Листа заходит слишком далеко. Кроме обязанностей к другим у всякого из нас есть еще обязанности и относительно самого себя. Последними Лист почти совершенно жертвует. Ему некогда работать; только встав очень рано, часов около пяти, он имел часа три свободных и спокойных».

«На... уроках проявляется его необыкновенная доброта, чисто ангельское отношение, снисходительность (никогда, впрочем, не доходящая до незаслуженного энергического одобрения; энергически он одобряет только то, что того действительно стоит). Сделав... замечание, он сейчас старается загладить это впечатление одобрением. Одну ученицу он потреплет по плечу, другую обнимет, третью поцелует в лоб, и все это отечески... Нужно тоже видеть, как ученицы его обожают».

«Главное — почти постоянное выражение безмятежного добродушия. Только изредка, очень изредка, несколько насмешливо сверкнет взгляд и на губах мелькнет сарказм, а то его добродушию нет пределов».

Так обрисовал Кюи воплощенный идеал художника и человека. Может быть, образ «мученика своей любезности», к которому Бородин естественным образом приближался, под влиянием слов Кюи стал для него осознанной целью? Во всяком случае, слова Цезаря Антоновича подтверждали правильность избранного пути. Что до сарказма, он мелькает в письмах Бородина очень и очень часто.

Генерал, хормейстер, дирижер по-прежнему был всё время занят. 1 января 1877 года теща сокрушалась в письме своей тоже сокрушавшейся дочери: «Что же это такое, что твои мушкетеры, а главное Матуска^[31] все так работают, что и праздника и отдыха нет им? Понимаю, как тяжело и жаль смотреть на них!» Число лекций и лабораторных занятий в академии не уменьшалось, на Женских курсах — только увеличивалось, а вот научная работа всё сокращалась. В 1860-е годы Бородин публиковался главным образом в химических журналах Германии и Франции, затем его рупором стало Русское химическое общество. Доктор Лермонтова дважды в год исправно отправляла обзоры заседаний РХО в парижский «Бюллетень», но после 1876 года Бородин фигурирует в них лишь один раз: в 1879 году, в связи с докладом о работе Голубева. Того самого Порфирия Григорьевича Голубева, будущего доктора медицины и библиотекаря академии, а пока усердного лаборанта, чей призрак являлся воображению профессора под конец лета вместе с мыслями о неуклонном приближении учебного года. Прочие сообщения Бородина об исследованиях учеников и коллег Юлия Всеволодовна не сочла достойными внимания. Референты же «Бюллетеня Немецкого химического общества» после 1876 года совсем о Бородине позабыли. В лаборатории он тоже стал «мучеником своей любезности», бескорыстно опекая работавших там врачей и фармакологов.

Имя Бородина продолжало появляться на журнальных страницах лишь благодаря Доброслаvinу. После Зинина не было в академии человека, с которым Александр Порфирьевич был бы до такой степени накоротке. Будучи слабого здоровья, Доброславин всё успевал и ничего не страшился, регулярно выезжая то в действующую армию, то в районы эпидемий. Летом 1879 года ученый секретарь академии взвалил на себя еще и

работу инспектора при Главном тюремном управлении, радуясь «этому первому союзу теории с практикой, первому призыву нашей администрации к ее делам профессора гигиены». Он мечтал ввести в тюрьмах полную медицинскую статистику — и сделал это. Эпидемия тифа заставила двух друзей в апреле 1878 года напечатать совместную статью «О дезинфекции и дезинфекционных средствах» в выпускаемом Доброславиным журнале «Здоровье». Там же Александр Порфирьевич в 1883 году поместил еще одну, сугубо прикладную работу: «Народный чай (плитки Пономарева)».

С учетом домашних обстоятельств проблема дезинфекции занимала Бородина всё серьезнее. Для Екатерины Сергеевны главнейшими обитателями профессорской квартиры оставались приблудившиеся коты и кошки, числом от четырех до шести. Они всюду лазили, везде гадили, истребили домашние цветы, но эти художества прощались милым созданиям. «Семейная картина: сидим за чаем; у меня на руках Воровочка, у Федора — Красота; у Лизы — Дедка; у Липы — Священный Кот; и все это сложилось само собою; сами привали коты! А Длиннинький все в казармах и лаборатории — с Михеем [Варвариним]» — такую идиллию изобразил Бородин 16 октября 1877 года в письме жене. Он по-прежнему хлопотал о присоединении к своей квартире большой аудитории, в которой устраивались танцевальные вечера, но кафедра фармакологии держалась. В академии по-прежнему до самого октября (по старому стилю) не топили и не вставляли зимних рам. Снова подумывал Бородин поселить жену в Царском или в Гатчине, а она, как и прежде, пыталась вызвать его в Москву посреди семестра. Он, как и прежде, порывался ехать, да отдумывал: «Тебе нельзя ехать в твоём состоянии немедленно; оставаться при тебе и ждать тебя тоже не

могу. Ну, и не поехал». Шесть дней в неделю Александр Порфирьевич преподавал, по воскресеньям заседал в Комитете Общества пособия слушательницам курсов.

Федор Дианин отправился в армию, Лиза училась, появлялась дома только на выходных. Ни одной молодой пары, которую можно было бы поселить у себя и жить при чужой семье, рядом не было. От одиночества в ту осень спасла Александра Порфирьевича милая, сердечная Липочка, младшая сестра Маши Исполатовской. Просыпаясь по утрам, профессор первым делом открывал фортепиано и ровно полминуты играл. Олимпиада просыпалась и накрывала на стол к завтраку. Бородин не мог ею нахвалиться: «Она хорошая и добрая девочка. Во мне просто души не чаёт, предупредительно нежна, ласкова донельзя, заботится обо всех мелочах моего туалета и ужасно счастлива, что живет у нас». Особенно радовало Александра Порфирьевича, что под его влиянием Липа «перестала дурить» (то бишь увлекаться революционными идеями) и решила поступать на медицинские курсы. Его вообще радовало, когда юношество загоралось не идеями, а серьезными профессиональными занятиями. Кто-то из домочадцев собирал и переплетал старые статьи Чернышевского из «Современника», сам же Александр Порфирьевич предпочитал знакомить друзей с реальным случаем из жизни одной интеллигентной семьи, где под влиянием романа «Что делать?» осуществили мирную уступку изменившей жены другому мужу. Излагал он это преуморительно.

Как многие молодые девушки в его окружении, Липа была одно время влюблена в профессора, а летом 1879 года вышла замуж за врача Николая Яковлевича Пясковского, брата жены Василия Дианина. За Николая Дианина в 1878 году вышла Любочка — Любовь Николаевна Захарова, дочь соседей Екатерины Алексеевны Протопоповой (тоже слушательница курсов,

тоже жившая у Бородиных, только в 1876 году). Очутившись среди такого числа влюбленных и предвкушая исполнение обязанностей крестного, Александр Порфирьевич взялся за новые сцены «Князя Игоря» — каватину юного княжича Владимира Игоревича и его дуэт с Кончаковной.

В первой половине 1878 года Митя Александров женился на слушательнице Бестужевских курсов Александре Александровне, урожденной Александровой. Он переехал к ней в Ригу и устроился секретарем управляющего почтовой частью, доводившегося жене каким-то родственником. Бородин был рад за брата и доволен его выбором, хоть новая родственница и не сочувствовала «нашей» музыке. Уже в сентябре деверь направил невестку к Стасову за нужными ей материалами по русской истории. В 1887-1888 годах Александрова перевела либретто «Князя Игоря» на немецкий язык. Увы, супруги прожили вместе меньше года и расстались, Митя исправно высылал жене 40 рублей в месяц и вообще продолжал о ней заботиться.

Брат, с детства слабый здоровьем, но наделенный гусарским темпераментом, всегда был готов повеселить общество разговорами о «стрекозеттах», «попрыгеттах», «ясновидеттах» и прочих «привлекаллах». Но после разрыва с женой и вынужденного расставания с некоей «хранимой в казацком сердце» Антуанеттой коллежскому асессору, кавалеру ордена Святого Станислава 3-й степени Дмитрию Сергеевичу Александрову всё виделось в мрачном свете. Из виленских знакомых лучше других были офицеры-артиллеристы, да и то: «...большая и из них часть ничего не делает, ничего не читает и играет в карты и на биллиарде... Некоторые специально занялись возней с девками (эти ни во что уж обыкновенно не играют). Все-таки они лучшие люди уже потому, что более подходят под народный уровень; более, так сказать, — граждане.

Жаль, что один из них несколько дней тому назад застрелился».

Доля судебного пристава радовала еще меньше. Старший брат был единственным человеком, кому Митя мог излить душу: «Ты пишешь, чтобы вести покойную жизнь и пр. Это невозможно при нашей службе. Бессонные ночи приходится зачастую проводить в дорогах в непроглядные мгlistые ночи, под дождем; а к утру платье замерзает. Ведь у нас есть такие трупы в Виленском, Свенцяном, Ошмянском и Дисненском уезде, что версту едешь — час. Дорога — в два аршина, покрытая сплошь крупным булыжником на скатах гор и, — болотистая в низях, заваленных кое-где хворостом. На дорогах лежат иногда целые деревья. Поедешь на сутки, а прошаешься 3-4. Жуть и жидовская грязная корчма — рай. Приедешь усталый, разбитый, голодный и мокрый на место, да прямо за работу. Иной раз в сутки-то заснешь часа 2-3; а то и того не приходится. К этому всему прибавь литовского крестьянина-подлеца, да жида-адвоката, которому только можно найти товарища разве между палачами, да и то не сыщешь. Просишь ночью указать из хаты дорогу и, если по-польски не говоришь, то без нагайки не скоро покажут. Есть не дают и за деньги, особенно шляхта. Ксендзы, эти истинные дьяволы католического мира, толкуют им на проповедях сопротивление властям, хотя бы даже им был известен чиновник своею честностью. Приедешь к шляхтичу; а бабье за перегородкой: «чи видали пса чарнёго? вот пшиехал! Нех его я'сный пёранс повш'исткем спаде!» Это — прием, да так, чтобы ты слышал; а придраться-то не к чему».

Хуже всего было, что титулярный советник Евгений Федоров забросил службу и кутил по всему Вильно, бил посуду, стекла и городских. Митя измучился всякий раз вызволять брата из участка: «К сожалению, надо прийти к заключению, что этот человек неисправим и никуда

уже более не годится, кроме какой-нибудь партизанской шайки в военное время. Там бы еще пожалуй он, с своим бешеным нравом, мог бы сломя голову налетать на неприятеля». Дело завершилось растратой до 5500 рублей казенных денег. До суда не дошло, Еню пожалели ради его огромной семьи. Сумму на покрытие растраты выдал Бородин, причем Еня на обратном пути из Петербурга умудрился 630 рублей из нее порастерять. 550 рублей внес за него Митя — и сам очутился в долгах: «Вся цель жизни моей, это — добыть денег. Я всецело поглощен теперь этим. Бессонные ночи, езда, грязь, снег, ужасные дороги и люди, все это переносится для того, чтобы добыть как можно больше денег и денег. На прошлой неделе провалился три раза в реку, идя по льду в холодном пальто, так как в шубе легче утонуть, запутавшись ногами в полах ее. Я еще, слава Создателю, себя не узнаю, так я сделался крепок и здоров».

В профессорской квартире продолжала свои художества Катерина Егоровна: «...по-прежнему услужлива, неряха, всеми правдами и неправдами тащит деньги и врет без милосердия. Летом попивала изрядно, потихоньку продала Саничкин комод и Любочкину кровать, что ли, зачислив вырученные деньги в бессрочную ссуду». Расстаться с экономкой Бородин все еще был не в силах (это произошло через несколько лет). Но взял-таки новую кухарку Екатерину Петровну Морелиус и поручил закупать провизию кухне Саничке Готовцевой. Саничкина собака-крысоловка Жуляша не внесла разлада в общество бородинских котов.

В пучине быта, в хаосе радостей и неприятностей всё больше надежд приносила музыка. Осенью 1877 года из Парижа пришло письмо от Тургенева: Полина Виардо с дочерью играли Вторую симфонию в четыре руки и пропагандировали ее в своем салоне. Из Парижа подоспела и существенная поддержка Балакиреву —

заказ от издателя Луи Брандюза на фортепианное переложение «Гарольда в Италии» Берлиоза.

В апреле следующего года президент Всеобщего немецкого музыкального союза Карл Ридель через Бесселя разыскал Бородина по срочному делу. Выпускник Лейпцигской консерватории, композитор и дирижер Ридель начинал как хормейстер. Основав в Лейпциге Певческий союз, он в 1859 году вошел в историю как человек, который первым целиком исполнил Мессу Баха. Увлечение старинной немецкой музыкой привело Риделя к изданию в начале 1870-х годов сочинений Генриха Шютца (1585–1672), но к этому времени он уже был сторонником Новой школы. В 1869 году он возглавил основанный Листом Всеобщий немецкий музыкальный союз, в 1871-м — Лейпцигское отделение Вагнеровского общества. Программы ежегодных съездов союза во многом составлялись по рекомендациям Листа, который отнюдь не забыл о своем намерении услышать Первую симфонию Бородина в оркестровом звучании. И вот Карл Ридель попросил у Бородина партитуру и партии, чтобы в июне сыграть симфонию на съезде в Эрфурте.

Ноты все еще не были изданы, потрепанная, местами разорванная партитура имелась в единственном экземпляре. Комплект оркестровых голосов тоже был единственным — весь исчерканный, с недостаточным числом партий струнных инструментов. Кое-как приведя ноты в порядок, Бородин отправил их в Лейпциг на адрес магазина Кристиана Фридриха Канта, издателя Листа. Но что-то помешало скорому исполнению, а тут Балакирев вспомнил о симфонии «птенца» и стал настаивать, чтобы Бородин срочно выписал ноты обратно. Пришлось выписать.

К началу 1879 года — года, в котором профессора Санкт-Петербургской консерватории получили классные чины, то есть сравнялись в правах с чиновниками на

государственной службе, — акции Бородина-музыканта котировались невысоко. Надежда Филаретовна фон Мекк 12 декабря 1877 года писала Чайковскому: «А у нас-то, в России, как подвинулось искусство за последнее время! Хотя, правда, у многих наших новаторов ум за разум зашел, но все-таки, значит, ум работает. Вот я из наших композиторов никак не могу оценить Римского-Корсакова; по-моему, у него-то жизни нет... Я в его музыке слышу человека, конечно, сведущего, но в высшей степени самолюбивого и без сердца. Просветите меня, Петр Ильич, относительно его. У Бородина, мне кажется, и не было большого ума, и тот за разум заехал. Кюи способный, но развращенный музыкант, а Мусоргский, — ну, тот уж совсем отпетый. А вот я люблю Направника, очень люблю Рубинштейна (Антон) и обожаю Вас, мой милый друг». 24 декабря Чайковский ответил «своему бесценному другу» из Сан-Ремо: «Бородин — пятидесятилетний профессор химии в Медицинской академии. Опять-таки талант, и даже сильный, но погибший вследствие недостатка сведений, вследствие слепого фатума, приведшего его к кафедре химии вместо музыкальной живой деятельности. Зато у него меньше вкуса, чем у Кюи, и техника до того слабая, что ни одной строки он не может написать без чужой помощи».

Автор «Биографического лексикона русских композиторов и музыкальных деятелей» (1879) Александр Иванович Рубец посвятил Бородину одну из самых коротких статей, очевидно, держа в уме слова «дилетант» и «слабая техника». Между тем уже в августе этого года был завершен Первый квартет. Работу над ним Бородин не афишировал и, похоже, мало что в процессе играл «музикусам». Часть из них по-прежнему воспринимала поворот к столь академичному жанру как предательство идеалов, только Кюи, работавший над своим Первым квартетом с 1877 по 1890

год, проявил искреннюю заинтересованность. Так что если композитор и получал от кого-то советы, то разве от Екатерины Сергеевны. Квартет вышел изумительным — вдохновенный, оригинальный и гармоничный. В основу темы первого *Allegro* Бородин положил мелодический оборот из разработки шестой части квартета Бетховена ор. 130 и радовался, что почти никто не замечал этой цитаты. Ее и правда мудроно заметить, ведь это всего лишь небольшой фрагмент мелодической фигуры, не по-бетховенски пластичной. При издании квартета Бородин указал на обложке, что толчок сочинению дала некая тема Бетховена, но коварно умолчал, какая именно. Цитировать в камерной музыке немецких классиков ему было не впервой, в его активе имелись переложение для квартета сонаты Гайдна и сочинение виолончельной сонаты на тему Баха.

Квартет, особенно его вторая часть, звучит очень по-русски — без всякой нарочитости. Скерцо замечательно нежнейшими флажолетами в трио. Побочную тему финала Бородин написал в ритме одного из своих любимых танцев — мазурки. Посвящение квартета Надежде Николаевне Римской-Корсаковой может быть связано с тогдашним увлечением четы Корсаковых музыкальной классикой, что поставило их в оппозицию Стасову и Мусоргскому. А может быть, и выражением благодарности за развернувшуюся именно в 1879 году бурную деятельность Николая Андреевича по пропаганде бородинской музыки. 16 января в концерте Бесплатной музыкальной школы друг молодости Александра Порфирьевича, солист Русской оперы Васильев впервые спел арию Кончака. 20 февраля, и тоже в концерте БМШ, Римский-Корсаков исполнил Вторую симфонию, внося в партитуру великое множество изменений (следы которых Бородин потом старательно удалял из нот). Через неделю в следующем

концерте Школы прозвучали Хор и пляски половцев и Заключительный хор «Князя Игоря». 9 апреля в концерте Филармонического общества в Москве в исполнении солиста Большого театра Антона Ивановича Барцала впервые явилась широкой публике каватина Владимира Игоревича. Всё это составляло разительный контраст с предыдущим сезоном, когда петербуржцы могли слышать разве только романсы Бородина в проходивших в Петербургской консерватории Музыкальных собраниях членов вспомогательной кассы музыкальных художников. Теперь же Александру Порфирьевичу ничего не оставалось, как срочно завершать оркестровку всех упомянутых сцен. Прослушивание своей музыки в живом звучании хора и оркестра воодушевило его на успешную работу над «Князем Игорем» летом 1879 года.

13 ноября в очередном концерте БМШ Феодосия Никитична Белинская впервые спела Плач Ярославны и сцену Ярославны с девушками, а бас Федор Игнатьевич Стравинский — песню Володимера Галицкого. Играл оркестр Мариинского театра, за дирижерским пультом вновь стоял Римский-Корсаков. Автора вызывали после каждого номера, песню Галицкого повторили на бис.

Сцены из «Князя Игоря» отыскиали путь к сердцу исполнителей. Уже 26 декабря 1879 года Стравинский повторил песню Галицкого на ежегодном концерте артистов Русской оперы в Мариинском театре, под управлением Направника. Бородин в тот день с десяти до двенадцати часов находился на четвертом заседании химической секции Шестого съезда русских естествоиспытателей и врачей — последнего, в котором ему довелось участвовать. В пять часов вечера началось второе общее собрание съезда. Александр Порфирьевич прослушал речи Климента Аркадьевича Тимирязева о физиологическом значении хлорофилла, Менделеева — о необходимости описания естественных и

экономических условий отдаленных краев страны, Доброславина — об отношении гигиены к естествознанию и объявление Николая Александровича Меншуткина о начале издания «Научного листка успехов естествознания». Живи Бородин в современном ритме, он бы забежал между заседаниями в Мариинский театр и выразил благодарность певцу и дирижеру — концерт Русской оперы начинался в час дня, Стравинский пел в первом отделении.

Минуло пять лет после триумфального съезда в Казани. За это время Бородин будто стушеввался, из «композитора, ищущего неизвестности», превратился в ищущего неизвестности химика. Реформы в академии, одной из причин имевшие частые студенческие волнения, временно оставили его без кафедры, упраздненной и восстановленной только два года спустя. Профессор числился лишь заведующим лабораторией, но по-прежнему был завален делами: по своей несказанной доброте попадал во всевозможные комиссии и чаще других выступал оппонентом при защите диссертаций. Буквально накануне съезда он вынес тяжелые баталии из-за резкого выступления профессора общей терапии и диагностики Эдуарда Эдуардовича Эйхвальда против диссертации лекаря Варфоломеева «О количественном определении сурьминистой кислоты на трупах животных после подкожного введения рвотного камня». Эйхвальд с его любознательностью и скептическим умом частенько устраивал на защитах демарши, делая вылазки в области, далекие от его специальности, причем выступал ловко, уверенно и никогда не признавал своих ошибок. Полемизировать с ним было тяжело.

На Шестом съезде Бородин не председательствовал на заседаниях химической секции, не выступал с речами ни на одном из трех общих собраний, безвозмездно освещаемых электричеством стараниями ученика Кюи

по Инженерному училищу Павла Николаевича Яблочкова, — он скромно трудился в Комиссии по приему гостей. Может быть, активнее наш герой проявил себя на обедах по подписке в гостинице Демута 20 и 30 декабря, но субботним вечером 22-го в кружке женщин-врачей у Анны Николаевны Шабановой в Озерках он явно получил много больше лестного внимания.

Только в субботу 29-го, в последний день работы химической секции, когда вместо обычных пяти-семи сообщений было зачитано пятнадцать, Бородин вышел из тени.

Вместе с Менделеевым, Бутлеровым, Алексеевым, Мен-шуткиным и другими учеными он принял участие в споре по поводу идеи Николая Николаевича Бекетова «о возможности взаимной связи посредством одноатомных элементов». От имени своего лаборанта Голубева Бородин рассказал о динитропроизводных дезоксибензоина, от имени Дианина — о смеси хлорной извести и фенола. История этого последнего сообщения весьма характерна. Профессор Медико-хирургической академии хирург Павел Петрович Пелехин, будучи под Плевной, обратил внимание, что при перевязке гнилостных ран смесь растворов хлорной извести и фенола действует эффективнее, нежели каждое из этих средств порознь. Однако Пелехин знал, что в смеси оба раствора взаимно разлагаются, и попросил Дианина выяснить химическую сторону явления. Дианин установил, что при реакции образуется трихлорфенол с незначительными примесями дихлорфенола и, предположительно, монохлорфенола и что трихлорфенол, как он сформулировал, «задерживает брожение несравненно сильнее фенола».

Доклад вызвал редко вспыхивавшие на том съезде прения — высказались Бекетов, Густавсон и Марковников. К сожалению, рядом не случилось

барышни-стенографистки, и мы вряд ли узнаем, предвидел ли кто-нибудь, какое применение получит впоследствии трихлорфенол в инсектицидах и гербицидах. Пелехин поставил проблему, Дианин ее разрешил, роль Бородина «облечена шинелью неизвестности».

Глава 24

ГОД СИМФОНИЧЕСКИХ ТРИУМФОВ

1880 год начался с разнообразных забот: композиторских, капельмейстерских, эпистолярных. Среди занятий Бородина в академии все большее место занимали репетиции двух любительских хоров, мужского и женского, и оркестра. Как истинный сын своей матери, которая могла петь-плясать целыми днями, Бородин любил, чтобы вокруг звучала музыка, и устраивал это при малейшей возможности. Детские воспоминания о концертах университетского оркестра и гейдельбергский опыт привели к мысли основать собственный коллектив. К 1880 году оркестр академии начал доставлять ему некоторые поводы для гордости. В самом конце января Бородин продирижировал очередным «домашним» концертом. В программе значились Глюк, Моцарт, Шуберт, Глинка и в качестве «современного» композитора — Роберт Фолькман (1815–1883). Очевидно, богатый опыт Римского-Корсакова в Бесплатной музыкальной школе и собственный здравый смысл убедили Бородина, что любительские коллективы лучше воспитывать на классическом репертуаре. Конечно, некоторых инструментов не доставало, на концертах приходилось усиливать полсотни дилетантов тремя-четырьмя профессионалами. За гонорар в три рубля приглашались гобоисты, фаготисты, контрабасисты.

На январский концерт Александр Порфирьевич пригласил Щиглёва и Анатолия Лядова. Лядов тогда дирижировал бывшим оркестром Немецкого клуба, перебравшимся в гостиницу Демута и составившим костяк Санкт-Петербургского кружка любителей музыки. Щиглёв руководил там же хором. В те самые дни

Шиглюша предложил Музыкальной комиссии Кружка любителей принять в свой круг его друга Бородина. Неожиданно горячо воспротивился Лядов, сказав целую речь о том, что профессор слишком добр, что он будет все одобрять да хвалить и что его снисходительность, «граничащая чуть ли не с атрофией чувства справедливости», помешает Комиссии принимать верные решения. С Лядовым никто не согласился, и Бородин стал ходить на заседания Комиссии. В кружке его прозвали «химия в мундире». Лядов, который против музыки Бородина ничего не имел, разучил с любителями Заключительный хор из «Князя Игоря».

Два года не доходили у Александра Порфирьевича руки написать в Париж Луканиной, и вот наконец он отправил письмо, но забыл прибавить в конце фразу «по обычаю целую вас». Дочитав письмо, передовая, эмансипированная доктор медицины Луканина... расплакалась и ответила профессору целой исповедью: «Да ведь я писала Вам письма не чернилами, а слезами, — я умоляла Вас хоть строчку прислать мне. Я думала невесть что: сердитесь-то Вы на меня, и наговорили Вам что про меня, и я не знаю, чего я не думала... Браните меня, сердитесь на меня, не пишите с досады, с чего хотите, но только не потому, что «не писалось», что в той частичке Вашей души, которая принадлежала мне, осталась пустота. Знаете, смешно говорить такие вещи, а у меня есть три таких любви: я так любила свою мать, тетку Надежду Антоновну, да Вас... Так, как я Вас люблю, любят хороших старших братьев. Я потому говорю про брата, про мать, про тетку, что Вы мне «родной», понимаете ли всю задушевность русского слова «родной»... Скажите мне, отчего Ваше письмо такое странное, точно не Вы его писали или точно Вы переменились?»

Бурная переписка продолжалась до конца весны. Александр Порфирьевич успокоил Аделаиду Николаевну

словами о коллекциях и каталогах и в нескольких строках набросал портрет себя, 46-летнего: «Переменился ли я в других отношениях? — да; во многих; или, пожалуй, и нет, не во многих. Разумеется, неумолимое время, накладывающее свою тяжелую руку на все, наложило ее и на меня. Борода и усы седеют понемногу; жизненного опыта прибывает, а волос с головы убывает. Правда, я как человек живой по натуре и рассеянный по тому же, — как-то не замечаю в себе перемены. Слава богу здоров, бодр, деятелен, впечатлителен и вынослив по-прежнему; могу и проплясать целую ночь, и проработать не разгибаясь целые сутки и не обедать».

Да, Бородин был бодр и доволен собой: он только что, забывая о сне и обеде, закончил свой последний симфонический шедевр — картину «В Средней Азии». О том, как это случилось, рассказал в «Летописи» Римский-Корсаков:

«Весною 1879 года появились в Петербурге две личности — некто Татищев и Корвин-Крюковский. Они приезжали ко мне, к Бородину, Мусоргскому, Лядову, Направнику и некоторым другим композиторам со следующим предложением. В 1880 году предстояло 25-летие царствования государя Александра Николаевича. По этому случаю ими было написано большое сценическое представление, состоявшее из диалога Гения России и Истории, сопровождаемого живыми картинами, долженствовавшими изображать различные моменты царствования. На предполагавшееся торжественное представление Татищев и Корвин-Крюковский исходатайствовали разрешение у кого следует и к нам обратились с предложением написать музыку для оркестра, соответствующую содержанию живых картин. Надо сознаться, что личности этих господ, проживавших до этого времени в Париже, казались несколько странными; разговором и

обращением напоминали они Бобчинского и Добчинского. Диалог Гения России и Истории был значительно велеречив. Тем не менее моменты для живых картин выбраны были удачно и благодарно для музыки, и мы дали согласие написать оную».

Велеречивые представления с аллегорическими фигурами вроде Гения России украшали еще царствование Александра I. Вероятно, на образцы того времени и опирался Татищев, сочиняя свою «поэму». Личности заказчиков гораздо любопытнее, чем следует из корсаковской характеристики. Сергей Спиридонович Татищев (1846–1906) учился в Сорбонне и 12 лет отдал дипломатической карьере. В 1877 году он отправился в армию добровольцем. Между 1878 и 1881 годами, когда он стал чиновником особых поручений при министре внутренних дел, в его карьере зияет белое пятно. Чем он занимался тогда, догадаться нетрудно, поскольку в 1882 году вышла его «История социально-революционного движения в России, 1861–1881» — аналитическая работа, основанная на материалах архивов Третьего отделения. Впоследствии Сергей Спиридонович действовал как драматург и особенно как историк царствований Николая I, Александра II, русской дипломатии и, конечно, рода Татищевых.

Друг его Петр Васильевич Корвин-Круковский (1844–1899) происходил из семьи торопецких и великолукских помещиков, соседей и знакомцев Мусоргских. В первой половине XIX века Крюковские стали называться Круковскими, а в 1858 году «узаконили» фамильную легенду о происхождении от короля Венгрии Матьяша I Корвина и стали Корвин-Круковскими. К этой семье принадлежала Софья Ковалевская.

Петр Васильевич начал службу в Министерстве внутренних дел, но после скандальной женитьбы на французской актрисе уехал в Париж и посвятил себя драматургии, журналистике и переводам. Его

литературная карьера была вполне успешна и органично сочеталась с должностью секретного сотрудника Департамента полиции. После убийства Александра II Корвин-Круковский возглавил тайную антитеррористическую организацию — Священную дружину. Таким образом, двое «несколько странных» господ были антиподами тех идеальных революционеров без страха и упрека, которых рисовала в своих повестях Луканина, и того вполне реального чахоточного либерала, с которым она сбежала в Италию.

Даты в корсаковской «Летописи» часто бывают неточны. Судя по всеобщей спешке на заключительном этапе, «две личности» предстали перед петербургскими музыкантами не весной 1879 года, а гораздо позже. Живых картин было задумано до пятнадцати, к работе привлечены художник-баталист и скульптор Михаил Осипович Микешин, маринист Лев Феликсович Лагорио, жанрист и исторический живописец Валерий Иванович Якоби и участник последней Турецкой кампании миниатюрист Петр Петрович Соколов. Композиторских же имен в этой истории насчитывается четырнадцать. Тайный советник Николай Иванович Бахметев некогда служил в гусарах и в гвардии, а к описываемым временам уже почти 20 лет как возглавлял Императорскую певческую капеллу, поддерживая звучание хора на высочайшем уровне. Для спектакля он написал хор на слова Татищева «Молитва русского 19-го февраля». Вслед за Бородиным по алфавиту идет критик и композитор Константин Петрович Галлер, в молодости служивший в гусарах и кирасирах. Далее следует директор Петербургской консерватории, великолепный виолончелист, очень востребованный композитор и дирижер Карл Юльевич Давыдов. Молодой дирижер Музыкально-драматического кружка любителей, первый исполнитель в Петербурге «Евгения Онегина» Чайковского и «Кузнеца Вакулы» Соловьева Карл

Карлович Зике сочинил для торжественного представления музыкальную картину «Черное море». Вклад критика и композитора Михаила Михайловича Иванова, увы, не оставил следа в истории музыки. Кюи написал Торжественный марш ор. 18, позднее изданный с посвящением генерал-инспектору стрелковых батальонов герцогу Георгу Августу Мекленбург-Стрелицкому. Лядов, так часто порицаемый Римским-Корсаковым за леность, взял тему «Кавказ» и не сочинил ничего. Мусоргский извлек на свет Марш князей из «Млады», трио которого во времена оны было сочинено на тему Корсакова. Модест Петрович заменил его новым, на курдскую тему, — и 3 февраля 1880 года представил отличный марш «Взятие Карса». Направник написал Торжественный марш ор. 33. Римский-Корсаков оркестровал свой хор «Слава» на тему подблюдной песни (1879). Антон Рубинштейн, возможно, тогда сочинил пьесу, которая в 1882 году прозвучала на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве как симфоническая картина «Россия». Учившийся до перехода в консерваторию в Медико-хирургической академии, но нимало не симпатизировавший Бородину Николай Феопемптович Соловьев, вероятно, предъявил оркестровую фантазию на тему бурлацкой песни «Эй, ухнем!», в 1882-м также прозвучавшую на выставке.

Позже всех заказ получил Чайковский. В самом конце января 1880 года в Риме его настигло письмо Давыдова. Карл Юльевич очень торопился, судя по тому, как фразы у него цепляются друг за друга повторяющимися словами: «Эти картины соединены будут соединительным текстом (в лицах Гения и Истории России), текст этот приуготовляет зрителей к следующей картине. Картины эти будут сопровождаться соответствующей музыкой...» Давыдов всё разложил по полочкам: «Ваше имя необходимо (после будет издан

альбом с картинами и музыкой). Каждый из вышеназванных авторов взял одну картину; так как времени немного, а долго совещаться между Петербургом и Римом нельзя, то я прямо препровождаю Вам содержание этой картины, которая от Вас ждет музыкальной иллюстрации... При той легкости, с которою Вы пишете, я надеюсь, что Ваша партитура будет в Петербурге ранее многих здешних композиторов». Предложенная Чайковскому программа была следующей: «Картина 10. Черногория. Момент получения в Черногории известия об объявлении войны Турции со стороны России (главарь ^[32] читает черногорцам манифест). Музыки от 5 до 7 минут».

Чайковский выполнил заказ за четыре дня. За окном бушевал безумный римский карнавал, Петра Ильича раздражавший. Композитор только что закончил «Итальянское каприччио» и Второй фортепианный концерт. Он был доволен, но и опустошен этими работами, небольшой перерыв в занятиях ему бы не повредил. Чайковский с ходу предложил Давыдову свой сочиненный еще в 1876 году Сербско-русский («Славянский») марш, но сам тут же забраковал идею и заверил Карла Юльевича: «Поручение Ваше исполню, и в срок»... Тема не вдохновляла. В отличие от Бородина Петр Ильич, по-видимому, не был знаком с черногорским лакеем Листа и не наблюдал его восхищения «Белым царем». Надежде Филаретовне фон Мекк он пожаловался: «Подозреваю, что все выбрали то, что им больше нравится, а мне прислали то, чего не захотели другие. Но сноситься с Петербургом некогда, и я энергично принялся за дело». Четыре дня композитор не отходил от письменного стола. В последний день карнавала, когда «сумасшествие и беснование» римской толпы достигло апогея, он отнес партитуру на почту и посетовал в письме брату Анатолию: «Само собой

разумеется, что ничего, кроме самого пакостного шума и треска, я не мог выдумать».

Хаос карнавала захлестнул и римскую почту: отосланная Чайковским партитура навсегда канула в небытие. Жаль, любопытно было бы сравнить эту пьесу с законченной в начале ноября того же 1880 года увертюрой «1812 год» (впервые сыгранной всё на той же выставке). Композитор написал о ней Надежде Филаретовне: «Увертюра будет очень громка, шумна, но я писал ее без теплого чувства любви, и поэтому художественных достоинств в ней, вероятно, не будет». Удивительным анахронизмом звучит в ней гимн «Боже, Царя храни!», введенный Чайковским по примеру Триумфальной увертюры (1855) его учителя Антона Рубинштейна. В 1812 году этого гимна еще не существовало — а вот в «черногорской» картине он был бы вполне уместен.

Идея «Бобчинского и Добчинского» была богатой. Русским композиторам разных направлений, многие из которых пробовали себя в роли критиков и крепко бились друг с другом в газетных баталиях, предстояло настоящее творческое соревнование.

Представление было назначено на 19 февраля — увы, повторилась история с коллективной «Младой». Римский-Корсаков изложил события так: «...гг. Татищев и Корвин-Крюковский (которого Лядов, непамятливый на мудреные фамилии, шутя называл обыкновенно Раздери-Рукава) куда-то скрылись, и вопрос о приготовлении к постановке изобретенного ими представления затих». На самом деле причиной отмены спектакля была трагедия 5 февраля, когда заложенная Халтуриным в Зимнем дворце бомба убила одиннадцать солдат, героев недавней войны, и ранила еще пятьдесят шесть. Продолжалась охота революционеров на Александра II, царя-освободителя. Ходили слухи, что 19-го студенты взорвут весь Петербург. Газеты выражали

надежду, что спектакль состоится позже, в дни Великого поста, или же вся музыка прозвучит в Дворянском собрании. Часть пьес позднее действительно там прозвучала, а хор Римского-Корсакова впервые спели в Кружке любителей музыки. К концу года было ясно, что в творческом соревновании, пусть заочном и урезанном, с большим отрывом победил Бородин.

6 февраля умер Николай Николаевич Зинин. 9 февраля на его похоронах студенты несли венок со словами, пять лет назад произнесенными Бородиным в Казани: «Дедушке русской химии». Александр Порфирьевич в речи об учителе сосредоточился на мысли о созданной Зининым «семье русских химиков». Для него сообщество учителя и учеников было настоящей, самой надежной семьей. Теперь настала пора отдать учителю долг. Бородин погрузился в хлопоты по сбору денег на памятник, вместе с Бутлеровым в марте — апреле написал для «Журнала Русского физико-химического общества» биографию Зинина, занимался учреждением премии его имени.

Забыть о музыке не дали друзья. Дарья Леонова назначила на 8 апреля в зале Кононова на Большой Морской (бывшем зале Купеческого общества, в котором в свое время часто дирижировал Балакирев) большой концерт из одних новинок русских композиторов. Еще в конце января, когда Бородин усиленно готовился к концерту с оркестром академии, Дарья Михайловна стала его терзать — мягко, почтительно, но очень настойчиво: «Хотя прошлый год я и безуспешно и просила, и молила дорогого и глубокоуважаемого Александра Порфирьевича дать мне что-нибудь *от безгранично полюбившегося мне «Игоря»*, но я все-таки позволяю себе возобновить эту сердечную просьбу на нынешний раз... Много, очень много я слышала *вкусного* о «Половецком марше». Марш был давно сочинен и

вовсю разыгрывался «музикасами» в четыре руки, однако требовалось завершить оркестровку. К 12 февраля Леонова поняла, насколько поглощают Бородина хлопоты, связанные со смертью Зинина, и уже знала об отмене живых картин. Потому стала просить о любой из двух восточных пьес, заодно зазывая в гости на кулебяку собственного изготовления. Слава кулебяк певицы-путешественницы гремела от Петербурга до Ханькоу и Хоккайдо.

8 апреля концерт Леоновой открылся увертюрой к «Псковитянке». Впервые прозвучали отрывки из «Хованщины» Мусоргского и «Марии Тюдор» Павла Ивановича Бларамбаера, давнего ученика Балакирева. Играл оркестр Русской оперы под управлением Римского-Корсакова. В ансамбле с Мусоргским, лучшим в то время петербургским аккомпаниатором, Леонова спела романсы Балакирева, Корсакова и свое собственное «Письмо после бала».

В таком достойном соседстве предстала первым слушателям музыкальная картина «В Средней Азии». Программа ее была напечатана в следующем виде: «В Среднеазиатской пустыне впервые раздаётся напев мирной русской песни. Слышится приближающийся топот коней и верблюдов, слышатся заунывные звуки восточного напева. По необозримой степи проходит туземный караван, охраняемый русским войском. Доверчиво и безбоязненно совершит он свой длинный путь под охраню грозной боевой силы победителей. Караван уходит все дальше и дальше. Мирные напевы побежденных и победителей сливаются в одну гармонию, отголоски которой долго слышатся в степи и наконец замирают вдали». Известный своим миролюбием Бородин воплотил программу без приличных торжественному поводу «пакостного шума и треска». Ключевым в программе стало для него слово «гармония», а свойственный его натуре перфекционизм

явился во всем блеске. Картина «В Средней Азии» знаменует вершину бородинского оркестрового мастерства. Симфоническая картина написана нежными, почти импрессионистскими красками, музыка ее рождается словно из воздуха и в конце истаивает. Композитор буквально следует программе, два напева действительно сливаются и на кульминации звучат одновременно. Этого не получилось бы, если бы Бородин заимствовал темы из русского и среднеазиатского фольклора. Технологию сочинения он позднее раскрыл молодому инженеру-электрику Михаилу Михайловичу Курбанову, заходившему поиграть в четыре руки с Екатериной Сергеевной музыкальные новинки: «А секрет-то прост: раньше, чем я сочинил эту картину, мной были придуманы две темы: русская и восточная, которые были подогнаны между собой в двойном контрапункте; а затем уже я развил все аксессуары этой картины». Словом, тут не было ничего общего с некогда устроенной Бородиным одновременной игрой двух шарманок.

Сочетание двух тем очень понравилось Балакиреву и заинтересовало полифониста Танеева. Публике симфоническая картина тоже пришлась по душе. Осенью она прозвучала под управлением Направника в концерте РМО и с тех пор стала репертуарной. Стасов радовался, только жалел, что пьеса так коротка (ведь автор должен был придерживаться хронометража «живых картин»). Недружественных критиков сочинение вещи к 25-летию царствования не удерживало от презрительных отзывов. А все же благонамеренная «Всемирная иллюстрация», после смерти Сариотти долго третировавшая Бородина, выделила «В Средней Азии» из всей программы концерта Леоновой и постаралась объяснить ее «значительный успех»: «Успех этот был вполне заслуженный: кроме красивой и легко запоминающейся темы, сочинение г. Бородина очень

удобопонятное, с закругленной и ясной музыкальной формой и хорошо инструментованное». Неизменно враждебный Соловьев в «Санкт-Петербургских ведомостях» похвалил пьесу на свой лад: «Музыка довольно миленькая и составляет утешительный контраст с мазней из оперы «Игорь» г. Бородина, которой публика угощалась в концертах Бесплатной школы».

Стасов называл пьесу «Туркестан», Корсаков — «Среднеазиатская пустыня и караван», фигурировало также название «Покоренная Средняя Азия», за границей прижились другие: «В степях Центральной Азии», «Степной эскиз» и совсем неофициальное — «Верблюды» (поскольку в начале пьесы симитирован их топот). Уже в 1882 году гамбургский издатель Даниэль Ратер, имевший отделение в Петербурге, выпустил в свет партитуру, фортепианное переложение и оркестровые голоса. Сочинение это Бородин посвятил Листу.

Как сложилась для него среда 8 апреля, день первого выхода в свет самой популярной при его жизни пьесы? Распорядок дня несколько шокирует. Сперва вся музыкальная братия собралась в квартире у Римского-Корсакова, которому вечером предстояло дирижировать большой программой. Лодыженский сыграл два своих новых романса и новую же сцену для тенора. Затем Надежда Николаевна много играла Шумана, из только что напечатанных у Юргенсона неизвестных, посмертно изданных вещей. Вероятно, она играла их не по одному разу, потому что слушатели как следует распробовали пьесы, особенно *Presto* соль минор. Через несколько дней Стасов поделился с братом Дмитрием: «Эта вещь до того нас доехала, что после чудесного концерта Леоновой (с наполовину залой пустой — что значит великолепная программа!) около 12 ч. ночи пошли с Бородиным к Римлянам и все-таки заставили Надежду

еще два раза сыграть нам эту необыкновенную штуку». В ту ночь отнюдь не скучавшая дома Екатерина Сергеевна лишала своего мужа положенных часов сна — напротив, это он вместе со Стасовым нарушал покой жены друга, матери уже троих маленьких детей.

У Бородина весной 1880 года имелись стимулы посвящать музыке и дни, и ночи. Через Кюи он получил из Биографического института в Лейпциге анкету: музыковед Гуго Риман намеревался включить статью о нем в свой впоследствии знаменитый «Музыкальный словарь» (1882). Перечисляя в ответе свои должности, Бородин упомянул даже такую, как товарищ председателя Биологической секции Гигиенического общества. А в конце марта пришло новое письмо от Карла Риделя. Тот снова просил ноты Первой симфонии, снова торопил, снова просил побольше копий струнных партий. К счастью, Балакирев, который так настаивал, чтобы Бородин выписал ноты обратно из-за границы, за два года так и не нашел времени забрать их у автора.

После фальстарта 1878 года Первая симфония наконец-то прозвучала в Германии. 20 мая (нового стиля) Венделин Вейссгеймер (или Вайсхаймер) исполнил ее на XVII съезде Всеобщего немецкого музыкального союза в Баден-Бадене. 19 мая съезд открылся оперой Вейссгеймера «Мартин-бочар и его подмастерья». 20-го состоялся Первый большой оркестровый концерт. В программе были «Императорский марш» Вагнера, Баллада для оркестра Тауберта, виолончельный концерт Эмиля Хартмана, увертюра «Торквато Тассо» Шульца-Шверина, Концертштюк для скрипки с оркестром Сен-Санса, баллада Вейссгеймера «Невеста льва», симфония Бородина и в заключение — вступление и хор из оратории Листа «Христос». Засим последовали еще один большой оркестровый вечер, концерт духовной музыки и два камерных утренника. На последних тоже звучала

русская музыка: альтовая соната и песни Антона Рубинштейна и две фортепианные пьесы Чайковского.

Успех Первой симфонии был триумфальным. Бородин получил о нем письменные известия — от Риделя и Листа, устные — от ездившего в Баден-Баден Карла Давыдова, печатные — из рук Евгения Альбрехта. Статья известного ваг-нериста Рихарда Поля в основанной еще Шуманом «Новой Лейпцигской музыкальной газете» должна была особенно порадовать Александра Порфирьевича:

«Больше всего среди новых инструментальных произведений наш интерес возбуждает симфония А. Бородина из Санкт-Петербурга (№ 2, Es-dur). То, что Лист ее так тепло рекомендовал, уже заставляло ожидать ее с нетерпением; проблема симфонии сделалась теперь такой острой, что каждое новое жизнеспособное явление в этой области заслуживает пристального внимания и живого участия. Нашим знатокам Бородин в Германии еще совсем неизвестен, его симфония еще в рукописи. Ввести ее в обиход в Германии — неоспоримая заслуга нашего Союза.

Бородин — один из тех редких людей, кто в новой симфонии действительно имеет, что нам сказать, что еще не было сказано, и он принадлежит к тем еще более редким, кто, следуя за Берлиозом, не перебарщивает как-либо в этой слабости к опасному образцу. Тематически очень остроумно изложена первая часть (*Adagio es-moll, Allegro moderate Es-dur*), в которой ощущается дух Бетховена... Поистине гениальна вторая часть, Скерцо. Здесь живет типичный берлиозовский юмор: пьеса очаровывает переменными размерами (7/4, 5/4, 3/4) от начала до конца; здесь действительно можно найти нечто новое, что одновременно является и хорошим. *Andante* стоит не на равной высоте, в своем широком развитии оно в целом не очень возбуждает чувства, но оно тем не менее интересно, поскольку в нем

снова чувствуется дух Берлиоза. Самая слабая часть — последняя, хотя в ней много воодушевления и с точки зрения формы она самая закругленная, в некотором смысле даже самая эффектная — но также и самая знакомая. Здесь композитор выпадает из стиля — и становится почти туманистом».

Критик перепутал номер симфонии, но верно отметил стилистический перелом в финале. Развив свою давнюю идею о причинах такого разностилья, Поль пророчески заметил о симфонии: «...она — достойное похвалы исключительное явление, которое мы еще долго с этих пор будем слушать». И завершил рецензию похвалой дирижеру:

«Исполнение этого произведения — истинная заслуга капельмейстера Вайсхаймера. Не только в том, что он некороткую и непростую, местами даже рискованную симфонию так мастерски разучил, что она предстала под виртуозным управлением, но и что он сделал в партитуре первой части превосходные купюры, которые мы теперь хотим, чтобы композитор сохранил. Даже и теперь первая часть — самая длинная и, кроме того, содержит некоторые гармонически очень рискованные места, устранение которых определенно пойдет на пользу. Прием, который симфония встретила, был очень одобрительным, а после Скерцо таким длительно горячим, что его повторение было бы оправданным, когда бы продолжительность программы концерта это позволяла».

«Превосходных купюр» Бородин не принял. Принять их значило бы идти в ногу со временем, он же прокладывал дорогу, не оглядываясь на советчиков. Балакирев тоже протестовал, в сердцах назвав баден-баденский подрезанный вариант симфонии «обглоданным чудищем».

В оркестре съезда играли музыканты со всей Германии, слушатели съехались из разных городов,

«Новую Лейпцигскую музыкальную газету» читали во всем мире — весть о новой прекрасной симфонии разнеслась быстро. В сентябре из Нью-Йорка пришла просьба о нотах от Леопольда Дамроша, но Бородин не рискнул отправить за океан единственный, к тому же изрядно потрепанный экземпляр. Прав был Стасов, требовавший скорее издавать обе симфонии, в особенности его любимую Вторую — «львицу».

Самым фантастическим из последствий баденской премьеры стала для Бородина реакция Балакирева: «Только получил он мою эпистолу — является к нам сам, собственною особой, сияющий, радостный, теплый, поздравил меня с успехом и сообщил, что он уже слышал об этом от Анненкова у Пыпина. Нужно заметить, что Балакирев не был у нас лет девять. На этот раз он держал себя, как будто он был у нас всего два дня тому назад. Как водится, он засел за фортепьяно, наиграл кучу хороших вещей и — о ужас! — пропустил свой обычный час ухода! Ушел чуть не в 12 часов». Как видно, Балакирев не сидел дома затворником, а вращался в литературных кругах, но по музицированию с прежними друзьями вконец истосковался. Уже через день он пришел с грудой нот и уселся играть с такой милой, такой симпатичной ему Екатериной Сергеевной в четыре руки скандинавскую музыку (одну из двух симфоний Юхана Свендсена и некие танцы Грига «Вальпургиева ночь» — наверное, имелась в виду пьеса «В пещере горного короля»). Так продолжалось до самого отъезда супругов в деревню. Возможно, Бородин тогда ненадолго отлучался из города: академия командировала его и профессора-гинеколога Кронида Федоровича Славянского в Москву на открытие памятника Пушкину.

Ложкой дегтя стал переезд в конце апреля в Петербург брата Ени. Отныне поддержка его многочисленной семьи из временной обязанности

Александра Порфирьевича превратилась в постоянную. Морального удовлетворения она ему не доставляла, ибо на корень зла — поведение брата — повлиять он был бессилён. Пасхальную неделю омрачило посланное из Вильно вослед Ене письмо другого брата. Митя, Митюха, Митряй писал: «В Страстную Субботу я не знал куда деваться от скуки, привыкнув проводить этот день в семье. Пошел к заутрени в собор, куда собирается все чиновное. Пришел рано, в мундире, как следует и в моем единственном ордене. Полиция начала выгонять всех бедно одетых людей. Меня покорило. Пришло несколько военных и гражданских генералов. Я стал позади. Приехал председатель. Подозвали меня и сделали замечание: «Вы стоите впереди генералов. Это уже совершенно невозможно!» Я бросил свою свечку об пол и вышел вон... Я очень здоров, хотя и отморозил себе обе руки».

К концу учебного года Бородин чувствовал себя усталым сверх меры и с нетерпением ждал лета. Уезжая в августе из Давыдова, он снова оставил там фортепиано и даже летнюю одежду, но к весне планы семьи почему-то поменялись. В академии Александру Порфирьевичу выписали отпускной билет «в Киевскую и другие губернии» — он думал погостить у Марьи Антоновны Гусевой в имении Раевских в селе Бирки Чигиринского уезда. Однако и этот план не осуществился: Лина Столяревская уговорила Екатерину Сергеевну ехать на Волгу в имение Соколово, принадлежавшее ее знакомым Хомутовым. 19 июня Бородин выехал из Петербурга с Лизой, Леной и 23-летним служителем Николаем Александровым. По железной дороге добрались до Рыбинска, а там сели на пароход и плыли целые сутки, пока за восемь верст до Кинешмы их не приняли на борт две лодки Хомутовых. Слегка запущенный, но обширный дом, заросший, но все еще роскошный сад, лодки, лошади, сёдла

разнообразных видов — всё было к услугам дачников. Дважды в день купались в Волге. Лена хозяйничала на кухне, готовила восхитительную стерляжью уху. Хозяйка Елена Федоровна оказывала всяческое внимание, как и все обитавшие в усадьбе дамы и барышни, общим числом семь. Бородин был в восторге, изливая его в письмах Стасову, Марье Гусевой, Мите. Митя и резюмировал их содержание лучше всех: «Экая у вас благодать-то, как ты пишешь! И бабьё и Волга и пр.».

Через неделю приехали Екатерина Сергеевна, Столяревская, Дианин и 43- или 44-летняя Дуняша, на которой Николай недавно женился по страстной любви и очень страдал, когда Екатерина Сергеевна и ее горничная жили врозь с мужьями. Дианин, доставив дам, отбыл в Давыдово за вещами, а в Соколово начались метания. Самочувствие Екатерины Сергеевны от поездки на пароходе и от близости Волги резко ухудшилось. Домочадцы хотели срочно отправить ее с Лизой и Дуняшей в Давыдово, Хомутова предложила уехать чуть дальше от реки в имение ее сестры Ольги... В итоге с места никто не двинулся. К середине июля Шашенька доставил давыдовское фортепиано, и Александр Порфирьевич засел за женский хор «Ты помилуй нас, не во гнев тебе...» и за продолжение сцены бунта Галицкого.

Бурное настроение этой сцены гармонировало с окружающей обстановкой. Среди живших у Хомутовых барышень была молодая, веселая и очень музыкальная гувернантка Елизавета Викторовна Ногес-де-Рюитор. Вопреки фамилии — не из Парижа, а из Курска, совсем не знавшая или не очень хорошо знавшая французский. Симпатия вспыхнула мгновенно и, увы, не укрылась от глаз бдительной хозяйки. Когда через Столяревскую до Елены Федоровны дошли слухи о недовольстве дачников, та в оправдание написала Александру Порфирьевичу: «Считая Вас за умного и деликатного

человека, я не могу предположить, что Вы меня обвиняете в том, о чем я даже и не думала и на что не имела никакого права, а именно: будто я за Вами следила, подглядывала и тому подобные вещи, о которых лучше умолчать... мне бы очень хотелось узнать, из чего можно было это заключить? Уж не из того ли, что я становилась на сундук, но ведь я это делала для того, чтоб узнать, в своей ли Вы комнате, и потом уже входила... Что же касается до моей антипатии к Елизавете Викторовне, то ведь это дело вкуса, и мы могли с ней не сойтись и иметь свои счёты...»

Вопреки комичным обстоятельствам чувства были нешуточными. Осенью Елизавета Викторовна получила от Бородина его фотографию и приглашение на премьеру Первого квартета. К премьере она не успела, но в январе 1881 года приезжала в Петербург повидаться. Вскоре Александр Порфирьевич получил от нее из Москвы такие строки: «Сейчас только получила твое письмо, моя радость; ты пишешь, что тебе было грустно после моего отъезда, — но что делать — я буду жить надеждой на лето. Не буду описывать тебе то чувство, с каким я оставляла тебя, скажу только одно, что до сих пор не могу придти в себя совершенно, не могу даже не только читать, но даже вышивать твоей рубашечки, положительно все из рук валится, сегодня мне особенно нездоровилось, так, что я почти не вставала с постели, а завтра пойду на студенческий бал, может быть будет лучше... Простите мне, моя радость, что я капризничала и злилась последние часы перед отъездом, меня злили не твои слова, а всё и все — каждый прохожий, каждый нищий казался мне таким счастливым в сравнении со мною; все они оставались в Петербурге, может быть, не имея даже там никакой привязанности, а я должна была уезжать и оставлять все, все то что только есть самого дорогого у меня на

свете и что дороже мне моей собственной жизни — и до этого никому не было дела... Сколько раз на улице мне хотелось броситься к тебе и зарыдать, но я и этого не смела делать, и меня еще более начинало все злить... Пиши же мне поскорей, мой дорогой дитёнок, да побольше о себе».

Летом они сговорились встретиться в Курске, где Бородин всегда мог остановиться у Кудашева или Чуриловых, но планы неожиданно изменились. Елизавета Викторовна взяла место гувернантки в Ростове-на-Дону, и в ответ на очередное его письмо — как обычно, «короткое и сухое», — полетело в Петербург очаровательное послание: «С каким нетерпением, дорогой Александр Порфирьевич, я ждала от Вас письма, чтобы по душе поговорить с Вами, уже сколько времени, как я была лишена этого удовольствия. Дело в том, что, откровенно говоря, мне надоела уже отчасти кочевая жизнь и хотелось бы лучше оседлой, дома же жить скучно, следовательно один исход — выйти замуж, но Вам ведь известно, что я люблю... и замужество по любви для меня — немыслимо, а самое лучшее за первого встречного, который уже представился. Нужно Вам сказать, что я живу у купца, вдовца, имеющего одного 8-летнего сына, и вот этот-то купец влюбился в меня по уши в тот самый момент, когда я первый раз переступила порог его квартиры. Развит он мало, образован еще менее, пожалуй еще менее, чем я, если это только возможно. — Торговли у него никакой нет, он служит только агентом четырех обществ, а именно: в пароходстве «Дружина», «Волга», потом еще у Рогозина, минеральное масло, и у Шаповалова; содержание он получает хорошее, 8 тысяч, а года через три будет получать 15 тысяч».

Кажется, Бородин вздохнул с облегчением, да и посмеялся: оказывается, в Ростове, где он отродясь не бывал, общество судачило о его романе с... Дарьей

Леоновой. Переписка его с новой знакомой продолжалась. Елизавета Викторовна — теперь Закурдаева — была абсолютно счастлива. Через четыре года у нее было уже трое прелестных детей.

Раньше всех уехали из Соколова Лиза и Шашенька: Лиза собралась поступать на Педагогические курсы. Тем летом молодые люди стали женихом и невестой. Бородина помолвка радовала, Екатерину Сергеевну — раздражала. До такой степени раздражала, что в конце сентября Бородин разразился нехарактерной для себя огромной отповедью: «И в Писании сказано: оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будет два плоть в едину... Прости, но у тебя какое-то соревнование с Лизуткой и какой-то зуб против Павлыча; ты хочешь, чтобы он отдавал тебе столько же внимания, интереса и пр., сколько Лизутке. Да разве это возможно? Разве можно претендовать на это?.. Признаюсь откровенно, я ужасно не люблю, когда ты начинаешь «жить своим внутренним миром» — это значит, что ты сидишь на кровати, бессовестно много куришь и думаешь всякие мерзости или о себе, или о других, ставишь себе разные «нравственные мушки» или собираешься ставить их другим. В конце концов ты расстроишь себя, начинаешь хандрить, пилить Павлыча или Дуняшу... Терпеть этого не могу».

12 сентября в качестве «первого взмаха крыльев для поднятия себя с целью перелета на зиму» было отослано из Соколова в Давыдово фортепиано. 16-го Бородин отправил в Москву Екатерину Сергеевну с Дуняшей и вызвавшейся проводить их милой Елизаветой Викторовной. Сам он 19-го отбыл на пароходе «Отважный», имея в кармане последние 12 рублей, и те занятые у Хомутовых. Неспокойное лето принесло слишком мало музыкальных плодов. Ученик Бородина, врач и баритон-любитель Владимир Никанорович Ильинский, недавно сочетавшийся узами брака, мечтал

стать отцом сына по имени Игорь и гадал, который из Игорей явится на свет раньше. В 1880 году родился Игорь Владимирович Ильинский — появление бородинского «Игоря» снова откладывалось.

Осень традиционно встретила холодом в квартире, сыростью и гриппом. Доброславин уехал в Киев для борьбы с эпидемией сыпного тифа, и Бородин временно взял на себя обязанности ученого секретаря академии. Постепенно начались занятия, шла подготовка к концертам Кружка любителей музыки и к «семейному» вечеру в пользу слушательниц Женских врачебных курсов, прошедшему 12 ноября в переполненном зале Кононова. Пела Веревкина, играл скрипач Галкин, Бородин дирижировал хором курсисток и был шесть или семь раз вызван на поклоны. Вопреки страшной тесноте танцы продолжались до трех часов ночи.

Еще в сентябре Римский-Корсаков сыграл свою до того сберегавшуюся в тайне «Снегурочку» Балакиреву, Стасову и Бородину. В полной мере ее тогда оценил только один из всех троих — Бородин. А 4 ноября Мусоргский целиком играл у Третья Филиппова «Хованщину». Собралось довольно большое общество, были Балакирев, Кюи, но не было Римского-Корсакова. На автора так и накнулись с требованиями сокращений и переделок — для Мусоргского нападки давних и новых друзей стали катастрофой. Не было в живых Авдотьи Константиновны, чтобы обнять и расцеловать его, как в день, когда он играл у Бородина «Бориса Годунова». Александр Порфирьевич скорее всего присутствовал, но ругал он, ободрял или молчал, скрыто завесой тайны. У них с Мусоргским («родных братцев», по выражению Стасова) была загадочная дружба. Очень доверительная — Бородин чуть не первым осознал серьезность проблем Мусоргского с алкоголем, — явно отразившаяся в музыке, но совершенно не запечатлевшаяся в переписке. Только воспоминания Варвары Комаровой

(Стасовой) свидетельствуют о том, как часто Мусоргский и Бородин играли то в четыре, то в три руки (первый играл, второй подыгрывал отдельные голоса) и как неподражаемо пел Модест Петрович арию Кончака.

Пока коллеги клевали «Хованщину», Бородин-композитор получил два предложения из Москвы: Николай Григорьевич Рубинштейн и Петр Иванович Юргенсон обратились к нему с просьбой написать оркестровую пьесу для назначенной на лето 1881 года Всероссийской выставки.

Бородин предложил небольшой концертный марш на приволжские темы — замысел явно возник у него под влиянием свежих впечатлений от поездки в Соколово. Увы, марш не был сочинен, тема Волги прозвучала на Выставке в фантазии Соловьева «Эй, ухнем!». Александр Порфирьевич, таким образом, ничего не сделал для художественной части Выставки, но для промышленной пришлось потрудиться: на службе его ожидаемо выбрали в комиссию по подготовке экспонатов от академии.

Рубинштейн также попросил у Бородина ноты Второй симфонии: Николай Григорьевич познакомился с ней по переложению в четыре руки и решил исполнить в концерте Московского отделения РМО. Это последнее предложение застало врасплох: после недавнего исполнения в концерте БМШ ноты были испещрены корсаковскими поправками, к тому же партитура не была переплетена. Прошел целый месяц, пока Александр Порфирьевич со всеми подобающими извинениями смог отправить нотный материал в Москву — и немедленно засел за проверку полученных от переписчика партий Первого квартета, с которыми тоже запаздывал. Свободного времени совсем не было: в конце ноября пришлось улаживать конфликт курсисток с профессором Бакстом, 3 декабря нельзя было отказаться от приглашения на раут в честь

пятидесятилетия принца Ольденбургского, а 6 декабря Бородин дирижировал хором академии на концерте в пользу недостаточных студентов. В зале гостиницы Демута яблоку негде было упасть, Дарья Леонова дважды спела «Блоху» Мусоргского, генерал-хормейстер тоже наслаждался бурным успехом.

Покончив со всем этим, Бородин 15 декабря уехал в Москву и нежданно-негаданно свалился на голову обрадованной теще. Профессора Московской консерватории встретили его превосходно. Дни до отказа заполнились: консерваторский концерт, продолжавшийся до самой ночи, музыкально-драматический вечер, репетиции симфонии, исполнение Литургии Чайковского хором Петра Ионовича Сахарова, обед у главы кафедры истории и теории церковного пения Дмитрия Васильевича Разумовского, обед у Танеева, завтраку Рубинштейна...

20 декабря Второй симфонией открылось Восьмое собрание Московского отделения РМО. Репетиции шли с 17-го, а перед тем Рубинштейн дома проиграл симфонию автора, сверяя темпы и оттенки. Исполнение вышло неидеальным, но достойным, а московская публика благоволила к отечественным композиторам. Бородин выходил кланяться, его внушительная фигура в генеральском мундире произвела большое впечатление. После концерта целая группа дам позади него говорила:

— Это он, это он! Бородин! Пойдемте за ним, посмотрим, куда он пойдет!

То был еще не триумф Второй симфонии, но все-таки успех. В зале был студент Московской консерватории Сергей Михайлович Ляпунов. Впечатление, произведенное на него симфонией Бородина, было таким глубоким, что через несколько лет он переехал в Петербург и вошел в число учеников Балакирева.

Только 24 декабря Александр Порфирьевич вернулся из гостеприимной Москвы. Почему-то в тот год обычная

предновогодняя «служба», состоявшая в писании отчетов, мало его отвлекала. Первое, что он сделал по приезду, — узнал время генеральной репетиции Первого квартета, за который с осени уже конкурировали музыканты.хлопотало Общество квартетной музыки в лице Евгения Альбрехта, просил ноты первый скрипач квартета Московского отделения РМО Иван Войцехович Гржимали. Победили молодые музыканты «Русского квартета» во главе с 24-летним Николаем Владимировичем Галкиным. Приглашение на генеральную репетицию Галкин заключил словами: «Мы все от Вашего квартета в восторге».

Премьера состоялась 30 декабря. Музыканты начали, сбились и без паузы начали снова, немало озадачив публику странностью музыкальной мысли. Флажолеты в скерцо сошли не совсем благополучно. Все же произведение вышло в свет, а вскоре прекрасное исполнение квартетом РМО упрочило его репутацию. Солист его величества Леопольд Ауэр, первая скрипка квартета, запомнил, каков был Александр Порфирьевич на репетициях дома у Давыдова: «живой, любезный и чрезвычайно подвижный во время исполнения его квартетов». Критик Михаил Иванов, которого почему-то обвиняют в плохом отношении к Бородину, после первого прослушивания назвал квартет «маленькой симфонией». Заинтересовался издатель Ратер, выплатил 100 рублей гонорара, но тянул с выпуском до самого 1884 года, когда Первый квартет уже играли во многих странах. Для исполнения в Париже Бородин — уникальный для него случай — даже озаботился перепиской второго экземпляра нот! 30 декабря, принимая поздравления после несколько смазанной, но в целом удачной премьеры, он уже не сомневался: Второй квартет нужно срочно заканчивать.

Последний день 1880 года ознаменовался исполнением в концерте РМО арии Кончака. Пел Федор

Стравинский. Был успех, автора вызывали. Так и прошли весь ноябрь и весь декабрь — чуть не ежедневно случались события, волновавшие Александра Порфирьевича то радостно, то горько. Дважды с интервалом в несколько дней громом среди ясного неба настигали Бородин последствия смерти Зинина. 11 ноября Менделеев баллотировался в Академию наук на место покойного Николая Николаевича — и не был выбран! В последовавшем за этим протесте Бородин принял личное участие как член Русского физико-химического общества и заочное — как член биологического отделения основанного Доброславиным и Здекауером Общества охранения народного здоровья, действительным членом коего состоял с 27 ноября 1877 года.

А за несколько дней до баллотировки Менделеева Александр Порфирьевич, ни о чем не подозревая, распечатал адресованное «Александру Парфентьевичу» письмо от некоей Марьи Михайловны Матвеевой — и с изумлением узнал, что у покойного учителя была третья (тайная) семья и подрастает одиннадцатилетняя дочь Маничка. После смерти Зинина мать и ребенок остались без средств.

Не откладывая, Бородин посетил Марью Михайловну и в доказательство происхождения дочки получил связку писем Николая Николаевича. Дело было деликатным, объявлять обычным порядком благотворительную подписку не следовало. Александр Порфирьевич поговорил с Бутлеровым, вдвоем они связались с соучениками и собрали для семьи некоторую сумму. Марья Михайловна была певицей-любительницей. Бородин ввел ее в Кружок любителей музыки, познакомил с Кюи, да и сам продолжал поддерживать общение. Письма Зинина так и остались у него.

Ошарашивающее открытие вкупе с летним приключением в Соколове произвели тектонические

сдвиги в сознании Александра Порфирьевича. В те дни в Петербурге оказалась Калинина. Виделись ли они? Несомненно, поскольку 4 декабря Анка написала четвертое и последнее стихотворение цикла «Песни разбитой любви»:

Я все позабыла, я снова хотела
Идти своей темной, безвестной тропой;
И вдруг та любовь, словно шквал, налетела,
Нахлынув нежданной и жгучей волной...

Часть V

ПО ТЕЧЕНИЮ?



Глава 25

ГОД КАТАСТРОФ И СВЕРШЕНИЙ

Новый год Бородин встретил в бодром настроении. 3 января поздравил с днем рождения Екатерину Сергеевну, а в воскресенье 11-го собрал у себя коллег по академии, университетских профессоров, чуть ли не всех Стасовых и других знакомых. Его ученик, молодой врач Николай Орестович Лихонин, всерьез занимался гипнозом, готовил к печати книгу «Гипнотизм и краткая его история» и предложил Александру Порфирьевичу устроить сеанс опытов. Профессор откликнулся с энтузиазмом, и Лихонин в назначенный час явился в большую фармакологическую аудиторию с двумя племянниками, прямо-таки сказочно восприимчивыми. По воспоминаниям Варвары Стасовой, племянник-юнкер «лежал как доска, едва опираясь головой и концами ног на два далеко расставленных стула, словно был сам из дерева, с ужасом бегал по эстраде, когда ему кричали «лев» или «волк на вас бежит», его кололи булавками, давали есть бумагу вместо конфет, и он с удовольствием ее жевал».

Опыты с вызвавшимися из публики двумя курсистками тоже прошли успешно, только перед гимназисткой Варенькой Стасовой гипнотизер оказался бессилён. Вечер закончился в одиннадцатом часу. Варенька поехала с отцом на танцевальный вечер, до четырех часов утра отплясывала вальсы и мазурки, вернулась домой и заснула как убитая. На завтра в гимназии ей предстояло сперва давать уроки пригостишкам, затем слушать дидактику и историю русской критики.

Вернувшись домой из гимназии, она с изумлением увидела Александра Порфирьевича. Удостоверившись,

что с ней всё в порядке, тот несказанно обрадовался, поскольку с обеими курсистками творилось неладное: «У одной из них отнялись не то руки, не то ноги, дома обе не могли долго заснуть, а заснув, истерически кричали и плакали во сне, вообще нервы совершенно у них расстроились». Все-таки вескими оказались резоны Щербачева («Флакончика»), упрашивавшего Вареньку не подвергаться гипнозу и тщетно взывавшего к разуму ее матери Поликсены Степановны:

— Мадам, ради Бога, не разрешайте этого, я вас умоляю, я вас умоляю!

После декабрьских исполнений своей музыки Бородин пребывал в творческом настроении. Весной предстоял очередной юбилей Леоновой — тридцатилетие творческой деятельности. Может быть, припомнив, как два года назад сопрано де Карс пела в концерте РМО одну из «Персидских песен» Антона Рубинштейна и «Арабскую мелодию» («Прощание аравитянки») Жоржа Бизе, он к середине января произвел на свет очень необычное для себя сочинение. Никогда не писавший на чужие темы (лишь иногда использовавший краткие фрагменты), он вдруг взял песню из хорошо известной музыкантам его круга книги Александра Филипповича Христиановича «Исторический очерк арабской музыки» (1863), гармонизовал ее и перевел слова на русский язык. Так родилась «Арабская мелодия» («Не беги от меня...») — второй после трио «Чем тебя я огорчила» случай обработки Бородиным народной песни. Толи Александр Порфирьевич решил, что неудобно дать к концерту вместо оригинального сочинения обработку (все-таки чужие темы он привык развивать юмористически, в пародийных импровизациях), то ли засомневался в возможностях Дарьи Михайловны воплощать страстные любовные признания, то ли просто не был доволен результатом, но 30-го или 31 января он прибежал к Стасову в Публичную

библиотеку и взял три поэтических сборника: Мея, Кольцова и Некрасова. По рассеянности профессора Кольцов так и остался у Стасова на столе. Видно, не суждено было Бородину сочинять на стихи этого поэта. Пришлось выбирать между давно ценимым Меем и горячо любимым Екатериной Сергеевной Некрасовым. У Некрасова-то и нашлись строки, мимо которых Бородин пройти не смог:

У людей-то в дому — чистота, лепота,
А у нас-то в дому — теснота, духота.
У людей-то для щей — с солонинкою чан,
А у нас-то во щах — таракан, таракан!..

Три года спустя, возражая против идеи Екатерины Сергеевны перевезти к ним на Выборгскую свою мать, Бородин написал жене буквально следующее: «Во-первых — куда мы ее поместим, при нашей тесноте, духоте, жаре и складе жизни?» Неудивительно, что песня для контральто Леоновой вылилась на одном дыхании. Бородин написал ее прямо на оркестр, инструментуя аккомпанемент легко и деликатно, как он всегда это делал, сочиняя для женских голосов. В одном месте Александр Порфирьевич нарочно или нечаянно поправил поэта. У Некрасова:

У людей кумовья — ребятишек дарят,
А у нас кумовья — наш же хлеб приедят!

У Бородина: «твой же хлеб приедят». Это «твой» звучит так лично, выстраданно — хлеб ведь добывал он один.

Екатерина Сергеевна была в восторге. На Новый, 1882 год муж получил от нее собрание сочинений

Некрасова в новом издании Пыпина, сопровождаемое стихами:

По духу, по лире, по силе самой выраженья —
родной ты поэту:
И плачет, и тешит по-русски чудесная лира
твоя...

Далее Екатерина Сергеевна, как водится, сбилась и перестала выдерживать ритм.

25 февраля 1881 года песня «У людей-то в дому» была почти готова, и Бородин объявил о ней Леоновой, слегка оправдываясь: «сентиментальных» любовных сюжетов в музыке и без того хватает, «потому я взял сюжет жанровый, народный и юмористический; в этом роде вещей мало, да их кроме Вас никто из певиц и не может петь...».

Тем временем 31 января 1881 года Стравинский снова спел в концерте РМО арию Кончака и просил у Бородина новых вещей для баса. Вероятно, именно Федора Игнатьевича нужно благодарить за то, что в 1881 году была написана ария «Ни сна, ни отдыха измученной душе», ибо в 1886-м автор подарил ее рукопись Стравинскому. Что-то новое из «Игоря» и очень всем понравившееся Бородин играл ночью 3 февраля у Римских-Корсаковых, где теперь чаще всего встречались «музикусы». В ту ночь, после концерта БМШ под управлением Николая Андреевича, у него дома собралось большое общество, включая Направника и директора Императорских театров барона Кистера. Бородин вновь услышал в исполнении автора отрывки из недавно законченной «Снегурочки». А Мусоргский в тот вечер в последний раз присутствовал на исполнении своей музыки (это был хор «Поражение Сенахериба») и в последний раз выходил кланяться.

Весь ход жизни нарушился катастрофой 1 марта, когда был убит Александр II. Долгая охота на него террористов, принеся столько жертв, закончилась. Сбылась мечта Степана Халтурина. Теперь, по чаяниям ему подобных, должна была наступить новая, свободная эра. Наступило же то, что Ленин назвал «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакцией». Какими эпитетами нужно, в таком случае, наградить ее причину — террор народовольцев?

О таких вещах не писали в письмах, но за ходом следствия Александр Порфирьевич как минимум внимательно следил: химик Николай Кибальчич, изготовивший для террористов взрывчатку, когда-то был студентом академии. Последствия цареубийства отзывались в жизни профессора вплоть до последних дней. Сперва настигли очевидные: комендантский час, отмена юбилея Леоновой и других концертов, перенос на год Всероссийской выставки в Москве, для которой он в итоге так ничего и не написал. Появились новые хлопоты и новые поводы для беспокойства. Ипполитов-Иванов вспоминал: «Начало 80-х годов было особенно тревожно в политическом отношении; аресты студентов шли непрерывно, и Бородин выбивался из сил, выручая то одного, то другого, бегая по приемным у власть имущих, проявляя большую настойчивость и терпение. В одну февральскую ночь во втором часу раздается у Ильинских звонок, появляется Александр Порфирьевич, занесенный снегом и промерзший до последней возможности; оказалось, что он с восьми часов вечера и до часу ночи провел на извозчике, разъезжая по учреждениям, разыскивая кого-то из арестованных, и все это делалось без всякой рисовки, а из чистого чувства человеколюбия и отеческого отношения к молодежи».

То были хоть и частые, но частные случаи. Более существенные перемены не заставили себя ждать. 10

июля 1881 года вступило в силу новое положение об академии, которая стала называться Военно-медицинской и должна была готовить исключительно военных врачей. Рубя сплеча реформаторы оставили из пяти курсов только три старших, так что в 1881-м в академию поступили всего... 16 студентов. В 1883 году вернули пятилетнее обучение, восстановили некоторые в спешке упраздненные кафедры и возобновили подготовку гражданских врачей, но ущерб был нанесен немалый. А в 1884-м явился новый университетский устав, и Конференция озаботилась приведением положения об академии в соответствие с оным, чем и занималась шесть лет.

Наконец, Бородину пришлось пережить самый чувствительный для него удар. Со сменой царствования сменилась власть не только в Императорских театрах, где место Кистера занял Всеволожский. С поста военного министра ушел Дмитрий Алексеевич Милютин. Его преемник Петр Семенович Ванновский еще до утверждения в должности решил: в его подчинении никаких женских учебных заведений не будет. Самоотверженного участия женщин-врачей в последней Турецкой кампании он, по-видимому, не заметил. Начались хлопоты о том, чтобы какое-нибудь другое ведомство — МВД, Министерство просвещения, Петербургская городская дума — приняло курсы под свое крыло. Бородин делал что только мог — ничего не вышло. Слишком мало зависело лично от него, а его же собственное мудрое правило, записанное педиатром Евгенией Петровной Под-высоцкой, гласило: «Не ручайся за успех того, исполнение чего не зависит от нас». Уже поступившим разрешили доучиться, но после 1882 года прием новых студенток запретили. Поскольку первый курс всегда был многочисленнее других и платили первокурсницы не по 25, а по 35 рублей за семестр, финансовые проблемы приняли угрожающие размеры.

Когда же пришлось разорять химическую лабораторию курсов в Николаевском госпитале и перевозить оборудование в академию, Бородин расплакался...

До 1881 года он изыскивал средства для материальной поддержки учениц — теперь пришлось озаботиться средствами для самого существования курсов. А попутно разрабатывать и утверждать их новый устав и решать множество проблем с документами, возникших из-за смены статуса. Александр Порфирьевич не терял надежды, что курсы удастся возобновить. Он умер в дни, когда выпускались последние женщины-врачи. После его смерти бюрократическая машина еще десять лет пережевывала проект Женского медицинского института, открывшегося лишь в 1897 году. Таковы были для Бородина последствия деятельности «Народной воли», якобы от имени народа действовавшей.

11 марта в Париже умер Николай Рубинштейн. 16 марта в Петербурге умер Мусоргский. Бородин и Стасов незадолго до смерти устроили друга в Николаевский госпиталь, Александр Порфирьевич часто посещал его там (вероятно, встречаясь с Репиным, писавшим знаменитый портрет).

17 марта Бородин был в церкви госпиталя на панихиде и 18-го вместе с Екатериной Сергеевной отправился на похороны Модеста Петровича. Сестры милосердия Николаевского госпиталя убрали гроб цветами. От самого госпиталя шли без пения — хоры консерватории и Бесплатной музыкальной школы не явились. Пришли певцы Каменская, Белинская, Мельников, Стравинский, Прянишников, пришли Бессель, Давыдов, Направник и целая депутация от Кружка любителей музыки, пришел даже критик Соловьев, при жизни покойного не жаловавший. В воротах Александрово-Невской лавры мужчины запели «Святой Боже». Все было, как в давнем романсе

Мусоргского «Листья шумели уныло»: «тихо, без плача зарыли и удалились все прочь». Не было речей над могилой, прозвучало лишь обещание Римского-Корсакова закончить и выпустить в свет все сочинения покойного. Вернувшись домой с похорон, Александр Порфирьевич сел писать открытое письмо в газету «Голос» с благодарностью врачам и сестрам милосердия за заботы о Модесте Петровиче в последние дни его жизни.

Поскольку траур по Александру II продолжался, Дарья Михайловна Леонова отмечала юбилей дома, собрав 18 апреля около сотни своих друзей. Программа была целиком русской, в память о Мусоргском звучали его произведения. Дарья Михайловна впервые спела «У людей-то в дому», возможно, сыграли в четыре руки Половецкий марш из «Князя Игоря». Доселе неизвестную ей каватину Кончаковны Леонова продолжала «манить к себе».

В ту весну музы молчали, когда не плакали. Служение Аполлону временно превратилось в не самую приятную обязанность, едва 21 апреля Щиглёв попросил друга детства провести вместо него репетицию с хором Кружка любителей музыки. Это было только началом эпопеи. Оказывается, у Щиглёва разразился конфликт с руководством Кружка. 7 мая он обратился к Бородину с новой просьбой: объявить Распорядительному комитету, что он, Щиглёв, покидает Кружок. История тянулась до сентября, пока великий дипломат и всеобщий благодетель не сумел всех помирить и водворить друга детства обратно на место хормейстера.

Как всегда, не терпелось скорее завершить учебный год и вырваться из Петербурга. В 1881 году это удалось. Бородин получил в академии научную командировку и 26 мая уехал в Германию. Путь его лежал через Берлин в Магдебург, к истинной цели путешествия — XVIII съезду Всеобщего немецкого музыкального союза. Ни одно из

его сочинений не входило в программу, но хотелось вновь увидаться с Листом, завязать новые знакомства и — насладиться новой музыки, ибо в Петербурге из-за траура концертов все еще не было.

Магдебург был идеальным местом для достижения всех этих целей разом. За четыре дня Бородин посетил пять концертов: ораториальный, два симфонических, один органнй и один камерный. Не канувшая в Лету часть программы (примерно одна треть из всего исполненного) включала Венгерскую коронационную мессу, симфоническую поэму «Что слышно на горе», «Пляску смерти», песни и фортепианные пьесы Листа, увертюру «Фауст» и всё тот же «Императорский марш» Вагнера, отрывки из «Ромео и Джульетты» Берлиоза, фортепианный концерт Грига, Первый квартет Сметаны, старинную музыку — Баха, Генделя, Тартини. Дирижировали музыкальный директор Магдебурга Густав Реблинг и капельмейстер театра в Лейпциге, восходящая звезда Артур Никиш. Бегая с концерта на концерт, с репетиции на репетицию, пьяный от вина, пива и музыки, Бородин даже похудел. Вокруг него постоянно были певицы и пианистки, с восхищением вспоминавшие Первую симфонию, какие-то англичане и американцы. Барышни наперебой просили автографы. Александр Порфирьевич лично познакомился с Карлом Риделем, его женой и двумя юными дочерьми, подружился с пианистом Ксавером Шарвенкой и его женой, уроженкой Вятки Зинаидой Петровной, с другим пианистом — Генрихом Луттером из Ганновера. Полезны были знакомства с дирижером Гансом фон Бюловом и с только что возглавившим «Всеобщую немецкую музыкальную газету» Отто Лессманом (вскоре тот обратился к новому знакомому за биографиями наиболее значительных русских композиторов).

За день до Бородина в Магдебург прибыл Лист. На вокзале ему устроили такую встречу, что дамы, как

выразился излагавший это Бородину носильщик, «не то что платками, а чуть не подолами махали!». Александр Порфирьевич тут же велел нести свои вещи в отель, где расположился высокий гость, прямоком направился в номер один — «и через секунды две обе руки мои были в железных руках Листа». В номере Бородин увидел множество цветов и дам, принесших новые букеты. На рояле стояли ноты «Парафраз» и кое-каких вещей из программы съезда.

Лист неуклонно следовал цели, которой он позднее поделился с графиней де Мерси-Аржанто:

«Конечно, дорогой доброжелательный друг мой, вы сто раз правы, оценивая нынешнюю музыкальную Россию и наслаждаясь ею. Римский-Корсаков, Кюи, Бородин, Балакирев — мастера с выходящею из ряда вон оригинальностью и значением. Их создания вознаграждают меня за скуку, наносимую мне другими сочинениями, более распространенными и прославляемыми... В России новые композиторы, несмотря на свой примечательный талант и умение, имеют успех еще умеренный. Высшее общество ожидает, чтоб они имели успех в других местах, прежде чем аплодировать им в Петербурге... На ежегодных концертах Всеобщего немецкого музыкального союза всякий раз исполняют, вот уже несколько лет, по моему указанию какое-нибудь сочинение русских авторов. Мало-помалу публика образуется».

Для Новой русской школы главным событием года была немецкая премьера симфонии Римского-Корсакова «Ангар». 11 июня нового стиля ее исполнил в зале «Одеон» под управлением Артура Никиша знаменитый оркестр лейпцигского «Гевандхауза», усиленный музыкантами церкви Святого Фомы и местными полковыми музыкантами (из-за тесноты на сцене все, за исключением виолончелистов, играли стоя). У Бородина имелось поручение от Николая Андреевича: передать

дирижеру и арфисту, что каденцию арфы в первой части нужно расширить. Оказалось, Никиш каким-то чудесным образом уже это проделал! Римский-Корсаков был по делам службы в Николаеве, поэтому восторженное письмо из Магдебурга отправилось к его супруге. Начал Бородин с кокетливых поддразниваний: «Милая, дорогая Надежда Николаевна, прежде всего простите такое обращение к Вам; слова «милая и дорогая» вырвались невольно из-под пера; не нравится Вам — зачеркните их. Теперь к делу... Играли — божественно; чистота, точность, верность интонации, рельефность оттенков изумительная. Никиш — действительно замечательный дирижер; у него есть огонь, увлечение, страстность и определительность дирижировки необыкновенная. Дирижировал он наизусть... Первая часть сыграна была хорошо. 2-ю часть Никиш сыграл просто чортом, в ней вышли некоторые места так, как я их нигде и никогда не слышал, а именно напр. аккорды деревянных духовых триолями — это было чорт знает что такое! — точно что-нибудь разбилось и разлетелось вдребезги... а самое заключение на арфе и трех флейтах представляло... такую волшебную прозрачность звука и верность интонации, что я был просто на седьмом небе».

Общительный Бородин успел перезнакомиться с половиной оркестрантов еще до репетиции, поскольку Никиш на полчаса опоздал. Затем дирижер битый час перемещал так и эдак не помещавшийся на сцене оркестр. Александру Порфирьевичу безропотно выносимые музыкантами тяготы напомнили строки крыловского «Квартета»: «Ты с басом, Мишенька, садись против альта, я, прима, сяду против вторы...» После концерта он переговорил, наверное, с доброй половиной публики и во всех подробностях выяснил, кто и как оценил каждую из частей «Антара». По ходу ему рассказали, что «Сербскую фантазию» Корсиньки часто играют в Берлине.

Напоследок Александр Порфирьевич сообщил своей корреспондентке, феноменальные музыкальные способности и трудолюбие которой продолжали его восхищать, как он коварно записал ее вместе с мужем в члены Всеобщего музыкального союза. В графе «звание» Бородин коварно поставил не просто «музыкантша», а «пианистка и композитор»: «Это Вам за то, что Вы меня браните, будто я мало пишу, а сами ничего не пишете, и прячете даже то, что уже написано. Испытав «наслаждение мщения», т. е. 2-ю часть Антара, я перехожу прямо к той части, которой нет в Антаре: «наслаждению получить прощение за коварство», рассчитывая, разумеется, испытать это наслаждение по приезду, а всему нашему кружку испытать еще большее наслаждение — «узнать, что Вы снова принимаетесь за музыкальное дело, приводите в порядок то что написано и собираетесь писать вновь». В ожидании всех этих наслаждений, жму Ваши даровитые ручки, крепко, до боли; Николая Андреевича целую и обнимаю; ребяток целую. Да! Никиш просит передать горячий поклон Н. А. и просит извинения в том, если кое-что, несмотря на все старания не вышло так, как бы, может, желал сам автор Антара». Прессу об успехе «Антара» Александр Порфирьевич заботливо собрал и перевел на русский. Немцы с гордостью и без лишних раздумий приписали Римского-Корсакова к «школе Листа». «Всеобщая немецкая музыкальная газета» упомянула о присутствии на концерте «высокодаровитого Бородина».

Из Магдебурга Александр Порфирьевич собирался в Лейпциг, но вместо этого уехал с Листом в Веймар и пробыл там более трех недель, если не считать пробудившей ностальгические чувства короткой вылазки 17 июня в Йену. Так, пунктиром был прочерчен в ту поездку его научный маршрут. Профессор посетил несколько университетов (кажется, меньше, чем собирался) и ознакомился с появившимися в немецких

лабораториях новшествами, которые его скорее расстроили, чем порадовали: внедрение их в академии требовало средств, которых не было.

Главной приманкой после Магдебурга была грандиозная двухвечерняя постановка обеих частей трагедии Гёте «Фауст», которую сильно уклонившийся от маршрута профессор смотрел в Веймаре 18 и 19 июня. Дианиным он честно написал: «Подобно некоему Тангейзеру я попал в мой Венусберг, к моей милой седой Венере — старику Листу и не призываю даже, по примеру Тангейзера, святую деву Марию, чтобы выручить меня. Если меня выручит кто отсюда, так разве моя Екатерина-Мученица, Петербургская пророчица». Лене Гусевой он велел от себя передать, «что ее «Шарик», хотя и менее кругленький, чем в Петербурге, закатился далеко и застрял».

Александр Порфирьевич снял комнату с окнами в сад, за которым стоял дом Листа. Живший этажом выше юноша-немец ежедневно разыгрывал на кларнете «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» и другие русские песни, по ночам пели соловьи. Бородин и здесь пребывал в центре всеобщего внимания. Листовские ученики снабдили его шапокляком для официальных визитов и помогали завязывать белый галстук. Две сестры, отрекомендовавшиеся «дочерями известного писателя Адольфа Штара», заманили в гости на чашечку кофе. «Чашечка кофе» вылилась в музыкальный вечер в присутствии Листа и Бюлова, где играли ученики одной из сестер. Отчет об этом вечере даже попал в газеты, которые не преминули назвать среди почетных гостей «профессора Бородина из Петербурга». Но больше всего времени профессор проводил с Листом. Старику так понравилась «Средняя Азия», что он притащил Бородину стопку нотной бумаги и так энергично, так упрямо велел писать переложение в четыре руки, что живо напомнил Александру Порфирьевичу Балакирева (старый друг

Листа, надворный советник Карл Гилле горячностью и бесцеремонностью замечаний напоминал Бородину Стасова). С девяти утра до девяти вечера Бородин успел переложить половину пьесы. Тут явился Лист, сунул ноты в карман и повлек автора к кому-то из многочисленных князей Витгенштейнов, где их уже ждали баронесса Мейендорф и герцог Саксонский. Смущенный автор в четыре руки с Листом доиграл «знаменитых верблюдов» до середины, дальнейшее изобразил один. В редкие свободные минуты он по горячим следам набрасывал прелестное «Продолжение Листиады», отчего письма Екатерине Сергеевне стали редки и скудны подробностями, если не считать описаний успеха Александра Порфирьевича у разнообразных барышень. Положительно он пытался не отстать от Листа, окрещенного им «бабником большой руки».

6 июля Лист дал в Йене «колбасный концерт» — грандиозную программу в университетской церкви, после которой по установившейся традиции все шли поглощать жареные колбаски. После этого путешественник наконец расстался со своей «седой Венерой» и отбыл в Лейпциг, где его с нетерпением ждала в гости семья Ридель. Основанный и руководимый Карлом Риделем хор Певческого общества духовной музыки исполнил для него некое сочинение Генриха Шютца, которым Бородин поинтересовался. Александр Порфирьевич называл его «мессой», однако то была не месса, а либо оратория «Семь слов», либо отрывки из «Страстей» — и то и другое Ридель издал в своей обработке. В гостях у нового друга Александр Порфирьевич чувствовал себя будто в родной семье, так хорошо, так тепло ему было. Редко испытывавший это ощущение в собственном доме, он при всякой возможности пестовал хотя бы его иллюзию.

Почему-то он рассчитывал услышать в Лейпциге еще не знакомое ему (если не считать отрывков в исполнении Мусоргского) вагнеровское «Кольцо нибелунга», но выяснилось, что спектакли состоятся только осенью. Осталось, пользуясь немецкими ценами, хорошенько пополнить гардероб и отправиться восвояси. Он и так сильно задержался за границей, оттого на обратном пути не воспользовался приглашением Шарвенки погостить в Берлине и даже не заехал к Мите в Вильно. 7(19) июля Бородин прибыл в Москву.

Во всё время его отсутствия жизнь кипела. Конференция академии избрала его профессором еще на пять лет, сверх выслуженных двадцати пяти, дававших право на пенсию в размере жалованья. Штаты и снабжение химической лаборатории снова урезали. Главному военно-медицинскому инспектору Николаю Илларионовичу Козлову, занимавшему должность с 1870 года, пришлось ее покинуть, отчего пошли слухи, что сменится и начальник академии. На его место прочили Бородина, не совсем безосновательно: в 1872 и 1879 годах он временно исполнял обязанности ученого секретаря академии, в апреле 1878 года — обязанности ее начальника. Однако вакансия эта его не интересовала. Начальник академии в итоге остался прежним, а вот форма профессоров изменилась. Теперь Александру Порфирьевичу надлежало по особо торжественным случаям являться в кафтане с генеральским галуном, шароварах, высоких сапогах, шапке с барашковым околышем и взамен шпаги обзавестись драгунской шашкой на серебряной перевязи. Трепещите, барышни! Шашку он, впрочем, покупать не стал, при необходимости одалживая ее у коллег.

1 июня в Петербурге Шашенька Дианин обвенчался с Лизой Баланёвой. 5 июня молодые уехали в Давыдово, в

квартире осталась хозяйничать Саничка Готовцева. Покинутая всеми (если не считать Санички да водивших ее в Зоологический сад Лены Гусевой и Василия Дианина), Екатерина Сергеевна в тоске и одиночестве двинулась в Москву и целых шесть дней провела там с матерью, Дуняшей и котами, бомбардируя всех письмами о горьком своем положении. Она-то ожидала, что молодожены станут писать ей дважды в день («ведь они свободны, ничем не заняты») — а они совсем ее забыли! Иногда по недосмотру выходило из-под пера иное: «Дорогой купила себе 5 букетов ландышей и 4 фиалок, самых свежих, душистых — на целые 12 коп. Теперь они благоухают и рассказывают мне сказки, такие хорошие, что от них плакать хочется... Всё спит кругом, и ночь такая теплая, светлая, липки тихонько кланяются, посылают мне в окно запах цветов своих, спать не хочется — так и ушла бы куда-нибудь — а тут еще целый вечер звонили все сорок сороков московских... Какой воздух изумительный, какие ночи благоуханные — а я одна одиныхонька провожу их и грустно, грустно бывает мне...» Но снова возвращалась она к жалобам, среди которых затесалась загадочная просьба — купить изданное в Штутгарте толкование Толстого на Евангелие. Трудно сказать, о какой книге идет речь. Лев Толстой действительно работал над переводом и толкованием евангельских текстов, но до издания было еще далеко.

Бородин домой из Германии не спешил, шутливо оправдываясь: «Простите... извините... нечаянно...» Екатерина Сергеевна его и не торопила. Радовалась, что поживет хоть немного для себя, послушает хорошую музыку и побудет в обществе «милого старичка» (разумей Листа). К ней в Москву приехала Лена, но скоро отбыла в Давыдово. Взамен оттуда был немедленно вытребован Павлыч, едва проведший с молодой женой три недели. Добрейшая Екатерина Сергеевна в

безмерном эгоизме больного и праздного человека не замечала собственной жестокости. Да и кто бы осмелился назвать ее жестокой? Разве не сокрушалась она денно и нощно о горестях брата, который в очередной раз потерял службу, сидел в долгах, чью семью гнали с квартиры? Разве по ее просьбе не хлопотал уже о новом месте для бедного Лёки Балакирев?

Нет, в жестокости ее никто не упрекал — по крайней мере в глаза. Лиза слала письма такого рода: «Милая, дорогая моя Рыбочка, простите меня, что так долго не писала... Я знаю, милая, что Вы теперь думаете про нас и про меня особенно: «отпустила своего Павлыча ко мне на какие-нибудь 3 дня и думает, что Бог знает что сделала и поэтому и писать мне часто не хочет», нет, хорошая моя, Вы верно так не думаете...»

Бородин вел переписку не только с Екатериной Сергеевной. Анка Калинина окончательно ушла от мужа, забрала сына, постановила жить своим трудом и устроилась в Москве сразу в две редакции. Не без влияния «Средней Азии» в ее обращенных к Александру Порфирьевичу строках в полную силу зазвучала теперь восточная тема:

«Мы теперь с Колей одни, en famille^[33], я испытываю при этом крайне приятное чувство *своего* очага, без посторонних, несимпатичных личностей... Случалось ли Вам быть *в Татарской улице, в Замоскворечьи*? Наверно нет. Вот в этой-то азиатской улице, в доме Ломакина я раскинула свой кочевой шатер. Эта оригинальная улица действительно имеет свой тип: по ней бегают бритые татарчата в ермолках; у ворот по праздникам сидят татарки в странных, шитых золотом и серебром костюмах. Перед нашим домом татарская мечеть; в окно видно ее красный стройный минарет, резко выделяющийся от виднеющихся позади его куполов храма Спасителя. Вечером на закате солнца на

балкончик выходит муэдзин и заводит свою заунывную молитву... Странное, необычайное чувство, не лишенное приятной грусти, испытываю я, когда вечером, работая у окна моего кабинета, я слышу эту своеобразную песню и вижу темную фигуру татарина на балкончике».

Верная своему обещанию быть всегда полезной Александру Порфирьевичу, Анка в начале лета мужественно навещала в Москве Екатерину Сергеевну. Да только дольше четверти часа не могла высидеть — невыносимо тяжела была ей обстановка у «бедной-горькой» — и убегала, отговариваясь занятостью. В качестве летнего пристанища она присоветовала Бородиным дом своего брата Николая в Крапивенском уезде Тульской губернии, у станции Житово (или Житовка, в 15 верстах от Ясной Поляны). Лодыженский был назначен консулом в Болгарию, жил с семьей в недавно освобожденном от турок Рущук и с радостью согласился уступить на лето свою «избу» Бородиным. После четырнадцатилетнего перерыва Бородины снова оказались в одном из многочисленных имений Лодыженских.

Александр Порфирьевич с Ганей прибыли в Житовку на разведку 11 июля и сразу же вызвали к себе Екатерину Сергеевну. Место было высокое, открытое, со всех сторон продуваемое. К услугам дачников имелись коровы, куры, лошади, тарантас, овощи с огорода, запасы ржаной муки и — рояль. Екатерине Сергеевне имение так понравилось, что она повела разговоры: не свить ли свое гнездо по соседству? Ее неприхотливый муж был вполне доволен крапивенским житьем-бытьем, соорудил себе нечто вроде конторки, наладил освещение и принялся за Второй квартет.

Работа над новым квартетом шла давно, существовала уже некая не дошедшая до нас «старая партитура», которую Бородин теперь извлек на свет и принялся шлифовать сочинение. Второй квартет он

посвятил Екатерине Сергеевне — 10(22) августа Бородины праздновали двадцатилетие объяснения в любви в Гейдельберге, да и свадьба Дианиных навевала мысли о собственной молодости. В лирической первой части слышатся отзвуки каватины Кончаковны, в фантастическом скерцо появляется тема вальса. Воспоминанием о событиях 1861 года звучит прекрасная третья часть квартета — Ноктюрн, в которой голосу любимого инструмента Бородина, виолончели, отвечает высокий голос первой скрипки. Венчает сочинение порывистый и страстный финал.

Когда Александр Порфирьевич писал партитуру, Екатерина Сергеевна все время была где-то рядом, гулять она далеко не ходила. Погода быстро испортилась, зарядили дожди, и вся семья — Бородины, Лена и Ганя — приспособилась проводить дни на крыльце, загородившись от непогоды зонтиком и специальным образом привязанной дверью. Точнее, так предпочитала проводить время Екатерина Сергеевна, а остальные составляли ей компанию. Гане было уже не меньше тринадцати. Несколько лет назад она знала только «котлетную польку», теперь же играла на фортепиано много и с увлечением. Прямо на листах партитуры квартета Бородин выписывал для нее гаммы и аккорды — объяснял музыкальную теорию.

В августе Второй квартет был окончен. Осенью Бородин добавил в партитуру кое-какие исполнительские указания и отдал выписать из нее партии. На «музиков» квартет впечатления не произвел. Отзыв Римского-Корсакова гласил: «Милый, но не бог весть что». Стасов по-прежнему был холоден к камерной музыке. Когда «Русский квартет» 26 января 1882 года впервые исполнил новое сочинение в концерте Русского музыкального общества, когда он же повторил его в зале гостиницы Демута и когда 11 декабря его сыграл руководимый Леопольдом Ауэром

превосходный квартет РМО, русская пресса хранила гробовое молчание. Успех премьеры, многократные вызовы автора — ничто не побудило критиков его нарушить. Даже Кюи пять лет ждал, чтобы написать о шедевре друга рецензию, увы, посмертную. Лишь «Новый музыкальный журнал» в Лейпциге, имевший корреспондентов среди немецкой диаспоры Петербурга, поместил положительный отзыв.

Окончив в Житове Второй квартет, Бородин тут же принялся за «Князя Игоря»: довел до конца оркестровку каватины Кончаковны. Оркестровать Половецкий марш он опять не успел — настигла осень, а с ней явился призрак Порфирия Григорьевича.

К началу осени приехали из Болгарии Николай Николаевич Лодыженский с женой и дочерью, и 7 сентября, не наговорившись с друзьями, Бородины отбыли в Москву. Там Александр Порфирьевич едва успел побывать в консерватории. После долгих суматошных сборов при хлопотливом участии жены и тещи он прибыл к петербургскому поезду, как всегда, впритык. Сам побежал за билетом, а Лену с носильщиком отправил занять место в вагоне и поставить багаж. Почему-то они разминулись, только в Химках Бородин нашел в поезде свои вещи, занятое место и убедился, что Лено не увезли в Петербург. Та в Москве ждала от него письма сама не своя. Хотя и заверили на вокзале, что «барин с усами сел», всё боялась, не пропал ли чемодан с рукописями «Игоря».

Дома встретили, по порядку: Павлыч, две его собаки, Лизутка, Саничка Готовцева, лакей Николай, Лина Столяревская (в очередной раз потерявшая место акушерки и вернувшаяся в приживалки) и все кошки. Кавардак царил невероятный. Давно и безнадежно влюбленная в Дианина Лина не могла простить ему женитьбы и устраивала всяческие демонстрации, да еще стала интриговать против другой поклонницы

Шашеньки — Готовцевой, претендуя занять ее место экономки. Виновнику этих страстей тем временем предложили кафедру органической химии в Варшавском университете, что произвело в женском царстве переполох. «Мой маленький домашний мирок рассыпается — отъезд Павлыча тяжело отзовется мне», — пророчила из Москвы Екатерина Сергеевна. Молодожены всерьез собирались сбежать из-под профессорского крылышка; Дианин видел: Лизе, ожидающей ребенка, пошла бы на пользу более спокойная обстановка. На Александра Порфирьевича склоки домочадцев действовали тяжело. Конечно, он всех помирил, насколько можно, успокоил, но Столяревская была подобна вулкану, всегда готовому на неожиданности. Особенно когда с возвращением из Москвы Ленб претенденток на заведование хозяйством стало три.

Не прошло и часа по приезде, как в квартиру Александра Порфирьевича нагрянули с накопившимися делами профессора, врачи, студенты. По вечерам он убегал из дома, посещая всех друзей по очереди: Балакирева, Корсаковых, Кюи, Стасовых, Бесселя, Василия Дианина, Сорокиных, Гольдштейнов, Матвееву... 16 сентября походом с Шестаковой на «Руслана и Людмилу» Бородин открыл очередной музыкальный сезон. В почте обнаружился привет от Танеева — только что изданные хоры молодого «володимерца» «Венеция ночью», «Ноктюрн» и «Веселый час». Поблагодарив Сергея Ивановича за подарок, Бородин тут же перешел к уговорам: ему очень хотелось, чтобы этот прекрасный, требовательный к себе пианист написал концерт для фортепиано с оркестром. Увы, уговорить не удалось.

Не успел разрешиться конфликт Щиглёва в Кружке любителей музыки, как Римский-Корсаков отказался от руководства Бесплатной музыкальной школой. Здесь,

впрочем, ситуация была далека от катастрофической: главной причиной отказа стало вмешательство в работу Балакирева. В общем и целом было ясно, что тот окончательно воспрянул духом и не прочь снова взять БМШ в свои руки. Для подстраховки Бородин все-таки отправил Милию Алексеевичу письмо с подобающими уговорами, великолепный образец риторики: «Дорогой друг Милий Алексеевич — теперь в Ваших руках судьба Бесплатной Школы. Откажетесь от нее — она умрет; возьметесь за нее — оживет... Бога ради не покидайте свое излюбленное детище, доставлявшее Вам немало хлопот и забот, труда и горя, но немало чести и славы, наслаждения и радости, а главное — пользы русскому музыкальному развитию...» С введением в России в 1864 году судов присяжных зазвенела по городам и весям слава адвокатов-кудесников. Избери Бородин эту дорогу, самым знаменитым пришлось бы уступить ему место!

Не так легко было управиться с новым витком протопоповизма. Екатерина Сергеевна по отъезде в Петербург Лены почти десять дней невыносимо, до ломоты в груди протосковала у матери в Голицынской больнице: «Целые вечера мама, утомленная дневными трудами, спит, Па спит, Дуняша зевает и охает — я одна, ни книг, ни инструмента, ни даже одной отрадной мысли — ведь так с ума сойдешь. Целые 7-8 часов (от 6 до 2 ночи) провести ежедневно в невеселых мыслях своих — это хоть кого истомит вконец... Часто, в мои одинокие вечера, я думаю и желаю не к вам спуститься в болото — а поднять вас до себя, т. е. на высоту 550 ф. над уровнем моря». За эти десять дней «горемыка одинокая» успела раз переночевать у Ступишиных и другой — у Анки Калининой. Ожились мечты о собственном деревянном доме в Москве, в котором ей бы так удобно жилось. Мнилось Екатерине Сергеевне, что в Петербурге

никто не будет рад ее приезду, завидовала она Дуняше, которую так ждет на Выборгской стороне молодой муж.

К жалобам жены Александр Порфирьевич привык, но осенью 1881 года явилось отягчающее обстоятельство в лице Алексея Протопопова, которому Балакирев и Третий Филиппов выхлопотали-таки место в канцелярии Министерства государственных имуществ. Оба спрашивали Бородин, что же не едет его протеже. Приходилось выдумывать приличные объяснения. Нельзя же было сказать, что у Алексея нет денег на дорогу и что ему не в чем ехать, пока не будет готов отданный перелицевать гардероб его добрейшего зятя. Александр Порфирьевич и денег выслал шурина, и торопил его: «хлеб за брюхом не ходит». Супруга то бодро собиралась к мужу, повелевая настроить к приезду оба рояля, то сокрушалась, и настроение ее артистически менялось: «Я просто места не нахожу — всех жалко, за всех больно и никому помочь не в силах. Вот так отдых мне, вот так курорт!.. Скажи Павлычу, что я благодарю его за письмо, поцелуй его, Лизу и Лено и скажи им, что я рассчитываю, разбитая и тоскующая, найти в их дружбе и привязанности ко мне, по возвращении в Питер — ложе из роз, и все утехи, на которые только способна любовь и сочувствие моему горю. А натерпелась я здесь довольно — будет с меня!»

Осенняя переписка супругов в очередной раз завершилась отповедью. Год назад Бородин апеллировал к Евангелию, на сей раз прибег к помощи «Братьев Карамазовых»: «А твое положение, надобно сознаться, некрасивое и незавидное. Это — что по Достоевскому называется надрыв... Мама, как и ты же, ужасно любит травить себе и другим душевные язвы. А как вы вместе сойдетесь, воображаю что это такое! Надрыв, — надрыв такой, что хоть вон беги из дому. Господи, когда же это все хоть сколько-нибудь прояснится, просветлеет; мрак и мрак, в прошедшем, в

настоящем и в будущем! Что же это такое?!» После мужнего выговора Екатерина Сергеевна, как водится, быстро собралась и прибыла под супружеский кров. Брат же ее, осознав, что Бородины готовы поселить его у себя, но не готовы принять его семью, вдруг заартачился. Александр Порфирьевич вынужден был еще несколько месяцев уговаривать его приехать, а работодателей — подождать (при тогдашнем повальном сокращении штатов), не забывая поддерживать безработного шурина финансово.

Лекций в академии в том семестре у Бородина не было, лабораторные занятия из-за введенной экономии несколько ужались. На Женских курсах учеба шла своим чередом, но опять стали задерживать жалованье. Само собой выходило, что в музыке и успехи были больше, и возможности открывались более интересные. В октябре Галкин с товарищами снова исполнили Первый квартет, причем гораздо успешнее, чем в прошлом году. Автор дважды выходил кланяться, о чем поведал своим читателям в восторженной рецензии «Музыкальный еженедельник» в Майнце. Некий петербургский немец, регулярно славший туда статьи, назвал квартет «цельнолитым сочинением, с ярко выраженным характером». Буквально в те же дни Эдуард Гольдштейн задумал основать в Петербурге новую музыкальную газету, и Бородин согласился писать для нее корреспонденции. Жаль, с газетой у Гольдштейна ничего не получилось.

8 ноября Анатолий Лядов устроил силами Кружка любителей музыки концерт памяти Мусоргского — целиком из его произведений, часть которых исполнялась впервые. Так было положено начало сбору средств на памятник композитору. Неизвестно, каков именно был вклад Бородина в подготовку концерта, но как председатель Музыкальной комиссии Кружка и он вряд ли стоял в стороне. Еще 28 марта он по просьбе

Стасова записал на квартире у Корсаковых краткие воспоминания о покойном. А 11 декабря со слезами на глазах слушал в Мариинском театре «Бориса Годунова», возобновленного в память об авторе. Едва началась сцена смерти Бориса, Александр Порфирьевич вышел из зала.

С ноябрьским концертом и декабрьским спектаклем, по-видимому, связано появление элегии «Для берегов отчизны дальной». Когда-то давно Бородины говорили между собой о смерти невесты Мусоргского, и Екатерина Сергеевна советовала мужу написать музыку на эти пушкинские стихи (если речь шла о Надежде Петровне Опочининой, разговор происходил летом или осенью 1874 года). Теперь Александр Порфирьевич внезапно об этом вспомнил. Под рукой не оказалось томика Пушкина: научная часть домашней библиотеки пребывала в стабильном состоянии, нотная и довольно немногочисленная художественная — в текучем. Друзья и знакомые одалживали книги и не всегда их возвращали. Правда, и Бородины часто брали у знакомых книги, к услугам Александра Порфирьевича всегда были богатства Публичной библиотеки, а уж «толстые» журналы просматривались постоянно: ведь то, что для нас — русская классическая литература, для Бородиных было литературой современной, создававшейся на их глазах. В случае с элегией Пушкина стихи требовались немедленно, времени на розыски книги не имелось, и Екатерина Сергеевна записала для мужа слова по памяти. Так и остались в романсе легкие нечаянные разночтения с пушкинским текстом.

Парадоксальным образом, наслушавшись на репетициях и на концерте отрывков из «Хованщины» и «Сорочинской ярмарки», Бородин создал музыку, никак не соответствующую девизу Мусоргского: «Дерзай! Вперед к новым берегам!» Равным образом никак нельзя назвать «Для берегов отчизны дальной» сочинением в

народном духе. Напротив, единственный у Бородина пушкинский романс написан в классической манере, очень сдержанно, без каких-либо гармонических новшеств. Окончание его родственно окончанию арии князя Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе», которую композитор как раз тогда завершал.

Екатерина Сергеевна восхищалась новым романсом, считала его «своим» и, всякий день боявшаяся умереть, утверждала, что супруг подразумевал здесь одну из их частых разлук. «Музыкальные друзья» Александра Порфирьевича силы и строгости нового сочинения не оценили. Стасов с упреком указывал на отдаленное сходство элегии с трагической песней Шуберта «Бурный поток» — всё может быть, 1 юты этой песни имелись у Бородиных дома. Не сразу распробовала новую вещь и молодежь, как вспоминает Ипполитов-Иванов:

«Припоминаю случай, как я с В. Н. Ильинским однажды зашли навестить заболевшего А. П. и застали его только что окончившим свой последний романс на слова Пушкина — «Для берегов отчизны дальной». Он, как известно, больше всего сочинял, когда бывал болен. А. П. сел за рояль и проаккомпанировал его В. Н. Ильинскому, который великолепно читал ноты. Романс, при всей его глубине и проникновенности, почему-то не произвел на нас впечатления. Уж очень мы тогда увлекались его «Спящей княжной» и «Темным лесом» с явно революционным оттенком или романсом «Отравой полны» и неосторожно высказались не в пользу нового романса, что, по-видимому, его очень огорчило. Он молча сложил ноты, отнес в кабинет и долгое время никому романса не показывал, пока по усиленной просьбе Ильинского не разрешил ему спеть его на одном из вечеров, где этот романс наконец был оценен по достоинству и принят с восторгом».

Глава 26

МИРНЫЕ ТРУДЫ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА

Пройдя перевыборы в академии, Бородин мог в следующие пять лет не беспокоиться о перспективах для себя «царской службы». 15 мая 1883 года он получил орден Анны 1-й степени. Из-за недобора студентов учебная нагрузка не увеличивалась, но и к собственно химическим исследованиям профессор не возвращался, лишь продолжал ранее начатые по просьбам врачей работы вроде анализа плиточного чая. На очередной съезд русских испытателей и врачей, прошедший в Одессе в августе 1883 года, Бородин не поехал, но 10 мая 1884 года выступил в Обществе русских врачей с сообщением «Об отношении перекиси водорода к низшим организмам и значении водного раствора озонирующих масел для дезинфекции». В нашем веке исследование применения озонирующих (точнее, озонированных) масел для терапии и дезинфекции снова стало перспективным направлением. Бородин занимался этим в собственной квартире. Во время летних отлучек ответственной за эксперимент становилась Саничка Готовцева, исправно славшая отчеты: «Озонород из кабинета принесли и половину масла слили в прежнюю бутыл, только воды не прибавляли, потому что в обеих бутылках озонород зеленоватый, а не молочного цвета, а молочного только тот, который и прежде стоял у Вас в квартире, если нужно, то нальем воды в него, только напишите...» Деятельность Бородина в Русском химическом обществе, к тому времени ставшем физико-химическим, постепенно перестает прослеживаться. Последнее свое сообщение там профессор сделал 1 ноября 1884 года,

рассказав о работе экс-пианистки Марии Миропольской «О присутствии следов ртути в продажной серной кислоте».

Однако XIX век был поистине веком самых разных обществ, и они вкупе с многочисленными комиссиями занимали в жизни Бородин все больше места. В Комиссии по организации подписки на сооружение бюста Зинина он энергично собирал средства на памятник учителю: «Стыдно будет, если русские люди, несущие свою лепту на памятник Либиху, Велеру, Клоду Бернару, остались бы глухи к призыву сделать то же покойному Н. Н. Зинину». Бюст заказали протеже Стасова — молодому скульптору Илье Яковлевичу Гинцбургу. Упоминание Юстуса фон Либиха объясняется легко: после смерти в 1873 году немецкого химика Бородин вошел в Комитет для сбора добровольных пожертвований на его памятник и посещал заседания одного комитета в доме Вольного экономического общества. Как видно, они ему запомнились.

16 октября 1883 года Бородин был делегатом академии на юбилее Общества русских врачей, где наряду с бывшим военным министром Милютиным его выбрали в почетные члены. 17 октября следующего года в составе Совета Общества охранения народного здоровья Бородин ездил представляться 24-летнему великому князю Павлу Александровичу, по чьей-то тонкой иронии совмещавшему должность почетного председателя этого Общества с покровительством коннозаводским организациям. Князь наговорил Бородину любезностей и сообщил, что любит и поет его музыку. В академии к разнообразным обязанностям вроде многолетней работы в Хозяйственном комитете, членства в Академическом суде, в Комиссии по пересмотру проекта положения и штата академии, Комиссии для разработки инструкции для институтских врачей, комиссиях по обсуждению научных трудов и

заслуг кандидатов на замещение кафедр сравнительной анатомии, зоологии, минералогии, физики, ботаники и т. п. добавилось чрезвычайно хлопотное председательство в Комиссии по аптечной трате. Кроме того, 20 мая 1884 года Бородин вошел в Военно-медицинский ученый комитет при Военном министерстве и в Комиссию по снабжению армии дезинфекционными средствами. Александр Порфирьевич от такого рода деятельности никогда не отказывался, как никогда не отказывался от нее его покойный учитель.

Не остался Бородин в стороне и при учреждении 25 октября 1882 года Общества лечебниц для хронически больных детей, среди основательниц которого была одна из его любимых учениц — Шабанова. Анна Николаевна при жизни профессора не успела еще ни сделаться феминисткой, ни стать вице-председателем «Всеобщего женского союза во имя мира», ни созвать Первый Всероссийский женский съезд. Пока что ее энергию всецело поглощали педиатрия и борьба за права женщин-врачей. Новое общество ждал стремительный успех: уже в 1883 году была открыта лечебница для хронически больных детей в Гатчине, а в 1885-м другая — в Петербурге, в Дегтярном переулке.

Один из первых импульсов делу сообщил Бородин. В ноябре 1882 года он дирижировал устроенным Шабановой благотворительным концертом, на котором Анна Николаевна торжественно преподнесла ему дирижерскую палочку. Ее жест явно отсылал к историческому факту: 9 апреля 1853 года на концерте в пользу Общества посещения бедных, программа которого была целиком составлена из произведений Даргомыжского, Александр Сергеевич получил украшенный драгоценными камнями дирижерский жезл из рук Полины Виардо. Воодушевленный автор с новыми силами взялся за окончание оперы «Русалка». Шабанова

не была Полиной Виардо, и ее скромный дар украшали лишь две полоски серебра и надпись: «А. П. Бородину от Совета Общества лечебниц для хронически больных детей». Но, может быть, Анна Николаевна надеялась, что эта палочка волшебным образом поможет скорейшему окончанию «Князя Игоря»?

Об «Игоре» Бородин по-прежнему думал и даже подыскивал потенциальных исполнителей. Как-то, музицируя дома с друзьями, он вскочил и побежал в комнату Екатерины Сергеевны с криком:

— Эврика, эврика!

— В чем дело? — спросила супруга.

— Нашел, нашел!

— Да что нашел?

— Ярославну нашел!

Вожденной Ярославной оказалась Варвара Михайловна Зарудная, будущая жена Ипполитова-Иванова.

В январе 1882 года друг молодости Владимир Иванович Васильев праздновал свое 25-летие в Русской опере. 27 ноября 1883 года Бородин во главе женщин-врачей и курсисток встречал на Варшавском вокзале прах Тургенева, образовав одну из 280 депутаций, прошедших за гробом от вокзала до Волкова кладбища. 5 декабря того же года умер старик Гунке, некогда консультировавший молодого врача и химика в сфере музыкальной композиции. Хоронили его все музыканты Петербурга. В 1884 году Бородин вместе с Римским-Корсаковым и Антоном Рубинштейном подписал адрес Василию Васильевичу Самойлову к пятидесятилетию его творческой деятельности — значит, скорее всего, был на юбилейном вечере, где старый актер читал монолог из «Ришелье» Эдварда Бульвер-Литтона. Такого рода «общественных мероприятий» у Александра Порфирьевича выдавалось не многим меньше, чем у пушкинского Онегина.

Музыкальная деятельность действительного тайного советника все расширялась в своей практической части. 3 декабря 1885 года в «Новостях и биржевой газете» вышла музыкальная рецензия... Скабичевского. Кто уговорил Александра Михайловича забрести на Выборгскую сторону, дабы изменить призванию литературного критика, неизвестно, но по образности слога его статья — просто шедевр:

«В воскресенье, 1-го декабря, состоялся в актовой зале Императорской военно-медицинской академии бесплатный музыкальный вечер оркестра и хора студентов означенной академии. Признаться сказать, с некоторым предубеждением шли мы на этот концерт. Нам казалось, что там за Невою, на Выборгской стороне свили себе гнездо такие науки, от которых изящные искусства должны обегать за версту... особенно же такое нежное искусство, как музыка! Ее ли, казалось бы, место в залах, в которых ежедневно льется кровь, раздаются душераздирающие крики и суровые мужи жестокой науки в больших передниках с засученными рукавами, с ножами и пилами в руках закаляют свои нервы при виде мук, не уступающих порою адским. И каково же было наше удивление, когда оказалось вдруг, что искусства не только мирно уживаются в приюте человеческих скорбей, но, напротив того, как нельзя более процветают. Начать с того, что академический оркестр из любителей, профессоров и студентов академии (из 50 человек), под управлением профессора Бородина, не более как в два года своего существования достиг таких успехов, что годился бы для какого угодно из наших театров. Г. Бородин положительно талантливый капельмейстер и дирижер. Довольно сказать, что такие трудные и серьезные вещи, как увертюра из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, отрывки из сюиты «Арлезианка» Бизе, увертюра из оперы «Аталиа» Мендельсона и свадебный марш из оперы «Сон

в летнюю ночь» его же, — были исполнены оркестром с редким согласием и безукоризненностью. Что касается до студенческого хора, то участие его в концерте было так, к сожалению, незначительно (он участвовал лишь в одной пьесе, именно серенаде Дютша, где он подпевал г. Гулевичу), что мы ничего не можем сказать о нем положительного... Вообще, весь ансамбль концерта был так неожиданно и так замечательно хорош, что слушатели выразили участникам концерта единодушный и общий восторг. Только и слышно было во всех концах зала: «Кто бы мог этого ожидать?».

Литературному критику извинительно поименовать ораторию Мендельсона и его же музыку к драматической пьесе операми и не знать, когда был основан оркестр академии. Зато Скабичевский, находясь вне музыкальных «партий» столицы, не постеснялся ощутить «единодушный восторг» и передать его в газетных столбцах. Пестуемый Бородиным оркестр и правда делал успехи. 11 декабря 1885 года его участники достойно влились в состав оркестра Петербургского университета, чтобы на концерте в пользу недостаточных студентов исполнить под управлением Дютша «В Средней Азии».

Балакиревский кружок, собиравшийся теперь то вокруг Римского-Корсакова, то вокруг братьев Стасовых, чтит память первого из ушедших — Мусоргского. Благодаря серьезным вкладам Римского-Корсакова и Глазунова удалось собрать деньги на памятник. Архитектор Иван Семенович Богомолов и уже упоминавшийся скульптор Гинцбург отказались от гонораров. 27 ноября 1885 года, в день первого исполнения «Жизни за царя» Глинки, памятник был открыт. Хор Александро-Невской лавры под управлением Федора Григорьевича Львовского пел безвозмездно. Стасов раздавал свою брошюру «Памяти Мусоргского». Четверо здравствовавших участников

«Могучей кучки» дернули за тесемки чехла... Художественное решение памятника Бородину понравилось. Удивительно, но лишь трое из близко знавших Модеста Петровича да еще какой-то затесавшийся репортер откликнулись на просьбу Стасова сказать несколько слов в память композитора. Поликсена Стасова напомнила о девизе Мусоргского «К новым берегам!», Надежда Римская-Корсакова — о его поэтической, привлекательной натуре, безотказный Бородин — о значении друга в Новой русской школе и о сферах, в которых тот превзошел всех своих товарищей.

Мусоргского теперь исполняли в России все чаще, публика все теплее принимала его музыку, часто требуя повторения на бис, даже тон рецензий менялся. Все это Бородина удивляло и радовало. Он и сам с приходом 1880-х стал расставаться с неизвестностью. Настоящей широкой популярности помогли бы многочисленные романсы, фортепианные пьесы и сочинения для солистов-виртуозов с оркестром, чего он предъявить не мог, но и без того лед тронулся. 1881 год завершился уже традиционным исполнением Стравинским арии Кончака и песни Галицкого в ежегодном концерте артистов Русской оперы в Мариинском театре. 22 января 1882 года Дарья Леонова спела на своем концерте вожделенную каватину Кончаковны и песню «У людей-то в дому», после чего Бородин зачитал артистке поздравительный адрес от профессоров Военно-медицинской академии. Римскому-Корсакову Кончаковна так понравилась, что он, буквально живший тогда в театре в связи с постановкой «Снегурочки», познакомил с ней ведущих солисток.

В феврале 1882 года Балакирев провел свой первый после огромного перерыва концерт Бесплатной музыкальной школы (по этому случаю Третий Филиппов тайно просил Бородина устроить приветственную телеграмму от Листа). 17 марта был второй концерт

БМШ. Ученик Леоновой Лаврентий Донской спел каватину Владимира Игоревича... и за глаза удостоился от Шестаковой эпитета «дубина». В Мариинском театре круг почитателей Бородина усилиями Стравинского расширился. 26 декабря 1882 года на концерте артистов Русской оперы эстафету (и ноты) приняла из рук Федора Игнатьевича Анна Александровна Бичурина. Песню «У людей-то в дому» она исполнила прекрасно — композитор несколько раз выходил кланяться.

Единственный существовавший комплект партий Первого квартета все время был на руках, не успевая достигать всех желающих. Москвичи оспаривали его у сенатора и виолончелиста-любителя Александра Николаевича Маркевича, желавшего играть эту вещь в Квартетном обществе. Когда квартеты Бородина звучали в концертах РМО, ему исправно перечисляли по 50 рублей — не так мало, учитывая, что гонорар от издателя составил всего лишь сотню.

3 февраля 1883 года Балакирев вновь исполнил в концерте Бесплатной музыкальной школы Первую симфонию, разумеется, намудрив с новыми переделками. Главная интрига вечера крылась в посещении его августейшим покровителем БМШ Александром III. Милий Алексеевич только что стал управляющим Придворной певческой капеллой. Это позволило ему добиться аудиенции у государя и пригласить его на концерт. Балакирев специально подчеркнул, что будет исполняться Первая симфония Бородина, и наверняка упомянул о ее успехе в Германии. Ответ государя был лаконичен:

— Буду непременно.

Настало 3 февраля. В восемь часов вечера в зале Дворянского собрания раздались звуки балакиревской Увертюры на три русские темы. Затем 22-летнему пианисту Николаю Степановичу Лаврову предстояло играть Второй концерт Листа. Он уже готовился выйти

на сцену, когда прибыл Александр III с супругой. После шумной встречи их императорских величеств вечер продолжился. Согласно программе последовали упомянутый фортепианный концерт, пять отрывков из оратории Листа «Христос» и напоследок — симфония Бородина. Император уехал задолго до начала симфонии, передав дирижеру благодарность и вежливо объяснив скорый отъезд «несколько плохим» самочувствием императрицы. После концерта Балакирев созвал к себе друзей и угостил их ужином — с водкой. Ни до, ни после этого вечера никто не видел Милия Алексеевича пьющим водку.

Среди рецензий на симфонию Бородина на сей раз преобладали положительные, Михаил Иванов похвалил ее аж в двух газетах. 7 марта в следующем концерте БМШ пели Заключительный хор из «Князя Игоря» — публика заставила повторить на бис его и только его. Сочинения Бородина загодя включили в концертную программу коронации, а тут подоспело еще одно почетное предложение. С 3 по 6 мая 1883 года (нового стиля) в Лейпциге проходил юбилейный, XX съезд Всеобщего немецкого музыкального союза. Немцы поставили планку высоко. Программы двух концертов духовной музыки, двух симфонических и двух камерных на сей раз были максимально очищены от графоманских композиций, под которые старик Лист имел обыкновение засыпать, сладко посапывая. Концерты были бы целиком немецкими, если бы не загадочная «соната для оркестра» умершего в 1612 году венецианца Джованни Габриели, не квартет Римского-Корсакова и не Первая симфония Бородина.

В третий раз счастливый автор отправил Карлу Риделю ноты. Партитура уже была отпечатана Бесселем, но партии еще не успели. Бородин попросил у Балакирева старые рукописные, а тот возьми да и выставь условие: мол, партии являются собственностью

БМШ и будут выданы автору, если он внесет в ноты все новые поправки, придуманные им, Балакиревым. Так и сыграли Первую симфонию в Лейпциге — с купюрами Вейссгеймера (пожелание немецкой стороны) и с поправками Милия Алексеевича. Бородину пришлось уступить.

Зато симфония явилась более чем в достойном окружении. 4 мая Артур Никиш открыл ее первый симфонический вечер, программа которого включала скрипичный концерт Иоганнеса Брамса, мужской хор Петера Корнелиуса, Первый фортепианный концерт Листа, увертюру «Фауст» и отрывки из «Парсифаля» Вагнера. Несмотря на такое соседство, «Новая Лейпцигская музыкальная газета» назвала симфонию Бородина «гвоздем программы», и хотя три года назад уже печатала ее разбор, теперь отдала ей больше строк, нежели концертам Брамса и Листа. Некоторые непривычные ритмы и детали оркестровки все еще чуть-чуть царапали уши критиков — даже самых радикальных, высоко несущих знамя Листа и Вагнера. Бородина они снова объявили последователем Берлиоза, а чудной побочной теме первой части на сей раз посвятили что-то вроде небольшого стихотворения в прозе, заключив: «Корсаков и Бородин решительно самобытнее, чем Рубинштейн, и потому заслуживают еще более всеобъемлющего внимания». В 1885 году на XXII съезде в Карлсруэ исполнялись Первый квартет Бородина и пьесы Кюи для скрипки с оркестром, затем фаворитом съездов стал Чайковский.

Лист еще раз сослужил Бородину службу, 10 декабря 1883 года поставив симфоническую картину «В Средней Азии» в программу Третьего академического концерта в Йене. Пьесу уже знали за границей. С тех пор как появились в продаже ее ноты, музыкальную картину Бородина сыграли в Осло (Христиания), в немецком городке Бриге (ныне польский Бжег) и в Мангейме. В

Йене она прозвучала рядом с Третьей симфонией Августа Клугхардта. На том же концерте Концертштюк Вебера, фортепианные пьесы Листа и ван Штукена играл двадцатилетний Александр Зилоти. А меньше чем через неделю Эдуард Штраус (сын одного Иоганна Штрауса и младший брат другого) после непростых для специалиста по вальсам и полькам репетиций исполнил «Среднюю Азию» в Вене. Публика заставила его бисировать, сыновья дирижера выписали себе переложение в четыре руки. Так заботливо возвращенная Листом зарубежная известность Бородина-симфониста вырвалась за пределы Музыкального союза.

14 января 1884 года Леопольд Ауэр, взявший на себя управление концертами Русского музыкального общества, «обновил» наконец-то изданные Бесселем оркестровые голоса Первой симфонии. 27 февраля на концерте БМШ звучала «Средняя Азия», и ее повторили по требованию публики. В Париже после выхода в 1881–1882 годах книг Октава Фуке о русской музыке имени Глинки и его последователей тоже стали звучать все чаще. В марте 1884 года Лоран де Рийе прочел в Сорбонне перед двумя тысячами слушателей публичную лекцию о русской музыке, в том числе и о Бородине. В октябре «Средняя Азия» украсила программу концерта Шарля Ламуре, в которую входили увертюра «Фиделио» Бетховена, «Шотландская» симфония Мендельсона, Первый концерт Листа, струнная серенада Теодора Гуви и вступление к третьему акту «Лоэнгрин» Вагнера. Об этом концерте написали все парижские газеты, причем львиную долю отпущенных им строк рецензенты потратили на русскую новинку. Критик журнала «Менестрель» как истый парижанин больше пекся о блеске остроумия, чем о точности инициалов, и перепутал фагот с валторной: «Номер носит несколько расплывчатое название — «Эскиз степей Центральной Азии». Речь не идет, как можно подумать, об акварели

Верещагина или о поэтическом описании Элима Мещерского, но об инструментальной симфонии, подписанной: Е. Бородин. Что доказывает: 1) что музыкант может вдохновиться несколькими верстами покрытой песком местности; 2) что война, объявленная Э. Гансликом описательному искусству, не привела к желаемым результатам. Сочинение, нас занимающее, основано на двух темах, предлагаемых сперва кларнетом, во второй раз — фаготом, а затем повторяемых всем оркестром, сплавленным старинным способом, но всегда интересно. Все затихает на фоне долго тянущихся квинт, и слышны только прихрамывающие *pizzicati* контрабасов, довольно точно передающие неторопливый шаг верблюдов. Этот эскиз, приятно исполненный, кажется, понравился. Многие люди вокруг нас приходили в восторг от точности «местного колорита». Чтобы судить об этом, нужно провести некоторое время вблизи Аральского моря, а поскольку это не наш случай, мы вынуждены избегать этого пункта в своей критике». Строго говоря, Бородин тоже не посещал берегов Арала...

Снова сыграли «Среднюю Азию» в Москве — и снова повторили короткую пьесу на бис. Отзыв Семена Николаевича Кругликова в «Современных известиях» был так хорош, что Николай Дианин переписал его из газеты и послал брату для передачи композитору: «Прелестная и изящная картинка Бородина не новость в Москве, мне не раз уже приходилось писать о ней и всегда в одинаковой степени любоваться ее вкусной гармонией, колоритной и мастерской оркестровкой, красотой тем, как русской, так и восточной, их удивительно ловким, классически чистым соединением. Слушал в тот раз Бородинскую «Азию» и, как и прежде, удивлялся яркой талантливости автора, позволившей ему, несмотря на малую практику (Бородин пишет очень

редко), выработать такую свободную, легкую и непринужденную технику».

21 октября Александр Порфирьевич в письме жене разразился тирадой, пятью годами раньше звучавшей бы совершенно фантастически: «На днях исполняли в Вербье, в Бельгии, мою 1-ю симфонию; ее же скоро будут играть в Льеже. В Париже будут играть мой *Adur'ный* квартет; Фор, кажется, будет петь мое «Море»; пойдут нумера из «Игоря». Здесь Веревкина будет петь, в концерте Музыкального Общества, мою «Кончаковну» с оркестром^[34]... Университетский оркестр будет играть мою «Среднюю Азию». Бичурина взяла с меня слово, что я напишу ей что-нибудь к оперному концерту. Веревкина в своем концерте будет петь моего «Таракана». Главач в Павловске играл мою «Среднюю Азию» и хотел играть 1-ю симфонию, но не состоялось это по случайному обстоятельству». А сколько было исполнений, не попавших в анналы истории! Неужели не пела романсов Александра Порфирьевича в своих поездках по России Мина Карловна Бларамберг? Некогда юная Мина Врангель под его руководством премудрости химии постигала на Женских курсах, но в 1874 году решила посвятить себя музыке, уехала в Брюссель учиться у Луизы Эритт Виардо (дочери знаменитой певицы) и в довершение всего вышла замуж за композитора.

Если не считать новых романсов, с изданиями дело неторопливо, но двигалось. С вычиткой партитуры Первой симфонии помог Римский-Корсаков. Оркестровые партии Бородин пытался выправить сам, потратил на это весь свой 50-й (он думал, что 49-й) день рождения — и понял, что все равно не успеет. Так и отправил Бесселю недочитанные партии, за которые тотчас взялся молодой дирижер Георгий Антонович (Оттонович) Дютш, в 1876 году вместе с Лядовым выгнанный из Петербургской консерватории за непосещение занятий, но осознавший и исправившийся. Летом 1884 года тот

же Дютш помог с корректурами партий Первого квартета. Симфоническая картина «В Средней Азии» вышла в свет еще раньше, а в начале 1885 года Бессель выпустил «Трех Игорей», то есть три мужские арии из «Князя Игоря» (арию Кончака, песню Галицкого и каватину Владимира Игоревича) — с французскими словами.

В это время Бородин-музыкант, можно сказать, «достиг высшей власти». В феврале 1882 года он стал членом-посетителем Петербургского отделения РМО, 2 марта 1883 года был произведен в кандидаты в Дирекцию и 27 ноября единогласно избран одним из шести директоров. Список Дирекции возглавлял князь Вячеслав Николаевич Тенишев — знаменитый основатель Тенишевского училища, виолончелист-любитель. За ним шел барон Владимир Борисович (Адольф Антон Владимир) Фредерикс, кавалерист и будущий министр двора, затем барон Гинцбург, директор Императорских театров Иван Александрович Всеволожский и пятым номером — действительный статский советник Бородин. Всемирно известный, но нечиновный Карл Юльевич Давыдов, в котором Чайковский находил «счастливое сочетание артистических свойств, ставящих его во главе всех существующих виолончелистов», замыкал список.

Некогда среди основателей РМО был Дмитрий Стасов, в Дирекцию одно время входил Даргомыжский, но по логике партийной борьбы организация, располагавшаяся в здании Министерства внутренних дел, в общем и целом была для «музикусов» вражеской, «немецкой». Александр Порфирьевич угодил в дипломатически сложную ситуацию:

«Мои музыкальные друзья на меня дуются, за то что я пошел в дирекцию. Но что же мне делать? Отказаться — значило бы явно протестовать против вступления Давыдова в директора консерватории! Это была бы

манифестация с моей стороны и манифестация грубая и бестолковая. Я в счетах и препирательствах между Давыдовым и Иогансеном, между Константином Николаевичем — Великим князем и Константином Николаевичем Вельяминовым с братией не участвовал. Если Давыдов не русский человек для музыки, то и Иогансен тоже. Первый зато артист, по крайней мере, а последний тупица, ограниченная и серая личность и еще менее сочувствующая русской музыке, которой даже не знает».

Давыдов руководил Петербургской консерваторией с 1876 года. С ним у Бородина давно установились уважительные, если не сердечные, отношения — виолончелист участвовал в концертах в пользу Женских курсов. Теоретик Юлиус Иогансен (в России — Юлий Иванович) с 1871 года был в консерватории инспектором, а вскоре после смерти Давыдова стал директором. Виолончелист-любитель Константин Николаевич Романов (тот самый, который на 15 минут заглянул на концерт БМШ послушать «Садко» Римского-Корсакова) председательствовал в РМО с 1873 года. В 1881 году его помощником сделался другой виолончелист-любитель — безусловно вышколенный, в высшей степени дипломатичный чиновник Маркевич, в 1888 году ставший сенатором и сменивший написание фамилии на «Маркович». Андрей Николаевич музыкой Бородина, особенно квартетной, интересовался — Константин Николаевич ее не любил, как не любил опер Мусоргского. Иное дело долгое время работавший в Дирекции и даже возглавлявший ее генерал-лейтенант, «усердный певец» Константин Николаевич Вельяминов! Будучи шестью годами старше Бородина, тот дружил с Даргомыжским, пел басовые партии в его «Каменном госте» и в «Женитьбе» Мусоргского. Именно Вельяминов вечером 4 января 1869 года принес умирающему

Даргомыжскому известия о премьерe Первой симфонии Бородина.

На первый взгляд, если в РМО и преобладала в 1883 году какая-либо партия, это была «партия виолончели». Что же кроется за словами Бородина о «манифестации» и «препирательствах»?

Предыстория такова. 28 мая 1882 года Давыдов ушел в годичный отпуск по болезни. В его отсутствие консерваторией руководил Иогансен или, вернее, Дирекция распоряжалась в консерватории при участии Иогансена, взяв курс на экономию средств. Не прошло и года, как Дирекция пришла к заключению, что Иогансен гораздо предпочтительнее Давыдова. Когда срок отпуска истек, августейший председатель РМО Константин Николаевич высказался в том смысле, что Давыдову пора вернуться. Но директора имели свое мнение и 8 июля 1883 года в письме виолончелисту это мнение высказали: «Дирекция считает своим долгом просить Вас вступить в управление Консерваторией. Оставаясь, однако, при убеждении, что Дирекция, в настоящем составе, не солидарна с Вами во взглядах на ведение дел Консерватории». Письмо подписали Вельяминов, Андроник Михайлович Климченко (чиновник, бывший предшественником Иогансена на посту инспектора) и юрист, впоследствии сенатор Август Антонович Герке.

Давыдов ответил недвусмысленно: «Оставаясь вполне скромн, я тем не менее не считаю для себя авторитетом мнение Дирекции, не состоящей из музыкантов-специалистов, и не могу принять на себя ответственность по ведению дел музыкального образования при подобном разногласии».

2 августа Дирекция собралась на экстренное заседание. Заслушали заявление Маркевича: «Его Императорское Высочество Августейший Председатель Общества в письме Дирекции Отделения к

К. Ю. Давыдову от 8 Июля усмотрел как бы неудовольствие со стороны Дирекции против распоряжения Его Императорского Высочества о приглашении К. Ю. Давыдова вступить в должность Директора Консерватории и желал бы иметь возможность выслушать более обстоятельное объяснение мотивов, послуживших поводом к письму Дирекции от 8 Июля, и вообще причин, почему Дирекция не желает, чтобы К. Ю. Давыдов вступил в должность Директора Консерватории...» Маркевичу внимали трое подписавших злополучное письмо и — кандидат Бородин. Затем все пятеро составили безукоризненно дипломатичное обращение к Его Императорскому Высочеству с просьбой об аудиенции, состоявшейся в ближайшие дни в Павловске.

Дирекция РМО давно привечала Бородина, с 1869 года присылая ему приглашения на все концерты. На протяжении многих лет его обязательно приглашали на выпускные акты не только Петербургский университет, но и основанная РМО консерватория. Может быть, избрание весной кандидатом в Дирекцию — простое совпадение, но не исключено, что на Александра Порфирьевича, имея в виду назревающий конфликт, рассчитывали как на известного дипломата и миротворца.

При таких-то обстоятельствах осенью 1883 года Давыдов вернулся в консерваторию, а состав Петербургской дирекции РМО полностью обновился. С частью новой Дирекции Бородин связывали дружеские отношения. Безупречная вежливость Маркевича и сам факт признания за профессором химии музыкальных заслуг приятно контрастировали с привычной грубостью журналистов, называвших его «дилетантом», «талантом ядовитым и карикатурно настроенным», писавших об «упорном впихивании» его симфоний в программы

концертов и порой доводивших его до мысли совсем отказаться от публичных исполнений своей музыки.

Петербургская дирекция собиралась часто, чуть не еженедельно. Вечером 2 декабря 1884 года Бородин впервые встретился у Маркевича со всеми директорами. Обстановка царила неформальная и приподнятая. Давыдов, узнав, что Бородин еще не слышал в его исполнении сонаты Шопена, тут же послал домой за нотами и сыграл сонату специально для Александра Порфирьевича. Его партнером по ансамблю — и главным музыкальным «угощением» — был приехавший в Россию на гастроли ученик Листа Эжен д'Альбер. 5 ноября Бородин уже ходил на его концерт, теперь игра молодого человека вновь привела его в восторг: «Д'Альбер играл много и чудесно; большей частью Шопена и Рубинштейна. Это чорт знает что за дьяволенок! Маленький, с ребячьими, широкими и короткими руками, ребячьим личиком (несмотря на 19 лет^[35]!) — играет черт знает как хорошо; совсем Лист! Гут же показал изумительные *tour de force*^[36] по части музыкальности. Представь себе, ему положили неизвестную ему партитуру секстета Давыдова, и он сразу: *a livre oluert*^[37] сыграл ее в настоящем темпе и духе, со всеми оттенками и экспрессиями. Да это еще что! Представь себе, что он сразу в настоящем темпе блестяще сыграл обе мои симфонии по 4-ручной печатной аранжировке и точно так же пьесу Христиановича по довольно дрянной 4-ручной рукописи. Этого я не видал даже у Листа. И любопытно смотреть, как у него бегает при этом глаза, перескакивая с одной страницы на другую с 1-го на 2-го^[38] и обратно. Я ни за что бы не поверил этому, если бы сам не видал. Д'Альбер сказал мне, впрочем, что он слышал мою 1-ю симфонию, ибо играл в том же концерте в Лейпциге, где шла моя симфония. Он очень милый и простой малый. Звал меня приехать нынешний год в Веймар, где будет *Musikfest*».

Сколько же часов «маленький дьяволенок» провел за роялем, если две симфонии, секстет и пьеса составили меньшую часть вечера, а сочинения Шопена и Рубинштейна — большую?!

Помимо директоров и кандидатов Маркевич пригласил моднейшего тогда художника — Юлия Юльевича Клевера. В альбоме последнего гости расписались, Бородин изобразил два такта темы Первой симфонии и добавил: «С дружескими воспоминаниями о наслаждении для ушей у нашего высокочтимого вице-председателя». Надпись сделана но-немецки — в тот вечер общались на этом языке. Жаль, сугубый пейзажист Клевер не оставил зарисовок.

Два дня спустя Бородин облачился в мундир и поехал в Мраморный дворец представляться августейшему председателю. Встречи с Константином Николаевичем были нечастыми. Для Бородина такого рода связи были ценны возможностью похлопотать за Женские курсы. Говорил ли он об этом с Константином Николаевичем? Если и говорил, результата разговор принести не мог. При своем брате Александре II князь был влиятелен: в 1867 году ему после многолетних усилий удалось даже добиться ликвидации Российско-американской компании (одним из главных акционеров которой был Сергей Николаевич Даргомыжский, отец композитора) и продажи Аляски. Крайне неудачное управление Царством Польским в качестве наместника не ослабило его позиций, но всё изменилось после убийства Александра II. Политические причины усугубились личными: Константин Николаевич давно ушел из семьи, вступил в гражданский брак и произвел на свет целую стайку детей, получивших фамилию Князевы, — Александр III тяжело переживал уход из семьи своего отца. Так что с 1881 года великий князь пребывал в опале, тем более что прежде всякий раз после беспорядков поднимались слухи о руке

Константина Николаевича, который всякий раз — по странному совпадению — накануне уезжал из столицы.

«Роман» Александра Порфирьевича с Обществом закончился в ноябре 1885 года. Бородин не распространялся о причинах ухода из Дирекции, жене лишь написал, что ушел «очень хорошо» — без ссор, скандалов и лишних разговоров, как и подобало столь деликатному человеку. Всю осень он пропускал заседания Дирекции. Обсуждения переговоров Общества с Бюловом, заявления Гольдштейна об участии в концертах, просьбы Кюи исполнить фантазию Шарля Гуно на тему русского гимна его не заинтересовали. Лишь 21 ноября он появился в РМО — а 24-го на общем собрании был избран новый состав Дирекции. Бородин остался действительным членом Общества. Через год его в этом качестве заменил Бессель.

Внешне всё — и затухание интереса к химии, и растущее признание музыки — благоприятствовало новому расцвету композиторской активности. Но расцвет не наступал. Забеспокоился окончательно оживший Балакирев. 15 апреля 1882 года он отправил Бородину трогательное письмо: «Имеется сестра милосердия, бывшая на войне, опытная в уходе за больными, симпатичная с виду и отлично аттестуемая знающими ее, желающая поступить для ухода за больной за очень скромное вознаграждение (10 р. в месяц). Не пожелаете ли воспользоваться этим случаем устроить хороший уход за дорогой Екатериной Сергеевной и освободить себя для большего занятия оперой, которую следует же наконец окончить. — Жду Вашего ответа и мысленно целую Вас многожды». Накануне Екатерину Сергеевну видели с мужем в Мариинском театре на «Снегурочке» Римского-Корсакова. Если письмо Балакирева находится в какой-

то связи с впечатлениями бывших на спектакле общих знакомых, это тревожный знак.

Екатерина Сергеевна фотографировалась весной 1881 года и, по-видимому, в 1885-м, но снимки не сохранились. Варвара Комарова вспоминала: «Екатерину Сергеевну знала лишь по концертам Бесплатной школы; в детстве мы ее почему-то принимали за «купчиху»; она была бледная, вялая, расплывшаяся женщина, очень добрая и приветливая; я тогда не воображала, что она отличная музыкантша». Ее дядя 7 июля 1882 года был куда менее деликатен, делаясь наболевшим со своей невесткой Поликсеной Степановной: «Например, вчера — в «Зоологическом саду», и кто бы вы думали вдруг вчера там ко мне подходит, в соломенной широкополой шляпе? Сам наш Порфирьич, который вот и до сих пор не поспел выбраться из Петербурга. Вообразите, как много, значит, он до зимы насочиняет в своей опере!!! Черт его знает, что такое ему мешает уехать до сих пор; а может быть, и деньги? Не знаю. И какой смешной: я сидел в середине скамейки с одним знакомым студентом и преспокойно наслаждался любезными своими клоунами, да еще полеты разные, престрашные над зияющей пропастью снизу, — и вдруг Порфирьич протесняется ко мне, расталкивает и устраивает кое-как место около и не сам тут садится, а для моего истинного удовольствия приводит и сажает свою жену — толстую и скучную копну... с прескучным и надоедливym разговором. Вы можете представить себе, как мне было это лестно и восхитительно!! А сам ушел куда-то в другие места». С Бородиными пришла тогда в Зоологический сад целая компания домочадцев. Екатерина Сергеевна Стасову на ухо наобещала, «что примет все меры в Туле, чтобы никто ему не мешал и не развлекал». Но ни до какой «Тулы» (то бишь Житовки Тульской губернии) Александр Порфирьевич в то лето даже не доехал... Через год

разъяренный Владимир Васильевич в письме брату поименовал генеральшу Бородину «периной».

Злость Стасова имела одну-единственную причину: его друг перестал сочинять музыку. И сделал это в самый неподходящий момент, когда ему бы работать и за себя, и за «родного братца» — Мусоргского. В 1882 году появилось маленькое скерцо для квартета в редком размере 5/8, вообще-то сочиненное еще для Первого квартета, но тогда забракованное (напечатано оно было посмертно в сборнике «Пятницы», основательно переделанное Глазуновым). В самом конце 1884 года Бородин уважил просьбу Бичуриной — до чего же везло ему на контральто — и сочинил на слова Алексея Константиновича Толстого неподражаемо комичную песню «Спесь». Между этими датами прикидывались новые переделки «Сна Ярославны», главным образом сводившиеся к дальнейшим сокращениям, да приводился в порядок Пролог «Князя Игоря», тяжело шедший. Стасов во всем винил Екатерину Сергеевну — как будто десять лет назад, когда Бородин сочинял много и быстро, она требовала меньше забот!

Музыкальных заказов, подобных «Богатырям» и «Младе», Бородин в тот период не получал, просьбы исполнителей касались лишь миниатюр (разумеется, неоплачиваемых). Вторая симфония после среднего успеха в Москве в 1880 году лежала никому не интересная. Скорейшего завершения «Игоря» желали друзья — но не театры. По окончании партитуры Бородин мог твердо рассчитывать на несколько лет непростых хлопот о постановке. Причин браться за крупные вещи не было.

Добрейшая Людмила Ивановна Шестакова на новый 1883 год подарила «новенькому Глинке» большой фотографический портрет своего гениального брата. Благодаря за подарок, наследник гения признался, цитируя кого-то из общих знакомых: «С оперой у меня —

«один страм». 14 февраля подлила масла в огонь Анка Калинина, засыпав «милого *D-dur'*ного^[39] генерала» вопросами: «Что делает Игорь? Растет ли он, как подобает богатырю, не по дням, а по часам, или Ярославна все еще оmyвает рукав в Каяле-реке и ждет к себе своего ненаглядного ладу. А он нейдет, жестокий, злой, нехороший, на зов своей русской музы. Здоров ли отец этого Игоря?.. Не сердитесь на то, что я Вас беспокою (впрочем, ведь Вы не умеете сердиться)».

Портрет и зов оказали действие: 4 августа 1883 года Анка забрала у Стасова для Бородина Киевскую летопись (часть Ипатьевского списка, повествующую о походе Игоря Святославича) и второй том «Истории государства Российского» Карамзина. Всю осень профессор — совсем как Лист — вставал в пять, самое позднее в шесть утра и служил своей русской музы. 21 ноября в его квартиру нагрянули Корсаковы, Лядов, Глазунов, Стасов с Гинцбургом, Доброславины, несколько Лодыженских, один из Блуменфельдов, Василий Дианин с женой и малолетним сыном Владимиром (будущим учеником Римского-Корсакова, которого Бородин чуточку баловал, собирая для него почтовые марки) и участники Кружка любителей музыки — певцы Ильинский, Субботин и Тринитатский со своими поющими и непоющими половинами. Половину из перечисленных Александр Порфирьевич ожидал увидеть, половину — нет. Событие это иногда называют «прослушиванием Пролога «Князя Игоря» с участием Субботиной и Тринитатского». Из письма автора Екатерине Сергеевне следует, что это неверно: «Разумеется, общество не совсем подходящее; музыкальная братия наша пришла слушать мой пролог; барыни — слушать Ильинского, Тринитатский и Субботина — петь. Удовлетворить всех было мудрено вполне, но кажется вышли мы с честью из затруднительного положения». То есть любители пели

свой обычный репертуар, а для «музикусов» Бородин самолично сыграл Пролог.

Как он в те годы выглядел за фортепиано, известно из воспоминаний Марии Васильевны Доброславиной: «Как сейчас вижу я его за фортепиано; его немного сутуловатую фигуру и полные руки, которые как-то неуклюже двигались по клавишам. Играя, он всегда немного посапывал, и глаза у него делались какие-то неопределенные и загадочные». А вот что в тот вечер слышали гости, каким явился в авторском исполнении Пролог «Игоря» — великая тайна. Новые эпизоды для середины Пролога дошли до нас лишь в виде набросков, но Бородин-то мог играть свою музыку вообще без всяких нот. Сцену затмения Римский-Корсаков еще при его жизни скомпоновал из музыки «Явления теней» для «Млады», а вот маленький квартет Ярославны, князя Игоря, Владимира Игоревича и Галицкого по своему стилю от начала до конца скорее корсаковский, чем бородинский, и никаких авторских набросков для него не сохранилось. При исполнении присутствовал Алексей Протопопов. Вместе с новой партией пилуль для болящих он увез с собой в Москву свежие впечатления от Пролога, где поведал о них сестре, а она — никому.

Не таит загадок только меню. Леночка была на высоте и умудрилась накормить всех нагрянувших, подав огромный ростбиф.

Теперь на очереди была увертюра. Мысль о ней витала в воздухе, в сентябре 1884 года Глазунов и Дютш умоляли Бородина дать ее для концертов Русского музыкального общества. Дать было нечего. В октябре Бородин жаловался Екатерине Сергеевне: «Меня одолели музыканты и певцы... Корсинька стонет. Глазунов стонет. Людма стонет. Наконец и мне не остается ничего больше как стонать. А тут «дела» одолевают вконец; просто времени нет. Беда, да и только!»

В начале следующего года Николай Андреевич Римский-Корсаков «с разрешения Бородина» взялся редактировать путивльские картины «Игоря». Летом 1879-го он уже пытался «улучшать» картину у Галицкого, натолкнувшись на деликатные, но недвусмысленные возражения автора. В 1880-е отношение Александра Порфирьевича к вмешательствам в его музыку не изменилось. Ипполитов-Иванов вспоминал: «Несмотря на... спешку, каждое сочинение его было удивительно продуманно и, насколько помню, за очень небольшими исключениями, немногие из них подвергались впоследствии поправкам или каким-либо коренным исправлениям. Все, что сочинялось за этот период Александром Порфирьевичем, конечно, с восторгом принималось нашим кружком, но ведь мы, музыканты, не можем не дать доброго, по нашему мнению, совета в ряде случаев. — «А вот здесь, А. П., хорошо бы вместо *D-dur*’а, взять *B-dur*». И замечаешь, как А. П. начинает нетерпеливо двигаться на стуле и усиленно сопеть; это было явным признаком, что совет не будет принят, и разговор деликатно модулировался в другую область. Такие неосторожные советы всегда производили обратный эффект. Чуткий и осторожный в обращении с людьми, А. П. и к себе требовал такого же деликатного отношения». А вот что запомнилось Кюи: «Приведу одну его любопытную черту: когда он показывал свои сочинения и его товарищи по искусству находили в них какие-нибудь недостатки, он их отстаивал с большой энергией, но делал это так добродушно, что этот род самозащиты ничуть не казался странным».

Странно, что Николай Андреевич так рано стал вмешиваться в работу Бородина, ведь в конце 1870-х он должен был бы сконцентрироваться на неоконченных вещах совсем другого композитора. Когда в феврале 1875 года умер некогда подававший надежды

Гуссаковский, Кюи завершил некролог словами: «Н. А. Римский-Корсаков мне говорил о своей готовности взять на себя редакцию сочинений Гуссаковского. Хорошо было бы, чтоб все, у кого имеются эти сочинения, доставили их Римскому-Корсакову, чтоб он осуществил их издание, чтоб блестящие зачатки композиторского таланта Гуссаковского не заглохли и не погибли, как погиб его талант, чтобы хоть этому делу не помешали русское равнодушие и апатия». Сочинения Аполлона Селиверстовича имелись, в частности, у Балакирева, но вопреки неоднократным напоминаниям Николай Андреевич их так и не забрал. Видимо, по зрелом размышлении он трезво оценил качество материала. А вот опера Бородина еще при живом авторе стала превращаться в оперу Римского-Корсакова, интимность в общении с незавершенным сочинением начала уходить, и стало не всегда возможно различать: что намеревался предпринять дальше сам Александр Порфирьевич, а что — Николай Андреевич.

В жизни Бородина не было периодов, когда его не одолевали бы заботы. Он всегда был в трудах — и всегда много времени проводил в общении с людьми. Его любимый ученик Дианин в статье «Памяти Александра Порфирьевича Бородина. По поводу 30-летия со дня кончины» резюмировал:

«Нередко приходится читать и слышать довольно распространенное мнение, что если бы Бородин посвятил себя всецело науке или музыке, он сделал бы больше — в этом нельзя согласиться. Наука и музыка — эти две сферы творческой работы Бородина — были в нем так разграничены, как будто бы в его личности слилось два человека. Когда уставал и переставал работать один, начинал работать другой. Если бы речь шла о технической работе, которая при данной скорости пропорциональна количеству затраченного времени, такое мнение было бы вполне справедливо. Но в данном

случае речь идет о научном [и] художественном творчестве, у которого свои законы. В точных науках, к которым принадлежит и химия, чтобы сделать что-нибудь крупное, недостаточно поставить себе тему, но и выносить ее в себе, пока путем совершенно неизвестных нам доселе процессов бессознательного мышления задача не выльется в совершенно определенную форму. То же самое имеет место и при художественном творчестве. Сколько раз бывало, что во время летних каникул, будучи совершенно свободен, А. П. долгое время ничего не делал по части музыки, и наоборот, бывали дни и недели, когда музыка буквально сочилась из него».

И в 1860-е, и в 1870-е годы оба уживавшихся в Бородине творческих человека работали не покладая рук — в 1880-е оба часто и надолго затихали. В 1884-м Екатерина Сергеевна с плачем и слезами жаловалась Стасову:

— Ворочается, бывало, ночью, когда писал вначале «Игоря». Целые долгие ночи не мог спать и только твердил мне, ворочаясь и не спя: «Не могу, не могу больше! Ничто больше не идет!»

«Игорь» был начат, когда Екатерина Сергеевна жила с мужем врозь, так что она явно имела в виду не 1869-й и не 1870-й. Порфирий Алексеевич Трифонов относит этот эпизод к 1884 году.

Сам Александр Порфирьевич сказал однажды Дианину:

— Собственно, у всякого композитора существует только одна основная музыкальная тема, и всё его творчество представляет собою ряд вариаций на эту тему.

Неужели его тема себя исчерпала, новые берега больше не манили? Неужели прав был Скабичевский, сказавший в статье «Г. Щедрин как современный гениальный писатель»: «Это уже всем приевшаяся

старая истина, что российский писатель если не исчерпывается весь в своем первом произведении, если переживает молодость, то кое-как еще развивается в своем таланте до сорокалетнего, много сорокапятилетнего возраста, а затем к пятидесяти годам начинается быстрое, неудержимое падение таланта, оскудение творчества, отупение и постыдно-малодушное поползновение поклониться вновь тому, что в молодости сожигал, и начать сожигать, чему поклонялся»?

Глава 27

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА

Три года кряду музы хранили молчание. Как поется в глинкинском «Прощании с Петербургом» на стихи Нестора Кукольника:

Не требуй песен от певца,
Когда житейские волненья
Замкнули вещие уста
Для радости и вдохновенья...

Обильная житейскими волнениями домашняя жизнь Бородина — притча во языцех, хрестоматийный пример того, как не должен жить ни ученый, ни композитор. Чтобы уяснить это, достаточно прочесть пару абзацев из «Летописи» Римского-Корсакова. Вопрос в другом: изменилось ли что-нибудь принципиально в 1880-е? Самым продуктивным временем для Бородина всегда было лето, а в течение учебного года — периоды пребывания Екатерины Сергеевны в Москве и рождественские каникулы. Начнем с зимнего житья с 1882 по 1884 год.

Ипполитов-Иванов в своих воспоминаниях краток: «Надо удивляться, как он мог творить при тех невозможных житейских условиях, в которых он находился, и сохранять в своих творениях свет и радость». Балакирев в сентябре 1883 года в разговоре с Кругликовым красочно описал обстановку в профессорской квартире: «Дом у него всегда полон разными курсистками, в кабинете у него юбки висят, жена всегда больна и спит, он же у себя дома точно в нахлебниках живет, где-то в углу, и то не в постоянном,

а где случай поможет приткнуться. Бывали ли вы у него когда-нибудь? Ведь правда, ему негде просто заниматься; а если и найдется место, то не найдется времени и возможности: то жену может фортепиано, видите ли, разбудить, то курсисткам понадобится пульпульта по щекам трепать как раз в то время, когда он нашел себе место и имеет расположение сочинять. Ведь это ужасно».

Действительно, в 1880-е Александру Порфирьевичу уже не приходилось оставаться дома ни в полном одиночестве, ни в обществе одного-двух временно бездомных друзей. Квартира во всякое время была населена. После женитьбы Дианина неудобное расположение комнат по две стороны коридора обнаружило свои плюсы: молодая семья смогла поселиться почти отдельно, не считая совместных обедов и чаепитий. В 1882 году появился на свет первенец Борис. Роды принимала Столяревская, которая тогда сидела без места и привычно обосновалась у Бородиных. Неожиданно для профессора она выказала себя толковой и опытной акушеркой. Крестным отцом стал Александр Порфирьевич. Вскоре для малыша взяли няньку Аришу.

Одно время у Бородиных жил также Василий Дианин с семьей, но поскольку Екатерина Сергеевна вздумала его «перевоспитывать», большого удовольствия совместное житье никому не доставило. Иногда ненадолго останавливалась невестка Александра Александрова.

Шурин Алексей жил у зятя до 10 января 1883 года, пока не устроился в Москве вместе с женой к некоему Митусову — управлять бывшей гостиницей Мамонтова. В октябре хозяин неожиданно продал гостиницу, и Лёка был водворен обратно под крыло Александра Порфирьевича. А тут в Голицынской больнице надумали лишить Екатерину Алексеевну ее даровой квартирки. И

правда, дети давно выросли, встали на ноги, дочь — генеральша, а старуха-то стала ворчлива и полюбила критиковать больничные порядки. Первой мыслью Екатерины Сергеевны было перевезти мать к мужу, но тут Александр Порфирьевич взбунтовался и отправил жене вполне протопоповское, «горькое» письмо. Правда, через неделю он послал теще приглашение переселиться под его кров и подписался: «Любящий Вас всей душой сын Ваш А. Бородин». Но за эту неделю генерал успел принять все меры, чтобы Екатерина Алексеевна могла спокойно провести отпущенные ей годы там, где жила всю жизнь. Зять давно стал для старушки главной опорой. В январе 1884 года, собравшись было помирать, она отправила Александру Порфирьевичу очень красноречивое письмо: «Дорогой сын мой Александр Порфирьевич. В самую трудную минуту обращаюсь к Вам с усердною моею просьбою. Пишу, мое сокровище, что приходит конец мой!.. Катюша, я знаю, что не в состоянии будет распоряжаться и читать мое послание. А Алеша и того меньше. Он, я знаю, будет без ума. Прошу Вас и его не оставить своим утешением. Благодарю Вас, мой сын и благодетель, за Вашу любовь и внимание ко мне, которого, как я ни разбирала себе, ничем не заслужила. Советуйте Алеше не убиваться и не раздражать себя, это может повредить его глазу». Далее следовали четкие инструкции, как поступить с ее деньгами, акциями, закладными и движимым имуществом.

Самочувствие Екатерины Сергеевны колебалось в обычных пределах. На Святках мать напутствовала ее: «Как я рада, что ты хоть и через силу, а веселишься. Дерзай, милая, дерзай! Пора тебе встряхнуться. Как бы я хотела видеть тебя пляшущую! А еще бы более желала видеть тебя в церкви иногда. Или бы даже когда на большой праздник можно бы и дома сотворить службу и молитву». Когда супруга жила в Петербурге,

просыпаться в пять-шесть утра и садиться за работу становилось физически невозможно. Курбанов вспоминал: «Супруга Бородина... была очень умная, образованная, начитанная особа и притом превосходная пианистка, но, к сожалению, уже давно одержимая постоянными недугами, которые приковывали ее большею частью к постели, почему музыка ею была совершенно заброшена. Вставала она после трех часов дня, до какового времени шторы в ее спальне были всегда спущены и в доме царила тишина. Александр Порфирьевич очень заботливо и с большим вниманием относился к своей страдающей жене. Ложились спать они большею частью очень поздно, и благодаря болезни Екатерины Сергеевны вся их жизнь, а также хозяйство в доме шли в большом беспорядке и безалаберности...» Ни один мемуарист не запечатлел Бородину играющей с мужем в четыре руки. Изредка супруг участвовал в домашних ансамблях в качестве виолончелиста, но в фортепианных дуэтах ее партнерами становились другие.

Общая безалаберность не распространялась на вечерние чаепития, происходившие неторопливо, со вкусом, с соблюдением установленных правил. Тот же Курбанов оставил их описание: «За большим обеденным столом в одном конце сидела Екатерина Сергеевна, а в другом, противоположном, — Александр Порфирьевич. Он пил чай из маленькой, почти микроскопической, вроде кофейной, чашечки, которых он выпивал бесконечное количество, причем ему беспрестанно приходилось с передачей чашек беспокоить всех сидящих за столом. На мой вопрос, почему он не пьет сразу из большой чашки, причем не пришлось бы так часто никого тревожить, он мне ответил: «Видите ли, выпив десять таких наперстков и со всеми процедурами передачи и наливания, у меня остается впечатление, что я выпил бог весть сколько, а на самом деле выпито

очень мало, следовательно, иллюзия многопития соблюдена и соблюдены также условия здоровья, так как питье в большом количестве мне запрещено».

Не менее тщательно обставлялось празднование именин Екатерины Сергеевны. Одну из торжественных церемоний запечатлел Михаил Гольдштейн. Сперва все домочадцы по очереди преподнесли генеральше подарки — пепельницы самых разных размеров и форм. Затем Бородин объявил с серьезным видом:

— Теперь следует чтение адресов и телеграмм.

Он вынул записную книжку и стал читать: «Такой-то — Сергиевская улица, дом № 81; такой-то — Выборгская сторона, Нижегородская улица, дом № 6», — и еще почти два десятка адресов. Домочадцы умирали со смеху, именинница умоляла «перестать дурить», но супруг был невозмутим:

— Чтение адресов окончено. Следует чтение телеграмм.

И зачитал с десятков телеграмм о поставках химических препаратов. После чего с абсолютно серьезным видом отбыл в лабораторию.

Когда супруга жила в Москве, по заведенному еще в 1860-е годы обычаю Александр Порфирьевич мгновенно переходил на здоровый «гейдельбергский» режим, Екатерину Сергеевну раздражавший (она называла его «богадельней»). В такие периоды обед подавался минута в минуту — об этом было кому позаботиться. Бородин по-прежнему часто писал жене письма. Новшеством был стихийно сложившийся график: сегодня пишет Роднуша (эксШарик), завтра Лиза, потом Павлыч, потом Лена — чтобы Рыбе (ее новое домашнее имя) каждый день было что читать. И все-таки град упреков со стороны Екатерины Сергеевны не иссякал, так что почти каждое письмо начиналось словами «простите, что так долго Вам не писал(а)». Один Сергей Сергеевич Протопопов проявлял в этом вопросе

принципиальность: «Истинную любовь... только фарисеи доказывают многоглаголением и многописанием».

Очень нетипично сложилась осень 1883 года: Екатерина Сергеевна весь сентябрь провела в Петербурге, пока 30-го числа не была посажена в поезд на Московском вокзале соединенными усилиями мужа, Павлыча и слуги Николая. Тут-то Бородин и принялся за Пролог! В конце октября Екатерина Сергеевна стала настойчиво звать его к себе, чтобы «сдать ее на железную дорогу» (доставить обратно в Петербург). Ее попытки заставили его поволноваться, хотя и были изначально обречены: ведь он ни разу еще не покидал академию в разгар семестра. В остальном переписка текла обычным порядком до самого декабря, пусть не без надрыва и связанных с ним литературных ассоциаций: «И меня, и Павлыча глубоко тронуло, до слез, простое, но картинное и полное чувства описание твоей ночи с 23 на 24 Ноября, у Мамы. Это подействовало на нас обоих в роде картин из Достоевского... Как мне захотелось тогда горячо, горячо обнять тебя и многострадальную «фигуру в белом», кладущую за нас земные поклоны, с теплою молитвою, не на одних устах, но и в сердце». Беспокоило его, почему москвички совсем не берут Ганю из института на выходные. Этот ребенок давно стал для него не чужим.

Профессор по-прежнему толстел, седел, часто хворал, страдал от ссор и интриг в фактически коммунальной квартире, бурлящей женскими темпераментами. Убегал к Стасову послушать, как восемнадцатилетний Саша Глазунов играет свою новую симфонию, что никогда не оканчивалось раньше двух часов ночи. Посещал концерты РМО и БМШ. Оценил невероятное новаторство пианистки Софьи Ментер, сыгравшей целый концерт без приглашения других солистов (раньше так поступал только Лист). Очень тронул Курбанова, придя в консерваторию на его

лекцию о японской музыке: в качестве инженера на флоте тот посещал Японию и сделал там много музыкальных записей. Если судить по походам на концерты певцов, симпатиями Александра Порфирьевича пользовались меццо-сопрано Прасковья Веревкина и тенор Петр Лодий.

Воздвижение в 1879 году постоянного Литейного моста имело как плюсы, так и минусы — посетителей на Выборгской стало гораздо больше. Бородин жаловался Екатерине Сергеевне: «У нас такая же толчея и базар без тебя, как и при тебе — приходят, уходят, едят, пьют и т. д. Это совсем не то, как было тогда, когда я оставался совсем один, с Катериной Егоровной, Липой, Любочкой и т. д.». Сколько в его бумагах сохранилось начатых и брошенных писем! Будучи перфекционистом, Бородин из-за малейшей описки мог отложить лист и начать сначала. Или он только успевал вывести слова «Милостивый государь», когда его кто-то отвлекал, и писание письма отменялось. Жена была не из тех, кто коня на скаку остановит, оберегая покой работающего мужа. Он же, прошедший детство и юность при матери как за каменной стеной, не умел ввести широкий поток посетителей в твердое русло.

Ситуация усугублялась текущим составом жильцов и постоянными переселениями народов внутри квартиры. Александр Порфирьевич смущенно объяснял друзьям: «Все комнаты у нас имеют самое строгое назначение. Так, эта называется моим кабинетом потому, что там спит NN. А эта называется комнатой Кати, потому что в ней мы обедаем». Чарлз Буковски, вдохновляясь английским переводом книги Сергея Дианина, изобретал новые ужасающие подробности:

...в его постели обычно
спал кто-то другой,
а поскольку стулья тоже обычно разбирали,

он часто спал на лестнице,
завернувшись в старую шинель...

Накануне своего пятидесятилетия, едва отбыла в Москву Екатерина Сергеевна, Бородин стал обустраивать для себя личное пространство. Он перешел спать в кабинет. Обои там были восточные, кровать на их фоне смотрелась плохо. Отданная в красильню драпировка вернулась обратно не зеленой, а невесть какой. Глядя на нее, Бородин припомнил «черный фрак Колена синего цвета» из читанных когда-то по-французски либо виденных на французской сцене «Сцен из жизни богемы» Анри Мюрже. Внезапно на него снизошло вдохновение: ночами не спал, в четыре утра вскакивал, днями бегал по магазинам. Заказал столярам тахту, на шторы достал расшитую персидскую термаламу, купил шесть текинских ковров, три турецких и один персидский, да к ним шнуры с кистями, да на Ново-Александровском рынке — материи, чтобы заново обить квартиру. Что это было — проснувшаяся память об отце или влияние успеха «В Средней Азии»? Стасов считал — характер. Давая Репину идеи относительно портрета Бородина, он писал: «В фоне комнаты — диваны с персидскими и туркестанскими коврами. Он их обожал и наполнил ими целых две комнаты у себя. Еще бы! Сам был воплощенный восточник, и по страстности, и по лени, и по порывам, и по разгильдяйству!!!» Увлекавшийся критик в пылу вдохновения легко забывал о чем угодно — о научных работах, о «гейдельбергском» режиме и, само собой, о казусах центрального отопления в академии.

В кабинет теперь почти никто не допускался. К великой ревности Лены — «маленькой Аиды», — туда позволялось входить Анке, которая взялась вышивать две восточные подушки (ей Александр Порфирьевич

тоже рассказывал о своем происхождении от князей Имеретинских). Лено немедленно заявила: раз так, она тоже вышьет две подушки! ТТТурин Алексей презентовал чудную восточную салфетку и расхаживал по квартире, декламируя почти гекзаметром:

Гектор наш тахту уладить спешит,
Пока Андромаха в походе...

Осень 1884 года принесла еще перемены. Дома у Бородина теперь стояли шкафы из бывшей лаборатории Женских курсов, и он энергично заполнял их вещами, вновь занимаясь квартирой и собственным гардеробом. Из Вильно вернулся больной, постаревший Митя. Вскоре по протекции Доброславина он получил место помощника начальника Дома предварительного заключения. Лена стала учиться акушерству при Надеждинской больнице: «Лено очень довольно, что оно теперь что-то из себя изображает», — написал Дианин Екатерине Сергеевне. Кажется, за будущее девушки-бесприданницы теперь можно было не волноваться. Насчет будущего другой бесприданницы, Гани, Бородин тоже всё решил: поскольку она окончила Николаевский сиротский институт, переедет в Петербург и будет учиться в консерватории. Нужно как можно скорее показать ее Давыдову и профессорам пения. Вот только Екатерина Сергеевна с сентября по декабрь никак не могла отправить девочку в столицу — боялась заскучать в одиночестве? Александру Порфирьевичу не нравилось, что Ганя бездельничает, а с октября прибавились новые тревоги. Супруга надумала было перебраться из Голицынской больницы в Лефортовскую, в квартиру однокашника Бородина Михаила Васильевича Успенского (ее заботливый друг Яша Орловский очень кстати квартировал в тех же краях). Александр

Порфирьевич был доволен, что его мученица-страдальца будет в хороших условиях и под врачебным присмотром, но категорически не желал, чтобы под кровом Успенского оказалась Ганя. Ану как «старый селадон» начнет за ней приударять? Только в январе 1885 года Агапия Степановна Литвиненко стала студенткой Петербургской консерватории, поступив в класс Елизаветы Федоровны Цванцигер. У нее обнаружилось колоратурное меццо-сопрано.

Как видно, условия жизни Бородина с годами менялись мало, за исключением резкого роста оседлого и кочевого народонаселения в квартире. Этой проблеме он нашел решение к концу 1883 года, превратив свой «восточный» кабинет в небольшую крепость.

Зимами Бородин сочинял миниатюрные романсы либо оркестровал уже готовую музыку. «Нравственный досуг», когда можно было освободиться от всех забот и с головой уйти в по-настоящему масштабный замысел, доставляли только летние месяцы. Лето 1881 года с абсолютным переключением со службы на музыку в Магдебурге и последующим тихим житьем в Крапивенском уезде сложилось как нельзя более удачно. В 1882 году Бородин хотел повторить программу: поехать в Цюрих на очередной съезд Музыкального союза (послушать, как будут играть квартет Римского-Корсакова), навестить в Веймаре Листа и завершить путешествие посещением премьеры вагнеровского «Парсифаля» в Байройте. Не удалось застать в Лейпциге «Кольцо нибелунга», но мечталось услышать последнее сочинение композитора, о котором столько рассказывал Карл Ридель. После Германии Бородин намеревался ехать в Житово, куда в тот год собирались многие члены клана Лодыженских и Матвеева с сестрой и дочерью. Марья Антоновна Гусева по-прежнему тщето звала его к себе в Киевскую губернию, на станцию Фундуклеевка, суля фруктовое

изобилие и прочие прелести юга и в качестве анонсов присылая банки с вареньем...

Ничего из этих планов не вышло. Веймар и Байройт отпали, скорее всего, по материальным причинам. Сборы в деревню были, по обыкновению, долгими — ни в конце мая, ни в начале июня и речи не было об отъезде, а там ехать стало невозможно. У жены Мити еще в 1881-м начались проблемы с психикой. Тогда Бородин направил ее к Ивану Павловичу Мержеевскому и в водолечебницу Вальденберга, и дело вроде бы обошлось. Но в середине июня 1882 года болезнь вернулась с новой силой: галлюцинации, мания преследования... Митя тоже тяжело болел, помочь мог только деньгами. Бородин вместе с верной и бесстрашной Леной отвез чрезвычайно мнительную, доверявшую ему одному Александру Александровну в больницу на Удельной. Больше месяца прошло в хлопотах и консультациях, заслонивших всё на свете. Москва провожала в последний путь Михаила Дмитриевича Скобелева. Во время последней Турецкой кампании профессор с волнением следил за его подвигами во имя славянской идеи, в 1880-м сочинил гениальную музыку, посвященную итогам азиатских походов молодого полководца. Наверняка Бородин не раз слышал о Скобелеве от Николая Лодыженского — тот сдружился с генералом в Рущук, если не раньше, и был одним из тех, кто навещал его в Москве за несколько дней до смерти. Наверняка Екатерина Сергеевна, прочтя в газетах страшное известие, расплакалась. Что сказал Бородин, что подумал, или весть скользнула по краю его сознания, не оставив следа? Наблюдая невестку, только к 22 июля он уверился: дело идет на поправку. Болезнь отступала, рецидивы уже не были столь опасны. Но в тот же день он окончательно понял, что в Житовку этим летом не попадет. Все, что оставалось, — уехать в Москву, где проходила художественно-промышленная

выставка, и оставаться там как можно дольше. Супруги начали собираться...

8 августа в Севастополе умер один из любимых учеников Бородина Владимир Шоноров. Лишь недавно он смог перейти на службу в университетский Киев, где можно было осуществить давнюю мечту — заниматься наукой не урывками, а всерьез. И вот начавшаяся еще в студенческие годы чахотка убила его, несмотря на самоотверженные заботы жены. Любовь Андроновна сообщила Бородину о смерти мужа в строгом, античном в своей простоте письме.

11 августа Александр Порфирьевич прибыл в Москву в компании пианиста Лаврова, которого он прекрасно знал по Кружку любителей музыки, однако без Екатерины Сергеевны. Композитор и пианист торопились к репетициям новой серии концертов выставки, во временном зале на 2150 человек, на сей раз — под управлением Римского-Корсакова (первая серия прошла в мае под управлением Антона Рубинштейна, Стравинский тогда исполнял песню Галицкого). В Москве Бородин очутился в тесном кругу петербургских «музикусов» с примкнувшим к ним Репиным, который рисовал зал, оркестр и Николая Андреевича за дирижерским пультом. Михаил Михайлович Корякин исполнил арию Кончака, симфоническая картина «В Средней Азии» имела особенно большой успех — Бородин дважды выходил на поклон. На репетиции он брал с собой Ганю, его явно радовали восторги девочки по поводу «Азии» и «Антара».

Квартировал Бородин у тещи совсем по-спартански, как она ему после напомнила: «А что Вы пишете и благодарите меня за заботы и попечения о Вашем теле в бытность у меня, то я до сих пор не могу вспомнить, как Ваше тело валялось по полу, и на жестком тюфяке, когда было можно его положить повыше и помягче, если бы только не упрямылся мой гость дорогой». Чтобы с

комфортом выспаться, не стесняя Екатерину Алексеевну, Бородин несколько раз ночевал у Бларамбергов. Дни до отказа заполнялись делами, он навещал всех родственников жены, побывал в Московской консерватории, хлопотал тут и там о помощи Женским курсам и хоть немного да купался — купание для него составляло важнейшую часть летнего отдыха.

Меж тем Екатерина Сергеевна, которая по уговору должна была выехать из Петербурга вслед за мужем и привезти ему фрак, лежала дома с больной головой. Голова-то полбеда... «Ты спросишь, отчего не еду я, милый? Я все собираюсь, хандрю, кашляю, и все не знаю где и что лучше? — Страх просто сковывает меня... Что бы я дала за то хорошее чувство, с которым, бывало, я подъезжала к Москве, в начале лета? А теперь — страшно, пойми ты меня!» Рядом был брат Лёка, писавший матери «грустные и страшные» письма о том, как тоскует по семье «до дурноты и до беспамятства». Масла в огонь подливала пресса, за которой Екатерина Сергеевна всегда внимательно следила: «Родной мой, берегись московских воров и убийц; Бога ради не смейся над моим советом: во вчерашней корреспонденции из Москвы, в Новом Времени, говорится, что в Москве, среди белого дня, даже не в глухих улицах — просто опасно ходить. Купи себе здоровую палку, а у разбойников там кистени да кастеты... Боюсь ужасно ехать, как никогда. А как жаль, что все это время я не с тобой в Москве!» Знала ли она, что супруг не взял в Москву свой шестизарядный карманный револьвер, или не подозревала о существовании у него такого предмета? Между тем Бородин уже года два как был владельцем этого оружия. Возможно, то был подарок боевых эмансипированных женщин, каких вокруг него было предостаточно.

Ленó беспокоилась о своем Роднуше: где он и с кем? Рыба спрашивала предметнее: «Где Анна Николаевна? Что еще она надумала делать? Le souvant ou la Neva?^[40]» Ни то ни другое! Аккурат к концертам Римского-Корсакова Анка приехала из Житовки со всеми Лодыженскими — загорелая, поздоровевшая, полная энергии. Отправила сына к сестре Варваре, поселилась у брата Ивана и принялась искать работу в редакциях.

К неудовольствию своих музыкальных друзей, Бородин 24 августа внезапно уехал в Петербург к занемогшей и затосковавшей жене. На этом лето для него закончилось. Для занятий композицией не нашлось ни дня.

Планы надето 1883 года не отличались новизной. В мае в Лейпциге играли Первую симфонию — в июне хотелось бы очутиться в Житовке. Поездка в Германию не состоялась по служебным либо финансовым причинам. Переезд в деревню долго пребывал в подвешенном состоянии. С Житовкой почему-то не сладилось, но Анка все-таки приютила Бородиных. В первых числах июня они неделю провели на ее даче в Лесном (возле Лесного института, совсем рядом с Военно-медицинской академией, где когда-то была дача у Гедианова). Александр Порфирьевич иногда уезжал чуть дальше на север — на дачу Глазуновых в Озерках и дачу Стасова в Парголове. Через полвека после смерти критика дачная идиллия на Карельском перешейке так вспоминалась Самуилу Яковлевичу Маршаку:

Пыль над Питером стояла,
Будто город дворник мел.
От Финляндского вокзала
Дачный поезд отошел...

Не извозчик с тощей клячею
Ждет у станции господ.

Тот, кто сам владеет дачею,
Возит с поезда народ.

Гонит мерина саврасого
Мимо сосен и берез —
— Далеко ли дача Стасова? —
Задаю ему вопрос.

Кто не знает седовласого
Старика-богатыря!
Только дачи нет у Стасова,
Откровенно говоря.

— Вы племянник или внук его?
Нет, знакомый. — Ну, так вот.
Он на даче у Безрукова
Лето каждое живет.

Человек, видать, заслуженный.
Каждый день к нему друзья
Ездят в дом к обеду, к ужину,
А Безруков — это я!

...Сосновый двухэтажный дом.
Стеклянная терраса.
Здесь наверху, перед окном,
Сидит и пишет Стасов...

Во дни рождений, именин
На стасовском рояле
Когда-то Римский, Бородин
И Мусоргский играли...

Открыты были окна в сад
И в полевые дали.
И все соседи — стар и млад —

Под окнами стояли.

Екатерине Сергеевне до того понравилось в Лесном, что теперь она ни на что другое не соглашалась. К молодой семье Дианиных в Давыдово полетело письмо профессора с описанием мытарств: «Пошли поиски за другими деревенскими приютами. Нашли мы их штук пять. Но, разумеется, как только найдем жилье, так начинаем искать предлога, как (не ехать туда. Одна усадьба в 4–5 комнат, со всей обстановкой до последних мелочей и без затраты денег на наем, совсем бы подходила, но и тут нашелся предлог не ехать: — <5 верст от станции, «вдруг понадобится доктор или лекарство; шутка ехать за ними 35 верст! Да кроме того и самим-то надобно взад и вперед сделать по 35 верст» и т. д. В конце концов Катя облюбовала Лесное и говорит, что нигде ей не было так хорошо, как тут, в Лесном... Да и в самом деле я прихожу к заключению, что она не деревенская, а дачная жительница... Ремонт нашей квартиры тоже откладывали, разумеется, под разными предлогами до крайности, когда уж волею-неволей пришлось делать... Признаюсь, я нынешний год уж начал скулить крепко и решил ни за что не оставаться на будущий год в городской квартире летом».

По-видимому, в Лесном Бородины прогостили недолго. Жили в своей квартире, пока не начался ремонт. Тогда после обстоятельных сборов и раздумий переехали... в аудиторию Сушинского. Екатерина Сергеевна большую часть времени располагалась у входа в академию и дышала воздухом. В самом конце августа установилось «бабье лето». Бестолково уходили последние погожие дни, что Александр Порфирьевич не без юмора констатировал Дианиным: «Мы, вместо того, чтобы делать дело, гоняем каждый день в Сосновку «с

утра», которое разумеется начинается у нас «вечером», а не так, как у добрых людей... И сейчас — я строчу вам это письмо, а Катя в объятиях Морфея, хотя теперь уже 2-й час, а мы условились: в 12 ехать в Сосновку с харчами и пр. Верую однако, что все-таки мы успеем поехать сегодня «с утра»... Катя проснулась! — В Сосновку не едем! Едем в Зоологический сад». На заре их семейной жизни Екатерина Сергеевна любила пожаловаться, что у нее «лето заедено». В 1883-м она против обыкновения была довольна отдыхом, а вот ее муж остался даже без купания.

12 сентября Бородин встретил на Невском Балакирева, и они обменялись несколькими фразами:

— Что за лето сочинили?

— Ничего, нельзя было — всё лето пришлось в зале жить.

«Оказывается, квартиру его, что ли, поправляли, так он чуть ли не в актовой академической зале ночевал. Тут, как хотите, никакое вдохновение не поможет», — резюмировал Балакирев, пересказывая этот случай Кругликову. Спасибо, Анка в августе доставила от Стасова исторические материалы для Пролога «Князя Игоря» — было что почитать по утрам в ожидании пробуждения супруги. Когда не был занят тушением конфликта Давыдова с Дирекцией РМО...

В 1884 году Бородин ждал лета с огромной решимостью провести его с пользой для здоровья и для музыки. Он страшно устал и физически, и нравственно. Устал не только от службы и забот о Женских курсах, но даже от «Игоря». За годы работы над оперой неимоверно разросся круг людей, считавших своим долгом порекомендовать ему как можно скорее заканчивать партитуру. Этим грешили и старые друзья, и случайные знакомые, ушей которых достигли слухи о композиторстве профессора.

Дача была выбрана заранее. В 1874-1877 годах в Медико-хирургической академии учился Сергей Гаврилович Навашин, в 1878-м перешедший в Московский университет. Там он увлекся ботаникой, начал работать у Тимирязева и впоследствии стал академиком. Летом он с женой, тоже ботаником, уезжал в Павловский Посад — родные места своей ассистентки Старовойтовой. О почти ежегодных мучительных поисках Бородиным новой дачи знали многие знакомые. Навашин снял для профессора дом в Павловском.

В середине июня Дианины, направляясь в Давыдово, довели Екатерину Сергеевну до Москвы. Бородин пока оставался дома, из последних сил занимаясь уборкой в лаборатории, подготовкой квартиры к неизбежному, «как рок судьбы», ежегодному ремонту и предотъездными сборами. Беспокоили сильное недомогание, склоки приживалок, хроническое недосыпание и — предвкушение хлопот по обустройству на даче. Требовала забот невестка (к счастью, рецидив оказался не тяжелым). Тяжелее были переживания за Федора Дианина. Тот целым и невредимым прошел Турецкую кампанию — а теперь умирал от случайной травмы, вызвавшей туберкулез позвоночника. Шашенька ухаживал за больным братом, ночами почти не спал. Бородин как врач понимал, что состояние Федора безнадежно.

Две женщины поддерживали тогда Александра Порфирьевича — хрупкая, но неутомимая Лена («Лено бегают козочкой и комариными лапками убирает, что может») и сердечно заботившаяся о нем кухарка Екатерина Петровна Морелиус. У Бородина, кажется, никогда прежде не возникало с прислугой доверительных отношений. Для кухарок и лакеев он был барином, не склонным распространять на них свое уважение или участие. Екатерина Петровна стала счастливым исключением.

17 июня Александр Порфирьевич навел на его даче и торжественно пообещал как можно скорее уехать из города. По горькому опыту прежних лет Владимир Васильевич не поверил, однако 21 июня Бородин и Лено сдали на железную дорогу 18 пудов багажа, сели в вагон и вздохнули с облегчением. Каким блаженством было просто сидеть и ничего не делать! Вагон третьего класса бежал на юг: генерал Бородин ездил третьим, изредка вторым классом. Путешественники с наслаждением напились чаю, хотя такой скверной воды, как в поезде, давно не вкушали. Путь их лежал напрямик в Павловский Посад — смотреть дачу. Трехдневная рекогносцировка показала: дом стоит в котловине, вокруг много зелени, по утрам выпадают обильные росы. По сути, это был приговор лету... Надежда умирает последней: генерал велел верному оруженосцу Ленд удерживать плацдарм и охранять вещи и отбыл на совет к верховному главнокомандующему.

В тесной, сырой квартирке в Голицынской больнице с 1830-х годов копилась рухлядь. По-прежнему не раздавалось в старых стенах прогрессивное слово «дезинфекция». Рыба сидела в тесноте и духоте, никуда не выходила и совсем разболелась: жар, лихорадка. Брошенная в Павловском Лена не знала, почему ее Роднуша не возвращается. А тот метался по Москве, хлопотал за всяких «родных человечков» (как было заранее запланировано) и до самого июля с сознанием полной безнадежности приискивал дачу поближе да посуше (чего никто заранее не планировал). Долгожданное лето утекало сквозь пальцы.

Лёка теперь служил в Самаре, изливая брату Сергею жалобу на разлуку с семьей. Киса с детьми на лето переехала на берег Москвы-реки, в деревню Печатники. Она помогла Бородину найти там же единственную еще не сданную дачу — избу на каменном фундаменте, без

мебели и без посуды. Выслушав отчет мужа, Екатерина Сергеевна погрузилась в размышления. Место сухое, открытое, кругом никакой растительности — это хорошо. С другой стороны, поскольку место открытое, дом не защищен от ветра — это плохо. Тут принесли почту. Шестое чувство никогда в таких случаях генеральшу не подводило, она поскорее раскрыла газету: в Печатниках объявилась шайка «Золотой роты»... Грозный вопрос «что делать?» вновь встал во всю силу, вновь долгие часы были потрачены на вдумчивое, эмоциональное обсуждение проблемы с самых разных сторон. Из такой вот бесплодной суеты уже сколько лет состояла жизнь Александра Порфирьевича, когда он не вел занятий, не работал в лаборатории и не сидел на концертах...

Спасли их Навашины: уступили свою дачу в Павловском, а сами перебрались в другой дом. Бородины проделали 40 верст на лошадях, чтобы прожить «на пробу» пять дней, да и остались. Наконец-то лето вступило в свои права. Бородин был доволен всем: Навашиными, просторным домом, своей отдельной комнатой, мебелью, садами, рощами, сбором грибов, свободой разгуливать в рубахе и портках, купанием в Клязьме, чистотой и отсутствием насекомых-паразитов, осами, истреблявшими мух, но не кусавшими людей, обильной едой, Дуняшиной стряпней, Леной, которая сушила, солила и мариновала грибы, варила варенье и пекла блинчики. Доволен самим фактом, что впервые после 1881 года вырвался из города. Доволен даже Екатериной Сергеевной, которая ежеутренне вставала не позднее одиннадцати часов! Такого замечательного дачного житья у него еще не было.

Одно было досадно: поскольку приехали только на пять дней, Бородин не привез с собой фортепиано, а возвращаться за ним в Москву уже не было сил. Соседи Староверовы пригласили приходить к ним заниматься.

Если он и злоупотреблял их любезностью, то не слишком, и уж точно не играл по целым дням с утра до глубокой ночи, как случалось в Давыдове, когда посещало вдохновение. Он не принадлежал к числу композиторов, которые сочиняют за столом, опираясь на внутренний слух. Без помощи фортепиано Бородин доделывал, переписывал начисто, оркестровал уже сочиненное. Когда же затевалось новое произведение, он играл многие часы подряд, делая короткие беглые наброски. После записывал развернутые эскизы, мучаясь, в каких длительностях писать — четвертями, восьмушками или шестнадцатыми. В итоге писал как придется, а уж потом, соорудив себе нечто напоминающее любимую домашнюю конторку, переписывал вещь, находя окончательный баланс темпа и тактового размера.

Когда осенью Стасов ребром поставил вопрос, почему до сих пор не готова увертюра к «Игору», Бородин сказал:

— Фортепиано не было.

На бурную реакцию критика последовали рассудительные слова:

— Довольно того, что у меня три фортепиано есть: одно во Владимире, два на квартире в Медицинской академии, как же мне еще четвертое заводить?

Ответ при всей своей логичности кажется отговоркой. При других обстоятельствах Александр Порфирьевич завел бы и четвертое фортепиано, и пятое...

Музыкальные следы лета в Павловском почти эфемерны. Вырвавшись на свободу, Бородин отдыхал. А еще присматривался и прислушивался. Главной причиной его восхищения Павловским были павловцы — старообрядцы беспоповского согласия. Сразу бросились в глаза обычай не запира́ть домов, чистота, всеобщие воспитанность и трезвость. Александра Порфирьевича

очень интересовало, кому беспоповцы исповедуются и почему не причащаются. Вокруг он видел хорошо образованных людей, одетых по моде, читающих Лермонтова и Льва Толстого, но не поступившихся верой предков и сохранивших даже их «предрассудки». В голове не укладывалось, как такое возможно.

«А поют преинтересные старинные молитвы, вроде *Danse macabre* Листа «*Dies irae, dies illa*»...» — средневековую секвенцию «День гнева» Бородин хорошо знал по давно ценимой им «Пляске смерти» Листа (сочиненным еще в 1849 году парафразам для фортепиано с оркестром). Это было первое, что он припомнил, услышав в Павловском знаменный распев и духовные стихи старообрядцев. Наверняка следом возникла в памяти Венгерская Коронационная месса Листа, которую Бородин открыл для себя в Магдебурге: «По музыке эта месса — прелестна, почти сплошь; а *Credo* — необыкновенно хорошо по глубине, религиозному настроению и несколько суровому, древнекатолическому характеру в церковных тонах... почти постоянными унисонами, вроде нашего столпового пения». Столповое пение (знаменный распев) Бородину, конечно, приходилось слышать и раньше. Этот пласт русской музыки жил в его памяти, питая — скорее подсознательно — и «Князя Игоря», и Вторую симфонию. Но магдебургские впечатления заставили обратить на средневековые распевы пристальное внимание. В Павловском Бородин слушал пение старообрядцев словно новыми ушами.

10 июля 1884 года Бородин сделал одноголосные наброски трех тем, в том числе темы до-минорного *Andante* для Третьего квартета (либо для Третьей симфонии). Листочек с этими записями он отдал Лено и велел хорошенько беречь. Преданная Ленó записи сберегла, но Роднуша их ни разу не попросил — то ли было недосуг, то ли забыл, то ли, напротив, хорошо

помнил. В 1923 году она передала листок будущему биографу Бородину Сергею Дианину. С его легкой руки наброски считаются записями раскольничьих песнопений, а тема *Andante* — созданной из их элементов. Но если взглянуть в записанные 10 июля мелодии, ничего «раскольничьего» в них не обнаружится. Родственны они протяжным лирическим песням, которых Бородин в Павловском как раз не слышал либо слышал мало. Возмущая слух и разум композитора, по улицам широко разносилось нечто сентиментальное и скорее городское, вроде романса «Над серебряной рекой»: «Нарядные парни и девки прогуливаются и поют — к сожалению, пакостнейшие песни, — «о златом песочке, следочках милой» и в том же роде». Да и вряд ли за несколько дней, прошедших между переездом на дачу и записью музыкальных тем, он успел вслушаться в раскольничьи напевы.

Неизвестно, было ли записано в июле — августе еще что-либо для новой симфонии; помимо трех загадочных тем — Бородин уселся оркестровать балладу «Море». Лето пролетело до обидного быстро. Он начал напоминать жене, что пора в Москву. Жена «собралась начать собираться». Тяжелый багаж довезла до Крюковского стана Лена, оттуда отправила в Петербург 18 пудов груза и уехала сама. У Роднуши еще оставались дела в Москве. Труднейшим из них представлялось устройство на осень Рыбы: хотелось заменить Голицынскую больницу на что-нибудь более благоприятное для здоровья. В прежние годы это иногда удавалось, теперь же супруга забраковала несколько квартир, включая квартиру сестры Кисы, и отправила мужа искать комнату в номерах. Недели через три он честно признался ей из Петербурга: «Я делал это только для очистки совести и для успокоения тебя, чтобы ты видела, что я не ленюсь и не отвиливаю от поисков. Но я, по горьким опытам прежних лет, зная что такое ты и

что такое — нумера — твердо убежден был в невозможности найти тебе номер. Мне от души жаль не только тебя, но и тех, кто бегают отыскивать тебе нумера — потому что все это понапрасну». Екатерина Сергеевна прожила у матери в Голицынской до конца октября и вернулась в Петербург. Такого лета, как в 1877 или в 1881 году, Бородину больше не было отпущено.

Глава 28

ЯВЛЕНИЕ МЕЦЕНАТА

Для второй половины XIX века меценат — фигура довольно экзотическая. Поддержку искусства в то время часто брали на себя благотворительные общества и общества любителей, собиравшие, добровольные пожертвования. В особо удачных случаях эта деятельность подкреплялась государственной субсидией. Исключения случались редко: меценатом Рихарда Вагнера был погибший в 1886 году король Баварии Людвиг II, Петра Ильича Чайковского поддерживала Надежда Филаретовна фон Мекк. Бородин с его прочным положением профессора Военно-медицинской академии и репутацией всеобщего благодетеля, казалось, менее, чем кто-либо, мог привлечь к своей особе внимание потенциального мецената, но...

27 ноября 1884 года «ре-мажорный генерал» неожиданно получил Глинкинскую премию за Первую симфонию — тысячу рублей. Тогда же Балакирев, Чайковский и Римский-Корсаков получили за симфонические сочинения по 500 рублей, Кюи и Лядов за камерные вещи — соответственно 300 и 200 рублей. Бородин был явным фаворитом неизвестного благотворителя, таинственным образом доставившего конверты с премиями в Публичную библиотеку Стасову. В 1885 году список премированных сочинений возглавила его Вторая симфония, в 1886-м награды удостоился Первый квартет, в 1887-м (посмертно) — Второй квартет, «В Средней Азии» и Третья симфония, и все три тысячи рублей премиального фонда пошли на памятник композитору.

Источником золотого дождя был лесопромышленник Митрофан Петрович Беляев. Они с Бородиным познакомились в 1882 году и быстро сблизились. Почти ровесники (Беляев на два с небольшим года моложе), оба родились и получили образование в Петербурге. Оба с детства без акцента говорили по-немецки. Оба рано почувствовали призвание к музыке, но двинулись разными стезями. Когда семнадцатилетний купец 3-й гильдии Бородин с увлечением готовился к поприщу врача, пятнадцатилетний выпускник Реформатского немецкого училища купец 1-й гильдии Беляев стал приказчиком у своего отца. По семейному преданию, Петр Авраамович предлагал старшему сыну избрать путь музыканта — тот отказался.

Петр Авраамович быстро шел в гору. Большой лесопильный завод в карельской Унице, от которого сохранились только развалины, не остался единственным основанным им предприятием. Были еще кирпичный завод в Петербурге, несколько доходных домов, а поскольку лес в огромной степени шел на экспорт, появилось собственное «Невское пароходство». Пока подрастали младшие братья Григорий, Сергей и Яков, Митрофан энергично занимался главным семейным делом. В 1866 году он с двоюродным братом Николаем Павловичем Беляевым открыл в Кемском уезде паровой лесопильный завод. По делам фирмы приходилось часто ездить за границу, где у него имелись родственники (среди компаньонов позднее оказался английский подданный Альфред Петрович Беляев).

И Бородин, и Беляев в юности пристрастились к струнным инструментам. Выдающихся успехов не добились, но страстно предавались музицированию. Беляев учился игре на скрипке. Дело не заладилось, и его инструментом стал альт, которому дилетант был по-настоящему предан. С четырнадцати лет он участвовал

в квартетных вечерах в Реформатском училище, играл в оркестре Немецкого клуба под управлением старика Людвиг Маурера. Оркестр постепенно трансформировался в будущий Кружок любителей музыки, где дирижировал Лядов и куда в один прекрасный день устроился Щиглёв. Тут уж знакомства с Бородиным было не избежать. Вскоре альтист Беляев обнаружил себя за пультом оркестра Военно-медицинской академии повинующимся дирижерской палочке Александра Порфирьевича.

Еще больше, нежели в оркестре, русский немец Митрофан Петрович любил «пилить» на альте в квартете. Этим занятием он услаждался, пребывая по делам в Архангельске, а жизнь в столице доставляла еще больше возможностей. В 1880 году умер восьмидесятилетний Петр Авраамович. Фирма «Петр Беляев с сыновьями» превратилась в товарищество на паях «Петра Беляева наследники». Братья разделились, в 1882 году Митрофан Петрович окончательно водворился в доме на Николаевской (ныне улица Марата). Тут-то и начались знаменитые беляевские «пятницы».

Свои приемные дни, пятницы (вроде понедельников Шестаковой и четвергов Стасовых), хозяин сумел превратить в нечто из ряда вон выходящее. Посетителей собиралось множество. Сперва извлекались инструменты. В коллекции Митрофана Петровича были три скрипки, два альты и две виолончели (все это богатство вкупе с целым шкафом нот и полуторамиллионным капиталом впоследствии было завещано Союзу камерной музыки). За один вечер проигрывалось с листа не менее трех квартетов: один — венских классиков, один — из современных иностранных и один — русский. Затем наступал черед ансамблей большего состава, от квинтетов до октетов, после чего следовали, как выражался Римский-Корсаков,

«богатырский пир и богатырская попойка». Ужин всегда был на высоте, что не всегда было можно сказать о музыкальном исполнении. Глазунов, направляясь к Беляеву в первый раз, припозднился. Когда он поднимался по лестнице, музицирование любителей уже началось и звуки достигли ушей юноши. Долго стоял он на ступеньках, не в силах одолеть приступ хохота. Очевидно, квартетные вечера у его родителей, на которые Елена Павловна Глазунова, заботливая мать юного гения, случалось, зазывала и Бородин, проходили на более высоком уровне.

Римский-Корсаков и Глазунов «пятниц» обычно не пропускали (умеренного в питии Николая Андреевича несколько беспокоила неумеренность молоденького коллеги). Еженедельно приходили Лядов и другие корсаковские ученики — Николай Соколов, Язеп Витол, братья Блуменфельды. Посещали Беляева и гастролировавшие в Петербурге зарубежные звезды, и любители вроде Александра Дианина. Стасов появлялся редко, Бородин, напротив, довольно часто. Случалось, он — совсем как в молодости — брал в руки виолончель и участвовал в ансамбле: здесь можно было не стыдиться слабой техники.

Перед ужином и во время одного квартетистов сменяли другие исполнители. Таланты Феликса Блуменфельда были уже хорошо знакомы Бородину: в семействе Молас девятнадцатилетнего пианиста в шутку называли «сыном», демонстрировали на домашних музыкальных вечерах и брали с собой, отправляясь в гости. Как бы ни был страшен почерк композитора, Феликс с ходу разбирал любые каракули и играл только что написанное произведение сразу «начисто». Таланты его старшего брата Сигизмунда у Беляева раскрылись с новой стороны: задрапировавшись во что-нибудь, тот пел сильным фальцетом, пародируя оперных примадонн и доводя слушателей до истерики.

Соколов, закутавшись в шаль Марьи Андреевны, безмолвной жены хозяина, составлял с Блуменфельдом дуэты. А то импровизировал рассказы, которые назывались всегда одинаково: «Сон Щиглёва». Как ни протестовал добрейший Михаил Романович, приходилось выслушивать невероятные истории, например о том, как его нос сбежал и превратился в ихтиозавра.

Поддержка мецената должна бы подталкивать к новым свершениям. Но тут История предпочла повернуть вспять. Ради одной из первых «пятниц» 1882 года Бородин откопал ноты своего квинтета двадцатилетней давности, каковой и был сыгран любителями. «Поползновение поклониться вновь тому, что в молодости сожигал, и начать сожигать, чему поклонялся» в следующем году получило продолжение: Щиглёв переложил раннее, тоже добалакиревское трио Бородина для камерного оркестра и ввел его в репертуар Кружка любителей музыки (он и позднее продолжал находить и перекладывать юношеские сочинения друга). Шагом вперед с некоторой натяжкой можно считать ре-мажорное скерцо, извлеченное Бородиным из эскизов Первого квартета, — задорное, отлично звучащее.

Вокруг Беляева забили фонтаны квартетной литературы. Всё только что сочиненное исполнялось, партии безукоризненно переписывал старательный Георгий Карлович Шольц. Но где же шедевры, где знаковые для эпохи сочинения, открывающие перед струнным квартетом новые пути? Их нет. Всякий писавший для Беляева должен был помнить: его пьесы будут играть любители, не из самых искусных. Композитор молодой и желавший понравиться меценату заведомо настраивал себя на «неокучкистский» стиль. С годами выработался и стандарт качества: «не ниже среднего номера беляевского каталога». Какие уж тут прорывы «к новым берегам»...

История предпочла похоронить все созданное с серьезными намерениями, сохранив жизнь нескольким «пустякам на случай», откровенно сочиненным для развлечения. Из расцветавших на «пятницах» цветов лучшими и неувядаемыми оказались музыкальные шутки. Именины мецената 23 ноября всегда праздновались торжественно: с лакеями во фраках, с обедом от ресторатора, с рассадкой и речами по старшинству, но с обязательным преобладанием тостов Глазунова. В 1886 году родилась традиция подносить имениннику коллективное музыкальное сочинение. Самый первый опыт был и самым удачным: Римский-Корсаков, Лядов, Бородин и Глазунов, явно вдохновившись опытом собственных «Парафраз» на тему «котлетной польки», воздвигли струнный квартет в четырех частях, зашифровав в нотах фамилию «Беляев»: *B — la — f* (си-бемоль — ля — фа). Третья часть квартета, нетленная «Испанская серенада» Бородина, — вне конкуренции. Это один из тех редких случаев, когда Александр Порфирьевич соблаговолил перенести на бумагу очередную музыкальную шутку. Три инструмента аккомпанируют, альтист (в лице Беляева), несколько разнообразя ритмические фигуры, без конца пилит три звука: *b — la — fb — la — fb — la — f...* В следующем году последовал коллективный квартет «Именины», а за ним и другие подобные проекты, в которых Бородин уже не мог принимать участия.

Не раз игрались на «пятницах» оба бородинских квартета. Единственный экземпляр непопулярного при жизни автора Второго, по-видимому, годами вообще не покидал беляевской квартиры. Незадолго до смерти Бородина Сигизмунд Блуменфельд сделал «очень милое» переложение этого квартета для фортепиано в четыре руки, которое исполнял в дуэте с братом. Беляев все-таки больше любил Первый квартет. В 1903 году на самой последней «пятнице» Александр Николаевич

Антипов (художник, оформлявший беляевские издания) предложил начать вечер с Первого квартета Бородина. Умиравший Митрофан Петрович горячо его поддержал.

Помогая многим, Беляев страстно увлекся двумя композиторами из молодого поколения и среди толпы посредственностей выбрал действительно могучие таланты. Оба были тезками Бородина. Александр Николаевич Скрябин появился на беляевском горизонте уже после смерти Александра Порфирьевича. Александр Константинович Глазунов в качестве ученика Балакирева и Корсакова впервые предстал пред очи Бородина 2 января 1882 года, хотя у Николая Андреевича занимался давно, еще с 1879 года (Стасов долго принимал его за младшего брата Надежды Николаевны).

Саша Глазунов рос вундеркиндом. На шестнадцатом году он — ученик Второго реального училища — под руководством двух наставников уже писал свою Первую симфонию. Стасов на ветхозаветный манер окрестил «юного богатыря» Самсоном, семнадцатилетнему юноше стали поручать просматривать корректуры посмертных изданий Мусоргского, выходивших в редакции Римского-Корсакова.

С Бородиным их разделяла разница в 32 года. А что сближало? Воспоминания Глазунова о Бородине на удивление бедны и смотрятся воспроизведением чужих рассказов. В самом начале знакомства Саша был младше бородинских студентов, и Александрович Порфирьевич относился к нему явно не как к взрослому, именуя «наш милый Самсон», «наш Wunderkind», «наш даровитый мальчонок». С матерью «мальчонка» у профессора сложились дружеские отношения, которые обе стороны старались поддерживать. Когда Беляев играл в оркестре Бородина на альте, Саша вносил свою лепту в качестве тромбониста. Среди его первых романсов есть миниатюра «Песни мои ядовиты» на слова Гейне в

переводе Добролюбова — то же самое стихотворение, только в другом переводе Бородин давно положил на музыку под названием «Отравой полны мои песни». Возможно, опыт Глазунова был попыткой творческого соревнования, для Стасова же он стал поводом поддразнивать Бородина.

«Мальчонок» немного подрос. В 1885–1886 годах его новые сочинения удостоились сдержанно-положительных отзывов Александра Порфирьевича: симфоническая поэма «Стенька Разин» — «очень хорошая вещь и превосходно инструментованная», *Andante* для оркестра (видимо, из «Характеристической сюиты» ор. 9) — «очень поэтичное», «Религиозная идиллия» (надо полагать, «Идиллия» ор. 14 № 1) — «вещица очень милая». С глазу на глаз Бородин сказал «мальчонку», что «Стенька» написан несколько риторично, правильно и формально. Но, в общем-то, было приятно, что поэма на тему бурлацкой песни «Эй, ухнем!», однако с литературной программой, взятой из совсем другой песни («Выплывала легка лодочка»), посвящена ему, Бородину. В 1886 году он очень нахваливал Глазунова бельгийцам.

Не в пример мужу Екатерина Сергеевна с первого знакомства отнеслась к юному дарованию со всей свойственной ей пылкостью. В декабре 1882 года в Петербурге был Танеев. Зайдя однажды к Бородину, он не застал его дома, зато застал Екатерину Сергеевну и не мог не поделиться впечатлениями с другом, тоже композитором, — Антонием Степановичем Аренским: «Когда я был у Бородина и разговаривал с его женою, я услышал от нее несколько отзывов о Глазунове, давших мне понятие о том, как смотрят в кружке Бородина, Кюи и пр. на этого молодого человека. Я узнал, во-первых, что Глазунов есть гений, что его творения носят на себе печать совершенства, что он владеет, как никто, композиторской техникой, что форма его сочинений

безукоризненна, что он «классик» и пр. «Если бы Бетховен был жив до сих пор, — говорила г-жа Бородина, — то он пал бы на колени перед Глазуновым». Потрясенный Танеев отправился к Римскому-Корсакову проверять полученные сведения. Николай Андреевич добавил к портрету «классика» небольшой штрих: «Он сделался каким-то профессором, смотрит на сочинения других авторов и многое находит не так, говоря, что следовало бы то или другое место написать иначе». Танееву в тот момент было 26 лет, Аренскому — 21 год, Глазунову — 17 лет.

«Милый Самсон» происходил из семьи книготорговцев и книгоиздателей Глазуновых, купцов 2-й гильдии, владельцев нескольких домов в Петербурге. В знаменательном 1882 году его отец Константин Ильич по случаю столетия фирмы получил потомственное дворянство. Среди русских композиторов нужно еще поискать другого, столь же хорошо обеспеченного! Муза истории в недоумении пожимает плечами: почему именно «Самсон» — а не, скажем, действительно нуждавшийся его ровесник Василий Сергеевич Калинин — стал главным любимцем бездетного мецената?^[41] Не иначе по иронии судьбы. Весной 1883 года Беляев запасся у Бородина советами и рекомендательными письмами и по стопам Александра Порфирьевича направился в Лейпциг на съезд Музыкального союза. Его целью было устроить исполнение в Германии Первой симфонии Глазунова. На будущий год симфонию сыграли на съезде в Веймаре.

В 1884 году 48-летний Митрофан Петрович остался в семейной фирме пайщиком, передав управление брату Сергею, бывшему на 11 лет его младше. Его деловая активность искала и нашла себе новое применение. После концерта БМШ 27 февраля 1884 года Балакирев попросил Беляева о материальной поддержке школы — тот резко отказал. А ровно через месяц, 27 марта, словно

в пику Милию Алексеевичу сделал подарок его молоденькому ученику: очень по-купчески ангажировал оркестр Мариинского театра в полном составе на закрытую «репетицию» сочинений Глазунова. Большой программой дирижировали Римский-Корсаков и Дютш. Из этой идеи выросла другая: 23 ноября 1885 года Беляев сам себе сделал подарок к именинам — открыл в зале Дворянского собрания цикл Общедоступных Русских симфонических концертов. Программа была грандиозной: сочинения Балакирева, Бларамберга, Кюи, Лядова, Римского-Корсакова, Рубинштейна, Чайковского, Щербачева, новые симфонические вещи Глазунова и среди всего этого великолепия — Вторая симфония Бородина. Довольный автор написал Екатерине Сергеевне в Москву, что симфонию его «исполнял Дютш в симфоническом концерте, который задумал М. П. Беляев задать на свои деньги, чтобы послушать вещи Глазунова... Симфония прошла хорошо и принята была хорошо. Вызывали меня, разумеется... Весь концерт очень походил на концерты Бесплатной школы: публика та же, восторженный прием, вызовы авторов, и — публики *мало!*»

Кюи за восемь лет свyksя с «бизарностями» Второй симфонии и теперь оценил их с новой стороны: «Нигде индивидуальность Бородина не проявляется так рельефно, как в этой симфонии; нигде его талант не является столь гибким, разнообразным, его мысли столь самобытными, сильными, глубокими. Во Второй симфонии Бородина преобладает сила, сила жесткая, одно слово, несокрушимая, стихийная. Симфония проникнута народностью, но народностью отдаленных времен; в симфонии чувствуется Русь, но Русь первобытная, языческая... Сила эта не облечена в стройные, спокойные формы западной гармонизации, она проявляется с редкой и резкой самобытностью как в самих темах, так и в их контрапунктной, гармонической

и даже оркестровой обработке. Эта резкость мысли и выражения, не смягченная, но в то же время и не обесцвеченная западными условно выработанными формами, может многих шокировать, но всех она должна поражать своим смелым и оригинальным могуществом».

Непопулярность у публики навсегда осталась главной проблемой предприятия. Рекламой Беляев принципиально не занимался. Несмотря на убыточность Русских симфонических концертов, он не только их не прекратил, но через несколько лет добавил к ним Русские камерные.

Одновременно меценат затеял еще одно дело, даже более грандиозное. Молодой Франц Шефер работал в Лейпциге у Даниэля Ратера. В 1884 году он неожиданно получил от Беляева предложение, от которого не смог отказаться. Сперва Шефер устроил издание в Лейпциге глазуновской Увертюры на греческие темы. Затем из Петербурга прибыли еще кое-какие рукописи, которые нужно было готовить к гравировке и отдавать в печать. Вскоре Шефер официально возглавил зарегистрированное 2 июля 1885 года издательство Беляева. Существует мнение, что Митрофан Петрович предпочел Лейпциг Петербургу ради лучшей законодательной защиты авторских прав. Маловероятно, чтобы это было главной причиной, скорее дело в другом. Лейпциг давно пользовался репутацией столицы нотопечатания, здесь имелись специалисты издательского дела, граверы высокой квалификации, к услугам заказчиков была работавшая с Ратером нотная типография Карла Готлиба Рёдера.

Беляев был весьма платежеспособным заказчиком. Прижимистый с карельскими рабочими, он платил Шеферу и Рёдеру куда щедрее других клиентов. Каталог издательства рос как на дрожжах. К 1895 году он включал 850 сочинений, к 1904-му — почти три тысячи.

Со стороны могло показаться, будто бывший лесопромышленник ведет новый серьезный бизнес, да и Митрофан Петрович, будто оправдываясь перед самим собой, говорил о покупке прав на музыкальные сочинения как о вложении средств. Выпуская в свет «Князя Игоря», он произнес знаменитые слова: «Я купил бриллиант, а разве кому известно, за какую цену я сумею его продать?»

Продавались ноты по демпинговым ценам, которые Беляев неуклонно снижал. Только в 1923 году, через 20 лет после смерти мецената, Шефер удвоил цены, ибо поступление денег из России на покрытие дефицита давно прекратилось. Конечно, Беляев с самого начала понимал, что слова о вложении средств, пусть даже высокорискованном, — лишь слова. В 1886 году он объяснил Язепу Витолу смысл своей деятельности совершенно иным образом: «В Германии, Англии, во Франции — во всех западных государствах есть подоходный налог; в России он еще не введен. Желая платить свою дань родине, я выбираю ту форму, которая мне более всего симпатична».

Менее всего симпатична деятельность Беляева оказалась его русским коллегам. Бессель и Юргенсон были едины в своем отношении к конкуренту. Оба начинали с нуля, создали — один в Петербурге, другой в Москве — издательства, организовывали печатание нот. Особенно много сделал для этой отрасли Юргенсон, позднее оборудовавший в Москве по последнему слову техники электропечатню. И вдруг откуда ни возьмись появляется выскочка-«барин», раньше только и знавший, что гнать карельский лес в Англию, и давай сорить деньгами, сбивая цены на ноты и одновременно повышая планку композиторских гонораров! Что, впрочем, не означало, что русские композиторы покинули прежних издателей и в полном составе

переметнулись к Беляеву. Например, Римский-Корсаков продолжал сотрудничать и с Бесселем.

Бородин лишь единожды успел приобщиться к беляевским гонорарам. Покупка в марте 1886 года прав на издание неоконченного еще «Князя Игоря» за фантастическую сумму в три тысячи рублей, к которой Беляев вскоре предложил добавить еще пятьсот для перевода либретто на французский и немецкий, наделала шуму в России и за границей. Сумма действительно была велика, но и прецедент имелся: ровно столько запросил за право постановки «Каменного гостя» зять и наследник Даргомыжского. Даже если Бородину была выплачена вся сумма целиком (как утверждал Лавров), а не только полторы тысячи рублей аванса (как припоминал Глазунов), меценат не переплатил — «Князь Игорь» действительно оказался «бриллиантом». Творец этого бриллианта наконец-то обрел весомый стимул закончить оперу.

Глава 29

БЕЛЬГИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

Четыре года Бородин не ездил за границу. На июнь — июль 1885 года он запланировал большую поездку, «чтобы немножко проветриться», как сказано в письме Карлу Риделю. Но в июне выехать не удалось: Бородин тяжело заболел. Бывший врач холерного отделения, скорее всего, быстро поставил себе диагноз и принял меры, поскольку болезнь удалось остановить на стадии средней тяжести (холерины). Все же обезвоживание было сильным и сопровождалось сердечными припадками, а возможно, и судорогами. Лежать и лечиться профессор не любил. Он чем-то занимался в лаборатории, когда его настиг сильнейший припадок... К счастью, рядом оказался врач Василий Дианин, который буквально спас его введением физиологического раствора.

2 июля Александр Порфирьевич получил заграничный паспорт. В двадцатых числах Екатерина Сергеевна уехала в Москву и поселилась в Раменском на даче Орловского. Отъезд оказался последним — в Петербург она больше не вернулась. Бородин несколько дней тщетно ждал весточки: как добралась, как устроилась? Супруга не спешила его успокоить, остаток лета с каждым днем убывал. Так и не дождавшись письма, Александр Порфирьевич 27 июля (старого стиля) отбыл в Германию. Провожала Лена, чьими стараниями вещи были уложены заранее и как следует. На вокзал прибыли вовремя. В дорогу Александр Порфирьевич взял править корректуры «Маленькой сюиты» и скерцо для фортепиано, печатавшихся у Бесселя, — и столкнулся в вагоне с издателем, ехавшим в Сиверскую на свою дачу.

Болезнь сильно изменила Бородина внешне: он похудел, отпустил седую бородку. Было неладно с сердцем. Уезжая, он запечатал все финансовые документы и процентные бумаги в конверт и приложил записку с просьбой в случае его смерти передать конверт Екатерине Сергеевне.

С момента пересечения границы события понеслись непредсказуемо и бестолково. Путь лежал через Берлин и Лейпциг. Выехав много позже, чем собирался, Бородин не застал там почти никого из знакомых, с Риделем и его семейством удалось повидаться лишь на обратном пути. Хуже всего было то, что в обоих университетах настали каникулы, профессора разъехались и научная часть поездки пошла под откос. Зато в Веймаре Бородин провел два дня в обществе Листа. Тот вставал ни свет ни заря и по просьбе одной своей подруги перекладывал для фортепиано соль-минорную тарантеллу Кюи. В остальном всё было по-прежнему: несказанная доброта, безбрежное терпение, бесконечные посетители, толпы учеников, вечера у баронессы Мейендорф (Горчаковой), где по корректурам сыграли новые фортепианные пьесы Бородина и горячо их одобрили. Веру Тиманову в качестве восходящей звезды сменил в окружении маэстро Александр Зилоти. С ним-то Бородин и отправился в Льеж, куда прибыл 17 августа (нового стиля).

В Бельгию Александр Порфирьевич ездил ровно 28 лет назад на Конгресс офтальмологов. Теперь его влекли Всемирная выставка в Антверпене и ее музыкальная программа. Бородин был уверен, что опоздал на Международный музыкальный конгресс, назначенный на 8—11 августа, где должны были обсуждаться проблемы строя, нотации, национального стиля в искусстве, а также авторских прав. Только сев в поезд в Петербурге, он узнал от Бесселя, что конгресс перенесен на конец сентября — на слишком позднее для

него время. Почему он направился не на Антверпенскую выставку, где скоро должны были начаться концерты, а в Льеж? *Cherchez la femme...*

Подругой Листа, для которой тот аранжировал пьесу Кюи, была 48-летняя графиня Луиза де Мерси-Аржанто. Отец ее Альфонс де Рике был младшим сыном 16-го князя де Шимэ. Красавица парижанка Луиза в 1860 году вышла замуж за своего ровесника графа Эжена де Мерси-Аржанто. Молодой граф был богат, наряду с прочими земными благами унаследовал от славных предков дом в Париже и замок Аржанто под Льежем. Единственная дочь супругов Розали родилась в 1862 году, а через несколько лет графиня ворвалась в политическую историю в качестве последнего увлечения Наполеона III. Ее мемуары (неясной аутентичности) вышли в свет в 1926 году под названием «Последняя любовь императора».

Тогда же Луиза навсегда обеспечила себе место в истории музыки. В 1861 году новоиспеченная графиня де Мерси-Аржанто посещала в Париже репетиции «Тангейзера» Вагнера, одной из ее подруг была дочь Листа Бландина Оливье. Луиза была неплохой пианисткой, сочиняла романсы и фортепианные пьесы. В 1866 году она познакомилась с Листом. Их дружба, отмеченная интенсивной перепиской и несколькими визитами маэстро в Аржанто, продолжалась ровно два десятилетия. Графиня прозвала друга «снегирем».

«В искусствах графиня живет современной жизнью, верует в прогресс, ищет прогресса, движения вперед. Между тем, современная французская и немецкая музыка не могла ее вполне удовлетворить; средняя талантливость композиторов и повторяющиеся их условные формулы мелодические и гармонические оставляли ее холодной», — писал Цезарь Кюи. Лист сумел внушить графине интерес к современной русской

музыке. Первым сочинением, с которым она познакомилась, волею судьбы стали «Народные танцы» Направника, подогревшие интерес графини. Некий музыкант в России, к которому она обратилась за дальнейшими сведениями, ответил, что, к сожалению, за исключением Рубинштейна и Чайковского, русских композиторов не имеется. Но не так легко было остановить Луизу де Мерси-Аржанто. 10 октября 1883 года она узнала о существовании на свете композитора Бородина. Впечатления этого дня она запечатлела в стихах:

Брела в тумане одиноко, заблудилась,
И холод горестей оледенил мне кровь.
Вдруг я увидела, как луч прорезал тучи
И на Востоке небо светом залилось.
Я чувствовала — сердце оживает
И возвращаются ко мне златые сны...
О, кто ты, Луч? Откуда ты, Гармония?
«Я есмь, — раздался Глас, — Искусство, Жизнь,
Любовь!
Иду из мест, где сыплет снег сурово,
Под покрывалом ледяным скрывая свет
И заматаю мне путь к сердцу твоему!
Не бойся же преград, времен и расстояний,
Гляди на свет и слушай нежный голос,
Забудь себя, хочу похитить твою душу,
Иди за мной, ведь я Надежда!
Иди за мной, я Счастье твое!»

В тот день графиня с льежцем Теодором Жадудем, который уже лет пятнадцать был постоянным участником ее музыкальных занятий, играла в четыре руки картину «В (родней Азии». 2 ноября Жадуль отправил Бородину первое письмо, в котором лаконично,

но пылко выразил свое восхищение его музыкой и намерение исполнить обе его симфонии — «наиболее прекрасные из всех, написанных после Бетховена». Жадую нравились Римский-Корсаков, Кюи и I лазунов. Балакирева, Лядова и Щербачева он не одобрял за «деланую оригинальность». Бородин же занял в его пантеоне первое место: «Какое должны Вы испытывать счастье, обладая таким громадным музыкальным гением!»

Удивительна судьба пианиста, дирижера и композитора Теодора Жадуля (1848 — после 1897). Жизнь его прошла в тени, даже в родной Бельгии о нем сегодня помнят лишь благодаря висящему в Льежской консерватории портрету работы Леона Филиппа и концертам русской музыки, которыми Жадуль продирижировал в 1885 году, — то был его звездный час.

Поверил Бородин в грядущее исполнение в Бельгии обеих симфоний или не очень, но он мгновенно откликнулся. Завязалась переписка. Вечно занятый, Александр Порфирьевич не без раздражения приноравливался к темпераменту льежца, бомбардировавшего его эпистолами. Тот просил партитуры и оркестровые партии, а Бессель и Ратер всё тянули с изданием Первой симфонии и Первого квартета. Но как было игнорировать слова о том, что его, Бородина, музыка — это идеал в искусстве? Как было не отвечать на сообщения, что в Льеже всякий день что-нибудь да играют из его произведений, поют его романсы, что ученики бельгийского музыканта разделяют страсть учителя? 29 марта 1884 года Жадуль с огромным успехом исполнил в симфоническом концерте «Среднюю Азию». 29 октября через его посредство Первая симфония прозвучала в Вербье. Он прислал в Петербург свой романс «Жалоба» — Бородин добросовестно познакомился с пьесой и нашел ее

«носящей резко выраженную печать Новой школы». Композиторы обменялись взаимными посвящениями, ответом на «Жалобу» Жадуля стало скерцо Бородина ля-бемоль мажор (то самое, корректура которого теперь ехала в Бельгию в чемодане Александра Порфирьевича).

В июне 1884 года Кюи передал Бородину первое письмо от графини де Мерси-Аржанто. Она учила русский и уже начала переводить на французский язык романсы обоих композиторов, в чем ей помогал поэт Поль Коллен. Как и Жадуль, графиня просила ноты — Бородин отправил ей три арии из «Игоря». Работа закипела, осенью автор при участии Кюи уже шлифовал присланные ему переводы «Трех Игорей» и нескольких романсов. Больше всего подвохов таила песня Галицкого. Переводчики заставили князя Володимера пить амброзию, мечтать о польках и кадрилих, а стремление сесть князем на Путивле поняли как желание сесть верхом на «грузинскую кобылу Пультива»! Тут было над чем поработать (позднее Александр Порфирьевич отправил графине русско-французский словарь Н. П. Макарова). После первых довольно официальных посланий Бородин стал писать в Бельгию с обычной своей шутливой галантностью, на французском языке казавшейся еще милее. Стремясь собрать у себя как можно больше его музыки, графиня шла вперед семимильными шагами. Он сам не заметил, как отправил ей все сочинения, какие мог, пообещал договориться с Юргенсоном и Бесселем о переиздании по-французски всех романсов и оркестровал балладу «Море». Он даже отправил ей полный список своих произведений начиная с детских. Как же ревновал Стасов!

18 ноября 1884 года «мадам графиня» превратилась в «крестную»: Бородин вступил в Парижское общество авторов, композиторов и музыкальных издателей, куда его рекомендовали Камиль Сен-Санс и Луиза де Мерси-

Аржанто. Через два месяца началось его общение с Международным союзом композиторов, только что основанным Луи Брюно (отцом композитора Альфреда Брюно). Это позволяло надеяться, что начавшиеся исполнения его вещей за рубежом со временем станут приносить регулярный доход.

Графиня как магнит притягивала к себе самых разных людей. Директор Льежской консерватории, фэготист и дирижер Теодор Раду, адвокат Жюль Фольвиль, горный инженер Альфред Абет — всех она сумела увлечь своей новой страстью. В этом ей помогли некие жившие по соседству богатые землевладельцы, женатые на русских. В ноябре 1886 года был официально основан Русский музыкальный кружок, до этого действовавший в замке Аржанто неофициально. В недрах кружка и созрела идея Русского концерта.

7 января 1885 года в льежском зале Общества поощрения оркестр Королевского театра под управлением Теодора Жадуля исполнил Первую симфонию и «В Средней Азии» Бородина, Тарантеллу Кюи и «Сербскую фантазию» Римского-Корсакова. В сопровождении фортепиано прозвучала баллада «Море». Успех благотворительного концерта в пользу Института глухонемых и слепых был так велик, что 21 января программу повторили, только «Море» сменила «Спящая княжна». Эта последняя произвела фурор. Жадуль сообщил Бородину, что музыкальные магазины несколько дней не продавали ничего, кроме «Княжны»! Публика требовала продолжения, и к 29 февраля подготовили новую русскую программу. Бородин был представлен песней Галицкого, «Спящей княжной», «Морской царевной» и — третий раз подряд! — Первой симфонией. Это была какая-то вакханалия. Лист горячо поддерживал начинания пианистки и меценатки письмами, тем временем занимаясь новыми виртуозными обработками пьес русских авторов.

Три концерта, представившие русскую музыку от «Славянской тарантеллы» Даргомыжского до песни Леля из «Снегурочки» Римского-Корсакова, Черкесских танцев из «Кавказского пленника» Кюи и сюиты «Саша» Глазунова, имели огромный резонанс. Французские критики вспоминали о них еще два или три десятилетия. Кюи как самый активный корреспондент графини получил из Аржанто целую пачку восторженных рецензий льежских, брюссельских, парижских журналистов. Луи Галле в «Новом обозрении» похвалил и симфонию Бородина, и дирижера, исполнившего ее «с редким пониманием». Много лестных слов было произнесено в честь русской музыки и в честь графини — за организацию концертов, за прекрасное исполнение фортепианной партии в «Маленькой сюите» Кюи для скрипки и фортепиано.

Бородин был даже чуточку удивлен: «Мы русские, «пожиратели сальных свечек», «Северные медведи» и т. д., мы слишком долго фигурировали за границей в качестве потребителей. чтобы быть там хорошо принятыми в качестве производителей. Предрассудки против русских произведений очень сильны и их очень трудно победить, особенно в области искусства».

После триумфа Первой симфонии письма Бородина графине стали еще куртуазнее. В феврале почта принесла ей такое послание:

«Дорогая моя Крестная,

.....

.....

Совершенно преданный Вам крестник

А. Бородин.

P. S. Прошу Вас меня извинить, что я пропустил текст письма. Я это сделал из осторожности, чтобы лишить Вас всякой возможности отыскать в нем новые мои преступления, в которых Вы меня изволили обвинить. Как? Я — невинный как голубка, наивный как пастушка

— обвиняюсь в том, что я ужасный льстец и обольститель??!!! Какой кошмар!»

Вдруг «льстец и обольститель» от пушкинских многоточий и пикантных заигрываний резко перешел к делу: да, он уладил дела с издателями и готов прислать рукописи Второй симфонии — партитуру и голоса, как есть, грязные и потрепанные. Он долго тянул с этим и колебался, но после льежских концертов всё изменилось.

...Вот к кому он теперь направлялся. В Льеже отыскал Жадуля и вместе с ним поехал в Аржанто. Графиня встретила гостей на станции и повезла в замок. Кабриолетом она правила самолично, не хуже Кашеваровой-Рудневой.

Бородин не зря называл ее в письмах «своей доброй феей». Место и правда было сказочное: высокая скала, внизу поросшие плющом развалины старинного замка, наверху новый замок, весьма изящный, кругом очень ухоженный парк. Замок буквально ломился от обилия картин, статуй, ваз, ковров, фарфора и старинного оружия. Вышколенные слуги содержали дом в идеальном порядке, хозяйка бы и пылинки не потерпела. Дочь Розали недавно превратилась в герцогиню д'Аваре и жила отдельно. Граф де Мерси-Аржанто помещался в верхнем этаже, дважды в день во фраке и белом галстуке выходил к столу и снова исчезал.

В роскоши и довольстве, под стать мечтам князя Галицкого, Александр Порфирьевич прожил неделю: вкусно ел, сладко пил, наслаждался обществом поклонников и поклонниц. Все его хвалили — кто искренне, кто подлаживаясь под вкусы хозяйки дома. Все наперебой пели-играли его музыку и просили у автора советов. Многие зазывали в гости. Жадуль выучил «свое» скерцо наизусть, женское общество было в восторге от «Маленькой сюиты». Сколько лет Бородин,

будучи мужем пианистки, не писал фортепианной музыки — никто не мог на него воздействовать! Но бешеный натиск графини д'Аржанто, ее постоянные письма о «запертом шкафе, ключ от которого есть только у него» (разумея талант и новые замыслы) заставили в рождественские каникулы между делом браться за перо. Внимая советам Екатерины Сергеевны, слушавшей его игру из соседней комнаты, он припомнил кое-что из давних импровизаций, из игранного на танцевальных вечерах, которые всегда так любил. («Старые оскребушки», — ворчал Римский-Корсаков, Стасов тоже выражал недовольство.) Вторая мазурка вышла похожей на Второй квартет, Ноктюрн — на каватину Владимира Игоревича.

В январе 1885 года пьес было четыре, к концу июня их набралось семь (холерина не помешала работе). Родился заголовок в духе Кюи: «Маленькая сюита» — полное отсутствие времени на крупные замыслы на шестом десятке превратило Бородина в миниатюриста. Родилась и программа, которую *Sacha* записал по-французски для прекрасной графини, только что выдавшей замуж дочь:

«История любви молодой девушки»

№ 1. В монастыре. Под сводами Собора думают только о Боге.

№ 2. Интермеццо. Грезят об обществе.

№ 3. Мазурка. Думают только о танце.

№ 4. Мазурка. Думают о танце и о танцоре.

№ 5. Мечты. Думают только о танцоре.

№ 6. Серенада. Грезят о песне любви.

№ 7. Ноктюрн. Убаюканы счастьем быть любимой.

Может быть, Александру Порфирьевичу кстати вспомнилась некогда переписанная им для бала полька-мазурка Михаила Адамовича Завадского *Le rêve d'une jeune fille* («Грезы девушки»).

В Аржанто появилась на свет еще одна миниатюра — последний сочиненный Бородиным романс «Чудный сад, темный парк, восхитительный замок» («Септен»), Скрывшийся за инициалами «G. C.» поэт воспел имение и его хозяйку, а композитор написал музыку, разительно не похожую на его последние песни — «Спесь», «У людей-то в дому». На сей раз у Бородина вышло нечто в духе его собственных романсов двадцатилетней давности, прямых предвестников импрессионизма. Теперь, когда этот стиль обретал права во французской музыке, «Спящая княжна», «Морская царевна» и «Море» внезапно стали ужасно популярны в Бельгии, и автор «Септена»... просто последовал новой бельгийской моде.

24 августа *Sacha* внезапно исчез по-английски: оставил хозяйке письмо и уехал в Антверпен. Несколько дней он осматривал Всемирную выставку, которую нашел интересной, но хуже московской. В концертах из-за болезни директора Антверпенской консерватории Петера Бенуа было затишье, Бородин только побывал на концерте хора из пятисот мальчиков. В Аржанто скучали — а он уже ехал в Париж, где ждали дела и молодой льежский скрипач Мартен Пьер Марсик, протеже графини. Тот получил от патронессы важное поручение и успел прислать Александру Порфирьевичу в Антверпен трогательное письмо: «Париж удивительно большой. Вы здесь потеряетесь». Марсик и представить себе не мог, что этот русский изучил столицу Франции, когда он, Марсик, был десятилетним мальчиком. И он пока еще не бывал в Петербурге, чтобы трезво судить об «удивительно больших» городах. Молодой человек сопровождал Бородина в Париже, будто заботливая нянька, — как велела ему графиня.

В Париже повторилось то же, что в Берлине и Лейпциге: химики разъехались на каникулы, не было даже Аделаиды Луканиной. По просьбе Листа Бородин

разыскал и отправил в Веймар редкое издание «Системы позитивной политики» Огюста Конта, походил по театрам, свел личное знакомство с уже известными ему по переписке Сен-Сансом и Луи Альбером Бурго-Дюкудре — композитором, фольклористом, историком музыки. Последний презентовал ему свои «Бретонские песни» и посвященную Агрономическому обществу в Нанте маленькую оперу «Заговор цветов». Больше делать за границей было нечего, только заехать на денек в Льеж, забрать оставленный там чемодан и попытаться на обратном пути через Германию хоть как-то выполнить научную программу командировки.

6 сентября он еще был в Париже, когда вдруг посыпались письма из Бельгии. Его уже несколько дней разыскивали: почему-то все были уверены, что он гостит в Спа на вилле семейства Ноблэ «Ласточкино гнездо». Президент Ассоциации артистов-музыкантов Арман Шодуар сообщал о концерте русской музыки 9 сентября, программа которого включала «Среднюю Азию», и просил Бородина дирижировать. Президент Антверпенского музыкального общества Отто Менцель сообщал, что после уже прошедших концертов итальянской, французской и немецкой музыки предполагается 19 сентября устроить на Выставке Славянский концерт. Общество располагало оркестром более чем из ста музыкантов. Поскольку в качестве главной приманки в программе значилась Первая симфония Бородина, Менцель, разумеется, предлагал автору дирижировать концертом. Дирижер и композитор Гюстав Леон Юберти писал, что собирается 11 сентября исполнить в Антверпене Вторую симфонию. 20 лет назад в Бельгии Александр Сергеевич Даргомыжский удостоился настоящего успеха и почти добился постановки там одной из своих опер. Александр Порфирьевич теперь, будто нарочно, повторял путь соотечественника.

Утром 7 сентября Бородин вернулся в Бельгию. Дирижировать он наотрез отказался — не хватало уверенности. 19 сентября его Первую симфонию прекрасно исполнил Теодор Раду, добавив к программе «Спящую княжну». Гюстав Юберти отложил свой концерт до 16 сентября, как следует отрепетировал программу и добился со Второй симфонией, «Морем» и «Морской царевной» настоящего успеха. Амбициозный музыкант не мог позволить себе провал, ведь он в свои 42 года, будучи отцом трех очаровательных и очень музыкальных дочерей, все еще не имел солидного поста. (Только в декабре 1886 года он смог с гордостью сообщить Бородину, что преподает гармонию в Королевской консерватории Брюсселя.) Концерт на Антверпенской выставке был для него шансом подняться в музыкальном мире ступенькой выше. Так после трех неудачных и полуудачных исполнений на родине Вторая симфония была, можно сказать, реабилитирована. Бородин и Юберти подружились, Александр Порфирьевич прожил несколько дней в кругу семьи дирижера, произведя неотразимое впечатление на ее женскую часть.

К 16 сентября в Антверпен приехала графиня де Мерси-Аржанто. Она «сияла от восторга при виде торжества русской музыки, проводницею которой она была в Бельгии; это премилая, *способная прелесть*, во всех отношениях, и вообще женщина крайне замечательная по разносторонним достоинствам и талантам. Не будь ей уже под 50 лет, ей-ей, можно бы врезаться в нее по уши», — доложил Александр Порфирьевич жене. «Лысец и обольститель» был не по уши, но увлечен. Какая-то искра проскочила между ними в Аржанто, отчего они перешли на «ты» и часть их дальнейшей переписки стала конспиративной. Из Бельгии Бородин увез целый альбом видов замка, акварель работы графини, множество ее фортепианных

пъес и наиприятнейшие воспоминания. Вслед ему полетели стихи и еженедельно — не менее двух тешащих тщеславие писем. Однако новое знакомство отнюдь не занимало всех его мыслей. В Раменском томила Екатерина Сергеевна, страдая от бедности обстановки. Лена и Ганя воевали с новой горничной Настей, уволенной из больницы сиделкой, взятой на место недавно умершей Дуняши. Барыня-генеральша от их ссор дошла до нервических припадков. Тем временем в Петербурге вдовый слуга Николай женился на другой ее горничной — Грушеньке.

Обо всех домашних событиях Бородин узнал осенью, ибо Екатерина Сергеевна запуталась в беспорядочных маршрутах мужа, не знала, в какие города ему писать, и предпочла не писать вовсе. Куда больше знал он в Аржанто о владелице другого замка — *chateau de Babna*, или по-английски *Womenshold*. В деревне Бабня Тверской губернии обосновалась Анка Калинина, снова подписывавшаяся девичьей фамилией Лодыженская, его экс-пташка, его Суета (*Vanity, Vanité*), по выражению модного когда-то Эмиля де Жирардена: «Женщина, которую мы любим, — религия; женщина, которая любит нас, — суета». Следовало бы перевести — «тщеславие», но Анна Николаевна с Александром Порфирьевичем специально подобрали слово женского рода.

Теперь Суета храбро хозяйничала в имении, сеяла овес и лен, кормила коров, лично снимала сливки и ездила продавать масло. Ее любимица — самая крупная, упитанная корова — напоминала ей изображения египетской Исиды. Уже два или три года, как их с Бородиным переписка раздвоилась. В профессорскую квартиру шли написанные по-русски почерком гимназистки письма «многоуважаемому и добрейшему Александру Порфирьевичу» — до востребования летели нумерованные послания «моему дорогому сокровищу», «моей бесценной фортрессе» (крепости): по-русски, по-

французски с немецкими вкраплениями, а при сильнейших опасениях, что заглянет чужой, — по-английски. Суета теперь была больше чем «суетой» по Жирардену и сама поверила «в несколько холодную и рассудительную любовь» Александра Порфирьевича.

Едва придя в себя после холерины, Бородин отправил Суете стихи, из-за границы слал ей письмо за письмом. Ее поразило сравнение с блестящей графиней: «Я забыла, что по рождению и воспитанию я принадлежу хотя и не к самым густым, но все же к сливкам демократической русской *noblesse*^[42]. Я даже не вспомнила о той вычурной дворянской грамоте, которую на днях торжественно преподнес мне наш предводитель дворянства, заявив с важностью, что «понеже брак не есть преступление, он не лишает меня моего столбового дворянства»... Но, подумав, я пришла к следующему результату. Я, даже теперь, огрубев от жизни в Бабне, пожалуй могла бы подобно гр. Аржанто меценатствовать, принимать у себя разных звезд, *faire salon*^[43], словом:

«Погружаться в науки, в искусства,
Предаваться мечтам и страстям», —

как говорит Некрасов. Но едва ли она бы сумела, подобно мне, отречься от всех привычек к комфорту, забыть о всех благах цивилизованной жизни и, взявшись за черный труд, вымучивать всякую копейку на воспитание ребенка...» И все-таки в обществе деятельной графини Бородин вспоминал о своей Суете.

Увиделись они только в самом конце зимы. В сентябре, едва вернувшись в Петербург, Бородин взял на несколько дней отпуск, поехал в Москву и провел там больше недели, но ни с кем из знакомых не виделся. Нужно было вызволить супругу с дачи и водворить ее в

квартире доктора Успенского во Втором кадетском корпусе, что в Лефортове.

Дома он снова погрузился в бесконечные хлопоты, только теперь они словно отошли на второй план. Его новый приезд в Бельгию в декабре, вместе с Кюи, был уже делом решенным (хоть Екатерине Сергеевне муж и не говорил о том ни слова до самой зимы). Готовясь к нему, Бородин усиленно занимался с оркестром академии — тогда-то и состоялся увековеченный Скабичевским открытый концерт, явно задуманный как проба собственных сил. Трудную увертюру к «Руслану и Людмиле» удалось довести до блеска — по требованию публики ее бисировали. «А у меня в самом деле хорошие дирижерские способности», — похвастался Бородин жене. Конечно, не в этом сезоне, но кто знает, не начнется ли вскоре для него новая жизнь — жизнь профессионального композитора и дирижера, гастрوليрующего со своими произведениями?

Александр Порфирьевич с новой стороны оценил свое знание языков: «Решительно кроме меня и Кюи нет никого, кто мог бы с честью представить русский элемент нашего кружка за границу. Для музыкального дела нашего очень хорошо, что именно я первым появился за границу, потому что все-таки я самый европейский человек из них всех». И еще обязательно было нужно, чтобы Суэта хоть ненадолго приехала к нему в Петербург.

В ту осень всё у него ладилось. Дома — «богадельня» да благодать. Семья Дианиных, Лено и Ганя заняли всю квартиру, не оставив места временным постояльцам. С утра до вечера домочадцы были поглощены кто работой, кто учебой, кто заботами о подрастающем Бореньке. (Так писал Бородин жене, забывая упомянуть о неизменно коротавшей у него вечера учащейся молодежи.) Саничка и Лено крепко держали в руках хозяйство. Беккеровский рояль стоял

теперь в кабинете Александра Порфирьевича: «Не надо вскакивать и убирать работу, если кто придет». Правда, по-прежнему было очень тесно и существовала некоторая неопределенность положения: «У нас хозяев нет, а всё только жильцы одни: Дианины считают, что они живут у меня, а я считаю, что живу у них, ибо они все-таки, какая ни на есть, но всё семья, а я бобыль, соломенный вдовец». Но сейчас эта ситуация Бородин вполне устраивала. Он совсем ничего не сочинял, зато его Первая симфония и Первый квартет достигли Монако и Буффало.

По приглашению Русского музыкального общества в Петербург приехали Бюлов и Марсик. В прошлом сезоне Бюлов уже дирижировал двумя концертами РМО, исполнив среди прочего Третью симфонию и Второй фортепианный концерт обожаемого Брамса, а из русской музыки — Торжественный марш и Третью сюиту Чайковского. Теперь ему предстоял цикл из одиннадцати симфонических вечеров, включая один «экстренный». Дальнейшие события Бюлов и только что вышедший из Дирекции РМО Бородин изложили в письмах женам и знакомым. Каждый поверял бумаге правду, как она ему виделась.

24 ноября, Бюлов — Мари фон Бюлов:

«Азиатская «школа» хочет использовать меня как инструмент для своего возвышения. «Улитки». На нашем вчерашнем совете — великолепный Тенишев, милый Давыдов — присутствовал, к сожалению, незванный генерал фортификации...»

30 ноября, Бородин — Екатерине Сергеевне:

«Приглашен он Дирекцией музыкального общества для освежения концертов и т. д. И, о ужас! С первого же раза он назначил сюиту Кюи, Антара, мою симфонию и симфонию Глазунова — у Дирекции, разумеется, рожа вытянулась от изумленья! Мало того: — когда Дирекция ходатайствовала об исполнении пьесы одного из своих

протееже — Бюлов сказал: «Я его не знаю, пьесы его тоже, рассматривать мне некогда теперь, а я лучше всего спрошу об ней мнение Кюи (?!), которому я очень верю как критику!»

Возможно, источником информации для Бородина в данном случае послужил сам Цезарь Антонович. С Бюловым, который славился неуживчивым характером, Кюи схлестнулся при первой же встрече и сострил: «Вы небриты, но ваш язык всегда заменит вам бритву». Дирижер, в свою очередь, пожаловался жене на беспредельный эгоизм генерала-композитора. А на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» Константин Галлер плакался читателям на самоуправство немца, лишившего столичных меломанов удовольствия прослушать симфонию Михаила Иванова и две пьесы Александра Кузнецова, виолончелиста «Русского квартета»...

30 ноября, Бородин — Екатерине Сергеевне:

«Бюлов, по приезде в Питер, первым делом сообщил мне, что непременно желает сыграть одну из моих симфоний и спрашивал, которую я назначу ему. В виду того, что 2-ю недавно играл Дютш, я назначил первую. Она пойдет 21 декабря в 4-м симфоническом концерте».

Симфонию молодого Рихарда Штрауса, заменявшего его в Майнингенском придворном оркестре, дирижер раздумал представлять петербуржцам, музыку Брамса на сей раз — тоже.

7 декабря, Бюлов — Рихарду Штраусу:

«От Брамса я вынужден в настоящий момент отказаться: особую помеху составляет опасность от распространившихся азиатских Брукнеров... В Брамса, чтобы он понравился массе, нужно добавить английский рожок, арфу и много ударных — пусть уж он лучше остается невинным. Впрочем, здесь кишат недооцененные симфонические гении, и у каждого есть своя клика... Я действительно в тяжелом положении.

Отказы не приносят результата — г-да снова бомбардируют. Но, к счастью, по уставу РМО я должен в каждом концерте исполнять только один русский опус; буду теперь играть Глинку, Чайковского, Рубинштейна по несколько раз, чтобы избавиться от «меньших богов».

Бюлов перечислил тех русских композиторов, чьи имена Рихард Штраус не мог не знать, — а на деле включил в программы как их сочинения, так и музыку Новой русской школы. Глинка был представлен обеими испанскими увертюрами и вальсом из «Жизни за царя», Чайковский — Третьей сюитой, Первым фортепианным концертом и Концертной фантазией, Рубинштейн — Пятой симфонией, Третьим фортепианным концертом, увертюрой «Дмитрий Донской» и танцами из оперы «Фераморс». К прозвучавшим в концертах Бюлова сочинениям «меньших богов» (в сравнении, очевидно, с Рубинштейном) следует причислить вальс и тарантеллу из «Народных танцев» Направника, Увертюру на русские темы Балакирева, Первую симфонию Бородина, «Антар» Римского-Корсакова, Концертную сюиту для скрипки с оркестром и Торжественный марш Кюи, а также «Элегию памяти героя» и Серенаду Глазунова. Шестакова подарила Бюлову ноты никогда еще не исполнявшегося Патетического трио Глинки для фортепиано, кларнета и фагота. Великого князя Константина Николаевича дирижер успел обидеть, резко отказавшись прослушать его сочинения (при том что планировал новые гастроли в Петербурге и одно время даже подумывал о переезде).

7 декабря, Бородин — Екатерине Сергеевне:

«В субботу был 1-й концерт Музыкального Общества. Между прочим играли новую сюиту для скрипки соч. Кюи, посвященную Марсику. Принята пьеса была отлично; вызывали Марсика, вызывали Кюи. Когда последний появился на эстраде, то Бюлов вместе с публикой и оркестром ревностно хлопал Кюи».

А накануне был камерный концерт. Бюлов, Марсик и Давыдов играли трио Бетховена и Шуберта, скрипичную сонату Брамса (ор. 78) и сюиту Кюи.

7 декабря, Бородин — Екатерине Сергеевне:

«Вчера был концерт Марсика; играли Миньятюры Кюи... В этом же концерте, заметив меня во втором ряду, Бюлов, приступая к сонате Брамса со скрипкою, приказал капельдинеру передать мне ноты, чтобы я следил по партитуре, а сам стал играть наизусть... Видимо, это имеет характер демонстрации с его стороны».

7 декабря, Бюлов — Мари фон Бюлов:

«Вчера вечером я сыграл сонату Брамса и трио Бетховена без нот — и не «навалял».

11 декабря Бюлов посетил концерт университетского оркестра в зале Дворянского собрания. Дирижировал Дютш, Глазунов участвовал в качестве валторниста. Играли увертюру к «Руслану и Людмиле» Глинки, «Бабу-Ягу» Даргомыжского, три части из Первой симфонии Римского-Корсакова и «В Средней Азии» Бородина. Гость нашел любительское исполнение «неожиданно приличным», но от «частично немusыкальной музыки» у него разыгралась мигрень.

Был ли там Бородин? Наверняка. В тот самый день он жаловался супруге: «Бюлова просто совестно просить к себе. Марсика — водил обедать в ресторан; а он, голубчик, со мною как возился в Париже! Просто срам!» Кюи с его налаженным семейным бытом часто наслаждался обществом гостей (когда те не проводили вечер у Давыдова, в балете или на французской комедии). А Бородин, кажется, в первый раз по-настоящему пожалел, что в его доме «всё только жильцы одни», а хранить домашний очаг некому.

Бюлов тоже жаловался жене. Из-за расписания гостиницы «Европейская» приходилось вставать в семь утра. Самое же страшное заключалось в борьбе с

оркестром и администрацией РМО. Каких только эпитетов Бюлов не употреблял: отсутствие дисциплины, республиканство, анархия, забывчивость, распутство, подлое отношение к искусству и — «обломовщина»! Засим следовали восторги по поводу прекрасного, недостижимого в Майнингене звучания огромного оркестра, полных залов, триумфального успеха. И вновь жалобы: оркестровые партии симфонии Гайдна оказались нечитаемыми, пришлось со скандалом отменить репетицию и заменить произведение на уже игранную симфонию Бетховена.

13 декабря, Бюлов — Мари фон Бюлов:

«Дитя, здесь обнаружилось много теневых сторон, уйма маленьких интриг поднимается здесь вокруг меня; у меня глаза и уши начеку и сам я в броне. Лживые они все, русские, совсем как богемские немцы... Например, я должен дать выступить посредственной пианистке, поскольку она невестка домашнего врача Д...

Ближайший концерт не доставит мне никакого удовольствия. Симфония Бородина (фи!) — шопеновский фортепианный концерт ми минор с г. Чези, скучным итальянским игроком — две оркестровые пьесы Направника (дельного оперного капельмейстера, чеха, но правильно-безыдейного автора) — и наконец Первая (лучшая) симфония Шумана, которая в этом окружении все-таки меня привлекает».

Нет, недаром при первом знакомстве в Магдебурге Бородин аттестовал Бюлова как «довольно желчного и неприятного господина». Пикантность в том, что в Петербурге Бюлову приходилось вращаться главным образом среди... курляндских немцев, коих он и принимал за «лживых русских». Нелюбимый им Бенямино Чези как раз в 1885 году стал профессором Петербургской консерватории. Что касается Первой симфонии Бородина, Рихарду Штраусу Бюлов сказал о ней:

— Далеко не прекрасна, но остальное еще безобразнее.

С точки зрения Бородина репетиции шли со всей тщательностью, автор не мог нарадоваться и реагировал живо. Помещаясь между следившими по партитуре князем Тенишевым и Курбановым, Бородин сдерживал свои порывы. А вот на другой репетиции до ушей сидевшего рядом с ним гимназиста Саши Хессина периодически доносилось: «Молодчина... горячо... прекрасно... тонко...» В средней части скерцо, где из-за перемен тактового размера складываются пяти- и семидольные фразы, дело застопорилось. Бюлов знал, как преобладавшим в оркестре немцам сладить с пятидольным ритмом. Нужно повторять про себя:

— Ich will ein Glas Bier^[44].

Однако 5/4 — это полбеда:

— На сей раз в этой симфонии и пиво не поможет. Это чередование 7/4 и 5/4 надо бы почувствовать без пива^[45].

Без пива не выходило. Выбившись из сил, дирижер закричал автору по-французски:

— Послушайте, маэстро, ваша симфония такая трудная (*difficile*), что ее невозможно исполнить.

Бородин мог бы возразить, что Первую уже успешно исполняли такие-то и такие-то музыканты, но предпочел симпровизировать каламбур:

— Нет, маэстро, симфония не трудна, это вы, вы требовательны (*difficile*), и всё же для вас нет ничего трудного (*difficile*).

Польщенный дирижер объявил перерыв и провел его в дружеской — насколько позволял его характер — беседе с композитором. «Далеко не прекрасная» симфония прошла успешно, автор дважды выходил кланяться.

На другой день после концерта Бородин и Кюи выехали в Бельгию. Почти четверо суток поезда везли

двух генералов до Льежа и столько же обратно. Дорожные расходы оплатили некие петербургские издатели (а именно Бессель), потому путешествовали генералы роскошно — первым классом. Проведенные за границей три неделиместили множество приятных событий.

Первое утро в Льеже (6 января нового стиля) началось с появления графини. Целый день она — «сияющая, радостная, красивая» — опекала гостей, будто насадка цыплят. Сперва повела генералов завтракать устрицами и бекасами, которые те запивали превосходным вином. Затем в Королевском театре была репетиция оперы Кюи «Кавказский пленник», автор аккомпанировал на рояле. После обеда оба композитора присутствовали на репетиции в зале Общества поощрения. В витринах музыкальных магазинов красовались ноты русских композиторов. Неожиданно Бородин увидел свой романс «Чудный сад», в сентябре оставленный графине и вот уже изданный. Ночевал он в замке Аржанто. Дабы домочадцы осознали, в какой роскоши он обитает, Александр Порфирьевич вложил в письма листы местной «ватерклозетной бумаги».

Седьмого января он уехал в Брюссель и на другой день в девять утра уже был на репетиции «Народного концерта» в театре «Ла Моннэ». Играли «Сербскую фантазию» Римского-Корсакова, «Миниатюрную сюиту» Кюи и — Вторую симфонию Бородина. Главный дирижер и содиректор театра Жозеф Дюпон-младший оказался на высоте: «Исполнения такого для моей симфонии никогда и нигде не слыхал! Это огонь, увлечение, задор — всё, что хочешь!» После каждой части начинались овации, после репетиции Дюпон произнес эмоциональную речь. Удивительное дело, в Бельгии Бородину не давали советов на предмет «улучшения» его сочинений (как делал Балакирев), не вносили массы изменений в партитуру Второй симфонии (как сделал в

1879 году Римский-Корсаков), не заставляли любоваться на три четверти пустым залом (как случилось на концертах БМШ) и не оскорбляли в прессе. Но нет пророка в своем отечестве.

Счастливый автор вернулся в Льеж, где Кюи тоже не терял времени даром — дал обед графу и графине де Мерси-Аржанто. Вместе отправились на концерт Общества поощрения слушать под управлением Эжена Ютуа «Антар» и отрывки из «Псковитянки» Римского-Корсакова, сцены из «Анджело» и «Кавказского пленника» Кюи. Бородин второй раз за день внимал своей музыке — теперь это были «В Средней Азии» и каватина Владимира Игоревича — и второй раз кряду наслаждался громадным успехом: обе его пьесы повторили на бис. Долгий день нескончаемого триумфа завершился торжественным ужином у Альфреда Абета, председателя Общества. Александра Порфирьевича осаждали музицирующие поклонницы, пели его романсы и каватину Кончаковны. Он перезнакомился со всеми членами Общества поощрения и их женами, отчего очень мало времени смог уделить хозяину дома — а то был его будущий биограф. В сентябре они не виделись. Когда бельгийцы впервые познакомились со Второй симфонией Бородина, Абет путешествовал по Галиции и Венгрии, наслаждаясь, как он выразился, «симфонией Пушты, гор и национальных костюмов, в сопровождении оркестров чардаша и волынок».

Рано утром 9 января Бородин уехал из гостеприимного Аржанто в Льеж и оттуда в Брюссель. Там в зале Королевского общества «Великой Гармонии» шла публичная генеральная репетиция завтрашнего концерта. «Народный концерт» 10 января вошел в анналы театра «Ла Моннэ» — никогда еще симфоническая музыка не имела здесь такого успеха. Молодежь кричала: «Да здравствуют русские! Да здравствует Россия!» Дюпона завалили письмами с

просьбой повторить программу, что он и сделал 3 марта. Бородин был потрясен, насколько бельгийская пресса солидарна с мнением публики. Домой он привез толстую пачку восторженных рецензий.

Ради русского концерта в Брюсселе высадился десант парижан. Через неделю газета «Голуаз» разразилась филиппикой: почему в столице мира мало играют современную зарубежную музыку? Почему в Брюсселе уже слышали Вторую симфонию русского Бородина и Четвертую — австрийца Брамса, а в Париже этого лишены? Да потому что партитура Второй симфонии все еще не была издана. Шарль Ламуре давным-давно пытался заполучить единственный многострадальный рукописный экземпляр, но не преуспел. Эдуар Колонн сделал аналогичную попытку в феврале 1886 года — с тем же результатом.

11 и 12 января прошли в посещении оркестровых репетиций «Кавказского пленника» в Льеже. Всё свободное время Александр Порфирьевич блаженствовал в Аржанто. 13 января стал днем бельгийской премьеры «Пленника». Успех был колоссальный, Кюи поднесли золотую лиру. Оба генерала нашли солистов и оркестр очень достойными, хор слабым, балет — ниже всякой критики. «Национальные» костюмы позабавили оплошностями, особенно кучерское одеяние Пленника. Интересно было наблюдать за четой де Мерси-Аржанто: «Что это за горячая, душевная женщина! Что за умница! Что за талантливая! Нервная, впечатлительная донельзя, она волновалась за нас обоих, за Кюи и за меня, умилялась, огорчалась, сияла и пр. смотря по обстоятельствам. Граф, который прежде относился ко всем ее музыкальным предприятиям с недоверием, высокомерно и даже недружелюбно, — теперь — ввиду блестящих успехов переменился особенно: любезен донельзя, предупредителен, радушен и т. д.».

Сидя на премьере «Пленника», Бородин думал о будущей постановке в Бельгии «Князя Игоря». Только не в Льеже, а в главном театре страны — «Ла Моннэ», где содиректор Дюпон хотел обязательно исполнить его оперу. Все энциклопедии слово в слово сообщают о Дюпоне: после блестящего окончания Брюссельской консерватории, как скрипач и композитор, он был удостоен Римской премии, вследствие чего четыре года совершенствовался в Италии и Германии; в 1867-1870 годах был дирижером Итальянской оперы в Варшаве, в 1871 году — дирижером Императорских театров в Москве и в 1872 году вернулся на родину. Пребывание в России оказывается коротеньким и незаметным. Однако князь Одоевский 19 апреля 1868 года записал в дневнике: «M-lle Artot и Dupont рассматривали мое энгармоническое фортепьяно. Dupont говорил мне о книге весьма ученого музыканта Vivier, — и мы с нею проиграли почти половину Жизни за царя, которую она восхищается». Да-да, знаменитая певица Дезире Арто посетила Владимира Федоровича с хорошо известным ему капельмейстером Итальянской оперной труппы в Москве Жозефом Дюпоном. Экстравагантный князь демонстрировал гостям сконструированное им фортепиано, настроенное по четвертям тонов. Поддерживая научную беседу, Дюпон рассказал о недавно вышедшем в Брюсселе «Полном трактате о гармонии» Альбера Жозефа Вивье. А затем бельгиец прослушал почти половину оперы Глинки, и было это весной 1868 года. Значит, вопреки энциклопедиям Дюпон провел в Москве более трех лет и был знаком с сочинениями Глинки, Даргомыжского, Серова, чем и объясняется его глубокое понимание русской музыки.

Премьерой «Кавказского пленника» основная музыкальная программа завершилась. Цезарь Антонович сразу же уехал. Александр Порфирьевич остался еще на десять дней: 23 января Теодор Раду исполнил его

Вторую симфонию в Королевском театре, в большом концерте Льежской консерватории. В ожидании этого события Бородин уделил несколько дней науке: 15 января посетил под Льежем металлургические заводы фирмы «Джон Коккериль» (в 1896 году один из них был переведен в Таганрог). Но львиную долю времени композитор, конечно же, купался в обожании поклонников. Его буквально носили на руках, барышни просили автографы у Великого Бородина, главы Великой Русской школы — иначе здесь не говорили. Издатель Анри Дабен, напечатавший «Чудный сад», желал распространять его научные труды, поскольку в университетских кругах Льежа Бородина-химика хорошо знали.

Среди тех, кто тщетно надеялся заполучить в гости очаровательного, такого общительного композитора, был док-гор медицины, ботаник, антрополог и археолог Гюстав Жориссен. Активный участник Русского музыкального кружка в Аржанто, он напечатал собственное истолкование программы «Маленькой сюиты» и переводил на французский язык романсы Глазунова. Хор «Солнцу красному слава» он ставил рядом с финалом Девятой симфонии Бетховена: «Вы разделяете с Бетховеном ту славу, что Вы восполняете и просветляете мысли и стремления всех тех, кто до самых ушей вгрызся в плод познания добра и зла. Вы — трубы... нового Страшного суда, и, слушая Вас, содрогаются все частицы современной души». Но Жориссену выдалось мало времени для общения с новым Бетховеном: «К сожалению, Вы были слишком заняты и притом окружены прелестными особами, общества которых мне не хотелось Вас лишать».

Популярность Бородина дошла до того, что он сделался героем шарад, как сообщил ему тот же Жориссен: «Задуманное слово было *русофил*. Вы сразу догадаетесь, в чем дело. Для изображения целого мы

представили «Пленника» и ложу, где находились графиня, Кюи и Вы сами; не забыли и Жадуля, истинного русофила. Ну вот, роль Бородина играл мой тесть — очень красивый мужчина».

Подошел день концерта Льежской консерватории. После него Александр Порфирьевич... еще два дня прожил в Аржанто. Он как будто чувствовал, что торопиться не нужно. Оправдываясь перед покинутой в Москве женой, муж завершил письмо фразой: «Ведь чорт побери, 51 год^[46] стукнул мне, выпадет ли еще такой случай, Бог весть!»

25 января графине доставили «русский» рояль петербургской фабрики «Беккер», и Бородин в качестве «восприемника» сыграл хор «Солнцу красному слава». На другое утро он уехал. Рецензии, которые он увозил с собой, восторженностью много превосходили те, что некогда получил в России Вагнер. Правда, немецкий маэстро увез домой целый мешок денег. А Бородин, который не дирижировал и не занимался организацией концертов? «Вот будь я например живописец — другое дело! Маковского (Конст.) «Свадьба» имела в Антверпене успех и моя симфония тоже — даже последняя еще больший по существу, — но за картину дали 15 тысяч, а за симфонию — ничего! — Вот она, музыка-то!»

Эхо его бельгийских каникул долго не затихало. В марте Дюпон повторил в Брюсселе Вторую симфонию: за полгода она прозвучала в маленькой Бельгии четырехкратно! Тогда же в Льеже повторили «В Средней Азии». В марте Леопольд Ауэр не раз исполнял Первый квартет Бородина во время гастролей по Бельгии и Германии. В кружке графини тоже играли Первый квартет, пели арии и хоры из «Игоря». 16 января 1887 года Дюпон целиком посвятил второй из «Народных концертов» русской музыке, поставив в программу каватину Владимира Игоревича, «В Средней Азии»,

отрывки из «Анджело», симфонические вещи Римского-Корсакова и Глазунова. Сведения об этих событиях и даже отрывки из рецензий теперь достигали России благодаря новой еженедельной газете Бесселя «Музыкальное обозрение». Рубрика «Русская музыка за границей» стала в ней практически постоянной.

Тоненькой ниточкой, которая до последнего дня связывала Бородин с гостеприимной страной, была его переписка с «крестницей» — юной Жюльеттой Фольвиль, постигавшей тогда под руководством Теодора Раду премудрости контрапункта. В 1882 году двенадцатилетняя скрипачка дебютировала на сцене под покровительством графини де Мерси-Аржанто, в 1885-м она уже сочиняла симфоническую музыку и переложила для фортепиано «В Средней Азии». 22 августа графиня познакомила девушку с Бородиным. «Крестным» он сделался, когда вместе с графиней рекомендовал Жюльетту в члены Общества авторов, композиторов и музыкальных издателей. В Петербург он взял с собой ноты ее «Весенних песен». Следующим летом девушка прислала ему на просмотр свою оркестровую сюиту «Сельские сцены» — он ответил разбором на десяти (!) страницах, как будто вспомнилась ему старая идея Стасова «поставить на Юги женщину-композитора». Письмо опубликовано только частично, но что-то подсказывает: разбор был скорее в духе Листа, чем в духе Балакирева. Конечно, собственного стиля у юной музыкантши еще не было, но какая сноровка, какое чувство жанра у его «крестницы», у этого «маленького чудовища»! Под заботливой опекой родителей Жюльетта уверенно выстраивала карьеру. Бородин получал газетные вырезки о ее выступлениях в качестве пианистки и композитора. Она посвящала ему свои сочинения и подумывала о гастролях в Петербурге. Одно из последних писем, которое Бородин написал в своей жизни, было адресовано Жюльетте.

Глава 30

«ПЕНСИИ НЕ ХВАТИТ НА ВСЕХ И ВСЯ, А МУЗЫКОЙ ХЛЕБА НЕ ДОБУДЕШЬ...»

Пока Бородин в приподнятом настроении ходил на ре-11етиции Бюлова и предвкушал вторую бельгийскую поездку, Екатерина Сергеевна воспрянула духом и начала новую жизнь. В Лефортове ей некогда было скучать. Доктор Успенский играл на скрипке — она ему аккомпанировала и на правах более сведущей в музыке давала немало полезных советов. Появился стимул восстанавливать форму с помощью взятого напрокат фортепиано: «Я играю на все 11 р. в месяц и чувствую, как руки развертываются». Поблизости жил еще один скрипач, Яша Орловский, чьих маленьких дочек Екатерина Сергеевна взялась обучать «французской болтовне». В Голицынской больнице изредка случались танцевальные вечера — во Втором кадетском корпусе музыкальная жизнь, можно сказать, была ключом. Теперь Екатерине Сергеевне было чем ответить на сообщения о триумфах «загулявшего» по заграницам мужа: «На днях у нас был музыкальный вечер. Я играла твоё *Scherzo*, и мои француженки, тотчас по окончании его, при всех взяли каждая по руке и поцеловали их не раз. Никак не ожидала такого пассажа! За ужином, очень веселым и шумным, до трех раз пили мое здоровье: за женщину — хорошего человека, за артистку, и за нуждающуюся преимущественно в здоровье. При этом и мужчины и барыни (обе француженки) целовали мои руки».

Сестры-француженки были соседками Екатерины Сергеевны и быстро стали ее подругами. Маргарита-

Юдифь была замужем за воспитателем Второго кадетского корпуса штабс-капитаном Владимиром Александровичем Ракинтom. Заботы о двух маленьких дочках не мешали ей всерьез заниматься музыкой. Она была прекрасной пианисткой, легко читала с листа. Под влиянием Екатерины Сергеевны увлеклась русской школой, прослушала в Большом театре «Жизнь за царя», «Руслана и Людмилу» — «и чуть с ума не сошла».

Талант Юдифи не остался незамеченным в семье директора корпуса Федора Константиновича Альбедия, ведь его дочь Анна тоже была пианисткой, ученицей Танеева. Анна Федоровна давно заметила необычайно одаренного кадета Александра Скрябина и способствовала его выступлениям на корпусных концертах. В домашних же концертах 24-летняя дочь директора любила играть в четыре руки с Юдифью Ракинт. В таком соседстве генеральша Бородина отнюдь не тушевалась и не думала уступать молодым пианисткам первенство в артистическом соревновании: «Твое *Scherzo* так трудно, что Альбедиль и Юдифь сказали, что им его ни *в жисть* не сыграть. А я его играю и иногда недурно».

25-летняя младшая сестра, незамужняя Дельфина Маэн, была скрипачкой и певицей. Мечталось ей петь в театре, хотя бы в хоре, но она еще не овладела русским языком, да и Юдифь не упускала случая сделать сестре внушение о нецеломудренном образе жизни хористок. Приходилось зимой с утра до вечера бегать по урокам, а летом ради тех же 40 рублей в месяц отбывать в деревню в качестве гувернантки какого-нибудь семейства. Нельзя сказать, чтобы такая жизнь ей нравилась, и она пыталась устроиться в Музыкально-драматическое училище. Екатерина Сергеевна обучала Дельфину русскому языку.

Таково было ближайшее, повседневное музыкальное окружение супруги Бородина в Лефортове. Но ее

общение было гораздо шире. Заглядывал критик Кругликов. Танеев по просьбе Бородина снабжал Екатерину Сергеевну и ее новых подруг билетами на концерты РМО и даже на шедшие в ту зиму с необыкновенным ажиотажем Исторические концерты Антона Рубинштейна. В Большом театре она слушала «Снегурочку» Римского-Корсакова и «Сен-Мара» Гуно, а вот на спектакли легкого жанра принципиально не ездила — сэкономила деньги. Совестно было тратить на себя так много, когда старуха-мать и племянники-подростки нуждались в помощи.

В чем Екатерина Сергеевна могла себе не отказывать, так это в нотах, которые теперь стали нужны повсечасно. Юргенсон по просьбе Чайковского снабжал ее всеми московскими новинками, муж снабжал петербургскими, а когда забывал... О, как укоряла она его за то, что не сообщил, что Бессель в «Музыкальном обозрении» печатает пьесы из «Маленькой сюиты»: «For shame, дорогой мой, право! Ведь кому сказать так стыдно, и перед Кругликовым стыдно, точно я тут лишняя, или не при мне писано, как говорится...» Да и сама газета никуда не годится! В плотном московском окружении Екатерина Сергеевна если и не встала в оппозицию «Могучей кучке», то проявила склонность покритиковать партию своего мужа: «Ну, а ваше Музыкальное Обозрение сделало на меня предурное впечатление: журнал этот *может* и *должен* оттолкнуть от вас, клики Кюи, всё, что располагало примкнуть к вам, как даровитым людям, выносимым общим течением наверх, вопреки преднамеренному молчанию о вас в отечественной прессе. Без помощи расплывчатых хвалебных рецензий вас больше и больше искали, понимали, играли. В том, что о вас не кричали, а все-таки вы выдвигались *quand tête*^[47] — сказывалась сила — а эти гимны друг другу смешны и досадны... Читала я на днях в Русском Вестнике статью Лароша: о новой

опере молодой русской школы, т. е. о Снегурочке. Статья в высшей степени остроумная, и просто умная. В ней говорится много дельного, поучительного, есть и яд, но в какой изящной форме!.. Достань Русский Вестник Октябрь и прочти там статью Лароша. Ты ее прочтешь с наслаждением. Между прочим он говорит, что девизом молодой русской школы можно было бы взять: *причуда и вычура*».

Инцидент с «Маленькой сюитой» уладился миром, Екатерина Сергеевна получила экземпляр нот с дарственной надписью: «Милой, дорогой Кате моей от меня». А вот касательно рецензий муж с ней решительно не согласился! Вряд ли статья о «Снегурочке» — в высшей степени «партийная», высокомерная, в которой предмет рассмотрения теряется за раздутым «я» критика, — могла доставить ему хоть каплю наслаждения. И ядовитыми рецензиями, и разговорами о «клике Кюи» Бородин был сыт по горло, с тех пор когда Ларош 18 января 1874 года напечатал издевательский отзыв о его романсах, резюмировав: «Наряду с болезненными и уродливыми причудами, которыми усыпаны его сочинения, у него иногда мелькают красивые, полнозвучные и даже богатые гармонии; очень может быть, что тенденция, влекущая его от прекрасного к безобразному, противоречит его врожденному инстинкту и составляет не более как плод пресыщения, соединенного с недостаточным художественным образованием». Посему Александр Порфирьевич немедленно парировал выпад жены: «Если хочешь знать правду о музыкальных делах, то у нас в России найдешь ее только в Музыкальном Обозрении. Остальные органы или умалчивают, или бессовестно врут и врут притом сознательно, из подлости». В письмах из Бельгии Бородин не уставал подчеркивать: тамошние хвалебные рецензии в разы хвалебнее тех, что помещает газета Бесселя. Привезенные им с собой

вырезки предназначались главным образом для увещевания супруги. При переезде ее на другую квартиру они сгинули. Зато сохранились рецензии Кюи в «Санкт-Петербургских ведомостях» 1860-хи 1870-х годов — не менее хвалебные, чем его новые рецензии в «Музыкальном обозрении». Странно, что супруга Бородина о них запомнила.

Итак, письма Екатерины Сергеевны стали на удивление бодры. Здесь, в Москве, она жила среди всеобщего внимания — всем нужна, всем полезна. Она была рада, что «загулявший», «закутившийся» муж счастлив, и не сетовала, что навестивший ее перед самым Новым годом Дианин пробыл недолго: «Павлыч едет домой 31-го в 9 часов утра. Мне совестно удерживать его: там без него так скучают». В Петербурге-то скучали, а сам Павлыч в Москве отнюдь не скучал: «Мои француженки у нас беспрестанно, и порядком вскружили ему голову, т. е. замотали его. В Рождество мы с ним у них обедали. Оне ждут тебя как *Мессию*, это их выражение. Обе оне очень талантливые. Юдифь поразила Павлыча, разыгравши в 1-й раз некоторые номера из твоей фортепианной сюиты так толково, как будто давно поняла смысл их». Подмеченное Екатериной Сергеевной имело далеко идущие последствия...

Со здоровьем между тем было неладно: развивалась водянка, к маю принявшая угрожающие размеры. Но приехавший в феврале на Масленицу Александр Порфирьевич тогда не обратил на это внимания. Несколько дней пролетели в болтовне и музицировании с новыми знакомыми — премилыми француженками. Вновь Екатерина Сергеевна поделилась с мужем далеко идущими наблюдениями: «Юдифь находит, что тебе Дельфина больше нравится». Он, конечно, отшутился.

Та часть Масленой недели, которую Бородин провел не в Москве, тоже прошла весело и ознаменовалась

костюмированным балом, устроенным заодно с Доброславиным и Сушинским. В конце февраля наконец-то удалось вытащить в Петербург Анку Калининую — раньше никак не выходило из-за его отъездов и ее забот о хозяйстве в Баб-не и о четырнадцатилетием Коле, помещенном в Москве в частную гимназию Франца Ивановича Креймана. Александр Порфирьевич утешал: долг прежде всего. Суэта очень боялась, как бы не прознали о ее романе сестры и братья. Она собиралась прибыть в столицу на манер подпольщицы — в синих очках, с повязанной щекой — и остановиться в гостинице под именем Софии фон Шульц. Еле-еле он ее отговорил. Наконец наступило долгожданное *andante amoroso* — не такое страстное, как почти 20 лет назад, но радостное и спокойное. Бабье лето, — резюмировала Суэта. А вдруг это начало охлаждения? «Боже мой, да я не хочу этого, я хочу любить тебя, хочу, потому что это одно есть жизнь и счастье, а остальное серо и бесцветно. Может быть я уже так устала страдать и томиться, и все по вас, неблагодарный человек, что не способна любить... Нет, все это вздор! Люблю, люблю как в 22 года, только не хочу больше мучиться. Ведь так лучше, милый мой, лучше? Лучше ли?.. Только не обманывай; разлюбишь, полюбишь другую — не жалея, не береги, скажи прямо. Это было бы ужасно, оскорбительно, если бы ты из жалости ко мне стал ломать себя». Как он умел «ломать себя» — прятаться, выдумывать оправдания, — она прекрасно знала.

Наступала весна. Только-только Александр Порфирьевич написал жене знаменитые, но не вполне искренние слова: «Пенсии не хватит на всех и вся, а музыкой хлеба не добудешь», как объявился Беляев с предложением трех тысяч за «Князя Игора». Вновь поманила надежда сделаться наконец композитором по профессии. На Женских врачебных курсах доучивались последние студентки (каким-то чудом Николай

Александрович Ярошенко сумел еще в это время завершить свою серию изображений учащих девушек, запечатлев анатома Грубера среди курсисток). Петербургские газеты судачили об упадке преподавания химии в Военно-медицинской академии, а Бородин думал... о чем он только не думал. Об отчетах, комиссиях и диссертациях. Об интересных концертах, часть которых приходилось скрепя сердце пропускать из-за занятости в академии. О заседаниях Окружного суда, куда его вызвали в качестве присяжного заседателя. О наладившихся домашних музыкальных вечерах с участием старых друзей-музыкусов и новых друзей-дилетантов из Кружка любителей. О посещении Танеева, приехавшего играть Концертную фантазию для фортепиано с оркестром Чайковского. О том, что давно обещал разослать свои фотографии бельгийским друзьям, включая жен всех членов льежского «Общества поощрения», а художнице и граверу Ольге Акимовне Кочетовой обещал для некоего иллюстрированного издания автобиографию. Следовало написать ее самому, чтобы не вышло, как в составленном Львом Федоровичем Змеевым первом выпуске словаря «Русские врачи-писатели». Библиотекарь Московского общества русских врачей Змеев, полагаясь на сугубо официальные документы, указал годом рождения Бородина 1833-й, объявил профессора сыном петербургского купца, но не мог не отметить, что его герой — «известный музыкальный композитор». Изучив все опубликованные биографии героя, Лев Федорович извлек из них самое, на его взгляд, веское и почетное свидетельство композиторской известности Бородина: «Его музыкальные сочинения изданы Санкт-Петербургской певческой капеллой»...

Дианины и Доброславины катались на коньках на катке Фельдшерской школы. Маленький Боря Дианин уже чистенько пел и ужасно полюбил играть «в 4 руки»

то с отцом, то с «папой Кокинским» (то бишь с Александром Порфирьевичем). Предметом его обожания сделалась басовая педаль пьесы «В монастыре» из «Маленькой сюиты» — «колокола папы Кокинского». Кюи хвалил ребенка за абсолютный слух. С Ганей Бородин распевал дуэт Владимира Игоревича и Кончаковны, с профессорами консерватории беседовал о ее успехах. На своем первом академическом концерте Ганя исполнила арию из «Русалки» Даргомыжского. Она неважно себя чувствовала и ужасно волновалась — тем более что в пяти шагах перед ней сидел великий князь Константин Николаевич и в упор разглядывал выступавших. Но поскольку рядом с князем сидели Давыдов и специально пришедший поддержать девочку Александр Порфирьевич, было не так страшно. Вскоре Бородин выхлопотал для Ганюшки стипендию Даргомыжского, некогда учрежденную Петербургским собранием художников на остатки от средств, собранных на постановку «Каменного гостя».

Само собой, на Пасху нужно было вырваться к Екатерине Сергеевне. У нее теперь всегда было много интересных новостей для мужа. Она посещала все достойные внимания концерты, следила за газетами, разузнала, что в Киеве 27 марта вместо назначенной симфонии Чайковского сыграли Первую симфонию Александра Порфирьевича. Молодой гипнотизер Осип Ильич Фельдман производил фурор в Первопрестольной. Слепые прозревали, страдавшие от галлюцинаций забывали о недуге; Лев Толстой взялся за комедию «Плоды просвещения». Екатерина Сергеевна мечтала, чтобы Фельдман внушил ей не страдать одышкой. А весна вступала в свои права, и ее поэтическая натура, за долгие годы совместной жизни впитавшая специфический юмор мужа, откликалась на перемены в природе:

«У нас — известно всем, здесь, в Красных Казармах, величайший московский клоак, куда свозят сотню лет отовсюду нечистоты. Это в поле. С другой стороны — Яуза, куда отведены все водосточные трубы, вонь и зараза кругом! Все ездят закрывши нос. Здание наше старое, промозглое, насквозь инфицированное, в квартире — ни одной тяги, у самого хозяина — все форточки забиты гвоздями, заклеены бумагой. Сортиры далеко посылают свое злоухание — и все-таки это благодать против Питера!!! В Питере весна — гибель мне, а здесь, даже грязная, вонючая весна как-то особенно весело шевелит нервы... А впереди, по словам старожил здешних, ожидает нас наводнение, и мы будем разобщены с остальным миром. В прошлом году у нас под окнами *утонула баба*! Вода разливается с полей и недели на 2 покрывает окрестность. Из 4-го во 2-й корпус ездят на извозчиках, и то лошадь по колено в воде — а погулять негде и думать! А солнышко так живоительно смотрит в окно!»

«Дня три мы среди целого озера воды. Это были целые потоки, которые несли, крутили, выворачивали все, что находилось у них на пути. Весело было смотреть на это преддверие весны. Теперь все стекло, высохло и начало зеленеть по пригоркам».

«Что это, сон или явь, спрашиваю я себя часто: вот уже более недели стоят жары, да заправские — днем до 25°, вечером 14-12 тепла. Тополи лопнули от удовольствия, и из раскрытых почек льется аромат, да такой, что и сортирная вонь преклонилась перед ним до земли, и только с закатом солнца приподнимается и шлет свой протест. Не тут-то было! Тополи втрое сильнее напрягают свои благовонные силы. Только в первую пору молодости и надежды возможна такая самоуверенность и такой размах — а они теперь молоды, сильны, так сочны еще недавно покрытые снегом и охваченные морозом их тонкие ветки».

«Березы ждут», по чудесному выражению Фета, но в чаще леса едва заметна какая-то бледная зелень... Птицы так и трещат, поднимают такую невообразимую суетню: весело смотреть на них! Оне такие счастливые, довольные. Великопостные колокола протяжно и тоже по-весеннему гудят: они знают, что скоро праздник, которого нет веселей, и они будут весело и бойко звонить и всем говорить о радости. А люди-то как рады теплу и празднику! И они, вроде птиц, суетятся, хлопчут, покупают, готовят радость другим. Да, вот это весна, о которой я уже и забыла в Питере и которую знала только в молодости».

К концу марта закончились лекции и начались первые экзамены. 5 апреля конференция академии благополучно переизбрала Бородина, давно состоявшего в звании академика и без пяти минут тайного советника, на должность профессора химии еще на пять лет. Прослужил он уже тридцать: «30 лет службы! Ведь это чорт знает что такое! — Теперь мне надобно будет облечься во фрак и белый галстук, надеть звезду и объехать с визитом всех моих товарищей и поблагодарить за выбор на 2-е пятилетие». Второе пятилетие по уставу академии было последним возможным сверх установленных двадцати пяти лет выслуги. В 1891 году 58-летнему Бородину предстояло отправиться на пенсию и целиком посвятить себя творчеству. Почему он, вроде бы желая досуга для музыки, так упорно оттягивал этот момент, почему писал Екатерине Сергеевне, будто «пенсии не хватит на всех и вся»? Профессора, прослужившие 25 лет, получали пенсию в размере жалованья. Истинными причинами стремиться служить как можно дольше могли быть неуверенность, что преемником будет избран именно Дианин, нежелание оставлять свои два хора и оркестр, в корне менять образ жизни, переехав со служебной квартиры... куда? К Екатерине Сергеевне в

Москву, лишаясь большинства друзей и вечно окружавшей его молодежи, или?.. В любом случае пришлось бы покончить с неопределенно-полусвободным состоянием соломенного вдовца — при Дианиных жильца и дать ответ на вопрос, по другому поводу заданный Лено: где он и с кем?

После успешного переизбрания Александр Порфирьевич выступил оппонентом на защите очередной диссертации и к середине апреля прибыл в весеннюю Москву. Нынче не нужно было терзаться выбором дачи, следовало лишь съездить в Раменское, снять на лето одобренный Екатериной Сергеевной дом, закупить мебель и посуду. Все это Александр Порфирьевич и проделал. Свободное время он проводил в Лефортове. Приходил Кругликов — начинались беседы о музыке, приходил Орловский — начиналась сама музыка. По настоянию жены Бородин тряхнул стариной и взялся за виолончель. Втроем играли трио Мендельсона и еще трио Рейсигера, чья скромная особа увековечена в одной из статей Вагнера: «Мой покойный коллега по дрезденскому оркестру Готлиб Рейсигер — композитор, плетущийся в хвосте Вебера, — однажды горько жаловался мне, что совсем та же мелодия, которая в «Капулетти и Монтекки» Беллини всегда захватывает публику, в его «Адели де Фуа» не производит совершенно никакого действия». Две француженки по-прежнему не оставляли надолго свою старшую подругу.

Пробыв у жены чуть больше недели, Бородин вернулся в Петербург — и тут же был вызван телеграммой обратно. Тяжело занемогла теща. Не ждала она действенной помощи ни от дочери, ни от сыновей — только зять мог ее спасти. Александр Порфирьевич действительно помог, да еще успел уладить в Москве какие-то дела академии. К середине мая Екатерина Алексеевна пошла на поправку, он

вернулся в Петербург принимать экзамены, а для помощи жене и теще прислал Ганю. Екатерина Сергеевна блаженствовала в Лефортово. Успенский уехал за границу, она одна хозяйничала в холостяцкой квартире и за первую половину мая совершенно ее преобразила: обновила мебель, привела в порядок все обивки и драпировки. Пора было перебираться в Раменское и ждать приезда на лето Александра Порфирьевича. Он обещал долго в Петербурге не задерживаться: не терпелось завершить проданного «на корню» «Игоря», хотелось отдохнуть после служебных хлопот, да и с Суевой уже условился о встрече в Москве...

Как водится, Екатерина Сергеевна все откладывала переезд на дачу. Ее супруг не видел в этом ничего необычного, да и к долгому отсутствию писем из Москвы было не привыкать. В последних числах мая Дианины всей семьей двинулись во Владимир и по дороге навестили Рыбушу. Они нашли ее в таком состоянии, что Павлыч посадил Лизу с Борей и нянькой Аришей на поезд, а сам остался. Приглашенный им врач военного госпиталя в Лефортово Илья Алексеевич Заборовский нашел общую водянку, отек левого легкого, отек мозговых оболочек, гипертрофию сердца и поручил больную заботам своего ассистента Павла Федоровича Петермана — по совпадению одному из любимых учеников Бородин. В дополнение к горничной Насте Дианин нанял сиделку и еще одну служанку. И все равно первые четверо суток он совсем не спал и неотлучно был при Екатерине Сергеевне. 2 июня Павлыч, уже сам еле живой, написал обо всем Бородину и заключил: «Голубчик Александр Порфирьевич, звать, я думаю, Вас не нужно. Будьте уверены в одном, что если что-нибудь и случится, то отнюдь не от недостатка внимания, заботы и ухода со стороны окружающих». Тот приехал 4 июня и застал жену при смерти. Она была очень

спокойна и радовалась, что умрет на его руках. Ракинты отложили отъезд на дачу в Коломну, дождались Александра Порфирьевича и предложили ему перенести больную в их квартиру, более сухую и светлую. 5 июня Екатерина Сергеевна исповедалась и причастилась, на другой день началась агония — так думали все бывшие рядом медики. Но на утро 8 июня она очнулась и сама сказала о себе: новорожденная. Еще на один год она вернулась к жизни.

Началось более размеренное существование. Бородин и Дианин с помощью сиделки выхаживали больную. По ночам они дежурили по очереди, так что раз в двое суток каждый мог выспаться. Ждали, когда Екатерина Сергеевна окрепнет настолько, чтобы можно было везти ее в Раменское. Александр Порфирьевич ободрился духом, велел Лене скорее делать в петербургской квартире уборку и ехать к нему со всеми необходимыми вещами, включая, «пожалуй, моего Игоря, которого береги, как самого *Роднушу*».

С началом лета полетели письма с музыкальными новостями от Риделя, Мерси-Аржанто, Жориссена, юной Жюльетты. Графиня умоляла хоть чуточку сочинять, несмотря ни на что, и очень ждала в гости — хоть на несколько дней. В ответ он лишь сообщал о своих домашних обстоятельствах, других новостей не было. Из Будапешта пришло приглашение на 11-й фестиваль Венгерского национального хорового союза. Основанный в 1867 году, едва Австрия превратилась в Австро-Венгрию, Союз раз в два года проводил серию концертов огромного сводного хора с участием оркестра. По-видимому, в 1886 году в Будапеште собирались петь хоры из «Князя Игоря». Это приглашение оказалось последним приветом от Листа, который до последних дней продолжал всюду пропагандировать русскую музыку. 31 июля (нового стиля) Лист скончался в Байройте.

Супруги перебрались в Раменское, где ждало старое доброе фортепиано Штюрцваге, но Александр Порфирьевич еще долго был не в состоянии взяться за столь желанную работу над «Князем Игорем». Трижды в день он купался в Борисоглебском озере и всё не мог смыть нравственной усталости, чтобы тоже сказать о себе, в духовном, а не в телесном смысле: новорожденный.

С Суетой они в июне разминулись. Когда дела позволили ей приехать в Москву, он еще не мог отойти от Екатерины Сергеевны. Памятником невстречи остались ее стихи, написанные по-французски, но звучащие совсем по-тютчевски. О его идее погостить в Бабне тоже пришлось забыть, *château de Babna* достигали лишь письма, фотографии и разнообразные гостинцы. Коле Калинину мать по всякому поводу ставила Александра Порфирьевича в пример. Будущий военный врач прекрасно к нему относился, но матери всегда отвечал резонно: «Это надо быть им, чтобы действовать так». А еще Суета немного ревновала Александра Порфирьевича к Парижанке — не к обеим, к одной.

Дельфины во время июньских перипетий не было в Лефортове, она еще 18 мая уехала гувернанткой в усадьбу Образцово. Дом напомнил ей швейцарское шале, усадебный парк был больше похож на лес, «ривьера» Клязьмы и усыпанный цветами луг понравились с первого взгляда. Семьи Кисель-Загорянских и Ляпиных поручили ее заботам восьми прелестных детей, каждому из которых нужно было каждодневно давать урок фортепиано. Дети мгновенно привязались к гувернантке, родители в ней души не чаяли, называли ее своей птичкой-жаворонком. Кисель-Загорянскому-старшему Дельфина аккомпанировала на фортепиано, когда он играл на флейте. Но как много все они едят! Четыре раза в день!!! Нет-нет, столько есть

она не может, зато вина пьет вдоволь, потому что старший из детей, пятнадцатилетний мальчик, считает своим долгом за ней ухаживать и за обедом все время ей подливает. Дельфина забавлялась, поддразнивала его, прозвала Львенком. Это был Николай Николаевич Кисель-Загорянский, будущий рязанский губернатор, умерший в Стамбуле в 1950-е годы.

Бородин получал из Образцова забавные письма, украшенные неумелыми рисунками и подписанные Дельфиной, Фифиной, Дюймовочкой. Болтовня девушки очень кстати развлекала его, изо дня в день занятого уходом за больной и приготовлением лекарств. То в Фифину влюблялся доктор, приходивший осмотреть ее вывихнутую ногу. То она порывалась обсудить с «дорогим другом» прочитанные романы: «Нана» Золя, «Человек, который смеется» Гюго, «Парижские тайны» Эжена Сю. То хотелось ей музыкально просветить своих хозяев, знакомя их с романсами Бородина, но хозяева русских романсов не желали, а просили парижанку спеть им из «Герцогини Герольштейнской» Оффенбаха. Голос Дюймовочки очень хвалили — скрипку пришлось спрятать подальше, мадам Загорянская находила ее звуки ушераздирающими. А в дождливые дни девушка стала вышивать накидку на кресло, в котором ее «дорогой друг» сидит, когда сочиняет музыку. Конечно, о таких сюрпризах не сообщают заранее, но она, Дельфина, как он знает, — натура исключительно оригинальная. Увы, оригинальная натура не подозревала: ее «дорогой друг» не сочиняет в кресле за столом, он сперва играет на рояле, а потом пишет за конторкой.

Весь июль Екатерина Сергеевна была очень слаба и не вставала с постели. Бородин оставлял ее, только чтобы дойти до озера. В августе ей стало лучше, она начала немного ходить с палочкой. О курении, к счастью, речь больше не заходила. 16 августа Бородин

съездил ненадолго в Москву, навестил тещу. Рядом с Голицынской больницей, в доме княгини Шаховской на Большой Калужской улице (ныне Ленинский проспект) он снял для жены квартиру. 18 августа вернулась из Образцова Дельфина, и они тайно встретились в княжеском парке в Раменском. После этого свидания Александр Порфирьевич из «дорогого друга» превратился в «моего кота», «цыпленочка», «моего большого волка» и даже в «большого крыса», а Дельфина стала «маленькой сумасбродкой». У «сумасбродки» всё было продумано и разложено по полочкам, на всё имелось свое мнение. Мадам Дианина? Свежа, как роза. Лена? Страшна, как семь смертных грехов, непонятно, как это «дорогой друг» с его-то хорошим вкусом может постоянно терпеть ее рядом с собой. Ганя? Мила, но диковата. Ученые? О, она просто обожает ученых и ни за что не выйдет замуж за невежду.

Последний роман Бородина разительно отличался от всех предыдущих. Еще никто из увлекавшихся им девушек не имел столь серьезных намерений. Дельфина, жившая при замужней сестре и с утра до вечера бегавшая по урокам, страстно желала устроить свою судьбу. Целую зиму она ежедневно наблюдала Екатерину Сергеевну и могла не сомневаться: скоро ее мужу понадобится новая жена. На исходе зимы она впервые лицезрела этого мужа, стареющего генерала, столь милого и легкого в общении, столь галантного с дамами, а что до разницы почти в тридцать лет... Юдифь вот вышла за ровесника и не может позволить себе даже съездить на лето в родной Париж. И потом, ее дорогой *Sacha* пишет такую прекрасную музыку! Она плачет всякий раз, когда слышит отрывки из «Игоря».

Начиная с Джанины Чентони влюбленные в Бородина девушки считались его «дочками» и старательно разыгрывали эту роль, выводя «официальные», то есть

адресованные на квартиру профессора, письма полудетским почерком и в соответствующем стиле. Случалось, не знакомые друг с другом героини его романов по переписке изображали на бумаге слово в слово одно и то же. В тайных же посланиях роли распределялись ровно наоборот: там фигурировали «дитёнок» и «нянюшки». Только благодаря Дельфине Александр Порфирьевич на 53-м году из «дитёнка» превратился в «папочку». Она так мечтала о надежном защитнике! На эту роль Бородин прекрасно подходил, только совсем не умел писать любовные письма, по крайней мере по-французски.

Зачитываясь Золя и Мопассаном, Дельфина перестала бояться огласки. Другие просили Александра Порфирьевича писать на адреса третьих лиц, жечь или рвать их письма (которые он по рассеянности или из тщеславия хранил) — Фифина была не из таких. Что за беда, если мадам Бородина узнает о любви француженки к ее мужу. От кого-то из них двоих она знала, что их отношения давно стали дружескими, — так неужели *Sacha* должен жить совсем без любви? Мадам должна бы радоваться, что он не ходит по публичным домам, а завел любовницу. Словом, всё у Дельфины складывалось логично... только она совсем не знала Александра Порфирьевича. С 1860-х годов в моде были разводы, гражданские браки, взаимные «уступки» жен и мужей, но Бородин никогда модой не прельщался. Оскорбить Екатерину Сергеевну официальной связью было для него немыслимо, этого не позволяли ему деликатность и всегдашнее стремление избегать открытых конфликтов, в любых ситуациях хранить *status quo*. Суэта, подолгу не получая от него писем, зря тревожилась, будто Бородин решил с ней порвать. Он-то писал ей постоянно, да почта в Тверской губернии теряла корреспонденцию чаще, чем доставляла. А когда Давыдов, влюбившись в одну из студенток

консерватории, внезапно ушел в отставку и уехал в Лейпциг с твердым намерением добиться развода с женой и вступить в новый брак, в письмах Александра Порфирьевича в Москву теплые уважительные слова о Карле Юльевиче как музыканте и человеке стали причудливо соседствовать с совсем иными: о эскападе «втюрившегося» директора, который «под наплывом любовной тоски и веяния весны натворил невообразимой ерунды». В качестве прелюдии шла фраза о «собаках и кошках, которые страдают любовною тоскою и заняты жертвоприношениями Киприде».

Девизом Александра Порфирьевича всегда было «торопиться не спеша» — избегать резких перемен. Что ж, сумасбродка-француженка согласилась ждать. Может быть, его холодноватые письма заставили ее обратить внимание на черты, подмеченные Шестаковой: «Александр Порфирьевич Бородин, по мягкости характера и по деликатности, имел много общего с Мусоргским, но в нем не было его живости и энергии; он ко всему относился спокойнее и сдержаннее». А может, Дельфина начала понимать, как мало значили для него ветреные гувернантки.

Лето 1886 года закончилось прежде установленного природой срока. Едва к середине августа Бородин начал приходить в состояние духа, пригодное для сочинения музыки, как его теще стало совсем худо и супруги спешно вернулись с дачи. Екатерина Алексеевна умерла 6 сентября. На похоронах произошел трагикомический случай: перепутались две траурные процессии. Поминки тоже прошли бестолково, с недоразумениями и неурядицами.

После этого Бородин прожил в Москве еще месяц. В Петербурге плакала о доброй старушке Ганя: до того, как она вошла в семью Бородиных, удочерившая ее Екатерина Алексеевна была ей единственным родным

человеком. Дельфина восприняла весть рассудительно: лучше умереть, чем так страдать. Лафонтен утверждал:

Что как бывает жить ни тошно,
А умирать еще тошней, —

но она ни за что с ним не согласится! И потом, как бы ни был Александр Порфирьевич привязан к своей теще, болезни родственников ввергают в огромные расходы, а он, увы, не миллионер. Хотя Дельфина тоже горевала — о том, что Екатерина Сергеевна больше не в Лефортове и прекратились их музыкальные вечера, такие интимные. Она не сомневалась, что разлука породит забвение: «Уверяю Вас, жизнь мне опротивела, и я бы охотно поменялась местами с этой бедной дамой, которая только что умерла, мне недостает храбрости, чтобы покончить с этим самой, но я бы хотела, чтобы Москва провалилась в бездну».

Безутешная француженка по-прежнему давала уроки с утра до девяти часов вечера, при этом утверждая, что главнейшее из свойств ее души — лень. Энергии в ней было не меньше, чем темперамента, такие женщины Бородина всегда привлекали. В сентябре они хоть изредка, да виделись.

Однажды заглянул приехавший в Москву Ляпунов, и два композитора отправились в гости к Танееву. Там Сергей Михайлович играл свою Первую симфонию си минор. Танееву музыка Ляпунова не понравилась: «Искусно инструментована, но необычайно монотонна, вся первая часть состоит из несколько тысяч раз повторенных четырех нот, совершенно по-петербургски сочинена». Он наверняка заметил, что эти четыре ноты — «перевернутая» тема Второй симфонии Бородина.

Сидя почти безвылазно на Калужской, где в его распоряжении был рояль, Александр Порфирьевич

наконец-то вернулся к музыке. К концу 1886 года он завершил в клавире и записал начисто новую версию сцены князя Игоря с ханом Кончаком. Бородин занялся этой работой не потому, что прежний вариант, сочиненный еще в середине 1870-х годов, был плох. Та сцена была всем хороша и даже благостна. Не было в ней ни предложения Кончака стать союзниками против Киева, ни угрозы Игоря вновь собрать полки и отомстить хану. Победитель и побежденный разговаривали как друзья и без пяти минут родственники — как сваты, давно решившие поженить детей. В этом тоже не было ничего плохого, вот только первые слова («Спасибо за ласку и привет твой. Я на тебе обиды здесь не знаю...») пелись князем на тему, которую мы знаем со словами «О, дайте, дайте мне свободу...». Когда эта музыкальная тема впервые пришла в голову Бородину, он связал ее с идеей союза русских и половцев. В самой первой версии сцены Ярославны с боярами мужской хор поет на ту же тему: «Ему в плену не худо, ему почет во всем, как князю, у хана гостем он живет, обиды нет ему ни в чем».

Всё изменилось, когда родилась ария Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе» со знаменитыми строками о свободе. Значение музыкальной темы теперь стало диаметрально противоположным, а нестыковок в драматургии перфекционист Бородин не допускал, так что пришлось заняться переделками. Так появилась новая сцена Игоря с Кончаком и новые слова: «Лишь только дай ты мне свободу, полки я снова соберу...»

Уже была готова следующая за этой арией и сочинявшаяся одновременно с ней сцена Игоря с Овлуром. Римский-Корсаков немало переделал эту законченную и даже переписанную Бородиным начисто сцену и завершил ее словами «бежать я не могу», а Глазунов сочинил от себя еще одну сцену Игоря с Овлуром, в которой князь все-таки давал себя уговорить. У автора же первая и единственная сцена с Овлуром

завершается словами Игоря: «Быть так... веди коней... а я твоей услуги не забуду». Бежать — значит бежать, и немедленно! Бородин плотно подгонял сцены оперы одна к другой, чтобы действие *не* стопорилось, не буксовало — летело. Либретто очищалось от крайностей, как от резких выражений, так и от малейших религиозных мотивов, включая слова старой няни при внезапном появлении Володимера Галицкого: «Господи! Владычица небесная! Князь! Володимер! Помяни царя Давида и кротость его». Были готовы дуэт Ярославны с Галицким, песня гудочников для финала оперы и вся последующая сцена, подводящая к Заключительному хору. Осенью появился миниатюрный «шаманский» хор — «Дозор в половецком лагере». Мощное здание оперы вставало во всей красе. Бородин вплотную подошел к завершающему этапу работы: оркестровке тех номеров, которые пока существовали только в клавире. Наверняка он даже подсчитал, сколько месяцев понадобится на эту трудоемкую работу.

Доделывая «Игоря», Бородин не позднее сентября вплотную занялся новым масштабным замыслом — Третьей симфонией. Когда Дианины по дороге из Владимира в Петербург остановились на Калужской, он учил Борюшку играть главную тему первой части.

Мысль о новой симфонии созревала постепенно. Сперва началась работа над Третьим квартетом, для которого уже существовали все темы первой части и «Русское скерцо» в «русском» же размере 5/8 (взятое из «старых оскребушков»). Теперь появились наброски медленной части квартета, в том же размере. Это происходило на фоне победного шествия Первого квартета, но через некоторое время Александр Порфирьевич мог разочарованно констатировать: его прекрасный Второй квартет особого успеха не снискал. Впрочем, как и Вторая симфония.

Летом 1884 года Римский-Корсаков окончательно превратил свой не слишком удавшийся струнный квартет в Симфониетту на русские темы, избрав тональность ля минор (17 ноября Бородин слышал эту вещь в концерте РМО, где исполнялась его каватина Кончаковны). А в следующем году в Бельгии Александр Порфирьевич воочию лицезрел триумф всех своих симфонических сочинений. По-видимому, в разговорах с графиней де Мерси-Аржанто его дальнейшие шаги на этом поприще обрели окончательную ясность, поскольку в письмах к нему она заговорила о «моей симфонии». Действительно, имело смысл сочинить большую оркестровую вещь для Бельгии, ведь там не придется ни хлопотать о премьере, ни выдерживать шквал дружеских советов по улучшению партитуры, ни опасаться происков критики. Посвящение Третьей симфонии графине после посвящения Первой Балакиреву, а Второй — Екатерине Сергеевне, выглядело бы вполне естественно.

Эта новая грандиозная работа теперь увлекала его куда сильнее «Игоря». Тем более что за оперу можно было не волноваться: Римский-Корсаков еще в 1883 году начал поговаривать, что если Бородина переживет, то «Игоря» кончит. Стасов почти свыкся с этой мыслью, написав в сентябре 1884 года Николаю Андреевичу: «За третьего русского композитора Вам придется кончать» (третьего — после Даргомыжского и Мусоргского).

По сообщению Глазунова, Третья симфония Бородина должна была называться «Русской». В самом деле, почему бы не подарить бельгийским русофилам именно такое сочинение, которое перекликалось бы и с Первой («Славянской») симфонией Глазунова, и с корсаковской Симфониеттой на русские темы? Невидимые нити связывали новый замысел с давним, сочиненным еще в Италии фортепианным квинтетом: то же мерцание ля минора и до минора, не говоря о

неожиданном возвращении к русскому стилю времен «Жизни за царя».

Дианины ждали приезда Александра Порфирьевича к первой лекции, но что-то задержало его еще на несколько дней, и Александрюшка читал за профессора. Только 5 октября Бородин с неразлучной Ленó вернулся в Петербург. Дельфина осталась тосковать в Москве. Первый визит по приезде был к Александру Михайловичу Быкову, начальнику академии. С трудом удалось избежать удержания жалованья за пропущенный месяц, что было бы совсем некстати — Бородин и так оказался на мели и даже влез в долги, чтобы в очередной раз выручить младшего брата. Среднему брату нужно было разыскать новое место службы, в Доме предварительного заключения приходилось совсем тяжело.

Шел 31-й год государственной службы Бородина, и он взялся за нее засучив рукава, но ранние утренние часы — «золотые часы», «на вес золота», как говаривала когда-то его бонна Луизхен, — принадлежали Аполлону. Ему Александр Порфирьевич снова служил истово, как в былые годы, и весь его житейский распорядок (теперь включавший полчаса послеобеденного сна) был устроен так, чтобы начинать день с жертвы богу Гармонии.

Началась задуманная Беляевым серия из четырех Русских симфонических концертов. Бородин с Ганей и Дианиным посещал и концерты, и все репетиции: «Музыка обуяла нас всех». Новинки птенцов беляевского гнезда — *Andante lugubre* Николая Соколова и скерцо Феликса Блуменфельда — были найдены «очень милыми». Вечером в свой день рождения профессор провел очередную репетицию с оркестром Военно-медицинской академии, разучивая вполне академическую программу: одну из симфоний Гайдна, Первую симфонию Бетховена, увертюру Мендельсона «Сказка о прекрасной Мелузине», один антракт из

музыки Глинки к «Князю Холмскому», да еще марш для торжественного акта в академии. «Просто и со вкусом», — написал он Екатерине Сергеевне, у которой тоже всё шло на лад, если не считать непрерывных ссор двух ее горничных с сиделкой. По утрам она поднималась, по вечерам ложилась спать, не курила. Близость Голицынской больницы позволяла ей в любое время бывать в обществе многочисленных знакомых. Она достаточно хорошо себя чувствовала, чтобы выезжать в концерты, но в ноябре вдруг заскучала и собралась в Петербург. Лет десять назад муж бы обрадовался — теперь эта мысль привела его в ужас: «Хоть ты теперь и богатыршей стала, но знай, что тебе осторожность теперь нужнее, чем когда-либо. Петербург и наша квартира в настоящее время — гибель для тебя... Это страшный риск!» Помимо очевидной опасности для здоровья жены, ее приезд грозил разрушить налаженный порядок его жизни, похоронить утренние занятия композицией, наполнить дом приживалками обоего пола... Строка за строкой полились из-под пера Златоуста: «Не раз нападала на меня тоска по тебе. Но тут стеною поднимается, как грозная туча, воспоминание об ужасном прошлом, пережитом нынешним летом. Туча эта заслоняет собою и твою, и мою тоску, и мысль о разлуке, и все настоящее. Тогда другое воспоминание, о чудесном избавлении твоём от опасности, наполняет все мое существо, и боязнь за тебя — заставляет забывать все остальное».

На этом фронте обошлось. Несчастья в ту осень обрушились на Суету. В Бабне вместе с имением ей достались неурегулированные споры: крестьяне считали часть помещичьей земли своей. Барыня, живущая врозь с мужем, и ее сын-подросток не внушали особого почтения ни крестьянам, ни местной полиции. Если бы Анну Николаевну навестил кто-нибудь из старших братьев или сам Александр Порфирьевич в генеральском

мундире, события могли повернуться иначе. Но навещала ее только вдовая сестра Варвара с дочерью. 1 октября все сараи и скирды барыни были сожжены, сгорел непроданный еще урожай. Предчувствуя такое развитие событий, она специально поставила сараи между новыми крестьянскими домами на Калязинском тракте — *не помогло. Saints touloups — tou-loups* («святые тулупы» — «совсем волки») чуть не убили ее работников, пытавшихся помешать поджогу, а когда крестьяне из соседних Глинников приехали с насосом, им не дали тушить огонь. Староста и десятский сказали: «Пусть горит, у нее карман толст. Мы еще ей все сожжем».

Хуже двух тысяч рублей убытка был страх появляться в имении. Продать его немедленно Суэта не могла из-за каких-то юридических или финансовых обременений. Имелся немец, готовый взять усадьбу в аренду, но мешали те же обстоятельства. В ноябре она приехала в Петербург к брату Николаю, чтобы хлопотать о своем деле.

Концертный сезон был уже в разгаре. Анна Николаевна Есипова сыграла в своем концерте несколько пьес из «Маленькой сюиты», в декабре Мари Жаэль в парижском зале Эрар тоже играла пьесы из нее — никакое другое сочинение не стоило Бородину так мало усилий и не получало столь скорого признания.

23 ноября на именинах Беляева дважды (до и после обеда) прозвучал коллективный квартет на тему *B — la — f*. Накануне этого радостного дня состоялся совсем другой концерт, на котором Бородин присутствовал, посетив со всеми домочадцами также репетицию. Это был вечер БМШ, посвященный памяти Листа: впервые Балакирев после давнего концерта в фонд памятника Глинке составил программу из сочинений только одного композитора! Начали с траурной музыки — симфонической поэмы «Плач о героях» (с колоколами) и

«Пляски смерти». Затем исполнили два из восьми хоров Листа к «Освобожденному Прометею» Иоганна Готфрида Гердера. Наверняка Балакирев выбрал заключительный Хор муз, но что пели перед тем — Хор океанид, Хор тритонов, Хор дриад, Хор жнецов, Хор сборщиков винограда, Хор подземных жителей или Хор невидимок? Не обошлось без так любимого в кружке «Мефисто-вальса». Завершила концерт «Данте-симфония»: после ужасов Ада (в первой части) и жалоб узников Чистилища (во второй) женский хор запел заключительный *Magnificat* («Величит душа моя Господа») — будто душа покойного вступала в небесные селенья... Последние такты этой музыки Лист некогда записал и вручил Бородину.

Концерт и подготовка к нему пришлись на время, когда Бородин занимался *Andante* — третьей частью Третьей симфонии. Дельфина никак не могла закончить вышивать ему накидку для кресла (наверное, отвлекалась на мысли о некоем влюбившемся в нее молодом человеке, похожем на жабу). Но отсутствие накидки не мешало Александру Порфирьевичу сочинять. Главное, что в начале декабря он покончил с председательством в Комиссии по аптечной трате. Кюи 18 декабря вновь направил стопы в Бельгию — Бородину о поездках пришлось забыть. К Рождеству, не приняв обычного участия в студенческих святочных забавах, он отбыл в Москву к своей страдалице и оставался там до Крещения.

Екатерина Сергеевна слышала в его исполнении новое *Andante*. Слышали эту часть и Доброславины. Мария Васильевна записала воспоминания о Бородине в 1925 году, но при чтении кажется, будто эта сцена все еще стояла у нее перед глазами:

«Его охлаждение к «Игорю» после всего написанного им для оперы огорчало всех страшно; но говорить с ним об этом было нельзя; ему это всегда было неприятно.

Такой период охлаждения к «Игорю» был и в зиму его смерти. «Игоря» он бросал и возвращался к нему несколько раз... Помню, пришел он к нам однажды неожиданно к обеду, после которого мы, видя его в хорошем расположении духа, заговорили об «Игоре». По обыкновению, ему это было неприятно, и он рассердился:

— Вот, — сказал он, — я пришел к вам сыграть одну вещь, а теперь за то, что вы мучаете меня с «Игорем», я и не сыграю.

Тогда мы стали просить прощения, давали слово никогда ничего об «Игоре» не говорить и умоляли его сыграть. И он сыграл. Это было *Andante* к третьей симфонии. Оказывается, что, кроме меня с мужем и А. П. Дианина, этого *Andante* никто не слышал. Он сам сказал, что он его еще никому не показывал и оно у него не записано. Оно и не было записано и так и пропало для музыкальной славы России. Как жаль, что его не слышал А. К. Глазунов. Со своей колоссальной памятью он восстановил незаписанную увертюру «Игоря» и наверное восстановил бы и это *Andante*.

Это была тема с вариациями. Тема суровая, «раскольничья», как он ее назвал. Сколько было вариаций, я не помню, знаю только, что все они шли *crescendo* по своей силе и, если можно так выразиться, по своей фанатичности. Последняя вариация поражала своею мощностью и каким-то страстным отчаянием.

Я не особенно люблю эту музыкальную форму; мне она кажется деланной, искусственной, а потому иногда утомительной и скучной. Но у Александра Порфирьевича в его своеобразной, ему присущей гармонии это было так хорошо, что мы с мужем только переглядывались и млели от восторга. Он видел, какое впечатление это производит на нас, играл много и, играя, намечал инструментовку... Не помню, в каком месяце это было;

но, вероятно, незадолго до его кончины, потому что за фортепиано я видела его в последний раз».

Вариаций Бородин не писал со времен трио «Чем тебя я огорчила», то есть с 1854 или 1855 года! В 1925 году Сергей Дианин показывал Марии Васильевне якобы «раскольничью» тему, записанную в Павловском Посаде, но она затруднилась ответить, та ли это тема, которую она слышала в исполнении Александра Порфирьевича в последнюю зиму его жизни. В любом случае трудно отделаться от мысли, что сочинение траурного «раскольничьего» *Andante* связано со смертью Листа и с концертом его памяти. Обоим Доброславиным пришла на память сцена самосожжения раскольников из «Хованщины», но 9 января 1886 года, когда Эдуард Гольдштейн дирижировал первым, любительским исполнением этой оперы, Бородин был в Бельгии.

Александр Дианин говорил сыну, что он медленной части Третьей симфонии не слышал, либо слышал, но не знал, что именно сейчас играет профессор. А вот Глазунов был с таинственным *Andante* знаком: «Бородин часто играл мне именно эту [первую] часть, которою сам восхищался, равно как и темой с вариациями [*Andante*], Последние, кроме темы, также не были записаны. Кое-что из этого я слышал в весьма неясном исполнении автора на фортепиано, и не скажу, чтобы они мне понравились. Несомненно, что, записанные на бумаге, вариации оказались бы гораздо лучше, но во всяком случае я сохранил о них смутное воспоминание». После смерти Бородина наброски *Andante* оказались у Александра Константиновича, однако эту часть Третьей симфонии он даже не пытался восстанавливать. В XX веке сей факт настолько не давал покоя Борису Владимировичу Асафьеву, что тот вставил в мемуары «Из моих бесед с Глазуновым» абсолютно фантастическую реплику: «Тогда же он мне сыграл на память недостававшие части Третьей симфонии

Бородина. На мой вопрос, почему он не записал всей симфонии, он с горечью сказал: «Право, не знаю; ведь вот такая хорошая музыка, а мне тогда показалось иначе». Если в момент беседы с Асафьевым Глазунов все еще был в состоянии играть на память *Andante* и финал, что помешало ему их записать? Однако ни в воспоминаниях, ни в письмах самого Глазунова не найти строк, где бы он хвалился феноменальной музыкальной памятью, скорее даже наоборот. Все знакомые Бородину «музикусы» при прослушиваниях что-то запоминали и что-то потом друг другу наигрывали: Балакирев обладал прекрасной памятью, Наденька Пургольд записала по памяти фрагмент из «Псковитянки» ее будущего мужа. Кого же Александр Порфирьевич считал первым по этой части? Химика Михаила Гольдштейна, которого за страсть «переносить» музыку прозвал «музыкальным сплетником»! И что же сумел зафиксировать для потомства «сплетник»? В 1899 году он напечатал в журнале «Театр и искусство» три жалкие «музыкальные шутки», разыгрывавшиеся Бородиным, когда к нему слишком сильно приставали по поводу «Князя Игоря».

И еще один странный факт, который не вяжется с якобы частым проигрыванием Третьей симфонии перед Глазуновым. Римский-Корсаков 7 февраля 1887 года, за неделю до смерти Бородина, написал в Москву Кругликову: «Бородин поговаривает будто бы о Третьей симфонии (!!), а об «Игоре» стыдливо умалчивает».

Осенью 1886 года Бородин избавился от кашля, много лет мучившего его по утрам, а вот с сердцем становилось всё хуже. Стасов еще в 1884 году писал Римскому-Корсакову о «полумертвых» и «неподвижных» глазах Бородина. Шестакова вспоминала: «Последние годы он часто во время разговора делался каким-то апатичным, даже начинал дремать; я думала, что это от усталости, но оказывалось, что болезнь его усиливалась; он не поддавался ей и никак не думал, что конец его так

близок». Ей вторил Боткин: «Некоторые из друзей А. П. замечали в нем в последние два года большую перемену характера: какую-то вялость, расположение к сонливости, и, как я слышал от одного из его товарищей-музыкантов, он легко засыпал в собраниях; вместе с тем, за последний год особенно, А. П. поражал всех своей слабостью». Трифонов рассказал об этом подробнее: «Седина быстро пробивалась в волосы, не стало у него прежнего замечательно свежего цвета лица, который невольно обращал на себя внимание; иногда у Александра Порфирьевича можно было замечать усталость и некоторую вялость, чего прежде и в помине не было, несмотря ни на какие занятия, чрезмерные труды и бессонные ночи. Он, видимо, терял силы и бодрость, чему сначала не придавал никакого значения; но, в конце концов, все более и более расстраивающееся здоровье заставило его обратиться к советам врачей, которые констатировали у него довольно серьезную болезнь сердца, требующую тщательного лечения и строгого режима жизни. Однако Бородин не обратил внимания на их советы и предостережения, он не хотел предпринимать систематического лечения, находя, что начать лечиться — значит перестать жить на все время лечения, а для этого, говорил он, у него не было ни досуга, ни охоты. Беззаботно махнул он рукой на советы врачей и оставил свое здоровье на произвол судьбы... Невозможно было предвидеть такой быстрый печальный исход; встречая Бородина в самые последние дни его жизни, видя его вполне бодрым, оживленным и веселым, нельзя было допустить и мысли, что дни его уже сочтены. Однако более близкие к нему профессора Медицинской академии говорили, что его организм и силы были значительно истощены вследствие чрезмерных занятий, отсутствия отдыха и, главное, вследствие недостаточности сна; за последнее время Бородин спал изумительно мало — не более четырех

часов в сутки». Друзья чуяли неладное, в последнюю зиму Римский-Корсаков и Глазунов сговорились с Дианиным, чтобы он сообщал им, как только Бородин что-нибудь сочинит.

Новый, 1887 год Александр Порфирьевич встретил в Москве. 29 декабря они с Екатериной Сергеевной ездили в Малый театр посмотреть новинки: комедию «Самородок» Ивана Николаевича Ге по совсем невеселому роману Ильи Александровича Салова «Ольшанский молодой барин» и только что переведенную с французского комедию Теодора де Банвиля «Сократ и его жена». Бородин усиленно занимался Третьей симфонией; уезжая, он забыл на пюпитре фортепиано листок с темой первой части.

Условились, что на Масленице профессор снова навестит жену, но едва он вернулся в Петербург и окунулся в обычный водоворот дел, как засомневался: не отложить ли визит до Пасхи? В феврале пришла новая повестка в Окружной суд, теперь уже в качестве свидетеля. В Сибири среди арестантов объявился законный супруг Аделаиды Луканиной-Паевской — Луканин Юлий Александрович, живой и неразведенный. С его нового места жительства пришел в Петербург наказ: спросить профессора Бородина и его жену, почему Аделаида Николаевна ушла от мужа и в каких отношениях была со Станюковичем и с Александровым. Бородин ограничился отрицательной характеристикой арестанта. Вызов в суд окончательно лишил его возможности съездить в Москву, и он остался праздновать Масленицу в Петербурге.

Хороших новостей было три: утверждение Дианина экспертом при медицинском департаменте Министерства внутренних дел, о чем Бородин давно хлопотал, новые исполнения его музыки за рубежом и сочинение финала Третьей симфонии.

Около полудня 12 или 13 февраля Дианин работал в лаборатории, а за стеной играл Бородин. Никогда еще Павлыч не слышал в исполнении профессора музыки такой мощи и красоты! Стил, настроение — всё было свежим, необычным. Как будто та «основная музыкальная тема», о которой Бородин некогда ему говорил и которая вроде бы исчерпала себя, обрела новое дыхание. Александр Порфирьевич долго играл, а потом вдруг вбежал в лабораторию взволнованный, со слезами на глазах:

— Ну, Сашенька, я знаю, что у меня есть недурные вещи, но это — такой финалище!.. такой финалище!.. — Говоря это, Александр Порфирьевич прикрывал одной рукою глаза, а другою потрясал в воздухе. С годами его всё чаще видели со слезами на глазах. Стасов писал Репину: «У него слезы бывали всегда на глазах при каждом сильно оживленном разговоре», — возможно, дело было во врожденной чувствительности роговицы, усугубленной работой в химической лаборатории.

Глазунов финала не слышал, но видел один набросок: «две темы в народном стиле, соединяющиеся в двойном контрапункте». Значит, Бородин сочинял финал Третьей симфонии, как он сочинял «В Средней Азии»: сперва одновременное сочетание двух тем, затем развитие каждой по отдельности.

Что же мы сегодня знаем под названием «Третья симфония Бородина»? Глазунов позднее вспоминал: «Темы для всех частей имелись... Неоконченная симфония, вышедшая в моей обработке, составляет две части Третьей симфонии Бородина. Первая часть далеко не была приведена ни в окончательный вид, ни записана. Я помню ее план и некоторые эпизоды разработки, имевшиеся в записанном виде на клочках бумаги, тем. Все связующие эпизоды и заключение первой части я сочинил сам, стараясь придерживаться бородинского стиля музыки, с которым в то же время

очень сжился. *Scherzo* я оркестровал с квартетной партитурой, почти не меняя фактуры. При повторении *Scherzo* после трио я сократил его, изменив модуляционный план и инструментовку. Для трио я воспользовался музыкой из «Игоря» («Рассказ купцов», впервые принесших весть о поражении князя Игоря, не попавший в оперу). Этот коротенький эпизод обработан и расширен мною». «Как всегда назначал это, при жизни, сам Бородин, — такого рода фразами оправдывал Глазунов свои интервенции.

«Обрабатывая» музыку Бородина, Глазунов явно ориентировался на «Неоконченную» симфонию Франца Шуберта, тоже двухчастную. Он не кривил душой, не сочинял баек о якобы «записи по памяти». Из воспоминаний Александра Константиновича четко следует: первая часть — по сути, его собственная «фантазия на темы Бородина». В этом трудно усомниться, слушая вялую разработку и репризу, «слово в слово» повторяющую экспозицию сонатной формы, — такого Бородин себе не позволял.

А если бы молодой коллега нота в ноту зафиксировал на бумаге то, что слышал от автора? Бородин сочинял за роялем — но только на первой стадии работы. Дальше начиналось самое главное: запись, сопровождавшаяся поисками верного темпа, ритмических длительностей, тональности, пропорций формы. Шли безжалостные вычеркивания эпизодов, которые оказывались лишними, и тщательная проработка фактуры. В этом смысле Александр Порфирьевич за две недели до смерти писал жене: «Ты знаешь, что у меня есть в зачатке третья симфония, но она еще едва ли скоро появится на свет...» Быстро выходят салонные пустячки, виртуозные пьесы, «фантазии на темы», бородинская же музыка глубоко оригинальна и очень сложна, и этой сложности

структуры в глазуновской версии Третьей симфонии катастрофически не хватает.

Со скерцо тоже не все просто. Собирался ли автор добавлять трио? Скерцо Второго квартета вопреки традициям не имеет трио; посвященное Жадулю скерцо ля-бемоль мажор, написанное для фортепиано, но задуманное для оркестра, также его не имеет.

Третью симфонию Бородина до сих пор принято рассматривать как его собственное сочинение. Лишь Евгений Михайлович Левашев в бородинской главе седьмого тома «Истории русской музыки» применил фигуру умолчания — без всяких объяснений повел речь о двух симфониях. Не о трех. В принципе, статус Третьей Бородина подобен статусу Десятой Бетховена, реконструированной по значительно большему числу набросков, однако результат сочинением немецкого классика никто не считает.

За пару дней до импровизации финала Бородин пил чай у Шестаковой и весь вечер делился с ней планами на будущее, но его уже посещали предчувствия. Как-то утром Дианин зашел в «каминную» и увидел Александра Порфирьевича, бросающего в огонь пачки писем, в том числе целые связки посланий от графини д'Аржанто:

— Да вот, батенька, принимаю меры, чтобы все это не попало после моей смерти какому-нибудь журналисту, который еще, чего доброго, все это вздумает напечатать.

Письма от женщин, которые Александр Порфирьевич сжечь не успел, не попали в руки журналистов. Зато они попали в руки Павлыча, который словно бы в подражание профессору затеял роман по переписке с Юдифью Ракинт.

Маленький Боря Дианин словно бы знал о скорой разлуке. 9 февраля Бородин написал Екатерине Сергеевне: «Боба и прежде ужасно любил папу Кокинью, но теперь на него нашла особенная полоса

нежных отношений к Кокинькому. Когда только возможно, он спешит влезть ко мне на колени, целует, ласкает и причитывает: «Голубчик ты мой! Голубчик каких нет! Голубки мои маленькие! Чистенький мой! Ручки чистенькие! Личико чистенькое!.. Дуся мой! Крошечка моя! Воробушек мой! Птичка моя маленькая! Жучок мой!» и т. д. в том же роде, всегда с уменьшительными... Теперь он играет «пляску птиц» и песню Леля из Снегурочки и просит, чтобы я играл ему пляску шутов из этой же оперы». В молодости Бородин, по-видимому, не стремился обзаводиться потомством. Может быть, сыграла роль смерть любимой кузины Мари? А теперь Боренька заменял ему и детей, и внуков.

Занятые предпраздничными хлопотами домочадцы ничего необычного не замечали. Все готовились к грандиозному маскараду вроде прошлогоднего масленичного бала в аудитории Сущинского. Бородин не собирался проводить вечер за фортепиано, посему заранее наняли «тапёзу» (пианистку-тапершу). Павлыч сбился с ног, профессор дразнил его «танцором в хлопотах» — в честь старинного переводного водевиля «Танцор в хлопотах, или Несчастье от белых перчаток». Александр Порфирьевич всегда любил танцевальные вечера, его родители познакомились на таком вечере. Он был очень возбужден, накануне обошел профессоров академии и просил обязательно прийти, потому что «будет очень интересно, и они увидят нечто такое, чего они еще не видели и никогда больше не увидят». Екатерине Сергеевне в тот же день отправилось письмо о грядущем бале с цитатой, описывающей его как уже прошедший: «Было чертовски шикарно, милочка! Дым стоял коромыслом!» Это слова красильщицы Феми, королевы праздника, данного в сочельник Родольфом и Марселем, героями «Сцен из жизни богемы» Анри Мюрже, во время которого зал украшали таблички «Поэты-романтики» и «Прозаики-классики». Заодно

Бородин передал жене совет Стасова обязательно прочесть «Власть тьмы» Толстого.

Вечером 15 февраля профессор облачился в малиновую шерстяную рубашу и синие шаровары — почти так, как он любил ходить летом в деревне. Воспитанницы затеяли ссору, и его это очень раздосадовало, но пока шли из квартиры в соседнюю аудиторию, все развеселились. Бородин немного повальсировал и подошел к своей куме Доброславиной, тоже нарядившейся в русский костюм. Далее версии мемуаристов расходятся: Молас-младший утверждает, будто Александр Порфирьевич умер, дирижируя кадрилию; Кюи говорит об игре Третьей симфонии гостям; Гольдштейн — о шутках по поводу неудобства натягивания фрака после обеда. Но за пятнадцать минут до полуночи никого из них рядом с Бородиным не было, а была Мария Васильевна, и вот что она рассказала: «Мы стояли и разговаривали, когда в зал вошел проф. Пашутин и подошел поздороваться с Александром Порфирьевичем и со мной. Он приехал с обеда и был во фраке, и Александр Порфирьевич спросил его, почему он такой нарядный. Я сказала, что из всей мужской одежды я больше всего люблю фрак; он идет одинаково ко всем и всегда изящен. Александр Порфирьевич заявил со своей обычной шутливой галантностью, что если я так люблю фрак, то он всегда будет приходить ко мне во фраке, чтобы всегда мне нравиться. Последние слова он произнес растягивая и как бы закоснелым языком, и мне показалось, что он качается, я пристально взглянула на него, и я никогда не забуду того взгляда, каким он смотрел на меня, — беспомощного, жалкого и испуганного. Я не успела вскрикнуть: «Что с вами?» — как он упал во весь рост. Пашутин стоял возле, но не успел подхватить его». Падая, Бородин ударился головой о печку.

Вокруг были врачи, но их старания ни к чему не привели, сердце Бородина остановилось. «Почти целый час прилагали все усилия, чтобы вернуть его к жизни, — продолжает Доброславина. — Были испробованы все средства — и ничто не помогло... И вот он лежал перед нами, а мы все стояли кругом в наших шутовских костюмах и боялись сказать друг другу, что все кончено».

Что было причиной неожиданной смерти? Боткин на заседании Общества русских врачей посвятил этой теме большую часть своей речи памяти Бородина: «Погиб он, очевидно, от паралича сердца, но сердца, которое достаточно работало и не изменяло ему до конца жизни... Правда, были маленькие расстройства, которые заставили его за три месяца до смерти обратиться к врачебной помощи, но они были, казалось бы, такого незначительного характера, что не врачи и не подумали бы, может, об этом. Только А. П. как врач понимал, что болевые незначительные ощущения в левой руке и в области сердца могут быть признаками болезни этого органа, почему и обратился за советом к профессору Д. И. Кошлакову, который нашел сердце еще хорошо работающим, но размеры его, и преимущественно левый желудочек, увеличенными, а также акцент на втором тоне аорты».

В опубликованном официальном заключении профессора анатомии Александра Ивановича Таранецкого говорилось: «Особенно сильно было у него атероматозное перерождение мелких сосудов мозга и сердца, почему просветы в них сильно уменьшились; смерть, вероятно, произошла вследствие закупорения сосудов сердца образовавшимся свертком крови». 16 лет тому назад Бородин установил роль холестерина в развитии атеросклероза, но тогда эта работа никому не показалась актуальной — в том числе и ему самому.

Эпилог

«КАК ВСЕГДА НАЗНАЧАЛ ЭТО, ПРИ ЖИЗНИ, САМ БОРОДИН...»

В аудитории постепенно собрались все жившие в зданиях академии. Последним пришел терапевт Вячеслав Авксентьевич Манассеин, наклонился, послушал сердце, махнул рукой и сказал: «Поднимите же его».

Далее все пошло, как было заведено в академии. Три дня бальзамированное тело Бородина лежало в химической аудитории и студенты дежурили по четверо. На панихиды приходили не только профессора и учащиеся. Были ректор университета Иван Ефимович Андреевский, ректор консерватории Антон Григорьевич Рубинштейн и все бывшие тогда в Петербурге женщины-врачи.

19 февраля шел густой мокрый снег. После отпевания в церкви Военно-медицинской академии профессора, студенты и не желавшие отставать от мужчин курсистки понесли гроб; шествие в несколько тысяч человек заняло почти всю ширину Литейного и Невского проспектов. Хоры студентов и женщин-врачей пели, сменяя друг друга. Были венки Бородину-химику — от Конференции академии, от женщин-врачей десяти выпусков, от Высших женских курсов, от женщин-врачей сестер Исполатовских. Но больше было венков Бородину-музыканту — от Петербургского и Московского отделений Русского музыкального общества, от хора и оркестра академии, от студенческого оркестра Петербургского университета и Бесплатной музыкальной школы, от Общества камерной музыки и

Кружка любителей, от графини де Мерси-Аржанто и анонимного «поклонника-издателя».

Похоронили Бородина рядом с Мусоргским. Профессора Сушинский и Доброславин, врач Варвара Алексеевна Кусакова говорили о его бесконечной доброте, о его трудах на благо людей. «Если на жизнь смотреть как на ряд серьезных задач, обязательных для выполнения, то наш покойный друг ни одну из задач жизни не оставил неудовлетворенною, — сказал Доброславин и закончил свою речь словами Евангелия: — «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя».

Весть о смерти Александра Порфирьевича быстро облетела Россию и Западную Европу. Появились некрологи Стасова (с дополнением Дианина) и Иванова. Кюи поместил большие статьи в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Неделе» и по меньшей мере в трех французских и бельгийских изданиях. В «Новом музыкальном журнале» в Лейпциге вышел некролог, подписанный Вильгельмом Бесселем (скорее всего, родственником петербургского издателя, если не им самим). Кто бы ни был автор, он нашел прекрасные слова для Бородина и его музыки — «могучей, несокрушимой, первозданной». Никогда прежде не упоминавшая о русском химике и композиторе венская «Новая свободная пресса» особо отметила, что в молодости он почитал Мендельсона, но затем обратился к национальному направлению.

Тело Бородина еще лежало в химической аудитории, когда в его квартире развернулась лихорадочная деятельность. Вероятно, Дианин был тем человеком, кто еще ночью дал знать о смерти профессора Стасову. Слово Римскому-Корсакову: «Рано утром, в необычный час, 16 февраля 1887 года я был удивлен приходом ко мне В. В. Стасова. Владимир Васильевич был сам не свой. «Знаете ли что, — сказал он взволнованно, —

Бородин скончался...» Не стану говорить, как меня и всех близких ему поразила эта неожиданная смерть. Немедленно возникла мысль: что делать с неоконченной оперой «Князь Игорь» и прочими неизданными и неоконченными сочинениями? Вместе со Стасовым я тотчас поехал на квартиру покойного и забрал к себе все его музыкальные рукописи». В опустевшую конторку Лиза положила малиновую рубаху и синие шаровары.

Владимир Васильевич не мог забыть, как после смерти Даргомыжского жадный законный наследник надолго закрыл «Каменному гостю» путь на сцену. Но недаром братья Стасовы окончили Училище правоведения. Чтобы ситуация не повторилась, в дни смертельной болезни бездетного Мусоргского устроили передачу его рукописей в дар Третью Филиппову — будущему душеприказчику. Рукописи заранее были перевезены на квартиру Римского-Корсакова, и вскоре ноты стали печататься у Бесселя. Смерть Бородина наступила внезапно, и никто не мог поручиться, что Екатерина Сергеевна, единственная прямая наследница, переживет известие о смерти мужа. Стасов не знал, кого больше опасаться — гипотетических потомков Порфирия Бородина или родственников со стороны Протопоповых. Посему нотные рукописи были изъяты и вывезены.

В тот же день 16 февраля мировой судья 14-го участка вынес постановление об охране движимого имущества, оставшегося после смерти действительного статского советника Бородина (недвижимого имущества не имелось). На другой день после похорон судебный пристав С. Федоров явился в академию с исполнительным листом. В квартире, населенной самыми разными людьми, ни один из которых не доводился Бородину родственником, Федоров сумел отыскать из принадлежавшего профессору два старых письменных стола, расчетный лист на получение пенсии, расчетную книжку Санкт-Петербургского Учетного и

ссудного банка, в которой значилось капитала 6418 рублей 23 копейки, да еще два векселя действительного статского советника Доброславина по 350 рублей каждый. Друг и сосед Бородин был, по-видимому, единственным из его должников, кто в силу щепетильности выдавал векселя. Прочим долгам, сумма которых достигала пяти тысяч, Александр Порфирьевич вел точнейший счет, но — сугубо неофициальный.

Где были в это время его братья, долго служившие в качестве судебных приставов? Это не имело значения: по документам они не значились Бородину родственниками. Душеприказчиками стали Дианин и Доброславин. У Павлыча Митя попросил одну из семейных икон, Еня — портрет матери. Балакирев тоже попросил самое для себя дорогое — партитуру Девятой симфонии Бетховена.

Римский-Корсаков продолжает: «После похорон Александра Порфирьевича на кладбище Невского монастыря я вместе с Глазуновым разобрал все рукописи, и мы порешили докончить, наинструментировать, привести в порядок все оставшееся после А. П. и приготовить все к изданию, приступить к которому решил М. П. Беляев».

Что за операцией стоял именно Беляев, окончательно выясняется из еще одного документа. 25 августа пристав Федоров был вновь вызван в академию и со слов профессора Дианина, уже избранного преемником учителя, составил опись нотных манускриптов. В нее вошли неоконченная Третья симфония ценою в 300 рублей, романсы «Для берегов отчизны дальной», «Спесь» и «Восточный романс» («Арабская мелодия», 100 рублей), «оркестровый номер» под названием «У людей-то в дому» (100 рублей), Второй квартет (200 рублей). Первым пунктом значились некие «Неизданные музыкальные произведения в рукописях» (3000 рублей). Надо полагать, под этим названием

скрывался «Князь Игорь». Опера была куплена Беляевым «на корню», однако права на издание не были толком оформлены: Митрофану Петровичу впоследствии пришлось еще заплатить Бесселю за уже изданные им три арии. Когда же он попытался купить у Юргенсона права на романсы, то потерпел фиаско. Петр Иванович написал тогда Чайковскому: «Не знаю, писал ли я тебе, что Беляев пожелал приобрести романсы Бородина у меня?.. Ах, анафема! Воображает, что так богат, что мелкую сошку сманить нетрудно! Ах, материн сын! Я ему за 4 романа — 5000 р.! Ответа не было»...

Закончив диктовать приставу, Дианин заявил, «что другого какого имущества или капитала не имеется, а равно и ценностей». Содержание описи поразительно совпадает со списком сочинений Бородина, вскоре изданных Беляевым. В ней нет Второй симфонии, права на которую принадлежали Бесселю, нет и ранних произведений, печатать которые Митрофан Петрович не собирался (хотя они оказались у него дома и были обнаружены после его смерти). Зато включена Третья симфония, рукописи которой не существовало в природе, пока... Пока 2 апреля Глазунов не поставил последнюю точку в партитуре первой части, а 14 мая — в партитуре скерцо. Беляев лично помог молодому композитору оформить титульный лист.

Римский-Корсаков в изданной после его смерти «Летописи» сказал как есть: «Я... забрал к себе все его музыкальные рукописи». Стасов к первой годовщине со дня смерти Александра Порфирьевича в статье «Поминки по Бородине» нарисовал иную версию событий:

«Через немного недель после смерти Бородина Н. А. Римский-Корсаков, взявший на себя обязанность рассмотреть и привести в порядок, для возможности всеобщего пользования, все то, что осталось недоконченного и неизданного между музыкальными

творениями его покойного друга, созвал в квартиру покойного ближайших товарищей его по музыкальному делу, его ближайших друзей и почитателей: здесь молчаливым свидетелем и как бы председателем собрания был сам Бородин, в лице портрета, поставленного на стол рядом с грудой рукописных нот, о которых должна была пойти речь. Самым капитальным, но, к сожалению, не вполне законченным созданием являлась тут опера «Князь Игорь» на сюжет, взятый из «Слова о полку Игореве». Рассмотрели либретто, приготовленное самим автором, рассмотрели музыку, как уже вполне законченную, так и оставшуюся в набросках и черновых эскизах. Потом рассмотрели прочие сочинения Бородина, еще неопубликованные или недоделанные: некоторые части 3-й симфонии, струнный квартет, романсы. После этого Н. А. Римский-Корсаков подробно изложил свой план действия, который не мог не быть одобрен всеми присутствовавшими... Римский-Корсаков теперь уже в третий раз приступил к этому высокому и трогательному делу: заканчиванию, для публичного исполнения и всеобщего пользования, музыкальных творений крупных русских композиторов после их внезапной смерти; однажды он кончил и поставил на сцену «Каменного гостя» Даргомыжского, другой раз — «Хованщину» Мусоргского; теперь очередь пришла и для «Игоря» Бородина. Нельзя было уже вперед не быть глубоко уверенным, что такой высокий художник, как Римский-Корсаков, исполнит свое дело с таким священным почтением к памяти усопшего композитора, с таким мастерством и великолепным результатом, как этого не в состоянии был бы исполнить ни один из всех его со товарищей, какие у нас есть налицо. Собрание радостно утвердило все его предположения — и вот теперь дело уже доведено до конца... Вся эта громадная масса музыкальных сочинений Бородина напечатана в

великолепном и необыкновенно изящном виде М. П. Беляевым, приобретшим право собственности на все самое главное еще при жизни Бородина, от него самого, а на остальное — после его смерти...»

Вот как складно выходит: рукописи спокойно лежат в квартире покойного, права «на все самое главное» куплены Беляевым у автора, автографы частей Третьей симфонии налицо — и дела вершатся коллегиально, гласно, с почтением к памяти усопшего.

На похоронах Бородина многие просили Римского-Корсакова поскорее дать концерт из произведений покойного друга. Обращений было так много, что 22 февраля Николай Андреевич ответил открытым письмом в «Новом времени»: «Вполне разделяя эту мысль, я, однако, не нахожу возможным исполнить ее в настоящую минуту, так как необходимо разобрать оставшийся после Бородина материал, многое привести в порядок и наинструментировать, что осталось неинструментированным». Концерт он обещал устроить осенью.

Уже 23 февраля 1887 года Рубинштейн заменил в программе очередного концерта РМО симфонию Антона Аренского Первой симфонией Бородина. Елизавета Андреевна Лавровская, за две недели до смерти композитора певшая в концерте Общества его «Спящую княжну», исполнила в память о нем «юргенсоновскую» четверку романсов. В тот же день в Петербургской консерватории служили панихиду, пел хор Александра Андреевича Архангельского. 6 марта Первая симфония впервые прозвучала в Москве, в концерте РМО под управлением Макса Эрдмансдёрфера.

10 марта Балакирев как ни в чем не бывало включил в программу концерта БМШ «Половецкие пляски» — и более из Бородина ничего. А 5 апреля Александра Порфирьевича поминали в Льеже. Прозвучали симфоническая картина «В Средней Азии» и *Andante* из

Второй симфонии, Жюльетта Фольвиль сыграла «Маленькую сюиту».

Друзья Бородина, как было обещано, собрали жатву осенью того же 1887 года, во время очередной серии Русских симфонических концертов. 24 октября под управлением Римского-Корсакова прозвучали Вторая и Третья симфонии, «В Средней Азии», увертюра к «Князю Игорю» и Половецкий марш, а также пять романсов. По сути, это был «творческий отчет» Корсакова и Глазунова: Вторая симфония и марш были ими к тому времени переоркестрованы и частично пересочинены, Третья симфония и увертюра представляли собой фантазии Глазунова на бородинские темы. В последующих концертах серии прозвучала так называемая «Пляска половецких девушек» из «Князя Игоря» в очень вольной обработке Римского-Корсакова и Ноктюрн из Второго квартета в его же аранжировке для скрипки с оркестром. Такие вот «поминки по Бородине».

Дианин через несколько дней после похорон отправился в Москву, на Калужскую. На пюпитре фортепиано с января пылился забытый Бородиным нотный листок с записью главной темы Третьей симфонии. Привезенное Александрешкой известие было для Екатерины Сергеевны тяжелым ударом; посетивший ее на девятый день Кругликов вспоминал: «Ужасные впечатления пришлось вынести». 4 апреля она писала в Петербург: «У меня еще новое страдание, след 15 февраля: сильная боль в ноге и руке левой. Боль мускульная». Но в целом Екатерина Сергеевна пришла в себя, стала ходить в церковь, ездить за пасхальными подарками родным — написанное мелким аккуратным почерком письмо «милому Павлычу» вполне бодрое. А вот 6 апреля она послала Дианиным письмо тоскливое: «Я уверена, что живи Саша, отправил бы его ко мне непременно в подобном случае. Это наверное. Он не дал бы мне сразу почувствовать сиротство и всю тяжесть

тоски. Все, все думали, что Павлыч непременно приедет в таком особенном случае, и странно качали головами, узнав, что он не приедет». Павлыч вскоре приехал, ибо Стасов неистовствовал: нужно, чтобы Дианина скорее утвердили душеприказчиком, а еще лучше — наследником вдовы.

По просьбе Стасова Екатерина Сергеевна составила хронологический список сочинений своего мужа, собрала и передала письма Александра Порфирьевича, которые всегда бережно хранила. 9 мая ее навестили Кругликов и Глазунов. Александр Константинович играл первую часть Третьей симфонии, а она настаивала: ведь и *Andante* было, было сочинено! В июне ее перевезли в Раменское на дачу Дмитрия Воротилина, и там она продиктовала Кругликову воспоминания о муже. Семен Николаевич тогда же записал ее слова: «Всё мне здесь напоминает его... так и вижу его всюду... Бывало, в прошлом году ходит он здесь в садике, ухаживает за мной, подает лекарства... Я его вижу, действительно вижу... Ведь это он приходит ко мне каждую ночь, лекарства мне подает... Он зовет меня слушать симфонию... Теперь он вместе с Листом пишет симфонию «Бог»... Я скоро слушать ее буду...» 28 июня Екатерина Сергеевна умерла на руках у Дианина. Похоронили ее в Раменском, на приходском кладбище села Новотроицкое.

Еще в апрельском номере «Исторического вестника» вышла подробная биография Бородина, написанная Стасовым. Дианин постарался раздать и разослать ее всем, кто был близок Александру Порфирьевичу. В Москве Юдифь Ракинт, читая, плакала, а после снова и снова играла обе симфонии. Суэта со слезами благодарила Дианина за посылку: «С тех пор как разразился этот страшный удар, похитивший у нас наше самое дорогое и бесценное сокровище — только с этой минуты почувствовала я, как вы все, и Вы, и Лиза, и

Боря, и Леночка, и Александра Владимировна, словом, все те, которых Он так любил, мне близки и милы». Анна Николаевна понимала, что самой одинокой теперь остается бедная и некрасивая Лена Гусева, над которой в доме так часто подтрунивали. Она предложила стать для девушки старшей сестрой — если той «когда-нибудь нужна будет родная семья».

Безгласная унтер-офицерская дочь Лена Гусева почти десять лет была Александру Порфирьевичу самой надежной и преданной подругой и помощницей. Что она пережила за эти годы и в ночь рокового бала, никто никогда не узнает, но именно Лено — единственная вероятная кандидатура на авторство загадочной записки из архива Бородина: «Дорогой Сашоночек, не причисляй меня к числу тех дам, которым ты так щедро и без моего ведома раздаешь деньги. Когда же я дождусь того времени, когда ты будешь жить со мной по-человечески, как с равной тебе, а не как с твоей экономкой или бонной твоего сына? Верно никогда этого не будет... Ну, Бог с тобой, не сумела угодить тебе ни в чем и должна как-нибудь доживать как Бог послал. Образумься, мой милый Саша, неужели я меньше люблю, жалею тебя, чем другие, которым нужны только твои деньги, а перестанешь давать, то и не вспомнят об тебе».

Лены не было среди тех, кто по просьбе Стасова трудился над воспоминаниями, собрать же Владимир Васильевич успел удивительно много и быстро. Он словно пытался успеть наперегонки со временем, ибо на его глазах все рушилось и рассыпалось. В 1888 году служебная квартира профессора химии превратилась в помещение кафедры. Дианин с семьей переехал в другое здание, окружавшая Бородина почти полжизни обстановка перестала существовать. Один за другим уходили из жизни близкие ему люди. В 1887 году не стало генерала Вельяминова, Николая Бороздина, с

которым Бородин импровизировал у Стасовых музыкальные шутки, и Эдуарда Гольдштейна. В 1888 году умерли профессор Богдановский, Карл Ридель и консультировавший Александра Порфирьевича по поводу половецких песен этнограф Май-нов, покончила с собой ученица Бородина Подвысоцкая. В 1889 году скончались Боткин, Карл Давыдов и Доброславин. За год до смерти Алексей Петрович успел еще послужить Репину моделью для портрета Бородина, поскольку фигурой очень напоминал друга. Стасов тогда забрасывал художника идеями: «Бородин стоит у конторки, опершись на нее левым локтем и немного наклонившись влево весь, в правой руке — перо, на конторке нотная бумага». Как известно, Репин предпочел бытовому интерьеру классическую архитектуру зала Дворянского собрания. Портрет экспонировался на 17-й Передвижной выставке, а после... оказался никому не нужен. После нескольких просьб художника Беляев выкупил его и подарил Русскому музею. Луиза де Мерси-Аржанто умерла в Петербурге на квартире Кюи в 1890 году, тогда же ушли из жизни старик Грубер, помнивший Бородина студентом, и 36-летний Владимир Ильинский. В 1891-м пневмония унесла Бореньку Дианина, не стало профессора Кошлакова. Уехавший еще в 1887-м в Астрахань надворный советник Дмитрий Сергеевич Александров скончался в 1892 году в должности попечителя улусного управления Калмыцкий базар...

Как-то за долгим вечерним чаем у Бородина зашел разговор с Курбановым. Инженер сказал, что на «Князе Игоре» театр всегда будет переполнен. Александр Порфирьевич живо отозвался:

— Нет, я представляю совсем другое, а именно совершенную пустоту зрительного зала, и только там, где-то в райке, немного сидящего народа, так что оно будет выходить очень правдиво в третьем действии,

когда поднимется занавес и Ярославна запоет «Как уныло все кругом».

— Нет, я убежден в будущем колоссальном успехе «Игоря» у публики, и ваш юмористический пессимизм никоим образом не будет иметь места, вам даже за «Игоря» будет воздвигнут памятник!..

— Совершенно верно, памятник будет поставлен, но этот памятник будет таков: соберут отовсюду решительно все экземпляры моих сочинений, сложат их в груды, зальют цементом и наложат на верхушку этой горы здоровенный гранитный монолит. Вот каков будет памятник!..

Памятник был воздвигнут раньше, чем удалось довести до сцены «Князя Игоря», — уже ко второй годовщине со дня смерти Бородина. Его авторами стали скульптор Гинцбург, совсем недавно работавший над памятником Мусоргскому, и архитектор Иван Павлович Ропет. Мусоргский и Глинка были увековечены в камне и металле только в 1885 году. Для памятника Бородину благодаря фондам Беляева деньги были собраны быстрее, а художественное решение после предыдущих опытов представлялось очевидным. Идея его принадлежит Стасову: «Памятник изображает золотую музыкальную страницу, оставленную Бородиным в нашей истории. На этой странице написаны, по золотому мозаичному фону, мозаикой же, несколько главных тем из главнейших музыкальных созданий Бородина... Над этой музыкой — цветная изящная заставка, как в древних русских рукописях... Впереди своей золотой страницы является на монументе сам Бородин, представленный бронзовым бюстом. Под бюстом русские музыкальные инструменты, гусли и гудок: оба они представлены в музыке Бородина, гусли — в финале 2-й симфонии, гудок — в опере «Князь Игорь». До 1930-х годов памятник окружала кованая решетка, украшенная тремя венками: из химических формул, музыкальных тем

и ветвей лавра. Это был памятник «композитору, который состоит также профессором химии». После утраты решетки он превратился в памятник одному только композитору. Александр Дианин, как мог, напоминал о вкладе Бородина в науку, но за Владимиром Васильевичем было не угнаться.

К открытию памятника была отпечатана книга Стасова о Бородине, в которую вошли биография и часть писем. Графиня де Мерси-Аржанто тоже хотела написать книгу, как написала она книгу о Кюи. Смерть помешала ей это сделать. По ее завещанию французскую книгу о Бородине издал Альфред Абет, переведя текст Стасова и сделав некоторые добавления. Свой скромный памятник старшему другу постарался воздвигнуть инженер Михаил Курбанов, сочинив элегию для струнного квартета «Воспоминания об Александре Бородине». В ней звучит тема Сна Ярославны.

23 октября 1890 года состоялась долгожданная премьера «Князя Игоря». Живое звучание мгновенно выявило несоответствие бородинской музыки и глазуновских вставок, большая часть последних ушла в купюры. А вот корсаковские переработки музыки Бородина и торопливые вмешательства в драматургию оперы никуда не исчезли и доставили «Игорю» репутацию сочинения рыхлого и недраматичного. В подражание «Руслану и Людмиле» с его идущими подряд двумя действиями в сказочных краях (у Наины и у Черномора) здесь подряд идут два действия в половецком лагере, невыносимо тормозя ход событий. Словно в подражание изданному Бесселем сборнику арий из «Игоря», в первом из половецких действий подряд идут три мужские арии, не оставляя драматизму ни малейшего шанса. Из двух парных номеров на текст «Слова о полку Игореве» — монолога «Зачем не пал я на поле брани» и Плача Ярославны — уцелел только Плач. Упреки за диспропорции и несоответствия между тем

предъявлялись и продолжают предъявляться Бородину, который так много времени потратил, выверяя пропорции и выявляя внутренние связи в произведении. Собственно, это и было целью подавляющего числа авторских переработок отдельных сцен.

Опера завершалась Римским-Корсаковым и Глазуновым в огромной спешке. Работа над ней сопровождалась знаменами: летом 1887 года Николай Андреевич в деревне Нелай наблюдал солнечное затмение. К императорской сцене «Князь Игорь» шел, преодолевая сопротивление, но после первой постановки признание его только росло. Федор Игнатьевич Стравинский, когда-то пробивший дорогу на сцену арии Кончака и песне Галицкого и так мечтавший о заглавной партии, был великолепен в характерной роли гудочника Скулы. В его семье подрастал сын Игорь — будущий композитор. В 1898 году Мариинский театр специально исполнил «Князя Игоря» в честь столетия Военно-медицинской академии. К этому моменту авторские проценты со сборов составили внушительную сумму, которая в качестве выморочного капитала должна была по закону поступить в распоряжение ВМА. Однако вмешался Стасов. По его мнению, было бы лучше передать эти деньги Петербургской консерватории для стипендий студентам-композиторам. Неожиданно против выступил Балакирев, справедливо напомнивший, что в свое время консерваторские профессора отвергли Первую симфонию Бородина, и заявивший, что консерватория «плодит новых Направников». Стасову все же удалось через Третья Филиппова добиться желаемого распоряжения Николая II, и в 1900 году «добытые музыкой» 50 тысяч рублей поступили в распоряжение консерватории. Музыка вновь одержала верх над химией и медициной.

По иронии судьбы, никто в семье такого радетеля женского образования, как Александр Порфирьевич, не

пополнил рядов образованных женщин-тружениц. Ганя благодаря стипендии в 1890 году благополучно окончила консерваторию, спев на выпускном концерте арию из «Пророка» Мейербера. После этого никто не слышал певицы Агапии Литвиненко, на жизнь она зарабатывала службой в ломбарде. Ни Лиза, ни Лена не завершили образования. Одна посвятила себя семье, другая доживала жизнь в качестве экономки Дианиных. Скоро в семье появились девочки-воспитанницы, а в 1888 году у Лизы и Павлыча родился сын Сергей — будущий автор лучшей книги о Бородине.

Некогда Александр Порфирьевич написал Стасову: «Я терпеть не могу дуализма — ни в виде дуалистической теории в химии, ни в биологических учениях, ни в философии и психологии, ни в Австрийской империи. А на беду у меня — как нечистых животных в Ноевом ковчеге, — всего по паре: два хана — Кончак и Кзак; два Владимира — Галицкий и Путивльский; две любящие женщины: Ярославна и Кончаковна; два дурака — Скула и Брошка; два брата: Игорь и Всеволод, две любви, два оскорбления княжеского достоинства; два пленных князя; две победивших рати у Половцев». Бородин дуализма не терпел, однако гармонично сочетал в себе химика и музыканта. Он прожил жизнь, избегая принимать решения, всё происходило словно само собой, «и он не умел сказать: нет». Но вопреки — или благодаря этому Бородин не зарыл в землю ни один из дарованных ему талантов.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. П. БОРОДИНА

1833, 31 октября (ст. ст.) — в Санкт-Петербурге у князя Луки Степановича Гедианова и мещанки Авдотьи Константиновны Антоновой родился сын.

15 ноября — ребенок крещен как законный сын крепостного Порфирия Ионовича Бородина и получил имя Александр.

1839 — Авдотья Константиновна выходит замуж за Христиана Ивановича Клейнеке.

1841 — умирает Х. И. Клейнеке; Гедианов покупает для Авдотьи Константиновны дом в Петербурге.

1843, 21 декабря — смерть Л. С. Гедианова.

1844 — родился брат Бородина Дмитрий.

1846 — в дом Авдотьи Константиновны переезжает Миша Щиглёв.

1847 — первые музыкальные сочинения; родился брат Бородина Евгений.

1849 — выход из печати фортепианных пьес *Adagio con moto e patetico*, *Fantasia per il piano sopra an motive da J. N. Hummel* и *Le Courant*.

3 ноября — Бородин записан в Новоторжское 3-й гильдии купечество.

1850 — Бородин сдает экзамены на аттестат зрелости и поступает в Медико-хирургическую академию; семья переезжает на Выборгскую сторону.

1852 — начало работы в химической лаборатории Н. Н. Зинина. 1853-1854 — сочинение первых романсов и многочисленных фуг.

1856, март — Бородин оканчивает Медико-хирургическую академию «с особенным отличием» и

становится сверхштатным ординатором Второго военно-сухопутного госпиталя.

3 апреля — назначен ассистентом при кафедре общей патологии и общей терапии академии.

Осень — сдает экзамен на степень доктора медицины; знакомство с Мусоргским.

1857, июнь — сентябрь — поездка в Брюссель на Первый Международный офтальмологический конгресс.

1858, 3 мая — защита диссертации «Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорною в химическом и токсикологическом отношениях».

Май — август — поездка в Солигалич для химического анализа минеральных вод.

1859, 27 октября — отъезд за границу «для усовершенствования в науках».

1860, 3-5 сентября — присутствует на Первом Международном химическом конгрессе в Карлсруэ.

Ноябрь — вступает в Химическое общество в Париже.

1861, 17 марта — Конференция МХА по просьбе Бородина продлевает его зарубежную командировку на год.

15 мая — знакомство с Е. С. Протопоповой.

Сентябрь — присутствует на 36-м съезде Общества немецких естествоиспытателей и врачей в Шпайере.

Октябрь — отъезд с Е. С. Протопоповой в Пизу.

1862, 22 мая — 17 июля — сочинение фортепианного квинтета до минор.

20 сентября — возвращение в Россию.

Октябрь — декабрь — знакомство с С. П. Боткиным; утверждение адъюнкт-профессором МХА и профессором Лесной академии; знакомство с Балакиревым; начало работы над Первой симфонией.

1863, 17 апреля — брак с Е. С. Протопоповой.

1864, март — утвержден ординарным профессором МХА.

Сентябрь — поездка в Хилово Псковской губернии для химического анализа минеральных вод.

1865, 26 мая — 1 сентября — путешествие с женой по Германии и Австрии; окончание Первой симфонии.

1867, лето — работа над опереттой «Богатыри».

6 ноября — премьера «Богатырей» на сцене Большого театра в Москве.

28 декабря — в Петербурге открывается Первый съезд русских естествоиспытателей и врачей.

1868, 3 января — открывает заседание химической секции съезда сообщением о производных валерианового альдегида; химическая секция принимает решение учредить Русское химическое общество.

24 февраля — исполнение Первой симфонии под управлением Балакирева на закрытой репетиции РМО в Михайловском дворце.

Весна (?) — Бородины берут на воспитание Лизу Баланёву.

11 декабря — 1869, 20 марта — публикация музыкально-критических статей Бородина в «Санкт-Петербургских ведомостях».

1869, 4 января — премьера Первой симфонии в концерте РМО под управлением Балакирева; замысел Второй симфонии.

18 апреля — В. В. Стасов присылает Бородину сценарий «Князя Игоря».

20-30 августа — Бородин участвует во Втором съезде русских естествоиспытателей в Москве.

Сентябрь — сочинение «Сна Ярославны».

Сентябрь — 1870, март — заочная полемика с Ф.-А. Кекуле о научном приоритете.

1870, февраль — отказ от сочинения «Князя Игоря».

Март — П. И. Юргенсон издает романсы «Спящая княжна», «Фальшивая нота», «Отравой полны мои песни».

Май — Е. Т. Маковская завершает портрет Бородина.

Ноябрь — Бородин входит в редакцию журнала «Знание». *1871, ноябрь* — окончание сочинения Второй симфонии.

1872, 16 апреля — окончание 4-го действия коллективной «Млады».

Май — публикация работы об оксиальдегиде (альдоле) одновременно с Ш. Вюрцем.

17 июня — 27 августа — путешествие с женой по Германии и Австрии.

10 октября — Бородин утвержден преподавателем Женского курса ученых акушеров.

1873, 23 июля — смерть А. К. Клейнеке.

20-30 августа — Бородин участвует в Четвертом съезде русских естествоиспытателей в Казани.

Октябрь — декабрь — завершение оркестровки Второй симфонии; В. В. Бессель издает романсы «Песня темного леса», «Морская царевна», «Из слез моих»; в «Русском календаре на 1873 год» (А. С. Суворина) выходит первая биографическая заметка о Бородине.

1874, 15 октября — Бородин объявляет Стасову о возвращении к «Князю Игорю».

1875 — начало работы над Первым квартетом; Бессель издает переложение Первой симфонии в четыре руки.

1876, 29 февраля — Бородин утвержден казначеем Общества для пособия лицам женского пола.

23 марта — хор «Солнцу красному слава» впервые исполнен в концерте БМШ.

1 апреля — результаты четырех работ Бородина экспонируются на выставке коллекции научных приборов Музея Южного Кенсингтона (Лондон).

Осень — Бессель издает переложение Второй симфонии в четыре руки.

1877, 26 февраля — премьера Второй симфонии в концерте РМО под управлением Э. Ф. Направника.

19 марта — Конференция МХА избирает Бородина академиком.

13 июня — начало августа — поездка в Германию с А. П. Дианиным и М. Ю. Гольдштейном, знакомство с Ф. Листом.

5 августа — первый приезд Бородина в Давыдово.

1878, июнь — июль — составление «Моих воспоминаний о Листе».

1879, 16 января, 9 апреля, 13 ноября — исполнение сцен из «Князя Игоря» под управлением Римского-Корсакова.

Август — сентябрь — окончание Первого квартета.

20-30 декабря — Бородин участвует в Шестом съезде русских естествоиспытателей.

1880, январь — концерт Бородина с оркестром МХА, сочинение симфонической картины «В Средней Азии», избрание председателем Музыкальной комиссии Санкт-Петербургского кружка любителей музыки.

6 февраля — смерть Н. Н. Зинина.

8 апреля — первое исполнение «В Средней Азии» в концерте Д. М. Леоновой под управлением Римского-Корсакова.

20 мая (н. ст.) — исполнение Первой симфонии под управлением Венделина Вейссгеймера на XVII съезде Всеобщего немецкого музыкального союза в Баден-Бадене.

30 декабря — первое исполнение Первого квартета в концерте РМО.

1881, январь — обработка «Арабской мелодии».

Февраль — сочинение песни в сопровождении оркестра «У людей-то в дому».

16 марта — смерть Мусоргского.

26 мая — 7 июля — поездка в Германию, новая встреча с Листом.

1 июня — свадьба Александра Дианина и Елизаветы Баланёвой.

Август — окончание Второго квартета.

Ноябрь — декабрь — сочинение элегии «Для берегов отчизны дальной».

1882, 26 января — первое исполнение Второго квартета в концерте РМО.

Весна — родился Борис Дианин.

Осень — окончание приема на Женские врачебные курсы; Бессель издает партитуру Первой симфонии.

1883, 21 ноября — Бородин исполняет для друзей Пролог к «Князю Игорю».

27 ноября — Бородин избран в Дирекцию Петербургского отделения РМО.

1884, июнь — начало переписки с графиней де Мерси-Аржанто. *Осень* — сочинение песни «Спесь».

27 ноября — Первая симфония удостоена Глинкинской премии.

1885, январь — Ганя Литвиненко поступает в Петербургскую консерваторию.

7, 21 января, 29 февраля — три русских концерта в Льеже под управлением Теодора Жадуля.

Июнь — окончание «Маленькой сюиты».

27 июля — 14 сентября — поездка в Германию, Бельгию и Францию; сочинение «Септена».

16 сентября (н. ст.) — исполнение Второй симфонии в Антверпене под управлением Гюстава Юберти.

23 ноября — первый Русский симфонический концерт в зале Дворянского собрания.

1 декабря — открытый концерт оркестра ВМА под управлением Бородина.

21 декабря — 1886, 16 января — поездка с Кюи в Бельгию.

1886, май — август — тяжелая болезнь Е. С. Бородиной.

31 июля (н. ст.) — смерть Листа.

5 августа — смерть А. М. Бутлерова.

6 сентября — смерть Е. А. Протопоповой.

Осень — сочинение хора «Дозор в половецком лагере», последней завершенной сцены «Князя Игоря»; работа над Третьей симфонией.

23 ноября — первое исполнение на именинах Беляева квартета *B— Ia— f*

1887, февраль — сочинение финала Третьей симфонии.

15 февраля — смерть Бородина.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Родители Бородина:

Лука Степанович Гедианов и Авдотья Константиновна Антонова.

1840 г. Гравюры с утраченных портретов А. И. Денъера (?)



Герб князей Гедиановых



Фантазия на темы из оперы Г. Доницетти «Лукреция Борджа».

Фрагмент рукописи. 1840-е гг. Российская национальная библиотека



Бородин в 1848 году.

Гравюра с утраченного портрета А. И. Денъера



Бородин в 1860 году.

Фотография А. Бертрана в Париже



Обложка

***Adagio patetico* для фортепиано. 1849 г.**



Бородин с двоюродной сестрой Марией Готовцевой. 1856-1858 гг.



Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге (старое здание)



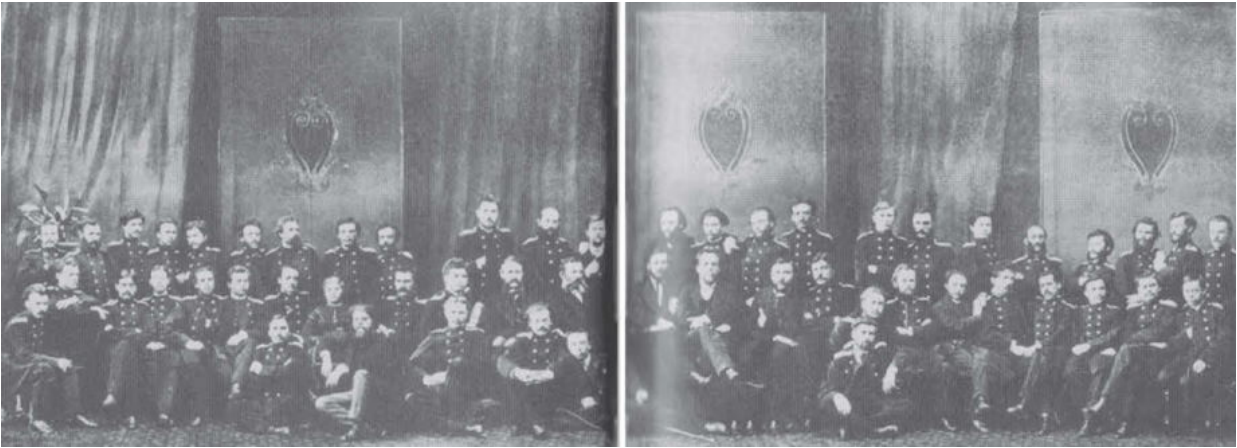
Н. Н. Зинин



Члены химической секции Первого съезда русских естествоиспытателей. Сидят: Рихтер, Ковалевский, Нечаев, Марковников, Воскресенский, Ильенков, Алексеев, Энгельгард. Стоят: Вреден, Лачинов, Шмидт, Шуляченко, Бородин, Меншуткин, Соковнин, Бейльштейн, Лисенко, Менделеев, Савченков. 1868 г.

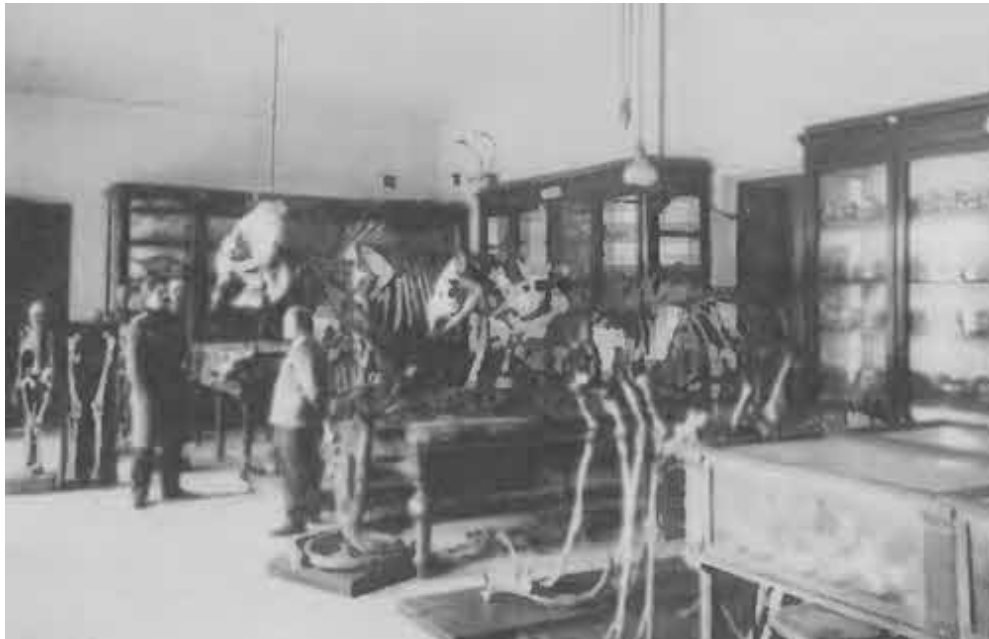


С. П. Боткин, И М. Сеченов и В. Л. Грубер



Коллектив Медико-хирургической академии.

***В первом ряду: Кашеварова-Руднева (8-я слева), Грубер (11-й слева), Сеченов (13-й слева), справа от него — Боткин и Руднев.
1868 г.***



Зоологический музей Военно-медицинской академии



Голицынская больница в Москве



Е. С. Протопопова.

Дагеротип. 1850-е гг.



М. А. Балакирев



Мусоргский, Чайковский, Кюи, Римский-Корсаков, Бородин.

Гравюра И. И. Матюшина по рисунку А. Колуччи. 1874 г.



Н. Н. Лодыженский



В. А. Крылов



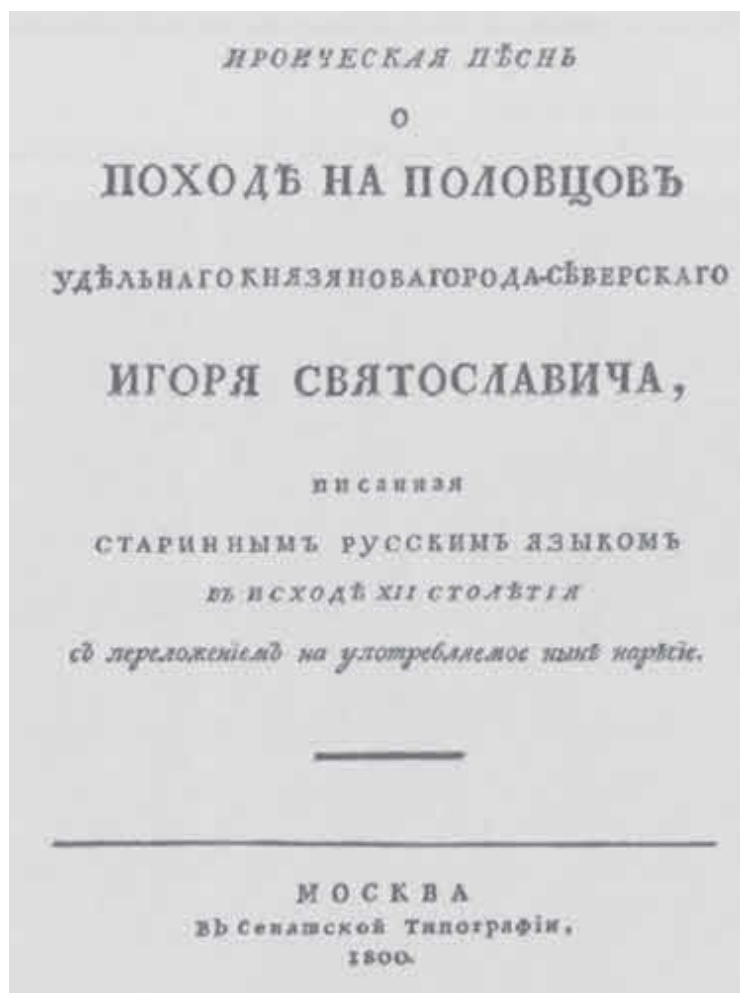
В. В. Стасов



Д. В. Стасов



К. Е. Маконский (Е. Т. Маковская?). Карикатура на участников балакиревского кружка. 1870 г.



Титульный лист первого издания «Слова о полку Игореве».

1800 г.



Ария хана Кончака.

Фрагмент рукописи. Российская национальная библиотека



Бородин в 1873 году.

Фотография Шерер, Набгольи, и K^0 в Москве



Ф. И. Стравинский.

Гравюра И. И. Матюшина по рисунку П. Ф. Бореля. 1878 г.



Д. М. Леонова



Л. И. Кармалина



«Волчий источник» в Гейдельберге.

Гравюра из письма Бородина жене от 30 июля 1877 г.

Российская национальная библиотека



«Вид имения Давыдково вблизи реки Сетунь».

Картина В. В. Пукирева. 1860-е гг.



А. П. Доброславин



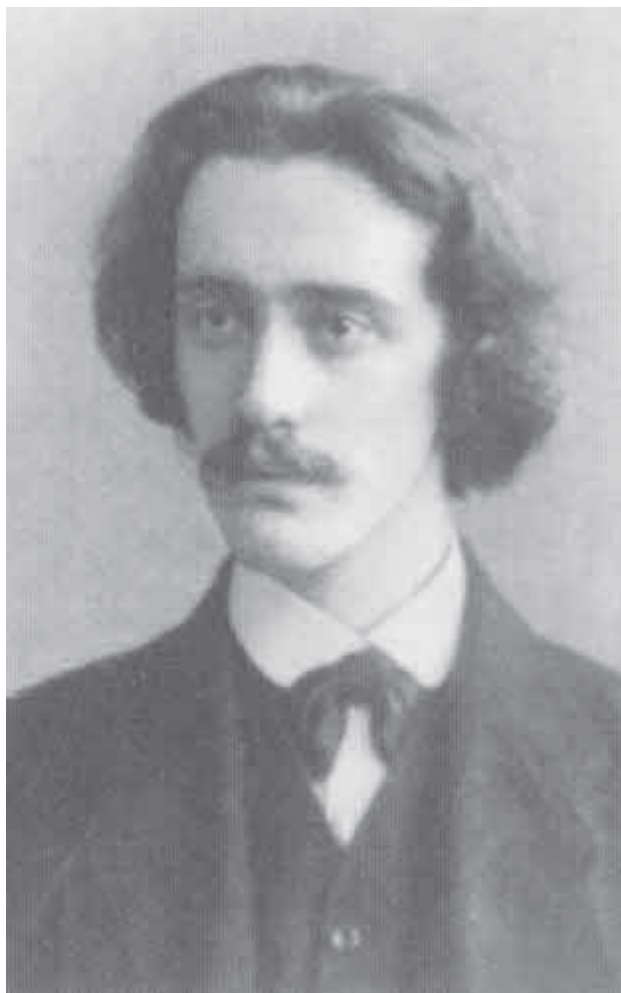
Д. И. Кошлаков



А. П. Дианин — любимый ученик и преемник А. П. Бородина



***А. П. Бородин (сидит в центре) с учениками — врачами ускоренного выпуска. Сидят: Д. Г. Никольский (слева). П. Ф. Пегерман (справа).
Стоят: Ф. П. Дианин, И. А. Альбицкий. 1878 г.***



С. А. Дианин — биограф Бородина



Е. Г. Дианина (Баланёва) с сыном Борисом



***Вид на Боголюбский монастырь Рождества Богородицы со стороны
станции Боголюбово.***

Фото В. А. Милованова. 2015 г.



Преображенская церковь в Давыдове.

Фото В. А. Милованова. 2015 г.



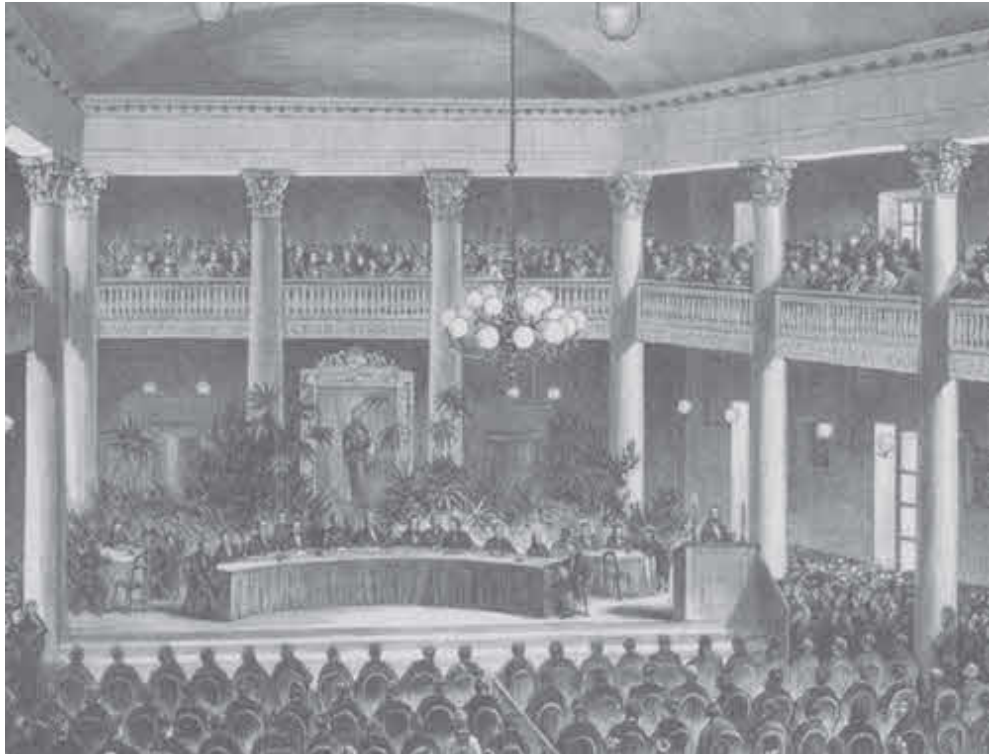
Вальковская пойма.

Фото В. А. Милованова. 2015 г.



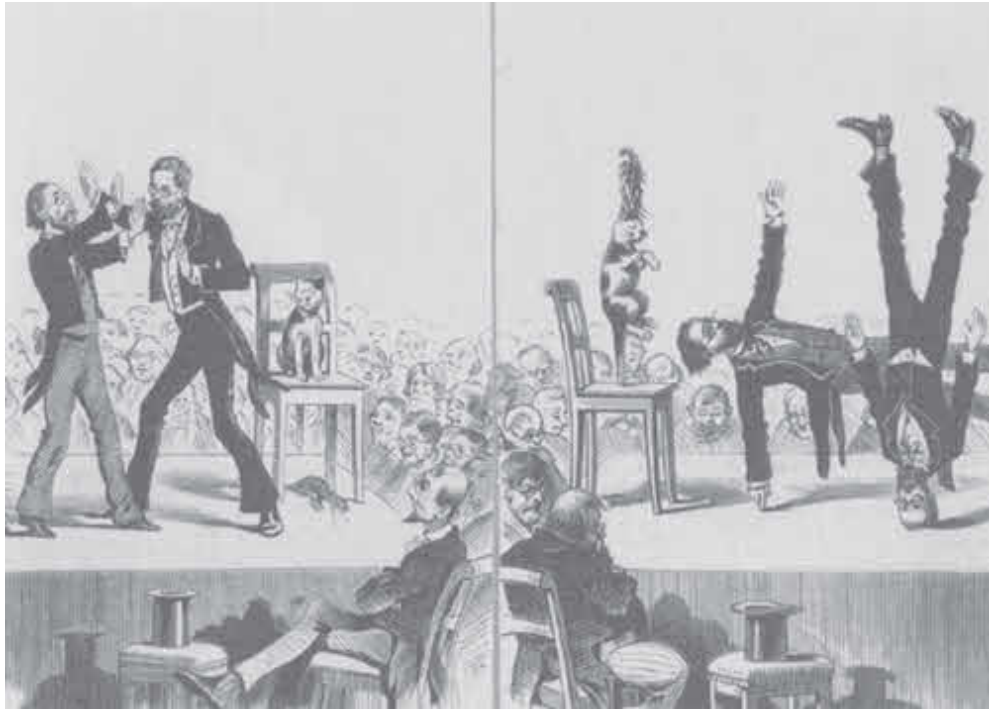
Экспозиция музея Бородина в Давыдове.

Фото В. А. Милованова. 2015 г.



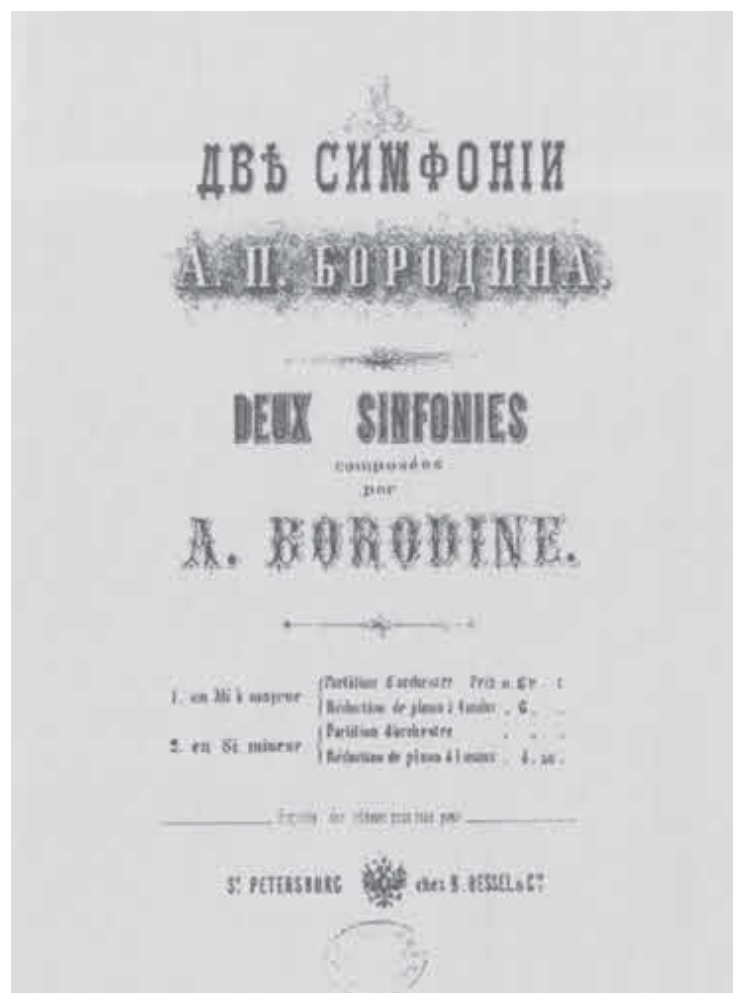
Первое заседание Шестого съезда русских естествоиспытателей 20 декабря 1879 года.

Рисунок А. Бальдингера



Гипнотические опыты Ганзена и Лихонина.

Карикатура из «Всемирной иллюстрации». 1881 г.



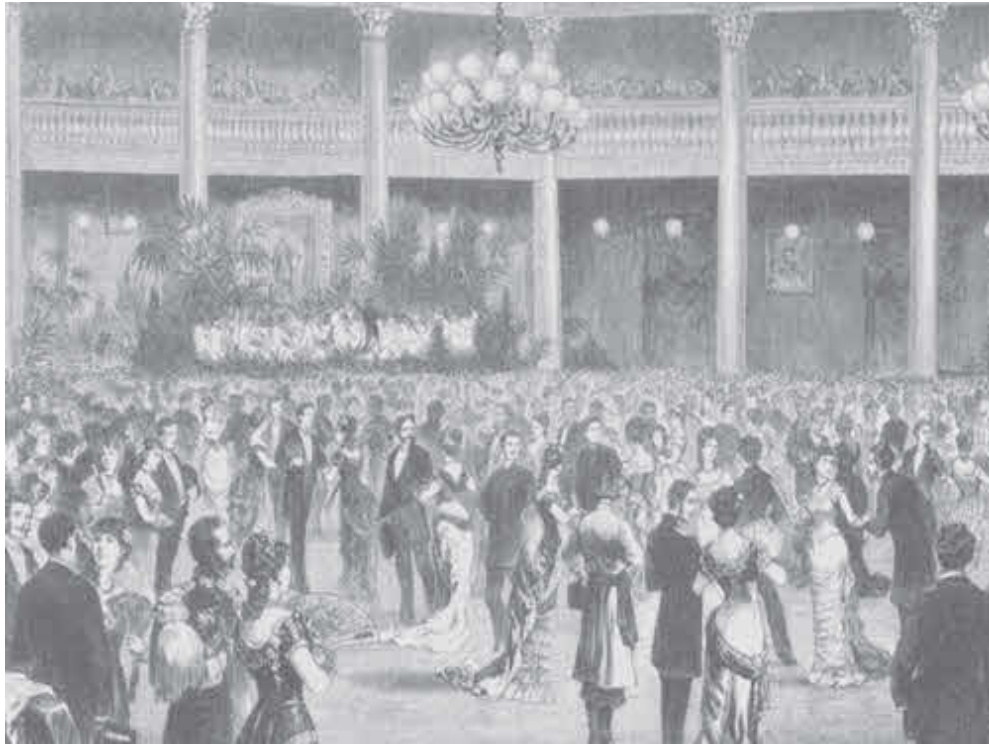
Титульный лист прижизненных изданий симфоний Бородина



Карл Ридель



А. Н. Луканина (Паевская)



***Благотворительный бал в Санкт-Петербургском университете 14
февраля 1881 года***



А. Н. Шабанова



«Экзамен курсисток у профессора Грубера».

Акварель Н. А. Ярошенко. 1887 г.



Приговор Окружного суда по делу Кашеваровой-Рудневой.

Карикатура из «Всемирной иллюстрации». 1881 г.

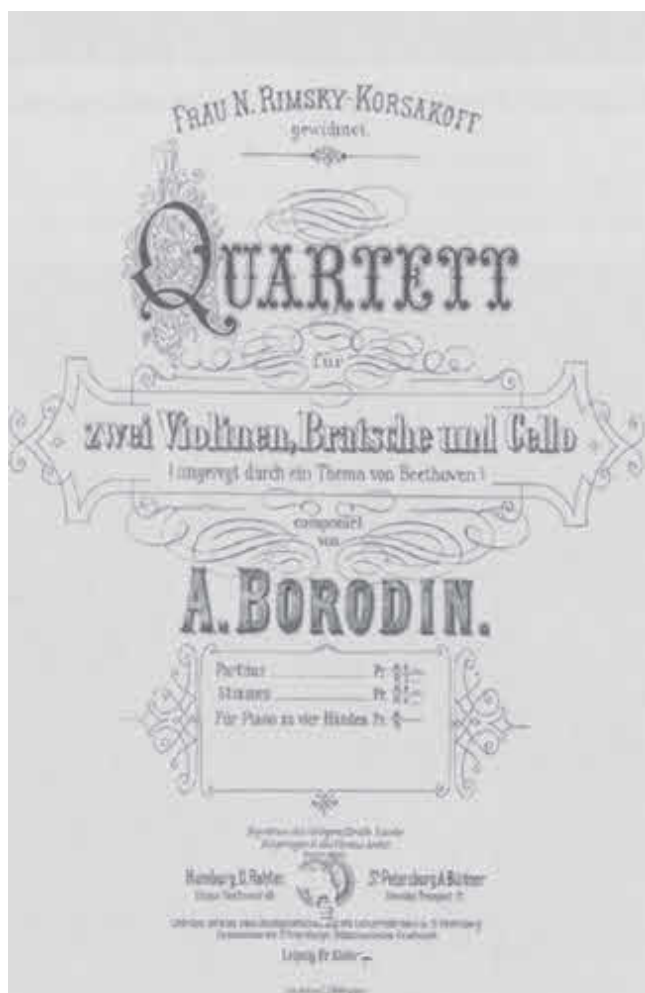


Обложка первого издания «В Средней Азии». 1882 г.



Павловский Посад.

Старинная открытка



Титульный лист первого издания партитуры Первого квартета.

Конец 1884-го — начало 1885 г.



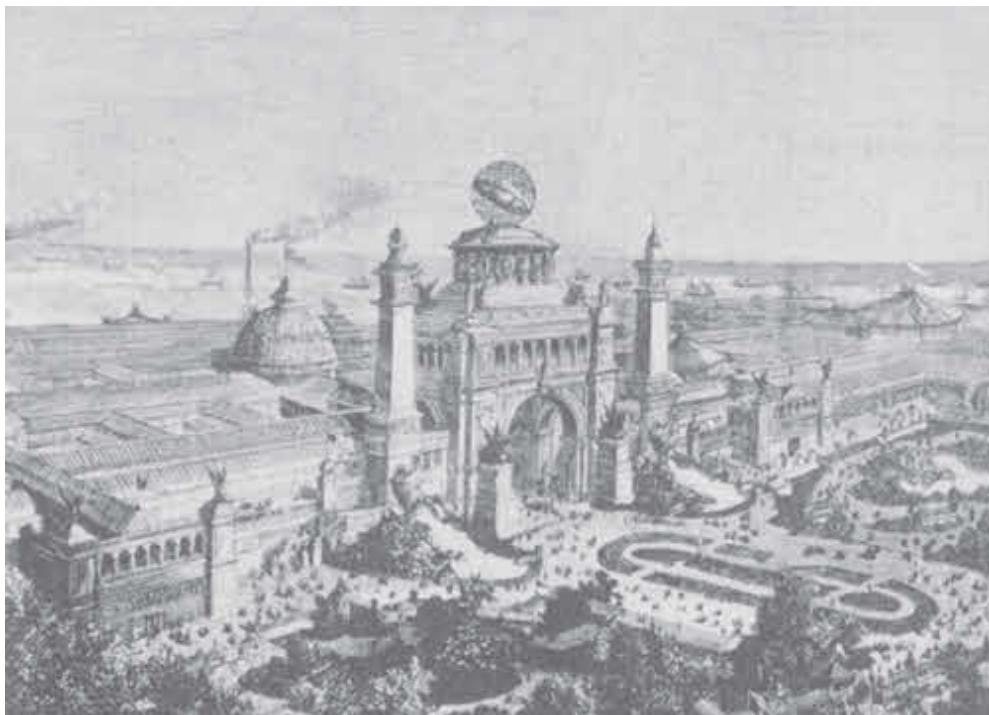
Кадетские корпуса в Лефортове.

Старинная открытка



Борисоглебское озеро в Раменском.

Старинная открытка



Всемирная выставка в Антверпене.

«Всемирная иллюстрация». 1885 г.



Теодор Жадуль.

Портрет работы Леона Филиппэ. 1897 г.



Графиня де Мерси-Аржанто.

Литография Ф.-К. Винтерхальтера. Середина XIX в.



Замок Аржанто.

Современный вид



«В Средней Азии».

Транскрипция для фортепиано Теодора Жадуля. 1887 г.



Жозеф Дюпон



М. П. Беляев.

Фотография Е. Л. Мрозовской в Петербурге



***Дирижерская палочка, подаренная А. П. Бородину Советом
Общества лечебниц для хронически больных детей.***

***Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им.
М. И. Глинки (Фонд бытовых вещей. № 222)***



Мемориальная доска на доме в Курске, где А. П. Бородин работал над оперой «Князь Игорь»

ЛИТЕРАТУРА

Письма, воспоминания

Письма А. П. Бородина: Вып. I (1857–1871) /Предисл., примем. С. А. Дианина. М.: Музгиз, 1928.

Письма А. П. Бородина: Вып. II (1872–1877) /Ред., коммент., примем. С. А. Дианина. М.: Музгиз, 1936.

Письма А. П. Бородина: Вып. III (1878–1882) /Примем. С. А. Дианина. М.; Л.: Музгиз, 1949.

Письма А. П. Бородина: Вып. IV (1883–1887) /Примем. С. А. Дианина. М.; Л.: Музгиз, 1950.

Бородин А. П. Новые письма / Публ. В. А. Киселева, В. Е. Сибирского, А. Н. Сохора //Музыкальное наследство. М.: Музыка, 1970. Т. III.

Грибанова А. П. Неизвестное письмо А. П. Бородина // Музыкальная академия. 2007. № 3.

Сундквист Л. Два неизвестных письма А. П. Бородина //Петербургский музыкальный архив. СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2012. Вып. 10.

Воспоминания об А. П. Бородине /Публ. Г. М. Валькович-Гнесиной, В. А. Киселева, А. Н. Сохора // Музыкальное наследство. М.: Музыка, 1970. Т. III.

А. П. Бородин в воспоминаниях современников /Сост. А. П. Зорина. М.: Музыка, 1985.

Монографии и сборники

На русском языке

Головинский Г. Л. Камерные ансамбли Бородина. М.: Музыка, 1972.

«Давыдовым я доволен донельзя»: Александр Порфирьевич Бородин и семья Дианиных /Авт. и сост. С. Б. Кудряшова, С. С. Харитонов. Владимир: Транзит-ИКС, 2013.

Дианин С. А. Александр Порфирьевич Бородин и его музыка / Сост. А. В. Булычева, С. Б. Кудряшова. Камешково, 2016.

Дианин С. А. Бородин: Жизнеописание, материалы и документы. М.: Музгиз, 1960.

Ильин М., Сегал Е. Александр Порфирьевич Бородин. М.: Молодая гвардия, 1953.

Кюи Ц. А. Избранные статьи. Л.: Музгиз, 1952.

Памяти Митрофана Петровича Беляева: Сборник очерков, статей и воспоминаний. Париж: Издание Попечительского Совета для поощрения русских композиторов и музыкантов, 1929.

Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни // Полное собрание сочинений: Литературные произведения и переписка. М.: Музгиз, 1955. Т. I.

Сохор А. Н. Александр Порфирьевич Бородин: Жизнь, деятельность, музыкальное творчество. Л.: Музыка, 1965.

Стасов В. В. Александр Порфирьевич Бородин: Его жизнь, переписка и музыкальные статьи. 1834–1887 / Издание С. Суворина. СПб., 1889.

Фигуровский Н. А., Соловьев Ю. И. Александр Порфирьевич Бородин. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

На иностранных языках

col1_0 Borodin: The Composer and His Music. London: William Reeves, 1927.

Alexander Borodin: Sein Leben, seine Musik, seine Schriften. Berlin: Ernst Kuhn, 1992.

Bobeth M. Borodin und seine Oper «Furst Igor»: Geschichte, Analyse, Konsequenzen. Munich: E. Katzbichler, 1982.

Bronne C. La comtesse de Mercy-Argenteau et la musique russe, avec des lettres inédites de Liszt, Borodine, Cesar Cui, et six illustrations. Paris: Librairie des Champs Elysees, 1935.

Dianin S. A. Borodin. London, New York: Oxford University Press, 1963.

Figurovskii N. A. and Solov'ev Yu. I. Aleksandr Porfir'evich Borodin: A Chemist's Biography. Berlin, Heidelberg, New York: SpringerVerlag, 1988.

Gaub A. Die kollektive Ballett-Oper «Mlada»: ein Werk von Kjuí, Musorgskij, Rimskij-Korsakov, Borodin und Minkus. Berlin: Ernst Kuhn, 1998.

Gaub A. and Unseld M. Ein Fürst, zwei Prinzessinnen und vier Spieler: Anmerkungen zum Werk Aleksandr Borodins. Berlin: Ernst Kuhn, 1994.

Habets A. Alexandre Borodine. Paris: Fischbacher, 1893.

Vijvers W. G. Alexander Borodin: Composer, Scientist, Educator. Amsterdam: The American Book Center, 2013.

Статьи

На русском языке

Булычева А. В. «Князь Игорь» А. П. Бородина и Н. А. Римского-Корсакова // Opera musicologica, 2010. № 4.

Дианин А. П. Бородин: Биографический очерк и воспоминания // Журнал Русского физико-химического общества. 1888. Т. XX. Вып. 4.

Дмитриев А. Н. Рукописи А. П. Бородина (фрагменты книги) // *Дмитриев А. Н.* Исследования, статьи, наблюдения. Л.: Советский композитор, 1989.

Дмитриев А. Н. «Слово о полку Игореве» в опере Бородина «Князь Игорь» // Культурное наследие Древней Руси. М.: Наука, 1976.

Ламм П. А., Попов С. С. «Богатыри» //Советская музыка. 1934. № 1.

Ламм П. А. К подлинному тексту «Князя Игоря» // Советская музыка. 1983. № 12.

Левашев Е. М. Бородин //История русской музыки. М.: Музыка, 1994. Т. 7. Ч. 1.

Мартынова С. С. К истории создания и постановки первой русской оперетты //Бородин А. П. Богатыри: Клавир. М.: Дека-ВС, 2004.

Стасов В. В. Редакция «Князя Игоря» Бородина // Русская музыкальная газета. 1896. № 2.

Трифонов П. А. Александр Порфирьевич Бородин: Биографический очерк//Вестник Европы. 1888. № 10, 11.

Яковлев В. В. Жизнь музыки Бородина //Яковлев В. В. Избранные труды о музыке. М.: Советский композитор, 1971. Т. 2.

На иностранных языках

Gautier J.-A. Comment les decouvertes du chimiste Kekule empecherent Borodine de terminer le «Prince Igor» //Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1970. No. 20 (204).

Gordin M. D. The Weekday Chemist: The Training of Aleksandr Borodin //A Master of Science History. New York: Springer, 2012.

Lloyd-Jones D. Borodin in Heidelberg //The Musical Quarterly, 1960. No. 46 (4).

INFO

Булычева А. В.

Б 90 Бородин / Анна Булычева. — М.: Молодая гвардия, 2017. — 427[5] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1623).

ISBN 978-5-235-03952-0

УДК 78.03(47)(092)

ББК 85.313(2)

знак информационной продукции 16 +

Булычева Анна Валентиновна
БОРОДИН

Редактор *Е. В. Смирнова*
Художественный редактор *И. И. Суслов*
Технический редактор *М. П. Качурина*
Корректор *Т. И. Маляренко*

Сдано в набор 15.08.2016. Подписано в печать 18.11.2016. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 22,68+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1620170.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. Email: dsel@gvardiya.ru

ARVATO BERTELSMANN

Отпечатано в полном соответствии с
качеством предоставленного электронного
оригинал-макета в ООО «Ярославский
полиграфический комбинат» 150049, Ярославль,
ул. Свободы, 97

notes

Примечания

Президенту Общества князю Александру
Николаевичу Голицыну посвящена пушкинская
эпиграмма «Вот Хвостовой покровитель...». *(Здесь и
далее примечания автора.)*

Фантазия для фортепиано на тему И. Н. Гуммеля
(ит.).

3

«Поток» (*ит.*).

4

Здесь и далее подчеркнуто автором письма.

Скрипач-любитель Петр Иванович Васильев (Кириллов) происходил из духовного звания. Бородин прятельствовал и с его братом Владимиром Ивановичем (1828-1900), канцеляристом Синода. Владимир учился пению в Петербурге у Федерико Риччи, затем за границей у его старшего брата Луиджи Риччи. С 1858 года — ведущий солист Русской оперы («Васильев 1-й»), обладатель объемного, красивого по тембру баса-профундо. На сцене Мариинского театра исполнил около 130 различных партий, включая Ивана Сусанина, Пимена и Лепорелло.

18 декабря 1913 года ученик Бородина Александр Павлович Дианин повторил анализ воды в лаборатории Военно-медицинской академии.

Марко Вовчок.

8

Бездны (*фр.*).

9

По меньшей мере (*фр.*).

Убежище (фр.).

Химического общества (фр.).

Традиция еще долго сохранялась. В 1907 году ученик Римского-Корсакова Игорь Федорович Стравинский дебютировал симфонией ми-бемоль мажор (ор. 1), посвященной учителю и очень «кучкистской» по стилю.

У нас нет «рогов»! Валторна! *(нем.)*.

Юрист и виолончель-любитель Василий Алексеевич Кологривов был одним из директоров Русского музыкального общества.

Культа колоратурного сопрано Аделины Патти.

Вперемешку (*фр.*).

Елена Алексеевна Протопопова, в замужестве Буланина (1866–1944), училась в Сорбонне, преподавала в гимназиях Самары и Москвы, в 1890-е годы начала печатать повести и рассказы для взрослых и детей. В 1899 году, в бытность ее работы в газете «Курьер», получило известность ее стихотворение к десятилетию смерти Салтыкова-Щедрина. Опубликованы мемуары Буланиной о Максиме Горьком. Неоконченные воспоминания о Бородине она составляла незадолго до смерти, живя в эвакуации в Мордовии.

«Музыку будущего» — выражение Рихарда Вагнера.

Дансантиность (от фр. *dansant* — танцевальный, *danse* — танец) — танцевальность, совокупность формальных качеств музыки, делающих ее удобной для танца и выражающих танец.

Имеется в виду начатая и брошенная Мусоргским опера «Женитьба».

Всех вместе (*φρ.*).

«Другие женщины пользуются удовольствиями»
(фр.).

«Туда, туда» (*нем.*) — цитата из стихотворения Гёте «Миньона».

Удачи, доброго пути *(ит.)*.

Послушайте, синьоры: не видали ли вы двух молодых синьор? *(ит.)*.

Хороший парень (ит.).

Хорошие люди *(ит.)*.

Хохолком Дианина прозвали из-за его прически.

Вероятно, Николай Григорьевич Богданов, в 1873 году — студент Академии художеств.

30

Странность, причудливость.

Бородин именовал Екатерину Алексеевну Протопопову матушкой, что у него выходило похоже на «матуска». Так его теща и прозвала.

Деревенский старейшина.

В семейном кругу (*фр.*).

17 ноября очередным концертом РМО дирижировал Римский-Корсаков, вопреки обычаям Общества взяв целиком русскую программу. Для этого концерта Бородин в октябре сделал новую версию оркестровки каватины.

На самом деле — 20 лет.

Трюки (*фр.*).

С листа (*φρ*).

С первой партии на вторую.

Ре-мажорного.

«Монастырь или Нева?»

Семья Митрофана Петровича состояла из жены и воспитанницы и этим напоминала семью Бородина, но союз, похоже, был случайным. Ни один из мемуаристов не заметил между супругами Беляевыми ни любви, ни доверия, ни общих интересов.

Знати (фр.).

Держать салон (*фр.*).

44

Я хочу стакан пива (*нем.*).

На самом деле у Бородина чередуются такты на $2/4$, $3/4$ и $4/4$, в сумме составляя то $5/4$, то $7/4$.

На самом деле — 52 года.

Тем не менее (*фр.*).